ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №2 | 2017

16+

Валерий Кудринский

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения *№ 2 | 2017*

В номере

ДиН память

3 Ваш брат Евгений Евтушенко

Евгений Евтушенко
6 Паруса

Карина Зурабова
7 Живое слово

Армен Зурабов
9 Борцам за Незримое

Зинаида Миркина
15 Пробудившаяся душа

Вячеслав Тюрин
22 Осязая время

Алла Новикова-Строганова
30 Итальянский адвокат русской литературы

Владимир Шанин
36 Душа, открытая всем

Владимир Зыков
40 Таким я его запомнил

ДиН стихи

5 Чёрный ветер апреля…

Константин Скворцов
50 Шарманщик

Галина Климова
52 Здесь был Богоматери Тихвинской храм…

Евгений Степанов
53 И пришла пора иная

Ян Бруштейн
55 Неспешный сад

Алёна Бабанская
57 Статистический случай

Марина Комиссарова
58 Визит в полночь

Зинаида Кузнецова
152 Дождь в незнакомом городе

Павел Великжанин
154 Красное вино осени

Дарья Лысенко
156 Всё сходится…

ДиН ревю

Армен Зурабов
21 Вспомните, кто вы…

Геннадий Васильев
29 Как-нибудь проживём!

Екатерина Ратникова
54 Орнамент

Дмитрий Филиппенко
139 На побережье пульса

Феликс Грек
175 В стихиях мира и войны

Нина Сурова
187 Отзовись

Олеся Шмакович
190 Новорождённая любовь

ДиН диалог

Юрий Беликов, Владимир Балашов
25 Псевдоним «Сириец»

ДиН РОМАН
Сергей Кузичкин
59 Двадцать лет и одна ночь

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА
Евгений Мамонтов
129 Классик
Дарья Верясова
140 Война
Илья Иослович
142 Экзистенциальные истории
Яков Лотовский
145 Рондо каприччиозо

ДиН ЭССЕ
Максим Лаврентьев
158 Знаки бессмертия

КЛУБ ЗРИТЕЛЕЙ
Сергей Брель
176 От предубеждения к гордости

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Владимир Яранцев
180 Тайна самородности
Сергей Арутюнов
188 «Здесь отверзаются бездны…»
Марина Саввиных
191 Крестный взор

ДиН ПАРОДИЯ
Евгений Минин
193 Сорняк на голове
179 Критика ниже спины

ДиН ГАЛЕРЕЯ

К 70-летию со дня рождения художника

Чистый вздох любви и правды

Один из лучших акварелистов России *Валерий Иннокентьевич Кудринский* отметил в марте 70-летний юбилей. С журналом «День и ночь» художника связывает давнее творческое сотрудничество. Репродукции с его картин не только не раз становились украшением отдельных выпусков журнала, но и поддерживали поэтическую атмосферу каждого такого номера. Редколлегия и читатели «ДиН» сердечно поздравляют мастера с юбилеем, желают ему здоровья и творческого долголетия. Все, кто знаком с работами Кудринского, и тем более те, кто знает художника лично, могли бы многое рассказать об особенностях его лирического дара, о глубоко реалистическом и в то же время философско-символическом характере его произведений. И всё-таки лучше, чем выдающийся русский писатель, наш старинный друг, В. Я. Курбатов о Кудринском, пожалуй, и не скажешь: «Наверное, лучшим советом всякому художнику были бы слова поэта: „Сотри случайные черты, и ты увидишь—мир прекрасен“. Кудринский блестяще умеет стирать эти „случайные черты“, оставляя только чистый вздох любви и правды. И природа отвечает ему на любовь, потому что он не вымогает её тайны, не выколачивает из неё „художественные показания“, а приходит за ободрением и утешением, как к памяти и детству, как к лучшему, что живёт в крови с колыбельных лет. <…>

В каждом пейзаже как будто схвачено то краткое мгновение, которое, будь на месте художника поэт, вспыхнуло бы стихотворением, и название поневоле ищет верного звука <…> Иногда может показаться, что каждым листом художник норовит удержать мгновение в скоро меняющемся времени. Но на деле он ловит в мгновенном и будничном вечные движения первоначальной жизни, которая спокойно связывает нас со всей великой и по существу неторопливой, как долгие облака над полями, жизнью России, где все мы сверстники и собеседники русской иконы и Серова, Левитана и Врубеля, Сергия Радонежского и Пушкина…»[1]

1. http://kudrinskiy.ru/bio/about

Ваш брат Евгений Евтушенко

Светлой памяти Поэта

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

Москва

«1 апреля 2017 года ушёл из жизни выдающийся человек—поэт, прозаик, литературный критик, антологист, сценарист, режиссёр, актёр, фотограф, политик, педагог Евгений Александрович Евтушенко.

На протяжении десятилетий он был послом русской поэзии в мире, представляя её во всех странах, которые он посетил. Я не знал поэта, который бы знал наизусть столько стихов других поэтов! Он любил помогать молодым, любил поэзию преданно и самозабвенно.

Конечно, не все его стихи удались, он это сам понимал и говорил, но он создал множество шедевров, которые войдут в историю русской литературы.

В общении он любил шутку, мог посмеяться над собой, он и ушёл 1 апреля, в день смеха, точно насмехаясь над смертью, которая его не победила.

Вечная память!»

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

Москва

«Поэт ценится по лучшему, и это лучшее у Евтушенко прочно и долговечно. А уж „Свадьбы“ и стихотворение о профессоре, от которого ушла жена, определённо будут жить, пока существует русская литература. „На заре молодых вероятий“ он вошёл в нашу поэзию во всём блеске свежего и неистощимого дарования, лирической дерзости и гражданской отваги. С ним и кончается „евтушенковское“ поколение, в котором, по моему убеждению, именно и только он сам был единственным подлинным, природным поэтом. Единственный из них был сосредоточен не только на себе любимом, но ощущал свою судьбу как часть общей, единственный испытывал неослабевающий интерес к людям, к человеческим судьбам.

Мне кажется, что в нашем обществе из деятелей с именами он оставался последней моральной фигурой.

Без его воинственного задора, его сумасбродных причуд, без его присутствия на сцене и эстраде становится совсем тускло.

Стоит сейчас сказать и о том, что нет числа его добрым делам: того он вытянул из тюрьмы, этому достал спасительное лекарство, кому-то помог напечататься, будущность кого-то отстоял перед грозным собранием. И так далее и так далее. Здесь он был безотказен.

Я знал его в разных ситуациях на протяжении многих лет. Ощущал его поддержку и премного ему обязан. Спорил с ним, писал о нём статьи, иногда остро критические, иногда восхищённые, порою и смешанной тональности. Рад, что в одной заметке написал то, чего никто бы сказать не посмел и не посмеет: что изначально его дарование было крупнее дарования Бродского. Но, увы, оно не целиком было отдано Музе… Он понимал, что я воевал не с ним, а за него, за выживание поэзии, что писал искренне. Он был ко мне благосклонен. Я любил его».

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ

Санкт-Петербург

«Я долго не решался об этом написать, опасаясь обидеть очень хорошего человека, но друзья убедили меня, что обидного в этом нет, а даже наоборот. Второе—те, кто рассказывают о знакомстве со знаменитостями, всегда выглядят немножко

жалко, поэтому спешу заявить, что я оказался за одним столом с Евгением Евтушенко совершенно случайно, и он наверняка уже забыл, как меня зовут. Это было в пансионате „Сосны“, где проходил Волгинский конгресс „Литература и кино“, и Евгений Александрович попросил подкатить своё кресло-каталку к нашему столику, чтобы поговорить отнюдь не со мной, а с отцом Владимиром Вигилянским, который великодушно отвечал на мои вопросы о жизни священников.

Я, как, видимо, и многие, не раз слышал сетования, что Евтушенко никого не слушает, говорит всё время сам, и в течение часа действительно говорил в основном он. Но в его монологе не было ни малейшей самовлюблённости, напротив, он постоянно с детским простодушием обращался за поддержкой ко мне — совершенно неизвестному ему человеку, — и во всей его на удивление искренней речи не было ни единого слова о себе — о старости, о том, как тяжело из сильного мужчины превратиться в „человека с ограниченными возможностями“, — он говорил только о судьбах мира, России, культуры…

Все его мысли и планы отличались абсолютным бескорыстием и — да, наивностью, — ведь вера в людей и есть наивность. И чем дольше я его слушал, тем сильнее в него влюблялся, а к концу нашей встречи у меня уже стояли слёзы в глазах. Они и сейчас стоят: всесветно знаменитый и, увы, очень немолодой поэт предстал прекрасным ребёнком, который горит не собственными, а общими делами. Ну а то, что, принимая близко к сердцу общие дела, почти невозможно избежать общих мест, — это уже неизбежные издержки. Впрочем, это и одна из важнейших миссий поэзии — чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло.

Я это уже публиковал, а вчера снова вспомнил, и стало больно и светло».

МИЯСАТ МУСЛИМОВА

Махачкала

«С Евгением Евтушенко я познакомилась на презентации его книги „Можно всё ещё спасти“ в Москве, в „Библиоглобусе“ в 2011 году. Тот, кто никогда его не видел, ещё может прислушиваться к скепсису недоброжелателей, но те, кому довелось его слушать, никогда им не поверят. Никто другой не способен так любить читателя и поэзию, как Евгений Евтушенко. Вот только он вошёл в зал, с трудом опираясь на палочку, накануне операции на ноге, но как только оглядел зал и начал читать стихи, преобразился и он, и зал. Мы просто с первой секунды поняли, что он пришёл не памятником себе, а к нам, к каждому, так просто, доверительно и празднично, конечно. Как он читал! и как был откровенен в стихах… В разговоре — о любви, о себе — мальчике, юноше, студенте. И слёзы, и улыбки, и со-переживание, и со-воодушевление. Я получила в подарок книгу с автографом. Он обрадовался, услышав о Дагестане: „Я обещал Расулу Гамзатову приехать, но так и не выполнил своего обещания“. Ясно было, что выполнение некогда данных обещаний для него очень важно. Он собирался приехать, началась наша переписка. Но увы, власть тогда проигнорировала и письмо Евгения Евтушенко, и моё обращение. Его письмо правительство направило Союзу писателей Дагестана, но и он не шевелился, и Евгений Александрович не хотел иметь с ним дела и даже был задет тем, что правительство не ответило ему. Не отвечало и министерство культуры во главе с Зумруд Запировной, поручив какой-то секретарше заниматься этой проблемой. Возможность встречи властью была сорвана.

„Дорогая Миясат, держитесь. Что это — тейповые выяснюшки? Мне кто-то написал что-то, но я должен и сам отписать, как я буду чувствовать себя после операции, а она должна состояться уже вот-вот. Не могу ли я чем-нибудь помочь Вам? — ЕЕ“, — писал Евгений Александрович 15 апреля 2012 года.

„Я ещё раз повторяю Вам, что я с радостью приеду в Дагестан. Это моё желание неотменимо. Я подтверждаю своё желание наконец посетить Дагестан, куда меня много раз приглашал Расул. К сожалению, это не сбылось во время его жизни. Подтверждаю своё желание посетить Дагестан. Это мне может удастся только летом будущего года, предположительно в июне-июле месяце во время моих каникул преподавания в США, где я уже 15 лет преподаю русскую литературу, являясь членом Американской и Европейской Академий искусств. Все эти годы я выступаю с большим успехом в так называемое „несезонное“ время, в само, или, как даже говорят, в „мёртвый сезон“, и в прошлом году, представьте, на берегах Волги под Самарой слушать меня собралось 42 тысячи совершенно живых людей. Я вовсе не требую такого многотысячия и в Дагестане, но всё-таки хотелось, чтобы это прошло в самом большом вашем зале-театре или филармонии по вашему выбору. Я готов дать концерт в двух отделениях на 2.30 минут с чтением стихов и старых, и новых, ответить на вопросы“, — писал он ранее, 25 августа 2011 г.

Не удалось. Проблема „власть и поэт“ оказалась неразрешимой. Но это уже её бесславие, а Поэту — и вечная память, и вечная слава».

ЕВГЕНИЙ МИНИН

Иерусалим

«Вот уже третий год, как живу в Иерусалиме. Не до стихов — пашу на нескольких работах. И вдруг, как свет в оконце — приезд Евгения Евтушенко,

его выступление в Бейт Конфедерация, около известной vip-гостиницы Кинг Дэвид, где останавливаются президенты и поп-звёзды.

Вечер был тёплый. Небольшой зал забился до отказа — в Израиле поэта любили беззаветно. Все помнили публикацию поэмы „Бабий Яр“.

Пришли на вечер и учитель Евгения, и много его друзей. Поэт много говорил о поэзии, что все поэты — братья, и, конечно, читал стихи. После окончания вечера я встал в небольшую очередь за автографами.

Подойдя к поэту, протянул его книгу и скромно произнёс:

— А я ваш брат, Евгений. (Помните детей лейтенанта Шмидта?)

Евтушенко ошарашенно вгляделся в иудейские черты моего лица и спросил:

— Как? С какой стороны?

— Как же, вы только что сказали, что все поэты — братья. А я — поэт Евгений Минин, и значит — ваш брат!

Евтушенко улыбнулся — он оценил мой юмор и подписал:

„Моему брату-поэту Евгению Минину от души. 22 ап. 1993“.

Так что, друзья, — теперь мы с моим тёзкой Евгением Евтушенко братья навек, что и запротоколировано на обложке книжки, которую я бережно храню».

МАКСИМ РЫЧКОВ
Красноярск

«При жизни к нему, как и ко всякому талантливому человеку, относились по-разному. Для одних уроженец близкой нам Иркутской области был крупнейшим советским литератором, для других — одной из многих ярких фигур в плеяде „шестидесятников“, для третьих — удачливым конъюнктурщиком, начинавшим свой путь с хвалебных од Владимиру Ленину и Иосифу Сталину, а затем переориентировавшимся на критику советской реальности. Можно сказать и так: у каждого читателя был „свой“ Евтушенко. Кому-то в его творчестве более всего нравилась любовная лирика, кому-то — гражданская, кому-то — философская… На этом фоне могут показаться незаметными произведения Евгения Александровича, посвящённые родной стране, за судьбу которой он продолжал искренне переживать, даже живя за рубежом».

Чёрный ветер апреля…

● ● ●

Может быть, это воздух последних высот,
Или почва последних утрат?
Электрический вопль обесточенных сот,
Изверженье отверженных врат?

Может, это деревьев незрячий поход —
Вверх тормашками — клочьями риз?
Или небо во весь окровавленный рот
Изрыгает проклятия вниз?

Или память смертей отзывается впрок
Обезумевшим отпрыскам лжи?
Или — только ступи за отцовский порог,
Только зверю лицо покажи!

Провода над дорогою крутит и рвёт —
— Будь готов — это время придёт! —
Чёрный ветер апреля… семнадцатый год.
Чёрный ветер. Семнадцатый год.

МАРИНА САВВИНЫХ
2 апреля 2017 г.

Полина

Не жар-птица в Неву уронила перо,
Не сошла на прохожих небесная манна —
В Петербурге у нас подорвали метро…
Рана!

Телефон, как змея… Он ужалить готов…
Сердце лопнет сейчас от малейшего звука…
Позвони! Хоть дыханье услышу без слов…
Мука!

Пальцы, как не мои… Длинный, длинный гудок…
Вечность тянет своё в исполнении сольном…
Никогда ещё не был я так одинок…
Больно!

Телевизор безжалостно ходит по мне,
Тычет в душу, в глаза — крики, слёзы и стоны…
А в ушах, как стеклом по железу, лишь — «…вне
Зоны…»

ВЛАДИМИР ШЕМШУЧЕНКО
3 апреля 2017 г.

Евгений Евтушенко

Паруса

Памяти К. Чуковского

Вот лежит перед морем девочка.
Рядом книга. На буквах песок.
А страничка под пальцем не держится —
трепыхается, как парусок.

Море сдержанно камни ворочает,
их до берега не докатив.
Я надеюсь, что книга хорошая —
не какой-нибудь там детектив.

Я не вижу той книги названия —
её край сердоликом прижат,
но ведь автор — мой брат по призванию
и, быть может, умерший мой брат.

И когда умирают писатели —
не торговцы словами с лотка, —
как ты чашу утрат ни подсахари,
эта чаша не станет сладка.

Но испей эту чашу, готовую
быть решающей чашей весов
в том сраженье за души, которые,
может, только и ждут парусов.

Не люблю я красивых надрывностей.
Причитать возле смерти не след.
Но из множества несправедливостей
наибольшая всё-таки — смерть.

Я платочка к глазам не прикладываю,
боль проглатываю свою,
если снова с повязкой проклятою
в карауле почётном стою.

С каждой смертью всё меньше мы молоды,
сколько горьких утрат наяву
канцелярской булавкой приколото
прямо к коже, а не к рукаву…

Наше дело, как парус, тоненько
бьётся, дышит и дарит свет,
но ни Яшина, ни Паустовского,
ни Михал Аркадьича нет.

И — Чуковский… О, лучше бы издали
поклониться, но рядом я встал.
О, как вдруг на лице его выступило
то, что был он немыслимо стар.

Но он юно, изящно и весело
фехтовал до конца своих дней,
Айболит нашей русской словесности,
с бармалействующими в ней.

Было лёгкое в нём, чуть богемное.
Но достойнее быть озорным,
даже лёгким, но добрым гением,
чем заносчивым гением злым.

И у гроба Корнея Иваныча
я увидел — вверху, над толпой
он с огромного фото невянуще
улыбался над мёртвым собой.

Сдвинув кепочку, как ему хочется,
улыбался он миру всему,
и всему благородному обществу,
и немножко себе самому.

Будет столько меняться и рушиться,
будут новые голоса,
но словесность великая русская
никогда не свернёт паруса.

…Даже смерть от тебя отступается,
если кто-то из добрых людей
в добрый путь отплывает под парусом
хоть какой-то странички твоей…

1969

Карина Зурабова

Живое слово

Памяти писателя Армена Зурабова (1929–2016)

Армен Зурабов

Я не знала более *литературного* человека, чем он. Это было так понятно и естественно — то, что в его кабинете смотрели со стен портреты Пушкина, Толстого и Чехова, очень близких ему людей. Ещё ближе был ему один литературный персонаж, в виде чугунной статуэтки стоявший на его столе, — Дон Кихот, великий идеалист, автору которого так и не удалось его высмеять, и он остался в веках как символ веры в добро и благородство человека. Так же естественно было для него, за обедом или чаем, обсуждать Шекспира или Торнтона Уайлдера, новые стихи Межирова или Вознесенского, восхищаться любимым «Тихим Доном» или «Скучной историей». Неважно, кто оказывался его собеседником (а точнее, слушателем), — кем бы он ни был, слушать ему было интересно и чудно. Специально для меня он придумал (а идею взял у Чехова!) карточную игру, в которой картами были изображения писателей — и с тех пор я знаю в лицо и Мопассана, и Некрасова, и Дениса Давыдова.

В будничной жизни существует множество неотложных дел: ходить за продуктами, встречаться с друзьями, гулять с собакой, убирать в доме, водить ребёнка на английский, доставать лекарства для родителей… — но в любой суете неизменным для него оставалось главное: сидеть за письменным столом и выбирать нужное слово, чтобы выразить самую суть прошедших событий, суть человеческого характера, суть проходящей жизни. Он был максималистом, «перфекционистом» — как сейчас говорят — и работал медленно и тяжело. Работа со словом — это был его ответ жизни, его благодарность ей, восхищение, протест, раскаяние, негодование — и несмотря ни на что, любовь. Он видел её красоту. В рассказе «Сад» — это красота живого мира, восторг мальчика, приехавшего в бабушкин сад в Кировакане, когда он обнимает деревья, бабушку, мокрую траву с упавшими в неё тяжёлыми яблоками и счастлив жить общей жизнью с этими деревьями, горами, звёздами… А красота духа открывалась ему в великих книгах, о чём он пишет в рассказе «Вечная жизнь». Гёте, Пушкин, Эсхил показывали такую высоту отношения к человеку, после которой скучно было копошиться в дрязгах и пошлости жизни. Он избегал их. И всеми силами старался тянуть встречавшихся ему людей прочь от пошлости, от примитивного материализма, туда — на высоту.

Дверь его тбилисской квартиры в старинном красивом доме на проспекте Плеханова не запиралась никогда — только поздно ночью, когда ложились спать. На английский замочек. В остальное же время туда мог прийти любой человек — знакомый и не очень — и получить сердечный приём, литературную консультацию, житейскую помощь и наставление — как жить дальше. Жить надлежало духом, развивая данный тебе Богом талант, отрабатывая его. Он старался разглядеть талант в любом человеке и особенно радовался, если талант этот был — литературный. Потому что лучше и выше литературы ничего на свете не знал. Хотя очень любил и музыку, и живопись, и театр.

Но были в его жизни годы, когда он изменял Слову с кинематографом. Вдохновлённый великими режиссёрами, он видел в нём искусство будущего. Окончив Высшие сценарные курсы, он написал несколько сценариев, по одному из которых на Арменфильме сняли фильм «Рождение». Фрунзе Довлатян создал фильм о возрождении нации в один из труднейших периодов её истории — когда в 1920 большевику Александру Мясникяну пришлось поднимать Армению из руин. Интеллигент у власти — вот тема, которая волновала автора. А ещё ему было интересно рассмотреть и семейную историю в контексте революционных событий — двое из братьев его матери участвовали

в перипетиях гражданской войны и становлении армянской республики: один, «белый» полковник, был вынужден эмигрировать в Иран, другой стал большевиком и членом правительства Мясникяна. Эпизод с братьями Пирумовыми был отснят, но в фильм не вошёл.

Киноповесть «Рождение»—это была встреча с политической историей Армении. Но до этого был опыт проникновения в историю духовную, фильм «Песни Песней», который он снял сам. На фоне фантастических, суровых пейзажей Армении (фильм чёрно-белый, чтобы не было соблазна «красивой картинки») звучали народные песни, мелодии Екмаляна и Комитаса, и царствовало Слово—великие стихи Нарекаци и Кучака, Фрика и Дживани, армянских лириков, которые выразили в слове этот мир природы и мир страдающей человеческой души. Несколько месяцев ездил он по ущельям и монастырям Армении, потом несколько месяцев не выходил из монтажной, сам резал и клеил снятый материал, записывал лучших чтецов… Переделывал уже готовый фильм—из двух серий сделал одну. Говорят, эту ленту показывали студентам во ВГИКе как классический образец монтажа звука и изображения.

Был и ещё опыт работы в кино—и сценаристом, и режиссёром, и всегда это было увлекательным событием и для него, и для близких, и для всех вовлечённых в производственный процесс—очень творческий, эмоциональный, напряжённый, наполненный самыми личностными переживаниями и устремлённый к великий цели. Последним таким фильмом был трёхсерийный «Монолог Камо», снятый на ЦТ.

Он часто сокрушался, что потратил много времени на кино и не написал того, что хотел, что должен был… И объяснял, чтó его соблазняло в процессе съёмки: ты включён в жизнь, общаешься с людьми, делаешь с ними какое-то общее дело—а когда пишешь, сидишь за столом, один в целом свете, и жизнь проходит где-то там, мимо… В *общем деле* он оказывался обычно в роли организатора, диктатора, идейного вождя, вокруг которого нарастало, клубилось и обретало оригинальную форму культурное движение—будь то школьное «тайное общество» помощи нуждающимся, театральная студия при тбилисском железнодорожном институте, съёмка фильма или лекции о Чехове и Феллини в обществе «Дельфис». Это отвлекало от главного, но иначе он жить не мог: писательская профессия требовала уединения, а характер—кипучей деятельности, борьбы: «Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день идёт за них на бой!»

В его любимом герое—Камо из романа «Тетрадь для домашних занятий»—воплотился этот мятежный, деятельный характер, в какой-то момент обречённый на бездействие. «Проснувшаяся душа» обращена к главному, божественному в человеке, а социальная несправедливость требует немедленных действий, как правило, связанных с насилием.

Как знать, куда бы его занесла борьба за справедливость и вечные идеалы, если бы не литература!.. Но Чехов, Нарекаци и Пушкин побеждали всё.

Он мечтал написать книгу «Героические биографии», где выявлялся бы подвиг простых и незаметных для истории людей, их каждодневный героический путь. Это должны были быть совсем маленькие рассказы, как у Бабеля, очень простые: он знал, что маленькие и простые—самое трудное, и хотел сам *этот подвиг* совершить. Несколько таких биографий—«Вечная жизнь», «Артём Саакян», «Трюк Симадо», «Учитель»—вошли в его книги. Да и единственная его пьеса «Лика»—это история героической любви, одинокой, бескорыстной, возвышающей.

Кто-то из приятелей, вспоминая его, заметил, что это был человек, абсолютно «лишённый стремления к публичности». Нет, просто он был горд и застенчив. «Рождённый с честолюбием, равным его дарованию» (как сказал Пушкин об одном своём современнике), он желал быть услышанным, желал общественного отклика и признания. Об этом свидетельствуют его публицистические статьи, которые он писал последние годы, живя в Москве. В них тот же серьёзный и детски удивлённый взгляд на мир, что и в его прозе, и та же вера в человека, несмотря на все ужасы и гадости, им совершённые,—вера в победу света в его душе. Для этого надо только напомнить, что вот были же Сократ, Будда, Швейцер, Толстой—тоже люди… «Вспомните, кто вы»—так называется его последняя книга, двухтомник, в который вошли и давние рассказы, и последние статьи.

А признание—было. Была дружба с замечательными писателями и философами: А. Межировым, Ю. Левитанским, Б. Чичибабиным, Г. Матевосяном, М. Мамардашвили, Г. Померанцем и З. Миркиной; был полюбившийся зрителям телеспектакль «Лика» (пьеса эта до сих пор ставится в разных театрах и в России, и за рубежом), была довольно драматическая история публикации романа о Камо в «Новом мире»… А ещё была бурная политическая жизнь страны последних тридцати лет, непростые перипетии существования русскоязычного писателя в национальной республике, радости и потери жизни личной… Всё это сплелось в 86 лет жизни.

Нам, конечно, не дано предугадать, как слово наше отзовётся, но Михаил Синельников, человек искушённый в литературе и «злой критик», как он сам о себе говорит, сказал мне после вечера памяти Армена: «Это очень хорошая книга (речь шла о романе „Тетрадь для домашних занятий“.—*К. З.*). Я уверен, она навсегда останется в литературе».

И я уверена, что слово Армена Зурабова будет жить, потому что в нём—любовь.

Армен Зурабов

Борцам за Незримое

Товарищ, верь!..

Осенью 1936 года мне купили плакат с изображением Пушкина. Плакат прикрепили кнопками к стене, и он закрыл её почти всю, от потолка и до пола.

В верхних углах над головой Пушкина стояли даты: «1837–1937». Портрет был известный, с картины, которую я часто видел и до этого и на которой Пушкин прислушивался к чему-то невидимому. То ли от чрезмерного увеличения, то ли от типографских помех, Пушкин на плакате не прислушивался, а смотрел на то, что было прямо перед ним, и приветливо улыбался.

Под портретом в виньетке из веток лавра жирно чернели слова:

> Товарищ, верь: взойдёт она,
> Звезда пленительного счастья,
> Россия вспрянет ото сна,
> И на обломках самовластья
> Напишут наши имена!

Я знал эти слова наизусть. Я умел читать и прочитывал их на всех портретах Пушкина, которые уже были выставлены в витринах магазинов и даже в витринах парикмахерских рядом с причёсками манекенов, и на окнах трамваев и автобусов. Страна готовилась к столетию со дня смерти Пушкина.

Я уже знал, что его убили на дуэли и что убийца его был подослан царём. Дуэль представлялась мне чем-то вроде выстрела из-за угла. Иначе я не мог объяснить, почему столько любивших Пушкина людей допустили, чтоб его убил один человек, которого никто не любил. Не мог я понять и того, почему все люди подчинялись царю — одному человеку, который делал не то, чего хотели все.

Осенью того же тридцать шестого года я поступил в первый класс. В классе на стене висел плакат с изображением Пушкина — такой же, как тот, что был у меня дома, и Пушкин на нём так же ни к чему не прислушивался, а смотрел перед собой на весь класс и улыбался.

Меня посадили за первую парту. Во время урока с парты упал карандаш, и, уже узнав, что из-за парты вставать нельзя, я не встал. А пролез под партой почти до самой доски, куда откатился карандаш, и вернулся на место тем же путём и так быстро, что учительница не успела меня остановить. Когда я вынырнул над партой, меня оглушил смех, и я понял, что смеялись надо мной. Потом наступила тишина, учительница подошла ко мне и стала объяснять, как получить разрешение на то, чтобы выйти из-за парты и поднять карандаш.

В школе с первого же дня стали готовиться к юбилею. Мне поручили прочесть стихотворение «К Чаадаеву», где были уже известные всем слова о звезде и обломах самовластья и стихотворение «Зимний вечер», в котором была няня, буря, мгла и сам Пушкин.

По вечерам мама садилась у потрескивавшей из стены печки, и я повторял за ней слова стихов. Стихи превращались в чувства прежде, чем доходили до сознания. Я быстро выучил стихи наизусть и каждый вечер читал их вслух. Мы досиживали у печки до позднего вечера, когда приходил с работы отец, и отец говорил, что благодарен Пушкину за то, что видит меня. Он уходил из дому раньше, чем я просыпался, и возвращался, когда я уже спал.

В день юбилея перед началом утренника играли в прятки. Я заметил в углу двора свежеструганный большой ящик и залез в него, захлопнув над собою крышку. Меня не нашли. Когда крики во дворе смолкли, я попытался поднять крышку. Крышка не поддавалась, и донёсся приглушённый смех.

Сквозь щели между досками я увидел болтающиеся ноги сидящих на ящике детей. И увидел пустую полутёмную коробку, в которой меня заперли. Я забил кулаками по крышке и закричал, требуя, чтоб мне дали выйти. Смех стал громче. Они заглушали меня и разговаривали между собой так, как будто не слышали моего крика. От обиды и одиночества я заплакал, а они продолжали смеяться, и перед моими глазами болтались их ноги.

Я вышел из ящика, когда их кто-то вспугнул и они убежали. Двор был пуст. Школьный швейцар, старый, с пышными белыми усами, выбивал об стену грязную подстилку для ног.

Перед дверью зала, где шёл утренник, стояла мама. Она знала, что я выступаю третий. За дверью читали «Смерть Поэта» — последний в программе номер. После слов «Есть грозный судия» хор должен был запеть «Интернационал».

— Пойдём домой, — сказала мама, — потом придётся стоять в очереди за пальто.

Из-за двери донёсся «Интернационал». Я открыл дверь и вошёл в зал. Впереди, в знамёнах, сияла красная сцена. Я медленно прошёл по проходу к середине зала — как во сне, подчиняясь слепому желанию идти к единственному светлому пятну, и у самой сцены увидел три ступеньки, которые вели на сцену. Вероятно, казалось, что я иду спокойно и участвую в том, что происходит на сцене, потому что никто меня не остановил и я вышел на сцену. Голоса на сцене позади меня смолкли. Я услышал свой слабеющий голос. Он затухал и прерывался, и я чувствовал своё бессилие и невозможность разрушить стену, вставшую между мной и залом. Тогда я остановился и, собрав силы, в отчаянье, срывая голос, выкрикнул:

Товарищ, верь: взойдёт она,
Звезда пленительного счастья!..

Когда я замолчал, было тихо. Потом у ног, внизу, раздался тихий всплеск, словно упал в воду маленький камешек, потом упал второй камешек, третий, четвёртый, и тогда я вгляделся в туман и увидел сидящего в первом ряду директора школы. Он сидел отдельно, прямо перед тем местом, где я стоял, и он настойчиво и осторожно прихлопывал ладонью по ладони. Зал дружно подхватил.

Всё обошлось без последствий. Ящик, в котором я просидел, оказался новым мусорным ящиком, а заперли меня в нём десятиклассники, случайно заметившие, как я в него забрался. Об этом через полгода рассказал мне один из моих товарищей, видевший, как меня заперли, и молчавший до той поры, пока десятиклассники не кончили школу.

Учитель

Он пришёл в аудиторию до звонка и, когда все уселись, отвернулся к доске, ткнул в неё мелом и, не оборачиваясь, громко сказал:
— Муха! Села на доску. Как её поймать?

Кто-то робко пошутил:
— Вызовем милицию.
— Не успеют! — сказал он серьёзно и всё так же не оборачиваясь. — Надо действовать самостоятельно и решительно. Вот так! — Он провёл из точки две линии. — Накидываю на муху лассо, привязываю за оба крыла: одно к оси «x», другое — к оси «y». Есть ещё третья. — Он приставил палец в пересечение осей, слегка отошёл и вытянул руку, не отрывая её от доски. — Многие могут подумать, что это моя рука. Ничего похожего! Это — ось «z»! Откуда взялись три оси? Никто не знает. Ясно одно: без них в мире были бы хаос и анархия. Есть гипотеза о происхождении осей: говорят, что это остатки трёх китов, на которых стоял мир. Есть и возражения: считают, что мир стоит на китах по сей день. У меня на этот счёт мнений нет. У христиан есть Отец, Сын и Святой дух. В начертательной геометрии есть «x», «y» и «z». Это всё, что я могу по этому поводу сказать. В начале Бог сотворил землю и небо. Кого не устраивает, может переезжать на другую планету. Отмечать не буду. Колы ставлю так: из трёх вопросов на два не ответил — кол!

Был он высок ростом, грузен, с лицом древнего пророка и мальчишеским чубом коротких белых волос.

К конце первого семестра мы увидели его на сцене. В спектакле драмкружка он играл чудака-профессора, который удивлялся тому, что люди глупо живут. В финале профессор кончал самоубийством из-за любви к девятнадцатилетней девочке. (На следующий день на лекции странно было видеть его живым.)

К концу первого курса, проникнув в драмкружок и ощутив в себе непреклонную волю к новаторству, я предложил поставить на сцене всю историю человечества — от Адама до наших дней. Предложение моё было торжественно отклонено на совместном заседании всех институтских комитетов (местного, партийного и комсомольского), но я собрал второй драмкружок из тех, кто имел неосторожность одобрить мою идею, и принялся за репетиции.

Затея моя оказалась достаточно безумной, чтоб привлечь и его внимание. То ли из чувства сострадания, то ли из-за протеста против общественного благоразумия он взялся исполнять на пианино музыкальную часть постановки. Ему пришлось играть композицию из кусков «Лунной сонаты», Первого концерта Грига, «Революционного этюда» Шопена, концертов Мендельсона, Рахманинова и Чайковского. Потом, на спектакле (который длился пять часов и представлял собой беззастенчивое смешение крика, мистического шёпота, патетических музыкальных обрывков и бешеного мелькания разноцветного света), успокаивая в антрактах потрясённых зрителей, он мрачно объяснял:
— Мы ломаем отжившие традиции! Современность требует ритмов. У нас нет времени слушать отдельно Бетховена, а потом Грига. Мы совмещаем их в Григо-Бетховена. Григ поразительно дополняет Бетховена! В следующем акте Рахманиново-Шопен с Андерсено-Пушкино-Блоком. Держитесь!

И, подтягивая под кителем полковника широкие брюки, серьёзно прибавлял:
— Пузо никак не вырастет. Штанам не на чем держаться!

Играл он ещё на альте и на скрипке в квартете. На репетициях руководитель квартета студент первого курса Вайншток-Габуния кричал на него:
— Брехня! Альт вам не начертательная геометрия! Трудиться надо.

Он молча повторял неудавшиеся пассажи и после репетиции называл Вайнштока-Габуния великим музыкантом и жертвой технического двадцатого века. А на занятиях по начертательной геометрии протыкал его корявые чертежи

остро отточенным карандашом и, посапывая от напряжения, ставил колы.

В молодости он преподавал биологию. Потом, неожиданно для всех, рассчитал какой-то новый котёл и получил звание доктора математики. Через несколько лет сделанный по его расчёту котёл взорвался и его лишили звания и уволили из университета, где он к тому времени читал математику. Нигде не работая, живя впроголодь, он стал изучать строительную механику, защитил диссертацию, получил звание кандидата и поступил в железнодорожный институт читать сопротивление материалов. Однажды на заседании кафедры назвал заведующего «доисторическим моллюском», перешёл на другую кафедру и стал читать начертательную геометрию.

Была у него дочь. Она вышла замуж и уехала. Домой к себе он никого не приглашал. На стенах в его комнате висели написанные им маслом и акварелью картины. Бывали у него Вайншток-Габуния и я.

Вайншток переехал на третьем курсе в Архангельск, а я после второго курса уехал в Москву учиться в Литературном институте.

Меня провожали товарищи, которых я успел приобрести за прожитые к тому времени двадцать лет. По радио объявили, что до отхода осталось пять минут. Я стоял на подножке вагона и первый увидел его большое, прячущееся в толпе тело в чёрной железнодорожной шинели. Я подбежал к нему. Мы обнялись, и он сказал то, что я запомнил на всю жизнь:

— Бог создаёт полуфабрикаты, человеком каждый становится сам. Или не становится. Трудись. Буду следить издали.

Мы поцеловались, и потом, отбежав и вскочив на поплывшую вдоль перрона подножку, я смотрел, как он шёл за поездом, опустив голову и толкая людей. Я подумал, что больше его не увижу,—очевидно, по ассоциациям, вынесенным из книг. Мне ещё несколько лет потом предстояло вытравлять из себя книжность—в студенческих заработках на ночных вокзалах, в открытии собственных пороков, в непредвиденном величии первой любви. Я узнавал вокруг себя то, что до этого видел только в себе. От этого у меня возникло к людям чувство родства с ними, и я стал их любить.

Я увидел его через десять лет, когда вышла первая книжка моих рассказов. Я надписал её и пошёл к нему домой. Он сам открыл дверь, и я его узнал сразу, потому что он не изменился. Он ожидающе смотрел на меня.

— Это—я!—сказал я, уверенно предвидя его радость.

Он отошёл от двери и сел в кресло.

— Закройте за собой дверь,—сказал он, не глядя на меня.

Я сел, помолчал и достал книгу.

— Вот!—сказал я.—Моя книга.

Он взял книгу и, не раскрывая, повертел в руке.

— Не помню, голубчик.

— Я у вас учился в институте. Я писал пьесы, и мы их ставили. Вы играли на пианино, приходили ко мне домой на репетиции. Ещё был Габуния-Вайншток…

Он жёстко перебил:

— Не помню!

— Вы провожали меня, когда я уезжал в Москву. Вы сказали, что будете следить… Я принёс книгу.

Он, напрягаясь, смотрел мне в лицо.

— Какую книгу?—спросил он, тяжело дыша.—Не помню, голубчик…

— Моя книга,—сказал я.—Тут мои рассказы. Они, вероятно, ещё плохие, но я хотел подарить вам первую книгу.

Я чуть не сказал: «Успеть подарить». Я знал, что ему уже больше восьмидесяти и он несколько лет назад ушёл на пенсию.

Он напряжённо смотрел мне в лицо. Потом поднял книжку к губам и несколько раз быстро поцеловал обложку.

— Вспомнили!—сказал я радостно.

Он заплакал.

— Не помню!—повторил он, обливаясь слезами.—Не могу вспомнить. Извините, голубчик!

— Вы ещё сказали на прощанье, что Бог создаёт полуфабрикаты!—в отчаянии закричал я.—На вокзале, когда я уезжал…

Он устало закрыл глаза и сидел так долго, словно собирая внутри себя силы, чтобы ответить. Потом открыл глаза, посмотрел на книгу, которую всё ещё держал в руке, и, успокаивая меня, тихо сказал:

— Я ничего не помню. Это—Божья милость: чтоб легче умирать.

Помолчал и прибавил ещё тише:

— Я прочту книгу. Может быть, я ещё вспомню. Не обижайтесь на меня, голубчик.

Был тёплый весенний день. «Для чего мы приходим в этот мир,—думал я,—если даже лучшие из нас—те, кем мы восхищаемся и кому хотим подражать,—если и они в конце концов приходят к тому, к чему мог бы прийти и вовсе не живший? В чём смысл поисков, страданий, способности вбирать в себя всё, что я вижу и слышу, что открываю в мучительных усилиях души и ума, если всё это потом исчезает и остаются бессильные слёзы и обида на исчезнувшую жизнь?»

Впрочем, я недолго предавался этим древним, наскучившим человечеству вопросам. Светило солнце, мелькали лица людей, сквозь гул машин пели птицы. Тепло и свет наполнили моё тело, и я перестал о чём-либо думать и только наслаждался великим чудом весны, для чего-то обновлявшей каждый год весь этот мир и всё живущее в нём.

Трюк Симадо

Был один из тех неудачных дней, когда, проработав весь день, вдруг сознаёшь, что ничего не вышло и надо всё начинать сначала, и с обидой и ненавистью к себе вспоминаешь, сколько раз за день, отчаянно глотнув воздух, уходил в глубину и, так и не достав дна, выплывал, боясь задохнуться.

В такие дни слабеет воля и ускользает вера, и надо вернуть её, иначе не станет сил работать завтра—не станет сил снова сесть за стол, победить страх перед бумагой, взять ручку и написать первую фразу. Потом зачеркнуть её и написать снова, заменив в ней только одно слово, а потом заменить другое слово, потом—третье, потом опять вернуться к первому и вдруг зачеркнуть всё и написать совершенно новую фразу и всё в ней начать сначала, и так до тех пор, пока из нескольких перечёркнутых страниц не возникнет наконец простая и спокойная, и ясная, как дневной свет, единственная фраза.

В тот день я не написал ни одной строки и, отравленный отчаянием и неверием в себя, пошёл по улицам без цели и без желания кого-либо встретить и так шёл, пока случайно не очутился перед цирком, и тогда, ничего не решая и ни на что не надеясь, машинально пошёл в цирк.

Первое отделение подходило к концу. На манеже стояли две башенки со ступеньками и с туго натянутыми между ними канатами. Артистов было шестеро: четверо мужчин и две женщины. Женщины становились на головы мужчин, и мужчины легко и просто поднимались с ними по ступенькам башенок, проходили по канатам и спускались.

Потом тот, кто был пониже и старше всех, взял на лоб длинный толстый шест—«перш», а другой, молодой, широкоплечий и высокий, встал на конце перша на руки, а потом—на голову, расставив для равновесия руки и ноги, и нижний стал подниматься с ним по ступенькам башенки. Но сначала, ещё до того, как ему поставили на лоб перш—я заметил его отдельно от других—он несколько раз медленно вдохнул воздух. Я узнал знакомое состояние ожидания и предвиденья трудности—состояние, когда готовишься нырнуть и набираешь в лёгкие побольше воздуха. Когда перш поставили ему на лоб, лицо его было спокойно, а я уже знал, как он пришёл к этому спокойствию, и уже следил за ним со странной и напряжённой заинтересованностью.

Он неторопливо поднялся на площадку башенки, осторожно повернулся лицом к канатам, поставил одну ногу на канат, вторую на второй канат, чуть согнул ноги в коленях, расставил руки и сделал первый шаг.

Шаги были короткие, точные, упругие и неправдоподобно верные и вели к зыбкой площадке на середине канатов. Когда он ступил на неё, цирк вздохнул. Непонятно было, как он сойдёт теперь вниз и как снимут с него перш.

Он постоял на площадке, словно осваивая новую почву под ногами, и вдруг ноги его подломились в коленях и стали сгибаться. Они сгибались медленно и не оттого, что давил перш, а—подчиняясь скрытой внутри них силе, которая боролась и с першем, и с балансирующим наверху человеком, и с упругой дрожью натянутых канатов.

Когда он сел на площадку и вытянул перед собой на канатах ноги, цирк замер, потому что все поняли, что он хочет сделать. Я почувствовал боль в затылке и на лбу и схватился за край стены в проходе, где стоял.

Он осторожно согнул одну ногу и, уперев её в край площадки, стал медленно валиться на бок. Перш врос ему в лоб. Он не отрываясь смотрел вверх. Расставленные в стороны руки перехватывали в воздухе невидимые упоры, удерживая его на вздрагивающей от каждого движения площадке. Ноги, неторопливо сгибаясь и снова выпрямляясь, передвигались вокруг тела и поворачивали его под основанием перша отдельно от прикованной к першу головы, и вдруг ноги верхнего, расставленные над вершиной перша, вздрогнули и тоже стали поворачиваться.

Перш с опрокинутым на его вершине человеком медленно повернулся вокруг своей оси и замер. Человек внизу снова сел, вытянув ноги на канаты—так, как сидел до того, как начал поворачиваться. (Потом, в разговоре со мной он назвал это «пируэтом».)

Цирк всё ещё не смел аплодировать, потому что после всего пережитого вместе с ним все видели, что ему ещё надо теперь встать на ноги, пройти по канатам вторую половину пути до второй башенки и спуститься по ступенькам вниз.

Он подобрал ноги, согнув их в коленях, и упёрся в колени руками. Неожиданно ноги стали поднимать его, и это было неестественно, потому что для этого мало было тех мышц, которые проступили в этот момент на его икрах и бёдрах, а нужен был ещё и дополнительный упор в площадку руками. Руки его упирались в колени, и поднимала его скрытая внутри него сила, которая спокойно и постепенно нарастала и заставляла его выпрямляться. А когда он выпрямился и постоял, привыкая к канатам под ногами, а потом сделал первый короткий нащупывающий шаг, я уже не сомневался, что главное пройдено и, как бы он ни устал, он теперь дойдёт до конца.

Вдруг он остановился, сделал шаг назад к площадке, пригнулся, поправляя что-то внутри себя, и постоял так, согнув колени и напряжённо вглядываясь вверх. Потом снова выпрямился и расставил руки.

Казалось, он шёл медленнее, чем когда шёл на середину, потому что теперь все хотели, чтобы он

прошёл скорее, пока у него ещё были силы и пока ничего не случилось и он не упал.

На площадке второй башенки он постоял, осваивая под ногами твёрдую почву, потом всё так же, не торопясь, словно начиная только номер, сошёл по ступеньками вниз, вышел на середину манежа, скинул коротким движением головы перш с прыгнувшим с него человеком и, прищурив и без того узкие глаза, оглядел цирк. Потом быстро поднял руки, и все его партнёры подняли руки, а люди вокруг что-то кричали и свистели, и хлопали изо всех сил.

Я прошёл за кулисы и стал ждать, пока он оденется и выйдет из своей уборной. Пока он оделся, я узнал, что он — знаменитый Симадо и что то, что он только что сделал, делает он один и никому повторить это пока не удалось.

Я ему сказал то, что успел вместить в слова. Он, прищурившись, молча, не улыбаясь, слушал меня, а потом один раз сразу за всё улыбнулся и поблагодарил. Мы поговорили ещё немного, и из нескольких случайных и небрежных его фраз я узнал, что «трюк» этот (он называл это «трюком») он сделал впервые в 1953 году и с тех пор делает его каждый день тринадцать лет. В этом году впервые в жизни он взял отпуск и отдохнул, и теперь после отдыха ему трудно работать, потому что за месяц мышцы отвыкли от нагрузки.

— Исполнится пятьдесят лет — и уйду на пенсию! — он улыбнулся второй раз.

Отца его, корейца Симадо, продали в Россию японцы. В России он стал циркачом, женился на русской, работал перш с сыном. В 1933 году отец попал в железнодорожную катастрофу и единственный из всех пассажиров чудом выжил, потеряв ногу.

Потом его арестовали, и он умер. Потом реабилитировали.

Всё это время сын заменял его и нёс за него его перш. И несёт по сей день. Каждый день. Тридцать с лишним лет. А всего в цирке — сорок два года. Сейчас ему сорок восемь и на лбу у него под волосами обычная для всех «першевиков» большая круглая мозоль.

Молитва

Узкоколейка от Джезказгана до Карсакпая стрелой упиралась в горизонт. На холмах паровозик отчаянно лязгал буферами, откатывался назад, долго неслышно набирал пар и вдруг с разбегу снова шёл на подъём.

Станции встречались редко. На станциях были саманные домики, юрты, верблюды, голые дети и женщины, укутанные в платки.

По степи медленно ползли тени вагонов.

Я сидел на подножке открытой товарной платформы, заваленной глыбами медной руды, и дремал.

Кто-то толкнул меня и спокойно сказал:

— Посторонись, начальник. Старики сядут.

Их было трое. Они стояли за его спиной и молча смотрели на меня. Узкие прозрачные бородки, в тёмных тяжёлых складках сморщенных лиц — выцветшие глаза.

Я помог им подняться. Они сели на куски руды, как садятся на ковёр — поджав под себя ноги, и облокотились на низкие борта вагона, как облокачиваются на подушки. Потом они посмотрели на солнце и что-то по-казахски сказали тому, кто меня разбудил. Он не ответил им, махнул рукой и присел рядом со мной на подножку.

— Боятся, — сказал он. — Солнце сядет, а они помолиться не успеют.

— Пусть молятся, — сказал я. — Кто мешает?

— Для молитвы земля нужна.

Поезд тронулся. Старики на платформе закрыли глаза и задумались.

— Всю жизнь в овец и верблюдов вложили, а сыновей проморгали, — сказал тот, что меня разбудил.

— Умерли сыновья? — спросил я.

— В город уехали. Старики хотят их теперь в юрты вернуть.

— Вы из города или из юрт? — спросил я.

Он работал в Карсакпае на медеплавильном заводе, у него был отпуск, и товарищи попросили его привезти стариков. Сыновья надеялись уговорить стариков остаться с ними.

— Мой отец тоже в юрте, — сказал он. — Мой отец всё понимает. Он не уговаривал меня остаться. Но он не поехал со мной. И я его понимаю.

Далеко впереди забуксовали колёса паровоза. Поезд остановился.

— Пару не хватает, — сказал мой собеседник. — Назад пойдём.

Резкий толчок. Быстро бегущий от платформы к платформе лязг буферов. Поезд ползёт назад.

Старики на платформе открывают глаза и удивлённо смотрят на нас.

Из лиловых туч на горизонте сползает на землю большое солнце.

Старики начинают волноваться, о чём-то быстро говорят, мой собеседник успокаивает их.

Поезд замирает. Старики решительно, торопливо перелезают через борта платформы, и мы помогаем им, потому что они могут упасть.

На земле они отбегают от поезда, скидывают туфли, торопливо достают из-за пазухи маленькие подстилки, разостлав их, становятся рядышком на колени, поднимают голову к небу и что-то ищут.

Собирают в ладони землю, протирают ею руки, высыпают землю перед собой. Вдруг, всплеснув руками, резко запрокидываются, схватившись за голову, безмолвно, истово взывают о помощи. Обессилев, припадают к земле, затыкают руками уши, лихорадочно шепчут, шепчут, шепчут…

Паровоз впереди взвизгивает и гулко встряхивает вагоны. Поезд трогается.

Они испуганно оглядываются на поезд, невольно поворачиваются лицом к нам, растерянно, в замешательстве простирают к нам руки.

Мы не смеем нарушать безмолвие молитвы и не можем крикнуть. Мы молча бежим к паровозу и размахиваем руками. Поезд останавливается.

Наступает тишина.

Старики молятся и смотрят на нас, стоящих около паровоза, и низко опускают головы, и мягко, нежно покрывают землю ладонями.

В багровой беспредельности степи слышится нам мольба о нашем счастье. И мы узнаём в ней забытую доброту наших отцов. И наши порывы. И тайную нежность скрытой от нас сыновней любви.

Артём Саакян

За два дня до смерти он сказал жене:

— Я состою из костей, кожи и отёчностей. У меня не хватает сил дышать.

Он не знал, что ему уже нечем дышать.

Полтора года он ждал выздоровления. Полтора года жена знала, что у него рак лёгких, и не верила, что он умрёт.

Один из врачей как-то сказал, что диагноз ошибочный. Вечером собрались соседи, родственники и друзья. Пили вино, смеялись и шёпотом поздравляли друг друга и жену. Через день ему стало хуже.

Детей у него не было. Он вырастил сына умершей при родах свояченицы. Ребёнок болел менингитом. Отец отказался от него и всю жизнь горько удивлялся:

— Зачем его растить?!

Он отвечал—чтоб объяснить необъяснимое:

— Мальчик приносит мне счастье.

Мальчик приносил со двора камни и бил посуду. Случалось, что он падал и бился в судорогах, и тогда надо было держать его, чтоб он не разбил себе голову. Мальчик не умел плакать. Чувствуя боль, он молча вздыхал.

Ужены его была ещё сестра. Она потеряла мужа и не имела детей. И болела. Он взял её к себе и сказал:

— Будешь иметь всё то, что имеем мы.

Он был бухгалтером, и его считали хорошим работником. Чтобы заработать больше, он выезжал на время отпуска в районы и выполнял «аккордные работы».

Сестра жены на шестидесятом году жизни неожиданно вышла замуж за тихого дряхлого старика. Они договорились жить вместе и заботиться друг о друге, чтоб никому не быть в тягость. Вскоре они заболели, и он взял их к себе обоих.

Были у него друзья, и были увлечения. В молодости он увлекался математикой. Ему помешала история: началась Мировая война, за ней—Гражданская. После женитьбы он увлекался шахматами, потом нардами.

Любил он ходить в гости, и любил сам принимать гостей. Жил он открыто, недостатков своих не скрывал, и там, где был он, было радостно и откровенно.

В день смерти, под утро, он разбудил жену и сказал:

— Вызови скорую помощь. Мне надо сделать укол.

После укола он потребовал разбудить соседа, и когда тот пришёл, попросил поехать за близкими друзьями.

Меня разбудил громкий стук в дверь и крик.

Когда мы приехали, он задыхался. Он посмотрел на нас—на мою мать, на отца, на сестру и на меня—па каждого отдельно.

Потом показал на грудь:

— Если вырвется это всё… тогда не умру…

В окнах рассветало.

Он жадно высасывал жизнь из шланга кислородной подушки.

Вдруг отбросил шланг и сказал:

— Ничего не выйдет.

Ему всунули шланг в рот. Он слабо покачал головой.

— Нет сил. Всё. У меня выступает пот. Это предсмертная испарина. Я ухожу. До свидания.

Он протянул жене темневшую сквозь кожу кисть руки с отёкшими пальцами. Потом, поняв, очевидно, что не успеет попрощаться с каждым, махнул всем рукой.

Жена стала пронзительно звать его. Он что-то беззвучно ответил ей губами и быстро погас.

На улице оглушительно пели птицы.

Кто-то судорожно зарычал. Это впервые в жизни плакал не умевший плакать его приёмный сын.

Зинаида Миркина

Пробудившаяся душа

Надпись на одной из книг Армена Зурабова, подаренной нам с мужем, кончается словами: «борцам за незримое». Так он нас чувствовал. Но слова эти, прежде всего, относятся к нему самому. «Незримое» — то, что нельзя ухватить руками, на что нельзя опереться телом, что невозможно присвоить.

Когда Фауст захотел войти в Первооснову Жизни, в таинственную глубину — «к матерям» всего живого, Мефистофель задрожал. Чёрт войти в эту незримую Первооснову не может. Там «Ничто»,— с трепетом говорит он.

— В твоём «Ничто» я мыслю *всё* найти,— отвечает ему Фауст.

Чёрт исполняет все его желания. Он как будто всё может. Но нет — где-то его могущество кончается. Там, где Любовь, где истинное Творчество, там чёрта нет. Чёрт — потребитель. Он может владеть тем, что создал не он. Создавать он не может. Создаёт Дух. Но это ведь «ничто».

Не обязательно быть чёртом, чтобы испугаться «Ничто». Огромное число людей, как будто вполне положительных, добропорядочных боятся этого «Ничто», как хвостатый Мефистофель. Им нужна опора видимая, осязаемая, земная. А тут Незримое. Что это?

Может быть, То, чем мы дышим, без чего нет жизни?

Есть у Армена Зурабова прекрасная пьеса «Лика». В ней всего два действующих лица: две сестры. Два человеческих типа. За кадром — мать, пришедшая в ужас оттого, что одна из дочерей бросает мужа, уходит из роскошной квартиры в родительскую хибарку. Мать шлёт телеграмму второй дочери, чтобы приехала и образумила сестру. И вот — диалог сестёр. Одна — испугалась Любви и предпочла удобную, обеспеченную жизнь. Другая — не может жить без истинной Любви и боится только одного — ненаполненного сердца, неглубокого, поверхностного дыхания. Одна — предала Любовь, которая могла бы быть взаимной, счастливой. Другая — отваживается на любовь неразделённую, но переполняющую её сердце. И вот, та, что приехала, чтобы образумить сестру, в конце пьесы говорит сквозь слёзы: «Поздно. Я ничего уже не могу. Всё, всё. Родная ты моя, солнышко моё, ты не сдавайся, у тебя всё будет, вот увидишь, всё будет, святая ты моя! Никого не слушай. Все мы мизинца твоего не стоим. Мы не живём. Мы существуем. Медленно умираем. И так нам и надо! Так нам и надо! Ничего у меня больше нет… И не будет. Никогда ничего не будет! У меня больше нет сил. У меня нет сил». *Плачет.*

И последняя реплика другой сестры, главной героини пьесы, Лики: «Как странно, что это плачешь ты, а не я».

Лика обездоленная, но живая. Нина, её сестра, вполне благополучная, имеющая всё, что, казалось бы, человеку нужно, кроме этого самого «ничто», без которого, оказывается, нет жизни, есть одно существование.

Мёртвые души среди полного довольства, которое им казалось раем, и живые души, совершенно ничего не имеющие, нищие, обездоленные.

Мёртвые — в раю, живые — в аду. У ливанского поэта, христианского мистика Халила Джебрана есть такие слова о Христе: «будучи побеждённым, Он знал, что Он — победитель». Да, победитель — тот, кто между хорошо сервированным существованием и жизнью выбирает жизнь, которая каким-то чудом остаётся, даже когда Он умирает. Это тайна. Но тайна эта — центр творчества Армена Зурабова.

Я познакомилась с его творчеством в середине девяностых, когда увидела по телевизору трёхсерийный фильм «Монолог Камо». Тогда тема эта была не в моде. В коммунизме мы разочаровались и были убеждены, что переросли всех тех, кто верил в него, боролся за его идеалы. И вдруг нам показывают фильм о Камо, сталинском соратнике, совершавшем уголовные преступления, грабившем банк.

(В 1921 году, за год до смерти, готовясь поступать в Военную Академию, Камо с помощью жены Софьи Васильевны Стасовой, внучки Стасова, впервые читал и осмысливал русскую литературу. Зелёная тетрадь, куда он записывал свои сочинения и размышления, и послужила автору Армену Зурабову материалом к написанию романа. Зелёная тетрадь хранилась в Тбилиси в архиве грузинского филиала ИМЛ.)

С экрана смотрят на нас огромные неподвижные глаза. Смотрят на нас, смотрят в мир с молчаливым, глубоким вопросом. Он хочет понять, что он должен делать для спасения этого мира. Мир

надо спасать — это он чувствует ясно; спасать от зла, от эгоизма, в котором, по его убеждению, и сосредоточилось всё зло. И он не пожалеет жизни для спасения мира. И если переступает черту — совершает преступление, то только во имя революции, которая должна спасти людей.

У него есть святыня. Во имя неё он и действует. Святыней его с раннего детства была мать. Мать говорила ему когда-то: «Пока душа спит, человек думает о себе. Когда душа просыпается, человек думает о других. Душа у тебя рано проснулась, Сенько. Бедный Сенько, душа не даст тебе спокойно жить».

Да, спокойно жить ему душа не даст. При всей разнице между ним и Ликой — другие проблемы, другой поворот судеб — есть одно безусловно общее — Душа. Проснувшаяся Душа, которая не даст им обоим спокойно жить.

Есть такие строки у одного замечательного духовного поэта Александра Солодовникова:

Мной не владеют больше вещи,
Всё затемняя и глуша.
Но солнце, солнце, солнце блещет,
И громко говорит Душа.

Очень громко говорит душа у героев Армена Зурабова. Она всегда живёт, а не существует. Камо (Семён Тер-Петросян) шёл в революцию, чтобы защищать свою святыню. Но вот революция совершена, и ему надо теперь не действовать, а думать. Он и думает: вдумывается, вглядывается в свою душу и внезапно понимает, что о том, что происходит внутри, можно рассказать только стихами: «Сталин поэтому и писал стихи, — размышляет Камо. — Потом бросил. Сталину не надо рассказывать о том, что внутри. Ему это смешно. Он раз и навсегда перестал заниматься смешными вещами. А мне?»

Нет, ему не смешно. Любовь и Поэзия — это же сама его Душа. Ведь он, оказывается, поэт. Пишет или не пишет стихи, всё равно поэт, как и его автор. Оба они смотрят на мир глазами поэта.

Перед ним раскрывается сейчас вся классическая русская литература, которая только о Душе и думает. Он читает литературу эту с такой серьёзностью, с таким глубоким вниманием, с каким только цельная душа ребёнка может открывать мир. Всё видится ему поэзией, потому что всё, что читает он, касается Души так глубоко, так бережно… Вот как снежинки падают за окном и ложатся на золотой купол Храма.

Так что же, смотреть на купол, на эти снежинки и… думать? Но ведь надо дело делать! Как это совместить?

Ведь «мир во зле лежит». Этот прекрасный мир, в котором есть Любовь и Поэзия, уживается с чудовищным злом. Это он узнал ещё с детства. У него была удивительная мать. Может быть, святая. Когда она молилась в церкви, маленький Сенько молился, глядя на неё. Как-то он спросил её: «Когда ты молишься, глаза у тебя открыты или закрыты?» — «Не знаю, Сенько», — отвечала мать. Она так уходила вся внутрь, что себя не видела, о себе не знала. И он за ней уходил куда-то в неведомое уму святое святых.

И вот ночью дома раздаются крики. Пьяный отец бьёт мать. Девочки в длинных ночных рубашках жмутся в страхе к стене, а двенадцатилетний Сенько берёт топор и идёт в родительскую спальню. Он пустит топор в ход, если отец не остановится. Решимость его так очевидна, что отец выпускает жертву, беспомощно повторяя: «Сынок, ты что?.. Ты что, сынок?..»

Это пролог всей жизни Камо. Решимость защищать свои святыни остаётся в нём навсегда. Любовь к святыне придаёт ему поистине чудотворную силу.

Мать его прекрасна. В мире есть что-то бесконечно прекрасное. Но в мире есть нечто чудовищное, невероятное. В повести «Тетрадь для домашних занятий», по которой создан фильм, есть страницы, запечатлевшие эпизод турецкой расправы над армянской семьёй. Ничего страшнее я не читала. У меня не хватит сил пересказать это. Скажу одно: рядом с этим удушение евреев в газовых камерах может показаться чем-то куда менее страшным.

Так вот, *это есть*. И смириться с этим невозможно. Что же делать?

А ведь подобный вопрос мучил Ф. М. Достоевского, даже стоял в центре его творчества. Он задаёт его себе самому, Богу, нам всем устами Ивана Карамазова. Иван спрашивает своего кротчайшего брата Алёшу: что делать с садистом-генералом, затравившим собаками мальчика на глазах у его матери? И первый импульсивный ответ Алёши: «Расстрелять!»

Он спохватывается, понимает, что сказал что-то не то, но сказал ведь, не выдержал. И вот Иван читает, вернее, рассказывает ему свою поэму о великом инквизиторе. Об идейном инквизиторе, совершенно честном, бескорыстном. (Надо представить себе, что такой возможен.) Он любил Христа, даже верил Ему, был монахом-аскетом и понял наконец, что был идеалистом-романтиком, что сам Христос — идеалист-романтик, а романтика не справится со злом мира сего. Надо бросить её и взяться за дело. Если ты и вправду любишь людей, надо видеть их такими, какие они есть. Думать о них высоко — значит не любить их. Они на самом деле маленькие, жалкие существа. И Христос, зовя их на неслыханную духовную высоту, взваливал на их плечи бремя невыносимое. Он хотел сделать их свободными, но свобода для них труднее всего. Они не могут управлять собой, значит, кому-то надо управлять ими. Человеческому стаду нужен пастух.

Христос выслушивает всё это и целует старика в его «бескровные девяностолетние уста».

— Скажите мне, почему Христос целует инквизитора?—спросил меня однажды Армен.

— Потому что Он видит, что человек этот казнит свою собственную душу и очень страдает, действуя наперекор своей душе,—ответила я.

— Нет,—сказал Армен,—потому что он чувствует, что инквизитор прав.

Этот ответ прервал на время наше общение, я замолчала.

А через какое-то время был поэтический вечер в цдл. И Армен там так говорил о поэзии, что я не могла сдержать слёз. Мне захотелось только обнять и расцеловать его.

Так говорить о Поэзии, когда только-только кончился 20-й век с его вопросом: «Возможна ли Поэзия после Освенцима?». Армен хорошо знал об ужасах 20-го века. Может быть, больше, чем кто-нибудь другой. Но вот он поёт гимн Поэзии. Он дышит Ею. В сердце его Она царит. Но ведь он и герой его должны делать Дело! Причём тут Поэзия?

Оказывается, при всём. Камо дело-то делает ради того, что внутри, а об этом рассказать может только Поэзия. Ради матери, ради Любви, заполняющей его душу, он действует.

Но всё ли, что ему приходится делать, одобрила бы его мать? И сама душа его со всеми ли действиями его согласна?

Нет, не со всеми… Мать умерла, но Камо как бы живёт под её взглядом, всё время оборачиваясь на неё, спрашивая её благословения. И ясно чувствует, что чего-то она бы не благословила. А он всё-таки делает это, вынужден делать…

Грабежа банка мать никогда не одобрила бы. И его триумфа на Дворцовой площади Тифлиса не разделила бы никогда. А после этого триумфа он забредает ночью в сад и спрашивает у одинокого собеседника: «Отчего после победы человеку становится скучно?» Собеседник отвечает, что «победа—это поражение. Настоящая победа—это победа над самим собой».

Камо чувствует тайную правду этих слов, чувствует, что что-то подобное сказала бы и мать, и его собственная Душа, кажется, согласна с этими словами. Душа его тоскует, но Камо спорит со своей Душой и находит такие убедительные доводы, что собеседник начинает сомневаться в своей правоте.

Прямолинейный, требующий быстрых решений ум заглушает многостороннюю, медлительную Душу.

А между тем Душа знает что-то такое, чего не может знать ум. Ум замолкает, когда, выйдя из тюрьмы, Камо видит мир, огромный, удивительный, не вмещающийся ни в какие рамки понятий, рассуждений… «он радовался каждому, кого встречал, пока шёл, и ещё, пока он шёл, всё казалось ему как бы продолжением его тела, и ему даже пришла странная мысль, что, может быть, это и есть его настоящее тело—этот город, и гора над ним, и все горы вокруг, и небо, и воздух, а его руки, ноги, глаза, уши, кожа—только то, что связывает его с телом». И далее: «Пока всё это есть, и даже если останется только пыль от всего этого, я ещё буду жить, и каждый так живёт, и нет смерти, а есть то, что я сейчас чувствую, но ещё до того, как он об этом думал, от самого Метехи, всю дорогу была разрывающая горло нежность ко всему, что он видел, и земля, по которой ступали его ноги, была их бесконечным продолжением… А потом это прошло, и осталась странная, спокойная благодарность за всё, что он почувствовал, и даже к солдатам за то, что они всё это время шли рядом, и к воробью, что по-прежнему сидел у него на плече…»

Так вот что такое Душа… Она, оказывается, совсем не замкнута в этом маленьком теле. Она—всё: Душа—не только он. Она связана со всем, что живёт.

Если додумать до конца, то самое главное—это открывшаяся Душа, чувство связи всего со всем, но… Тогда ведь нужно идти по земле такими осторожными шагами, чтобы, не дай Бог, не наступить на что-то живое, неотделимое от тебя самого. Тогда кого бы ты ни ранил, ты себя ранишь…

А как же тогда действовать? А как же, как защитить мать от пьяного отца и всех от зла?

Был у Армена Зурабова спор с Григорием Померанцем. Они любили друг друга. Но спор был. В статье «Тупики добра» Г. Померанц сказал, что один из его друзей стал красным. Речь шла, конечно, об Армене. И Армен справедливо ответил: «Я не стал красным. Я был им всегда». «Красный для меня,—пишет он далее,—образ веры в реальность построения Царства Божьего на Земле, то есть Мира, основанного на выводах разума». И далее: «Процесс этот включает всю человеческую историю, которая представляется мне как постепенное, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, изживание человеческого эгоизма».

Сильно сомневаюсь в том, что история—процесс изживания эгоизма, и поэтому, идя в ногу с ней, надо одобрять насилие, двигающее историю (так считает Армен), но посмотрим, что пишет А. Зурабов дальше, отвечая Померанцу: «Эгоизм, с которым каждый человек в отдельности не может (или не хочет) справиться сам, претворяется в поступки, последствия которых и есть то, что ставит перед нами история, то есть мы сами. И тогда нам уже неизбежно приходится вместе делать то, чего мы не нашли сил сделать каждый в отдельности». (Подчёркнуто мной.—*З. М.*)

Что же, я хорошо помню это время коллективного энтузиазма, этой радости общего дела, чувство локтя, чистоту устремлений. Души у нас горели. Да, мы думали о других больше, чем о себе. И если где-то была романтика, так именно здесь. Мы были романтиками, верившими в то, что вместе, взявшись за руки, построим царство справедливости и добра.

И о национальной розни (поначалу, во всяком случае), казалось, забыли. Это было особым счастьем для Армена. Армяне в огромном количестве жили и в Тифлисе, и в Баку.

Почему же всё рухнуло?

«Идея была искажена,—говорил Армен.—Что же, и христианская идея пережила страшные искажения, но осталась жива».

Думаю, что не христианская идея, а Христос остался живым. А Он никогда идеей не был. Если вдуматься в идею построения Царства Божьего на земле, то, может быть, будет видно, что в ней самой скрыта задача, непосильная для прямолинейного ума. Царство Божие могут строить только Божии люди, а это люди, у которых есть только один Господин—внутренний.

Да, мы были альтруистами. Мы думали о других больше, чем о себе. *Но смотрели мы друг на друга и все вместе на вождя, а не внутрь себя.* Думая о том, что внутри, мы смотрели вовне. Мы верили вождю больше, чем сами себе. И даже если бы он был таким же бескорыстным, идейным, как великий инквизитор, а не таким, каким оказался на самом деле, даже в этом случае, по самой идее своей он опирался бы на то, что вовне, а не на то, что внутри. На то, что перед глазами, на поверхности, а не на то, что в самой глубине сердца, внутри.

А там ведь «*ничто*», не что-то материальное. Один Дух. Наш реальный вождь не испугался «ничто», как Мефистофель. *Оно* ему стало смешно. Это был дьявол покрупнее Мефистофеля.

Ну а даже если бы испугался? Всё равно был бы вынужден самою своей идеей объединять одних против других и вести одну войну против другой.

«Пока душа спит, человек думает о себе. Когда душа просыпается, человек думает о других». Но ведь думать о других можно по-разному.

В Евангелии есть рассказ о двух сёстрах—Марии и Марфе. Обе любят Христа. Обе думают о других больше, чем о себе. Но, кажется, Марфа думает о других больше, чем Мария. Марфа хлопочет, из сил выбивается, готовя еду для других, а Мария сидит у ног Христа и слушает Его. И Христос говорит, что она избрала благую часть. В чём же эта благая часть?

Может быть, именно в том, чтобы вглядеться и вслушаться в то, что внутри; в том, чтобы пройти *сквозь* видимое и обнаружить *незримое!*

Вот уж что для вождя общества, построенного на законах разума, неприемлемо. Он хочет добиться единения и мира меж людьми. Это великое Дело! Как можно заниматься самокопанием, вглядыванием куда-то внутрь, когда нужно делать Дело?! Прекратить вражду между народами, добиться единения! Ох, как на это откликнется множество благородных сердец! Как рванутся Дон Кихоты защищать всех обиженных, восстанавливать справедливость. Но куда они рванутся? Где Дракон—само воплощённое зло, а где ветряные мельницы? Как их различить? И можно ли Дракона убить мечом?

Единения и мира в очевидности нет. Это есть только в той незримой глубине, в которой открывается тайная связь всего со всем, где становится не очевидным, а сердцевидным—очевидным сердцу—то, что воистину *есть. Вечно есть. Сущность мира. Сущий. Бог.* Бог—не наша выдумка. Не то, что создано нашим воображением. Он—наша Суть. То, что создало нас. Он—Создатель Мира. Это ли не Дело? Есть ли дело грандиознее Сотворения Мира? Он—Творец. А вот Тагор назвал Бога Поэтом наивысшим. Как? Неужели главное, величайшее Дело делает поэт?

Великий поэт 17 века Ангелус Силезиус сказал о Боге так:

> Непостижимо То, что Господом зовут.
> Его покой—в труде. В Его покое—труд.

Труд в покое? Покой в труде?

Мария сидит у ног Христа и, не двигаясь, проделывает минута за минутой, час за часом путешествие в незримую глубину. Только дойдя туда, она сможет делать Дело. Вернее, оно само будет делаться *через* неё. Не надо торопиться. Мария избрала благую часть. В её покое—величайший труд.

Но всё-таки как, как заниматься этим медленным трудом, как можно не торопиться, когда перед глазами происходит столько страшного? Очевидность кричит, а нам надо закрывать глаза и не видеть очевидного?!

Ни великий инквизитор, ни вождь мирового пролетариата с этим смириться не могут. Они хотят спрямить пути, не уходить от очевидности, а действовать в ней.

А значит, надо пустить в ход оружие, направить одних людей против других. И, может быть, главное—подчинить их своей воле. Отнять у них свободу. Передать её вождю. То есть для их же блага сделать из них зомби… О, для нашего же блага, для блага всех людей… Но не наша Душа, не глубокое сердце наше подсказало нам это решение. Вождь, вожди решили это *за* нас и требуют от нас подчинения. Так мы должны подчиняться внешней воле, а не тому, что внутри? Мы—подростки, шагающие в ногу по чьему-то велению? О, конечно, во имя добра и счастья всех людей мы расстреляем одних, чтобы спасти других. «Если враг не сдаётся, его уничтожают». А как же? Иначе нельзя здесь,

в очевидности. А потом нас же уговорят, что мы сами и есть свои враги, и отправят в лагерь на каторжные работы, а мы будем продолжать клясться в верности своему вождю, сохраняя верность идеалам добра и братства.

Рядом будет другой вождь. У него не будет Идеала братства и единения людей. Он будет откровеннее, но методы будут одни и те же. Оба вождя сделают из людей зомби.

Только того, кто открыл собственную глубину, которая оказалась единой во всех, только того, кто открыл в себе внутреннего Господина, нельзя зомбировать.

И в этом главный вопрос: зомби мы или те, кого зомбировать нельзя?

Зомби могут быть бесконечно отважными, предельно мужественными,—бескорыстными фанатиками. Шахиды не боятся смерти и не боятся убивать.

Существованию мира сегодня угрожают зомби, которыми управляет дьявол. Зомби получают приказ от него извне. Внутреннее для них закрыто.

А о том, что внутри, рассказывает Поэзия (к Поэзии я причисляю всё настоящее Искусство). Только Поэзия переводит язык Незримого в зримые образы, даёт форму не имеющему формы Духу; говорит всегда метафорой потому, что всякое прямолинейное, однозначное слово никогда не передаст бесконечной многозначности Вечного Бытия.

Возможна ли Поэзия после Освенцима?

А после Распятия? Но ведь именно тогда, после Распятия, и возникла величайшая священная поэзия, литургическая музыка, византийская икона. Всё это—Поэзия, не испугавшаяся смерти, а глядевшая смерти в глаза и переглядевшая её.

Когда Пётр захотел избавить Христа от страшной казни, он услышал: отойди от меня, Сатана, не о Небесном думаешь, а о земном. Сатана? Это он-то, который думает, что любит Христа больше жизни?

«Больше жизни? Не пропоёт и петух, как трижды отречёшься от меня…»

Как заплакал Пётр, когда всё так именно и произошло.

А когда в Гефсиманском саду молился Иисус и просил троих самых близких пободрствовать с Ним, все трое заснули. Пётр был одним из них. Все не сумели взглянуть в глаза страшной действительности. Спали. А перед глазами Учителя было Распятие, от которого Он никуда деться не мог.

Не рвись! Из ада нет исхода,
Как ни ищи, исхода нет.
За часом час и год за годом
На все мольбы—один ответ:
Стена. Закрытая граница.
Наружу перерезан путь.
Но если вдруг остановиться…
Но если ад вместился в грудь!..
Весь ад в груди?! О, Боже, Боже,
Пути другого не нашлось?—
На плоскости весь мир исхожен.
Но если через, если сквозь…
Но если всё смогу вобрать я…—
Нет на земле укрытых мест.
Есть выход даже на распятье,
Но не с Креста, а через Крест.

Христос есть воскресение и Жизнь вечная. Так Он сам о Себе сказал (в Евангелии от Иоанна). Так что же такое воскресение? Воскресение плоти? Если понимать буквально, то так. Но ведь Он был воскресением ещё до казни. Как это понять?

Я не отрицаю возможности воскресения плоти. Я абсолютно верю во все чудеса, которые творил Христос. И воскрешение Лазаря, и укрощение бури. Мы не знаем возможностей совершенного Человека, возможностей Творящего духа. Мы всегда забываем, какое чудо наш земной шарик, висящий в Ничём.

Но все чудеса, которые происходят перед глазами, не являются тем главным Чудом, которое должна увидеть Душа.

Чудо—не то, что поражает воображение, а то, что преображает Душу.

Так вот, воскресение есть победа Небесного над земным. Есть обнаружение того, что Небесное есть смысл и основа жизни земной, её действительное наполнение. И это обнаруживается незримо в душах людей.

Души любимых учеников должны были дорасти до «безграничной Действительности» (термин Р.-М. Рильке), до Жизни Вечной.

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.

Дорасти до воскресения можно. Пастернаковская Магдалина доросла. И души учеников доросли. Пётр уже никогда не отречётся от Учителя, и все остальные не испугаются Креста и примут то, что с ними сделает мир.

Для чего нужно было принять Распятие? Почему в этом была высшая Воля? Потому что *совершенный, совершившийся Человек должен принять всё внутрь.* Он неразделим с миром, значит, всё страдание мира—в Нём. И однако оно не убило Его Духа. Можно убить его тело, но живым окажется Он, а не те, кто Его убили.

Потрясённые Его страшным страданием ученики почувствовали вдруг то, чего не чувствовали, когда Он был рядом. *Он был теперь внутри них.* Они доросли до Него, до воскресения и Жизни вечной.

Люди слишком натерпелись от костров инквизиции и от тех владык, которые создавали Освенцим и гулаг. Люди освободились от них. Люди ликовали, получив свободу. Только свободу ли мы получили? Свободу или вседозволенность? Это совсем не одно и то же.

У меня была подруга — изумительная учительница, преподававшая литературу в старших классах. Когда к ней попадали те, кто только что окончил первую ступень, она встречалась с маленькими зомби, тупо повторяющими заученное. Первое, что она делала, — расковывала их, давала свободу. Говорите то, что вы сами думаете, не с чужих слов. Они сначала с трудом, а потом с восторгом восприняли это. И вот расковались и стали высказывать кто во что горазд. Тогда она проводила урок под названием: «Моё мнение или моя глупость?».

Всё это мне очень напоминает начало нашей перестройки, телемосты с разными странами, где наша сторона выглядела весьма неприглядно. Стыдно было смотреть на наших людей, повторяющих заученные штампы. Но это скоро прошло. Свободу усвоили быстро. Но свободу ли?

Мы освободились от опеки инквизитора или вождя и с удовольствием стали ощущать себя теми естественными существами, которые могут делать всё, что им диктует их аппетит, их гениталии или их разнузданное воображение. Нет, мы не свободные люди, мы — те же зомби, попавшие под диктат сил, имя которым легион. Силы эти *разворачивают нас в разные стороны*, натравливают одних на других и готовятся разорвать мир на части.

Вот чего испугался Армен. Вот почему рванулся назад, а по его мнению — вперёд. (Есть у него статья «Воспоминание о будущем».) Рванулся к тому, кто обуздает эти кричащие массы и укротит *люди стали безудержный эгоизм, который считать своей естественностью*. Его пробудившаяся Душа закричит, видя всё это. Он стал свидетелем того, что топчут не только результаты коммунистического эксперимента, а само устремление к равенству, братству, справедливости. Он увидел, что Души, вернувшиеся в свою спячку, топчут, клеймят позором тех, в ком Душа пробуждалась, кто думал о других больше, чем о себе.

Да, они были Дон Кихотами. Но *кто не любит Дон Кихота, у того не пробудилась Душа. А кто хочет надеть рыцарские доспехи и идти вслед за рыцарем печального образа с твёрдой решимостью бить драконов и рушить ветряные мельницы, те ещё не сумели дослушать свою пробудившуюся душу до конца.*

И опять встаёт тот же вопрос: можно ли думать о Жизни вечной, дорастать до Неё и безнаказанно допускать всё, что творится в этой временной? Вот так, как ответил Камо своей жене Соне, когда она сказала, что главная борьба — это борьба с самим собой.

«Так что же, — ответил ей Камо, — на улице бьют старуху, а я буду смотреть в окно и бороться с собой?»

Ну, разумеется, нет. Он должен выбежать на улицу, защитить старуху и вернуться домой, не превращая это необходимое временное дело в главное дело жизни. Дело всей жизни всё-таки одно: Рост. Дорастание до Жизни Вечной.

> Дело моё — это рост неизменный.
> Дело моё — становленье Вселенной.
> Дело моё — нисхождение снега.
> Дело моё — бесконечная нега
> В мартовском солнце сияющих веток.
> Дело моё — созидание Света.
> Пальцы лучей во всю даль распростёртых.
> Дело моё — воскрешение мёртвых.
> Мир наш безрадостный, мир неумелый,
> Не отвлекай мою Душу от Дела.

Когда и как можно, а порой необходимо, отвлечься от главного Дела, будет видно в каждой отдельной ситуации. Не может быть правил на все случаи жизни. Тот, кто знает, «как надо», на самом деле ничего не знает. «Как надо» каждый раз узнаётся заново. *Мы смотрим на мир каждый раз свежими глазами*. Каждый раз заново вдыхаем внутрь воздух. «Нищий духом» — это тот, кто *дышит*. Вдыхает воздух, выдыхает, опустошая лёгкие, и вдыхает вновь. Нельзя наполнить воздухом лёгкие раз и навсегда. Можно только выдыхать и вдыхать.

Вдохни глубоко, достань до самой глубины Души, до того священного внутреннего пласта, в котором записано незримыми буквами То, что тебе надо делать здесь и сейчас. И тогда появятся слова, которые зомбированная масса не простит Тому, кто их произносит: «Сказано в писании, а Я говорю: „не человек для субботы, а суббота для человека“». Да, инерционная масса не простит творческому Духу его дерзновения. Но жив только Он, а мертвы они.

Всё зримое отлито в определённую форму. Форма твердеет и умирает. Незримое не имеет формы, но Оно творит форму и не умирает никогда. И — Любовь к незримому была главным в душе Армена. Сквозь всё зримое он видел, чувствовал это Вечное Незримое. Да, может быть, великое сочувствие к страдающим и отвращение к безобразию недочеловеков порою мешало прийти к тому покою, который и есть высший божественный Труд, и всё-таки его пробудившаяся Душа трудилась всегда и создавала Красоту. Трудно найти что-то более прекрасное, чем его фильм «Песни песней», где на фоне божественной красоты природы звучат великие вечные стихи.

Мне хочется закончить мои раздумья об этом очень дорогом мне человеке цитатой из его рассказа под названием «Вечная жизнь». Это рассказ о женщине, мужа которой расстреляли в 37-м. Сама она

провела 10 лет в лагере. А выйдя и встретившись с сыном — юношей, которого оставила первоклассником, стала собирать у себя в доме его товарищей, среди которых был и Армен. И вот что он пишет:

«Она не была для нас ни учителем, ни наставником жизни — она просто вовлекала нас в мир, в котором жила сама, и мы чувствовали себя в нём значительнее и выше, потому что в нём не было придуманных правил жизни, а была сама жизнь, та истинная и, может быть, единственно реальная, которая была над временем и которую она научила нас называть *вечной,* наперекор принятым тогда плоским словам, оградившим мир от его таинственной беспредельности».

Армен Зурабов
Вспомните, кто вы…

Москва: «Артефакт-пресс», 2015

Революционной героикой нас кормили с детства. И перекормили. Легенды о Чапаеве сменились анекдотами о Чапаеве. Умирающая революционная романтика была добита смехом.

Не так ли в своё время был добит смехом рыцарский роман и в литературу въехал на своём тощем Росинанте рыцарь печального образа с тазиком цирюльника вместо шлема? Въехал и стал сражаться с ветряными мельницами. Он был очень смешон, этот длинный, как жердь, мечтатель со своим плутоватым оруженосцем. Кто только над ним не смеялся! Граф и графиня Монтесинос устроили себе уморительное развлечение, выставляя на посмешище доверчивого безумца. И наконец додумались до поединка рыцаря со львом.

Но когда одинокий человек подходит к клетке и раскрывает её, смех сворачивается, гаснет при виде этих двух львов. Смех, убивающий ложную героику, зачёркнут истинным величием. Молчаливо раскрывшейся высотой духа. Оказывается, не так-то просто убить эту высоту. До неё ещё дорасти надо.

Оставлять Дон Кихота безусловным героем невозможно. От него надо спасти тех, кого он спасает. И над ним нельзя не смеяться, видя, как он сражается с ветряными мельницами. Но вправе смеяться только те, кто, смеясь над Дон Кихотом, и над собой смеются.

Нужно уметь высмеять утопичность своих прекрасных порывов, потерю чувства реальности. Но если вы будете высмеивать это извне, а не изнутри, если вы надругаетесь над Дон Кихотом, вы надругаетесь над своим собственным сердцем. Дон Кихота надо спасти от тех, кто понятия не имеет, что такое вера и жертва.

Но, собственно, кто у нас Дон Кихот? И был ли он вообще? Неужели были среди революционеров такие благородные идеалисты?

С революционерами теперь всё ясно. Они не только высмеяны. Они прокляты. Это бесы, и тени их надо изгнать из России, чтобы духу не осталось. Так вот всё просто…

Не знаю, похож ли Симон Тер-Петросян, соратник Сталина, легендарный Камо, на Камо — героя повести А. Зурабова «Тетрадь для домашних заданий» (и телефильма «Монолог Камо», сделанного на её основе), но мне это так же неважно, как неважно было Ивану Карамазову, похож ли его «великий инквизитор» на реальных инквизиторов. Там и здесь схвачена идеальная суть трагического явления. Там и здесь герой становится объектом глубокого раздумья.

Революционерам было совершенно ясно одно. Нам теперь — прямо противоположное. Но опять — всё ясно и остаётся только действовать.

А вот герою Зурабова не всё ясно. Он переживает странное, мучительное состояние, когда надо не действовать, а думать.

Оказывается, это много труднее. А уж додумать всё до конца — труд совсем неимоверный, ибо это значит — разобраться в своей душе, познать себя.

Издавна это считалось религиозным трудом, «духовным деланьем».

Зинаида Миркина

Вячеслав Тюрин

Осязая время

Лесогорские стогна

Слава Тюрин умер. Только через месяц в местной газете появился некролог. Чего ждали? Может, воскресения? Нашла на якутском сайте рубрику: «Ими гордится Усть-Нера: Творческие люди, родившиеся в Оймяконье». Там-то Слава и родился. Что ж никто не возгордился?

А жил он в бамовском посёлке Лесогорск Иркутской области. Не просто так писал в дневнике: «Люблю покинутые места: пустую чашу стадиона, пляж в ноябре, да и сам ноябрь, пожалуй, с его перегоревшими бульварными звёздами, лирописью нагих ветвей и вылинявшим дёрном». Не знаю, какой пляж в Лесогорске. Не доехала.

Хоронили Славу, в один год потерявшего отца и мать, чьи пенсии хоть как-то поддерживали жизнь, на деньги местных предпринимателей. Спасибо им, низкий поклон!

Слава был из тех, кто вне поэзии жить просто не способен — ни физически, ни химически, ни социально. Он отнюдь не риторически заявлял: «Со всей очевидностью полагаю изящную словесность прямым и непосредственным продолжением Священных Писаний и высшим смыслом моей жизни». Так с ним, в нём и было. Ровно так — и никак иначе! Это подтвердит всякий, кто Славу знал. Толя Кобенков, много ему помогавший, грустно говорил: «…каково живётся Славе Тюрину? Я знаю, что Славе Тюрину живётся очень плохо. Тепла ему не хватает». Тогда ещё не было записи в Славином дневнике: «Считать счастливым ещё живущего человека — всё равно, что провозглашать победителем ещё сражающегося воина». Теперь-то ты счастлив?

Я писала предисловие к его первой книжке — Слава победил в конкурсе имени его мистического однофамильца Ильи Тюрина. Рукопись, присланная Славой, полностью отвечала своему первозначению: кипа бумаг, руками исписанных, — перепечатать в Лесогорске было не на чем и негде. Хватило терпения разобрать и прочитать. Так появилась книга «Всегда поблизости». Остальное легко найти в сети. Да не в том дело! А в том, что — прощай, Слава! Прости… Через неделю, 23 марта, ему должно было исполниться 50 лет.

Марина Кудимова

● ● ●

Время неумолимо,
счастье необъяснимо,
существованье мнимо,
верен же только Бог.

Что же нам делать дальше,
дабы избегнуть фальши,
вдаль устремляясь? Даль же
нас застаёт врасплох.

Будучи виноваты,
малость придурковаты,
вскоре займём палаты
жёлтого дома вновь,

где будем жрать баланду
либо собьёмся в банду,
дабы внимать сержанту
Пэпперу. Дабы кровь

мощно играла в теле.
Дабы врачи вспотели,
и на Страстной неделе
нас отпустили вон.

Вон из юдоли скорби.
И мы споём в восторге,
что побывали в морге,
но победили сон.

Сон — не из самых страшных,
бред — не из самых страстных,
хоть и огнеопасных,
если взирать в одну

точку, припоминая,
что была жизнь иная
где-то в начале мая,
только пошла ко дну.

Вспомнишь тут Атлантиду
и затаишь обиду,
не подавая виду,
что удручён весьма

собственною судьбою.
А детвора гурьбою
к снежному склонна бою,
ибо пришла зима.

Исповедь графомана

Я расскажу тебе—про великий обман…
Марина Цветаева

Пока дышу, спасибо за слова
и музыку. Я тронут до мурашек.
Мифологические существа!
Меня, как постояльца меблирашек,
вы звали за собой на острова

с засохшими колодцами дворов
и каменной пустыней вертограда,
манящего, как лучший из миров.
Волнует душу невская наяда,
и нежно возникают волны строф—

как будто в белом сумраке ночей,
как в оболочке опиумной грёзы,
заключена божественность речей,
классическая горечь туберозы,
и кровь бежит по жилам горячей.

Обманывать—ещё куда ни шло:
совсем другое дело—жить обманом.
Нам в этом смысле страшно повезло:
не то что безобидным обезьянам,
уверенным, что лодка и весло—

одно и то же. Может быть, Улисс,
найдя романтику Тартара куцей,
отправился бы в те края, где рис
выращивают, как велит Конфуций,—
когда бы не намёк из-за кулис.

И вправду, не мешало бы сменить
как тему, так и фон повествованья.
Поёт веретено, сучится нить.
И надобно вести существованье:
чело зачем-то мыслями темнить.

Тебе темно? Попробуй огонька
спросить у незнакомца в переулке.
Возможность обознаться велика.
Нарушив одиночество прогулки,
наткнёшься на чужого двойника.

Свидание дороже благ земных.
Я всем желаю всяческого блага.
Жить, о себе невесть что возомнив,
отучит терпеливая бумага,
отвадит чернозём, её жених.

Хозяин тьмы, чьё ремесло—мосты
над хлябью возводить усильем воли,
не жертвами ли страха высоты—
как дочерьми и сыновьями боли—
осуществляются твои мечты?

Хвала тому, кто время превозмог
и пересёк серебряную Лету.
До нитки, разумеется, промок,
а не кричал: «Карету мне, карету».
Не исчезал из виду под шумок.

И всё такое. Разве что в бреду.
В связи с неизлечимостью болезни.
Чем создавать искомую среду,
способствуя возникновенью песни,
чтобы затем идти на поводу

у ритма, разглагольствуя взахлёб
о том, что попадает в поле зренья,
как инфузория—под микроскоп
или ресница—в глаз венцу творенья,
меняющему срочно гардероб
и ноги делающему туда,
где ветер порасклеивал афиши,—
на рынок отрезвлённого труда.
Клин журавлей, словно знаменье свыше,
укажет направленье. Череда

сопутствующих образов в мозгу
затеяла подобье хоровода.
Без ихней пляски долго не могу
держаться: такова моя природа.
Чего не пожелаю ни врагу,

ни собутыльнику в уютной мгле
вагона с человеками на полках.
(Как будто мало места на земле.)
Не спрашивай, зачем рука в наколках
и почему глаза навеселе.

Блажен, кто в этой призрачной стране
живёт, не понимая ни бельмеса.
Как дятел, восседающий на пне
в окрестностях елабужского леса,
внимая соловьиной болтовне.

Духовная что значит нищета!
Я тоже начинаю задыхаться
(хотя не вижу в этом ни черта
блаженного) и мыслью растекаться
по древу, дым пуская изо рта

в любое время года. Графоман
испытывать не должен дискомфорта
на тот предмет, что пуст его карман:
он существо совсем иного сорта,
чем остальные. Взять его роман

с изящною словесностью. (Читай:
с излишествами в области науки
битья баклуш.) Сослать его в Китай?
Или взять недоумка на поруки?
Не замечать, как звёзды—птичьих стай?

Подумаешь, пернатая лузга
в затепленной лазури поднебесья,
когда вокруг дремучая тайга
Вселенной, потерявшей равновесье,
как страх теряют, если дорогá

распутица житья, где вязнет шаг,
осознавая неизбежность тлена,
когда с похмелья куришь натощак,
в козырном листопаде по колено;
и начинаешь думать о вещах,

как говорится, больше, чем они
того заслуживают. И, в итоге,
теряешь драгоценнейшие дни,
сомнительные возводя чертоги
на чердаке, свободен от родни.

Как северные пальмы, фонари,
тень воскрешая, продлевают вечер.
О чём-нибудь со мной поговори,
читающий листву бульвара ветер,
или ступай ко мне в поводыри.

Я плохо вижу, будучи в хмелю.
Кошачьи свадьбы в гулких подворотнях
внушают отвращенье кобелю.
В кабине для звонков междугородных
я призрака за лацкан тереблю.

Над мостовой, искристой от дождя,
клубится мгла, как будто шерсть овечья.
Простёрши длань, стоит кумир вождя,
ползёт туман в сады Замоскворечья,
тоску на пешехода наводя.

Вселенная расторгнутых границ!
Бунтующих темниц орущей плоти!
На месте ветром выдранных страниц
растут другие в том же переплёте.
Что навзничь падать ей, листве, что ниц.

А поутру костлявая метла
под окнами скрипеть начнёт уныло.
Судьба, с чего ты, собственно, взяла,
что существуешь? Хоть бы позвонила.
Давно молчат твои колокола.

Ты пропадала в облаке слюды,
мелькала за решёткою зверинца.
Старьёвщица, ты путала следы,
и я с твоим отсутствием смирился
под шелест окружающей среды.

В конце концов, я к шелесту привык:
он стал для меня чем-то вроде ритма,
гораздого развязывать язык,
когда уже не действует молитва,
последняя надежда горемык.

Я знал тебя в иные времена
как женщину с влюблёнными глазами!
Ты сострадала мне, словно струна,
задета за живое голосами,
от коих остаются имена,

как символ бытия за гранью снов.
Я нынче только песней осчастливлен
и не хочу блуждать в подборе слов.
Пускай прольётся правда щедрым ливнем
и горизонт окажется лилов.

В разлуке

1.

Тополя в июне теряли пух—
он летал повсюду, к одежде лип нам.
И в конце концов небосвод набух,
разразился ливнем.

Люди жались к стенам, искали кров.
Мы с тобой, смеясь, подставляли руки.
Невелик же был тогда наш улов,
но помог в разлуке.

Нынче ветер афишные гнёт углы
на обшарпанных тумбах, и всё поблекло.
Соловью подражая, Бюль-Бюль оглы
не зальётся бегло.

Снова булькает в раковине вода,
телевизор бубнит обо всём на свете.
Наступают осенние холода,
и взрослеют дети.

2.

Словно в бомбоубежище, целый день
я смотрю в окно, как болван на книгу.
Хотя ночью тоже бывает тень,
зато меньше крику.

Населенье спокойнее. Гуще мрак.
Конура, баланда, ошейник с цепью,—
вот и вся наука. Снаружи враг,
и брехня давно стала самоцелью.

Раздражённый кознями сквозняка,
ветер хлопнет дверью.
Ничего не зная наверняка,
не призвать к доверью.

Мир устроен сложно для простофиль,
то есть почва требует удобренья.
Со стола стирая ладонью пыль,
осязаю время.

Юрий Беликов, Владимир Балашов

Псевдоним «Сириец»

Прибывшим в районную глубинку писателям довелось почивать в одном гостевом домике. Ночью кто посапывал с беспечностью младенца, кто выстраивал гармонию классических храпов, а Балашов скрипел во сне зубами, словно на них был песок, стонал и даже плевался. «Ну вылитый верблюд в пустыне!»—подумалось мне. Оказалось…

В своё время он в таком количестве наглотался этого древнего, коварного, собирающегося в тучи песка, что как будто бы и состоял теперь из его плотно слежавшихся частиц, режущих при каждом резком движении его нутро, да и окружающих. И, очевидно, когда носитель этих частиц переходит из бодрствования в состояние сна и, на первый взгляд, должен расслабиться, сцепившийся песок вдруг оживает, преображается и начинает клубиться, превращаясь во внутренний самум!

Вот тогда-то и скрипит зубами в русском офицере поэт…

Не сразу, но постепенно из Володи удалось выцепить скупое признание, что ему довелось тянуть солдатскую лямку в запредельном регионе (мы так и договорились—употреблять именно это слово—без уточнения конкретной страны, а псевдоним «Сириец» всего лишь псевдоним, скорее указывающий на нынешний актуальный смысл) и что он офицер кгб, хотя давно, разумеется, на гражданке и даже побывал в ранге главы прикамского посёлка Уральский.

Однако стихи, которые он писал и продолжает писать, свидетельствовали за их хозяина неизмеримо больше, нежели он сам. В них буквально прорывалось то, о чём человек давал подписку умалчивать. Подписку уже более чем сорокалетней давности. Но давал он её в одной стране, а стихи-то к нему приходят в другой! И у стихов такое свойство—они не могут соврать. Иначе будет видна ложь. Иначе они—не стихи.

У России со времён битвы на Куликовом поле—свои засадные полки. Они существует, но о них лучше не распространяться. Про воинов-«афганцев» знают все, про воинов-«чеченцев»—тоже, теперь уже можно говорить о воинах-«сирийцах». Но были ещё и «вьетнамцы», и «корейцы», и… Встретивший свой шестидесятипятилетний юбилей Владимир Балашов принадлежит к тому самому «и…». А сколько у нас ещё таковых? И в какие полки они при желании могут выстроиться?

—Володя, тебе пришлось в своё время служить в одной из ближневосточных стран. Как ты там очутился? И чем это для тебя обернулось как для человека и для поэта?

—Как сейчас помню, я—в учебке. И на столе в ленинской комнате список заявлений наших солдат, которые просятся во Вьетнам. Огромная такая стопа. Только вот не знаю: отправили их туда или нет? Но даже не это меня сподвигло. Мы с детства верили в очень серьёзные вещи. Не только в марксизм-ленинизм. Например, в любовь к Родине…

—Слышу голоса нынешних оценщиков: «Что это за любовь к Родине, если человека забрасывали в чужую страну с оружием в руках?»

—Пойми, я был воспитан так, что мы защищаем Родину на любой территории.

—Это как в хрестоматийном стихотворении Павла Когана, павшего на полях Великой Отечественной?

Но мы ещё дойдём до Ганга,
Но мы ещё умрём в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя…

—Хорошо…

—Хорошо-то хорошо, но, с точки зрения японцев и англичан, ничего хорошего: ни для нашей «сияющей» Родины, ни для её сограждан…

—Во всяком случае, я тогда особо не задумывался, куда меня пошлют. Сначала заполнил анкету. Потом со мной было собеседование. Затем поступило предложение: «Готовы ли вы?»—«Да, готов!» Конкретная страна не называлась. Назывался регион.

—И вот ты в числе других военнослужащих оказался в том регионе. Чем вам приходилось заниматься?

—Я закончил школу специалистов. Специалист должен был хорошо стрелять, обладать надёжными способами самозащиты, в том числе боевым

самбо и дзюдо, с которыми я сорок лет после этого не расставался. Обеспечить недоступ к тактическим установкам, находящимся на данной территории,—такова была задача нашей спецгруппы. Кроме того, вы должны были обучить местную «флору и фауну» тому, как пользоваться этой установкой. Однако вас чётко уведомляли: «Если установка попадёт в руки противоположной стороны, все пойдёте под трибунал!» Понятно, да?

—А вас по типажу отбирали?

—Да, по типажу. Всех. Это обязательно. Я похож на южанина. В школе у меня кличка была—Цыган. Существовало и, думаю, существует правило: когда тебя забрасывают в тот или иной регион, ты не должен выделяться из общей массы местного населения.

—Отчего в регионе, о котором мы говорим, постоянно, а особенно в последнее время, буквально бурлят кровавые вихри? Что это за фатальная территориальная особенность?

—В своё время я задался точно таким же вопросом: почему этот регион и ему подобные, в том числе наша Чечня, входят в сферу повышенного интереса различных структур? Есть понятие «белая нефть». Это нефть, в которой очень низкое содержание серы. Таких источников мало. В известном смысле мы тоже одни из её поставщиков. Чечня—источник всё той же малосернистой нефти. Помнишь Кувейт? Когда там начался военный конфликт, ведь никаких политических подоплёк не существовало. В Кувейте—«белая нефть». И её наличие в данном регионе вызывает стратегический интерес других государств, особенно тех, где «белой нефти» нет или её кот наплакал.

—Я знаю, что факт службы в том регионе постоянно раздирает твои сны…

—Однажды супруга меня разбудила, потому что я во сне сделал захват. Есть такой специальный приём… Она по щекам меня бьёт: «Ты что, обалдел?..» Причём это по трезваку было. Жена частенько мне говорит: «Ты почему всегда во сне скрипишь зубами?» Как-то один из моих друзей во время экспедиции услышал, как я, находясь в палатке, стал стонать. Он начинает меня трясти. Я выскакиваю из палатки. Он бьёт меня по спине. А я не могу выдохнуть… песок изо рта.

В школе я изучал, что такое самум. А там, в регионе, узнал самум по-настоящему. На вас—маски. Но песком забивает даже их. Рядом фляжка, в которую, по сути, воду брать нельзя, потому что в местных источниках она могла быть отравленной. Во фляжку нужно бросить хлорную таблетку. Хлорная таблетка обеззараживает. Она убивает всё. Но и вас в том числе. Но и не пить нельзя. Это пустыня. Мы жили в больших военных палатках. Начинается ветер. Вы у палаток загибаете все края, но всё равно песок набивается внутрь. Мы могли неделями спать не раздеваясь.

Я возглавлял группу. Мне всегда командиры говорили: у тебя интуиция звериная! Был капитан, который почему-то любил беседовать со мной, если я, допустим, находился на дежурстве. Интересный, сильный физически мужик. При этом—интеллектуально насыщенный. Там, в регионе, нас предупредили: «Вы не можете стрелять до тех пор, пока против вас не вскинут автоматы!»

Когда остались с капитаном наедине, я ему сказал: «Товарищ капитан, я не буду ждать, пока вскинут автоматы. Если я только увижу, что они хотя бы положат на них руки, буду стрелять!» Он—мне на ухо: «Балашов, в лучшем случае мы тебя отправим в Союз. И там где-нибудь спрячем. Понятно, что это будет скандал, если ты прикончишь какого-нибудь советника из американцев». Дудки, что американцы были только советниками! Они реально участвовали в боевых действиях.

Помню, стрельба была шальная, совершенно непонятная—с той стороны. В нашей группе погиб Анатолий К. Я думал, мы Толю дотащим, а не успели. Вокруг пески. И когда он погиб, капитан мне сказал: «Поедешь в Союз сопровождать гроб! Дослужишь в Союзе. Осталось-то два месяца. Не повезут же тебя обратно?» А меня аж колотило: «Товарищ капитан, надо—я два месяца переслужу здесь, только не посылайте…» Он: «Ты, Балашов, дурак, что ли? Все просятся, а ты отказываешься». А я страшно боялся встретиться с родителями Толи. Потому что был командиром группы, а Толя погиб. В Союз отправили других. И я капитану за это по гроб благодарен. Прослужил я в общей сложности, включая учебку, два года и четыре месяца. Но это нигде не обозначено. В пенсии тех лет нет.

—Утеряны документы?

—У меня есть запись в трудовой книжке: «Служба в Советской армии» и… полное отсутствие документов.

—Это у всех, кто с тобой служил?

—Могу только подозревать, но, полагаю, да. Раз со мной произошла такая история… Значит, она могла коснуться и всех остальных. Но обиды нет. Я—советский пацан. И до сих пор чувствую себя таковым. Другой вопрос: когда ты нужен Родине, ты нужен. А когда—Родине возвращать тебе долги, как видишь, не всегда получается.

—Но ведь, наверное, вы, побывавшие в регионе, как-то друг друга опознаёте?

—Была одна интересная история. Я когда Лесотехническую академию в Свердловске заканчивал (после неё были ещё одна академия и университет),

ко мне в комнату, где мы жили с супругой, пришёл полковник Тимохин, ныне покойный. Можешь себе представить заведующего военной кафедрой, который приходит в комнату к студенту?! Я сначала не мог понять, почему он почтил своим визитом именно меня.

Садимся за стол. И полковник спрашивает: «Служил в регионе?» Оказалось, он сам оттуда. Студенты недоумевают: «Балашов дружит с заведующим военной кафедрой?! Как так?»

Я только раз видел у него на глазах слёзы. Вот что он мне рассказал. Идут солдаты одной стороны на солдат другой. Причём с другой стороны—наши ребята. Что делает первая сторона? Пускает впереди себя голых баб. Музей современного искусства отдыхает… А что делает вторая? Её бойцы бросают автоматы и склоняют головы в песок. Потому что мусульмане. А наши-то ребята, шедшие за ними, мордой в песок не ложатся. И первая сторона положила их прицельным огнём. Полковник Тимохин плакал: «Я потерял всех своих офицеров!» И тогда прозвучала такая его фраза: «Всю жизнь за это рассчитываться…»

— Слова, которые можно поставить эпиграфом к одному из твоих стихотворений. У него исчерпывающее название: «Покаяние». Давай вместе его послушаем… Читай…

— Прожитых лет мне, Господи, не жаль.
В них радость встреч, но горькие прощания.
Да только вот бессонница-печаль
Зовёт: «А не пора ль на покаяние?»
Готов ли я? Ведь каялся не раз
В тиши церквей и храмов с перезвонами,
От сжатых губ—до жгучих слёз из глаз,
С молитвами и долгими поклонами.
За то, что я с оружием вошёл
В страну чужую вечным русским воином,
Не трусил, не творил я произвол,
Но чуял: оборачиваюсь вороном.
Я каялся, разбившись среди гор,
Летя по склону сломанным распятием.
И мнился мне тюремный коридор,
Где я хриплю молитву—не проклятия!
И лежа у хирурга на столе,
Привязанный, как на четвертование—
Раздетый! Без исподних! Наголе!—
Просил его простить меня заранее.
Быть может, я, в отключку уходя,
Сознаюсь, как священнику, в содеянном,
И низкие слова скажу, хотя
Давно себя по жизни числю демоном.
Скажу, что неумеренно был лих,
В часы своих ночных кабацких «бдений» я,
Но глубина раскаяний моих,
Гораздо глубже пропасти падения!
…В седых висках, как в зеркале,—мой путь.
Ещё в душе мерцает вдохновение.
Но мне всё чаще хочется взглянуть
На каждое прожитое мгновение.
И молвить: «Не отринь, Господь, меня
За то, что вынес эти испытания!
А может, вот такой и нужен я,—
Прошедший полный путь—до покаяния?!»

— Ах, какое стихотворение, Володя! В нём—даже не сожаление, а какая-то мука. Не только из-за того, что погибли друзья. Твой лирический герой (будем так говорить) тяготится своим участием в чём-то неотвратимом, но как будто бы не совсем праведном… «Но чуял: оборачиваюсь вороном». Знаешь, чем ценна литература, когда человек срывает с себя одежды? Он не боится обнажить перед окружающими собственное сердце. И ещё для русского человека и, соответственно, писателя, очень важен мотив покаяния. И стихотворение твоё как раз об этом. Тут боль—более сложного порядка, переходящая в искупление…

— Я тебе честно скажу: это стихотворение, вообще, из таких, которые меня изнутри разрывают. До полунепонимая того, что я написал…

— Может, сознание тебе говорит одно, а подсознание диктует другое? От этого разночтения и мучается твой герой, а вместе с ним и автор? Так часто бывает. Человек, не испытывающий раскаяния и покаяния, мне, вообще, кажется подозрительным.

— Ух, хорошо сказал: «…человек, не испытывающий покаяния… кажется подозрительным…» Знаешь, я бы прошёл тот же самый путь. Но есть вещи, которые бы выстроил по-другому. Я, может быть, Толю попытался бы как-то оградить от гибели. Пусть сдохнул бы сам, но вот это, до сих пор не отпускающее чувство ответственности наконец бы отпустило…

У меня есть отвратительная черта: я иногда бездумно категоричен. И с годами пытаюсь как-то это отрихтовать. Меня мучает единственное: потеря моих друзей. Умение быть добрым—вот что главное. А мне не всегда это удавалось. В силу ли обстоятельств, выполнения ли каких-то задач, внутренней ли слабости я поступался добротою, и это не даёт мне покоя…

В восемьдесят пятом году я учился в Высшей политической академии. И подал заявление в Афган. Меня вызвали и спросили: «Чем продиктовано ваше желание?» Я ответил: «Почему пацан-бульдозерист должен там пропадать под пулями душманов, а я, профессионал с опытом службы в регионе, буду отсиживаться в столице нашей Родины?»

Мне было сказано: «Вы учитесь в Высшей политической школе? Вот доучитесь, потом будем разговаривать…» И была ещё одна фраза, которую я запомнил на всю жизнь: «Через пять лет умные

люди понадобятся в России...» Откуда они знали, что произойдёт у нас в стране через пять лет? Я был тогда уже офицером КГБ.

— Что за народ живёт в регионе, в котором тебе довелось служить? Насколько он от нас отличается? Потому что, если мы будем говорить конкретно — про ИГИЛ, это ведь во многом люди Саддама Хусейна. Их сильно нагнули. Устранили их лидера, причём облыжным и хамским образом...

— Страшно хамским образом...

— Это примерно то же самое, как если бы Россию обвинили в несусветных грехах, которые — не по её адресу, ликвидировали бы главу государства, и верные ему офицеры решили бы возглавить некое движение. Я правильно говорю?

— Правильно!

— Но объясни: у них что, при этом какой-то другой, совершенно полярный нашему менталитет? Мне когда-то довелось быть в Пальмире. Да-да, в той самой, величественные развалины которой пытались уничтожить игиловцы и где потом звучал наш симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева. Я даже осколыш мягкого жёлтого камня, из которого выточены тамошние колонны, привёз когда-то домой. Недавно снова взял его в руки и думаю: «Уничтожать подобное?..» Они что, какие-то инопланетяне?

— У меня мать мусульманка, хотя она всегда дружила с христианами. Нормальные мусульмане — это такие, как моя мама. Но есть неистовые. Фанатики. И эта неистовость породила войны и в Ираке, и в Иране, и в Египте, и в Ливии, и в Сирии. Они потом поняли, что наша туристическая миграция в их пределы — это денежки. И оттого это с их стороны всячески приветствуется.

Но когда ты служишь в регионе и у тебя появляется, допустим, желание пойти в ближайшую харчевню, сведущие люди тебя предупреждают: «Нельзя!» Почему? Ты не знаешь, что сожрёшь. Когда мой сослуживец прапорщик Сашка вошёл туда, то выжил лишь он, потому что из всех троих наших военнослужащих он один начал блевать. Но был весь жёлтый. Я понял: не дай Бог! Они сегодня тебе улыбаются, а ночью побегут, твари, и доложат, что завтра ты придёшь сюда обедать...

— Когда-то мы точно также вошли, а потом ушли из Афгана, оставив там около пятнадцати тысяч погибших советских солдат. Ты прекрасно знаешь: взгляд на вмешательство в афганские дела уже устоялся в своей неоднозначности. Сегодня в нашем обществе говорят про Сирию. Доводы такие: «Зачем нам влипать в похожую историю? Эта пустыня, эти пески, они нас поглотят...» И опять: вмешиваемся мы и американцы.

— Может быть, это одиозный взгляд: но наше присутствие в той или иной точке мира никогда не было спонтанным. Под этим всегда надо подразумевать три вещи, без которых ни одно государство не существует: экономическое и политическое влияние и признание страны. Посмотрим на американцев: мы уходим из Афгана — они туда тут же приходят. Ирак — американцы. Ливия — тоже американцы... Пальцев не хватит. Чем меньше страна заявляет о своих серьёзных намерениях, тем хуже для этой страны. Я понимаю, что за всем этим стоят человеческие жизни.

— А чем хуже-то? Взять какую-нибудь маленькую, но богатую Швейцарию... В этом смысле она никуда не суётся, кроме финансовой сферы.

— Совершенно верно. Зачем ей соваться, потому что, извините меня, Швейцария — это мировой банк! И опять всплывает экономическая сторона. То, о чём я говорю. Дело в том, что там, где мы не защищаем собственные интересы, там их защищают другие. На сегодня Сирия — один из основных поставщиков мирового топлива. Ну не вошли бы мы туда. Туда вошли бы американцы.

— И всё-таки, насколько, с точки зрения человека, хорошо знающего этот регион, наше участие в боевых действиях в Сирии было неотвратимым?

— Я боюсь говорить прописные истины, но ни одна война не обходится без «груза 200». Любые сражения несут за собой жертвы. Но при всём при том есть цена этих жертв. Прости меня за страшные слова, но становящиеся «грузом 200» являются ценою нашей русской силы и в том регионе. Потому что, если не будем мы, там будут они. И это всегда будет плохо для нас. Я экономист по своему третьему высшему образованию. И пусть это звучит цинично, но любая война несёт под собой какую-то экономическую составляющую.

Я скажу сейчас как простой гражданин без всякого своего боевого прошлого и спецподготовки. Мы хотим, чтобы нам наступили каблуком на башку? Тогда давайте: встанем на колени. Уйдём. Пусть вокруг нас делают что хотят. А мы спокойно за всем этим наблюдаем. Мы же мирные, мы же хорошие. Я не за то, чтобы эти жертвы продолжались. Каждая жертва — это боль отца и матери, друзей и близких. Да моя собственная боль! Но нет войны без боли. Страшно? Да! Беспощадно? Да!

— Есть расхожее выражение: «Бывших кагэбэшников не бывает». В тебе это как-то проявляется? В повседневной жизни вы аукаетесь друг с другом?

— Можно, я завтра тебе скажу? Или опять будешь говорить, что ухожу от ответа? Тогда отвечу так: мы друг друга узнаём. А что касается проявлений... Ты чувствуешь свою внутреннюю приверженность и привязанность, причём не регламентированную

какими-то внешними документами. Меня в Союзе писателей спросили: «Ты сможешь лететь в Донецк?» Я сказал: «Да!», не задумываясь. Там боевые действия. Ну и что?..

— Мне приходилось слышать о типаже кагэбэшников: неприметные, со стальными глазами…

— Чушь собачья! Скорее, это вечная полуулыбка на лице. Интеллектуальное содержание этих людей, оно всегда…

— …выше, чем в МВД?

— *(Аплодирует.)* Без обид в сторону МВД, но это точно! Сотрудники спецслужб — это люди, способные разобраться в сложившейся ситуации гораздо быстрее, чем все остальные.

— У московского поэта Игоря Шкляревского есть такое стихотворение: сын спрашивает отца-ветерана: «Ты воевал… Ты убивал?» Отец отвечает: «Я воевал и убивал». Годы прошли. Сын повторяет вопрос. И отец говорит уже несколько иначе: «Стреляли все, и я стрелял». Снова проходят годы. Сын опять обращается к отцу с тем же вопросом. И вдруг слышит: «Не убивал. Не помню, нет!»

— Я даже не ожидал: у меня аж мурашки по коже пробежали… Я хотел бы сказать именно так: «Не убивал, не помню, нет!» Вот оно! Это ощущение и родило моё «Покаяние».

— Ты играешь на гитаре и поёшь песни на собственные стихи. Удалось ли тебе переложить «Покаяние» на музыку?

— Боюсь подступиться. Это должно быть в стиле Кёльнского оркестра, исполняющего «Реквием» Моцарта.

Геннадий Васильев

Как-нибудь проживём!

Ridero, 2016

В новой книге Геннадия Васильева, как всегда, царствует любовь. Что может быть прекраснее этого вечного чувства, этой главной нашей ценности? Стихи обращены к близким и друзьям, некоторые носят характер посвящений. Автора отличает способность не только к признаниям, но и часто к самоиронии, это добавляет лёгкости и свежести восприятия.

Амнезия

Нам кажется, что человек уходит,
а он себя в другой судьбе находит.
Как будто бы дорогу переходит:
нырнёт себе в подземный переход

и, улицу так прострелив навылет,
он выйдет, на затылок шляпу сдвинет,
из портсигара сигарету вынет —
и время обретёт иной отсчёт.

Для нас оставшись долгим отраженьем,
он заново начнёт своё движенье
в другом, уже не нашем измереньи,
в иных, уже не этих временах.

А мы над отражением уроним
слезу, и постепенно посторонним,
а если быть точней — потусторонним
он станет нам.

И в этом нет коварства никакого.
Он проживёт и трезво, и толково,
а может быть, смешно и бестолково
свой путь пройдёт.

И не волненье — только тень волненья
души его коснётся на мгновенье:
ему приснится странное виденье —
дорожный знак, подземный переход.

Привычка размышлять не даст покоя.
«Подземный переход — ах, что такое?» —
И до мозолей лоб сотрёт рукою,
и до утра — впервые — не уснёт.

Алла Новикова-Строганова

Итальянский адвокат русской литературы

Памяти Пьеро Каццолы

В этом году выдающемуся учёному с мировым именем Пьеро Каццоле (1921–2015) исполнилось бы 95 лет. И вот уже год, как его нет с нами. Профессор Каццола скончался 13 декабря 2015 года.

Уже при жизни его стали называть патриархом, классиком итальянской русистики. Главное место в его исследованиях и переводах заняло творчество Николая Семёновича Лескова (1831–1895)—великого писателя земли русской.

Лесков нередко подчёркивал: «В литературе меня считают орловцем». Множество своих героев он «расселил» на орловской земле, считая свою малую родину «микрокосмом» всей России. Вот почему итальянский профессор стремился побывать в Орле—на родине своего любимого русского автора. Но только в середине 1990-х годов Пьеро Каццола, объездивший с лекциями о Лескове полсвета, смог наконец осуществить свою давнюю мечту. Ранее такая возможность отдалялась по соображениям далеко не литературоведческим. Политический железный занавес между СССР и Западной Европой препятствовал свободному научному и культурному диалогу.

Известного итальянского учёного-русиста я впервые увидела в сентябре 1995 года на Привокзальной площади Орла, куда пришла встретить зарубежного гостя, прибывшего в Орловский государственный университет на Международную научную конференцию, посвящённую 100-летию памяти Лескова.

Высокого роста, сутуловатый, с седыми волосами и аккуратно подстриженными серебристыми усами, с тёплым плащом, перекинутым через руку (по привычным опасениям жителей южных краёв Пьеро Каццола был уверен, что Россия—страна очень холодная), этот пожилой человек с лучистым взглядом производил первое впечатление скорее доброго дедушки, какого-то заморского Санта-Клауса, нежели маститого учёного с мировым именем. В нём не было и следа надменного академизма или пренебрежительного высокомерия, менторской наставительной манеры, нередкой в общении мэтров науки с более молодыми коллегами.

Он так и представился мне: «Коллега Каццола». И, несмотря на более чем сорокалетнюю разницу в возрасте, попросил называть его без всяких

Пьеро Каццола у дома-музея семьи Цветаевых

регалий—просто Пьéро (ударение в этом имени в итальянской артикуляции ставится на первом слоге). Это мне удалось, правда, с трудом и не сразу. Впоследствии Пьеро как-то в шутку сказал, что его имя на русский лад звучит так: Пётр Эрнестович Лопатин (отца Пьеро звали Эрнесто; Каццола в переводе с итальянского—лопатка).

Необходимо пояснить, что в Италии традиционно существует строгий этикет общения, очень развиты субординационные формы, регламентирующие обращение к собеседнику определённого социального круга, образования, общественного положения, возраста. В соответствующем обращении говорящий обязан максимально учтиво выразить свою вежливость и подчеркнуть уважение к собеседнику. Всем известны общие формы обращения в итальянском речевом этикете: «Signore» (синьор) и «Signora» (синьора)—обычно к незнакомым людям. Но если вы точно знаете, с кем имеете дело, без титулов при обращении обойтись нельзя. «Dottore» (доктор)—так следует адресоваться к каждому лицу, имеющему высшее образование. Для выполняющих функции руководителей в министерствах и ведомствах, других государственных учреждениях употребляются титулы «Eccellenza» (ваше превосходительство), «Commendatore» (командор), «Cavaliere» (кавалер) и т. д.

Так что к нашему итальянскому гостю, как минимум, следовало бы обращаться «Signore Professore» (синьор профессор) или «Signore Avvocato» (синьор адвокат). «Почему адвокат?»—спросит читатель. Дело в том, что профессор старейшего в Европе

Болонского университета, преподаватель русского языка, истории русской литературы и русской культуры Пьеро Каццола по его семейной традиции был ещё и опытнейшим адвокатом с обширной практикой. Старинная адвокатская контора на виа Альберто Нота в Турине — столице области Пьемонт на северо-западе Италии — принадлежала сначала деду, потом отцу, а затем и самому Пьеро.

Мне довелось побывать в этой конторе и собственными глазами увидеть, что она была совсем не похожа на обычное юридическое заведение. Будучи в гостях у Пьеро в Турине, я поразилась тому, что даже адвокатское бюро Каццола было насквозь проникнуто увлечением хозяина русской культурой, всё дышало неподдельной любовью к русской литературе. Правоведческие фолианты, подшивки юридических документов, папки с делами клиентов были значительно потеснены русскими книгами, репродукциями картин русских мастеров, даже дипломными работами по русской словесности итальянских студентов профессора (среди этих сочинений были и оригинальные труды на интересные темы: например, сравнительно-типологическое исследование «*Анны Карениной*» Л. Толстого с романом Б. Пастернака «*Доктор Живаго*»). На рабочем столе адвоката красовалась изящная и нежная фарфоровая скульптурка чеховской «дамы с собачкой».

У себя на родине Пьеро Каццола за свои переводы русской классики, научные труды и неустанную просветительскую деятельность стал известен как «адвокат русской культуры». Он выражал симпатии многих итальянцев к русскому народу: «Те из итальянцев, кому довелось побывать в России, кому удалось познакомиться с её историей и литературой, не могут остаться равнодушными, как никогда не были равнодушными ни мои болонские студенты, ни я лично, имеющий в России дорогих мне друзей».

Но любовь профессора к нашей стране первоначально зарождалась не через знакомство с русской литературой и приобщение к русской культуре, как это обычно бывает. Всё началось с тяжёлой семейной драмы. Во время Второй мировой войны на русском фронте без вести пропал старший брат Пьеро — Энцо-Луиджи. Прямо с университетской скамьи, где он изучал литературу и философию, юноша был призван в итальянскую кавалерию, попал на Восточный фронт и уже с 1941 года считался пропавшим без вести.

Военный поход итальянцев в Россию, их поражение, пленение, возвращение на родину спустя долгие годы после войны — трагическая страница в истории Италии. Примечательно в то же время, что отношения России и Италии не отягощены грузом тягостных военных воспоминаний. В русском сознании заклятыми врагами-оккупантами выступали немцы, итальянцы же как агрессоры так

Братья Каццола с мамой. Зима 1940 года

остро не воспринимались. Своего рода жалость к этим уроженцам южных краёв, разгромленным на бескрайних просторах заснеженной русской земли, выразилась в строфах стихотворения Михаила Светлова «*Итальянец*» (1943):

Чёрный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца, —
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый…

Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?
<…>

Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застеклённое в мёртвых глазах…

«Печально вспоминать военные столкновения наших стран, — говорил Пьеро Каццола, — но важно отметить, что они никогда не приводили к антипатии между нашими народами, ведь в войнах 1812 и 1941–1943 годов итальянцев вынудили участвовать диктаторы Наполеон и Муссолини». Случалось, русские даже спасали жизнь погибающим от лютых морозов итальянцам. Это нашло отражение в кинодраме режиссёра Витторио Де Сика «*Подсолнухи*» (1970) с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях.

Затянувшаяся репатриация военнопленных (последние из них вернулись в Италию лишь в 1954 году) затеплила в семьях тех, кто пропал без вести, робкий огонёк надежды: а вдруг их

родные живы и по каким-то причинам остались в Советском Союзе, затерялись в глухих уголках этой громадной страны. Пьеро Каццола во что бы то ни стало решил разыскать старшего брата или хотя бы какой-нибудь его след в далёкой России. Молодой человек стал усиленно изучать русский язык, чтобы легче было вести переписку с советскими инстанциями. Но долгие годы и даже десятилетия все усилия и поиски ни к чему не приводили, никаких известий добиться не удалось.

В 1994 году незаживающая память о любимом брате вылилась в книгу *«Enzo Luigi Cazzola. L'Orma. Poesie e lettere raccolte dal fratello Piero (1936–1941)» («Энцо Луиджи Каццола. След. Стихи и письма, собранные его братом Пьеро»)*, изданную в Турине на средства Пьеро и составленную из стихов Энцо-Луиджи, его писем к родным, любимой девушке Брунелле. Все представленные здесь многочисленные произведения и документы свидетельствуют о том, что на войне юноша был человеком случайным, настроенным пацифистски. Тонкая натура Энцо противилась насилию, что отражалось в его лирике и философских раздумьях.

Мне довелось побывать вместе с профессором Каццолой в Суздали, где недалеко от города расположено Троицкое кладбище. Здесь мы разыскали братскую могилу. На плите из чёрного мрамора по-итальянски — и чуть ниже по-русски –увидели надпись: «Здесь покоятся итальянцы, погибшие в России». Со слезами на глазах Пьеро прочёл «Со святыми упокой…» в память о своих соотечественниках. Все русские, бывшие рядом, также были взволнованы до глубины души.

Поистине неисповедимы пути Господни. Казалось бы, Пьеро Каццола должен был испытывать боль и горечь при мысли о России, поглотившей в своих беспредельных далях его брата. Но, приступив к изучению русского языка и совершенствуясь в нём, Пьеро незаметно для себя всей душой полюбил этот язык, страну, её культуру и особенно литературу. И стал горячим пропагандистом русских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей в Италии.

Сначала студент юридического факультета с наслаждением читал в оригинале русскую классику, а затем явилась мысль поделиться с соотечественниками этой неисчерпаемой сокровищницей, приобщить к ней итальянских читателей. Пьеро стал переводить русские книги на свой родной язык.

Первые переводы рассказов Н. С. Лескова и М. Зощенко были сделаны сразу после войны. Ровно 70 лет назад — в 1946 году — отдельным изданием вышел в свет перевод повести «*Овцебык*» (1862) — первого крупного беллетристического произведения Лескова. А затем были Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Лев Толстой, Чехов, Короленко, Гаршин, Блок, Бальмонт, Цветаева, Ахматова, Гумилёв, религиозные философы Вл. Соловьёв и Евг. Трубецкой, а также многие другие русские авторы, оставившие миру бесценные образцы человеческой мысли и духа. Такой широкомасштабный диапазон вызывает не просто удивление, а настоящее восхищение творческим энтузиазмом учёного, которым руководила, несомненно, огромная любовь к России — та, что, по слову апостола Павла, *долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит и «никогда не перестаёт»* (см.: 1 Кор. 13: 4–8).

Знание русского языка и его истории было у профессора настолько глубоким, что ему удавались даже переводы русских творений XVIII века во всём их своеобразии. Так была переведена на итальянский язык сатирическая комедия В. В. Капниста «*Ябеда*» (1798), содержание которой привлекло Пьеро Каццолу и как литературоведа-русиста, и как юриста. Речь идёт о судебной тяжбе, продажности, плутовстве, никчёмности чиновников. Здесь действуют коррупционеры судья и прокурор с говорящими фамилиями Кривосудов и Хватайко, а также их плутовское окружение: изворотливые сутяжники, подкупленные чиновники, зловредные ябедники, лжесвидетели. Прокурор Хватайко и неправедные судьи распевают любимую песенку — своего рода гимн грабителей-коррупционеров в государственном ранге:

Бери, большой тут нет науки;
Бери, что только можно взять.
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтоб брать!

Благодаря Пьеро Каццоле пьеса стала достоянием итальянских читателей, но в России она основательно забыта. А жаль. Комедия Василия Капниста, как и всякое произведение русской классики, не теряет своей художественной ценности и до настоящего времени продолжает оставаться не менее, но даже более актуальной.

В 1972 году судьба преподнесла профессиональному туринскому адвокату сюрприз. Его деятельность как переводчика и исследователя русской классики была высоко оценена научным сообществом Италии, и он получил почётное приглашение преподавать русский язык и русскую литературу в знаменитом на всю Европу Болонском университете, а впоследствии стал доцентом и профессором этого университета. С тех пор в течение двух десятилетий Пьеро Каццола делил свою жизнь между Турином и Болоньей, между клиентами и студентами.

Сам факт приглашения Пьеро Каццолы на университетскую работу примечателен и делает честь не только ему, но и руководству Болонского университета, сумевшему увидеть и оценить

лингвистические и литературоведческие труды юриста, не имевшего ни учёной степени, ни диплома о филологическом образовании. В России же автору этих строк — доктору филологических наук, университетскому преподавателю с 35-летним стажем — не так давно пришлось услышать от и. о. ректора Орловского государственного университета: «Для Вас у нас работы нет». Воистину прав был Лесков, заметивший в повести с выразительным заглавием и посвящением «*Смех и горе. Посвящается всем находящимся не на своих местах и не при своём деле*» (1870), что у нас «что ни шаг, то сюрприз, и притом самый скверный». В самом деле, филологический факультет, без которого немыслим никакой классический вуз, в Орле угасает. Зато в городе, именуемом «литературной столицей России», на именах Тургенева, Лескова, Фета, Бунина, Леонида Андреева и ещё целого созвездия выдающихся русских писателей и поэтов при всяком удобном случае не прочь делать пиар высокопоставленные местные чиновники. А кафедра русской литературы практически разрушена. Нет студентов, потому что специальность стала считаться непрестижной — слишком неприбыльная, не сулящая больших доходов. Материальные расчёты и выгоды на первом месте для большей части молодых людей, выбирающих профессию. Им со школьной скамьи внушают, что надо быть «лидерами», «глотать других, чтобы тебя не проглотили» в обществе потребления с его хищническими установками, в сжимающихся тисках «торговой кабалы».

Большинство преподавателей филфака в апатии, пытаются кое-как выжить без полноценной зарплаты, вдвое-втрое урезанной. Многие перебиваются частными уроками, репетиторством, натаскиванием школьников к сдаче ЕГЭ. В то же время развиваются в университете, не так давно присвоившем себе имя И. С. Тургенева, такие направления образования, как торговое дело, реклама, товароведение, гостиничный бизнес, ресторанное дело. Какое это имеет отношение к Тургеневу и кому уж тут вспоминать о нём? Прикрылись вывеской — и довольно…

Русской классической литературе требуются адвокаты, чтобы отстаивать само её право на существование в современной России, где нивелируется и вытравливается всё русское, безбожно попираются традиционные духовно-нравственные ценности, *Божие* вытесняется *кесаревым*. Русская классика — воспитательница ума, души и сердца — изгоняется из вузов и школ, нацеленных на формирование усреднённого «продукта» — биороботов, узких специалистов-прагматиков, выставляемых, как товар, на рынок труда.

Золотой фонд русской литературы востребован за рубежом, а в России упрятан на задворки, в то время как людей массово одурманивают, зомбируют, оглупляют душепагубной информацией, потоки которой извергаются словесными нечистотами из подконтрольных СМИ, жёлтой прессы, бульварного массового чтива и т. п. Настолько велики ненависть и страх властей предержащих перед честным словом великих русских писателей. Неслучайно Пьеро проводил аналогию между сицилийской и российской мафией — этим чудовищным спрутом в переплетении его гигантских смертоносных щупалец — финансовых, чиновно-коррумпированных, коммерческих, криминальных.

Профессор Каццола активно занимался зеркальной темой русско-итальянских и итало-русских связей. Особым предметом его исследований были русские в Италии. Впервые он познакомился и подружился с русской диаспорой в приморском Сан-Ремо, где с молодости до последних лет ежегодно проводил отпуск. Перу учёного принадлежит интереснейшее документальное исследование *«I Russi a Sanremo tra Ottocento e Novecento» («Русские в Сан-Ремо в XIX и XX веках»)* (1990). Здесь подробно рассказано также о создании православной церкви в Сан-Ремо, о её русских прихожанах.

Назовём ещё несколько фундаментальных трудов Пьеро Каццолы: *«Russia — Bologna» («Россия — Болонья»)* (1990), *«Viaggiatori russi a Torino nell'Ottocento» («Русские путешественники в Турине в XIX столетии»)* (1996), *«Русская Италия между XVIII–XX веками»* (2004), *«Scrittori russi nello specchio della critica (XIX–XX secolo)» («Русские писатели в зеркале критики: XIX–XX вв.»)* (2005). На тему русской Италии в 2013 году издан на русском языке сборник работ разных лет, собранных в книгу *«Русский Пьемонт» («Il Piemonte dei russi»)*.

Туринский Межуниверситетский центр по изучению путешествий в Италию (C.I.R.V.I.) избрал Пьеро Каццолу своим президентом. В мае 2006 года в честь профессора была организована юбилейная конференция с названием прямо космическим: *«Пьеро Каццола: 60 лет вокруг планеты Россия»*.

Известно, что многие наши соотечественники, посетившие Италию, сохраняли восторженное чувство любви к этой стране. Чехов писал, что, увидев красоту итальянской земли, можно умереть от восторга. Изящный поэт и неутомимый путешественник Константин Бальмонт, по его необычному поэтическому выражению, «поцеловавший весь мир», питал особые чувства именно к Италии:

> Ум итальянский — сладкий, как обманы,
> Утонченный, как у Мадонны лик…

Изысканный эстет, для которого поиски красоты были целью и смыслом жизни, испытывал лирическое вдохновение перед итальянским искусством:

От царственной мозаики Равенны
До мраморов, что скрыл от смерти Рим,
Созданья мы твои боготворим,
Италия, струна и кубок пенный.

Такое романтическое восприятие Италии Бальмонтом разделяли многие известные русские писатели и поэты, его современники. Этой теме профессор Каццола посвятил свою работу «*Венеция в творчестве русских поэтов Серебряного века*».

К Венеции у Пьеро — уроженца Турина — особенное отношение. Его мама была венецианкой. На фотографии из семейного альбома она в венецианских кружевах — красивая, задорная, молодая, словно сестра своих взрослых сыновей.

С докладом о Венеции в восприятии русских художников слова и кисти выступал профессор Каццола на научной конференции в Иваново в 1996 году. Он прочитал также лекции студентам Ивановского университета, осветив тему русско-итальянских культурных связей за последние четыре столетия. Специальная тема — о русских художниках-романтиках Кипренском, Брюллове, Щедрине, влюблённых в Италию, которым итальянцы отвечали такой же любовью. Профессор-русист выступал и как историк, глубоко разрабатывал тему военных походов Суворова.

Мне довелось принимать участие в той конференции, и я видела, как выступления итальянского русиста встречались самыми восторженными откликами аудитории. Родился даже экспромт:

Но всё же, всё ж не аномалия
Вот эта наша конференция:
Здесь улыбалась нам Италия,
Здесь нам пригрезилась Венеция…

Из Иваново маршрут пролегал в местечко Ново-Талицы, на родину Марины Цветаевой, где в середине 1990-х годов был открыт Дом-музей семьи Цветаевых, в котором много экспонатов, говорящих об итальянских пристрастиях Ивана Цветаева — прославленного создателя Пушкинского музея искусств и отца знаменитой поэтессы. Создавать Пушкинский музей в Москве помогали Ивану Цветаеву в том числе директора итальянских музеев.

И наконец, недалеко от городка Шуя (древние земли родовитых русских князей Шуйских) — остатки старинной усадьбы родителей Константина Бальмонта Гумнищи. К сожалению, сохранилось только место: старый заброшенный парк, маленький заросший пруд, скромная могилка родителей поэта и памятный знак у проезжей дороги: «Здесь родился и провёл юные годы поэт Константин Бальмонт».

Зная, как любил поэт аромат сирени, росшей когда-то в его саду, как ностальгически думал об этих цветах, о своей юности и о России, проведя 21 год в эмиграции (умер и похоронен Бальмонт в Париже), итальянский профессор посадил у памятного знака русскому поэту куст душистой сирени, вспоминая бальмонтовские строки:

О тебе я в тропических чащах скучал,
Я скучал о сирени в цвету и о нём, соловье голосистом,
Обо всём, что я в детстве с мечтой обвенчал…

Вот так неожиданно, спустя долгие десятилетия реализовал мечту Константина Бальмонта итальянский профессор Пьеро Каццола.

Зарубежному читателю, впервые открывающему книгу русского автора, переводчик должен, образно говоря, протянуть руку, чтобы помочь переправиться со своего берега на русский берег. Эта «переправа» — предисловие к переводному изданию. Читателю должны быть сообщены не только первоначальные сведения о жизни и творчестве писателя, но и как можно более полно обрисован контекст эпохи, исторические, социальные и другие факторы, необходимые для верного понимания и восприятия перевода.

В предисловиях к своим переводам Пьеро Каццола не ограничивался этим необходимым багажом знаний. Переводчик и автор предисловий к русским книгам на итальянском языке обнаруживал не только качества неутомимого просветителя, горячего пропагандиста, но и человека, поистине влюблённого в произведение, которое он представлял читательской публике и, если надо (вот когда реализовался блистательный адвокатский опыт!), защищал художественное творение от несправедливых нападок разноголосой критики.

Так, например, относительно одной ранней повести Лескова профессор пожелал сделать несколько замечаний, поскольку произведение это было либо принято современной писателю критикой неблагосклонно, либо вообще обойдено молчанием. Речь идёт о романе «*Островитяне*» (1866), которому в нынешнем году исполнилось 150 лет. Это произведение Пьеро Каццола перевёл на итальянский язык довольно давно, но издал только в 1986 году на собственные средства. В предисловии он сделал тонкое замечание о том, что этико-религиозные вопросы лучших рассказов Лескова 1870–1890-х годов уже затронуты в этой ранней «петербургской повести» 1860-х. «В целом отрицательные суждения критики о повести Лескова мне казались несправедливыми и поверхностными, — говорил Пьеро Каццола, — и я пытался показать положительные аспекты „*Островитян*“, представляя их итальянской читательской публике».

Кто ещё из иностранных филологов способен так убеждённо внушать читателю любовь к русскому роману и его героям, которые давно забыты в России и известны лишь специалистам?

В Орле Пьеро был очарован памятником Лескову. В лесковском Доме-музее профессор Каццола

выступал с докладом, посвящённым исследованию поэтики сказовой манеры в повестях Лескова «*Левша*» (1881) и «*Полунощники*» (1890).

Лесковская сказовая живопись представляет большие трудности для иностранных переводчиков. Нередко они становятся в тупик и бывают вынуждены признать своё бессилие перед речевой изобретательностью Лескова. В самом деле, как в точности перевести, например, такие словесные фокусы, как *«субтиль-жантиль миньёночка», «мелкоскоп», «буреметр»* и *«непромокабль»* или *«мочемордие»* с *«сухорылием»?* По этому поводу крупнейший американский славист Уильям Эджертон, также побывавший в Орле, подготовил статью с красноречивым заглавием «*Почти неразрешимая проблема—перевод прозы Лескова*». Однако, во многом благодаря таланту Пьеро Каццолы как переводчика и особенностям итальянского языка с его мелодичностью и гибкостью, читатели в Италии получили возможность познакомиться с произведениями нашего великого русского классика в переводах, максимально приближенных к оригинальным лесковским текстам.

Учёный-русист и адвокат признавался, что его любимый русский писатель Лесков не только вдохновлял на литературоведческие научные изыскания, но и служил нравственным ориентиром в юридической деятельности. Лесков отвергал «юристику»—слепую прислужницу мёртвой буквы закона, забывающую о живой человеческой душе. Писатель высказывался в том духе, что право существует для человека, а не человек для права. В повести «*Под Рождество обидели*» (1890) Лесков призывал казуистов и крючкотворов—«законников разноглагольного закона»—руководствоваться христианскими заповедями, следовать примеру Христа, Который дал человечеству «глаголы вечной жизни».

Лесков—«самый русский из русских писателей»—в то же время имел, говоря его словами, «сознание человеческого родства со всем миром». О своих «незримых почитателях» он однажды сказал: «Одна из прелестей литературной жизни—чувствовать вблизи себя, вдали, вокруг себя невидимую толпу неизвестных людей, верных вашему делу». Одним из таких людей, несомненно, был учёный-энтузиаст Пьеро Каццола. Согласно единодушному мнению итальянских коллег, именно он определил становление академической школы Италии по изучению творческого наследия Лескова. Во многом благодаря усилиям Пьеро Каццолы у итальянских учёных—учеников и последователей профессора возник устойчивый интерес к исследованию загадок лесковского художественного мира. Сейчас в Италии имеется уже внушительная «*Leskoviana*», впервые изданная в Болонье в 1982 году.

Более 70 лет занимался Пьеро Каццола изучением русской культуры вообще и творчеством Лескова в частности. Этот подвижнический труд воплотился в многочисленных переводах, предисловиях, статьях, монографиях, докладах на национальных и международных научных конференциях. Неустанно пропагандировал итальянский русист творчество нашего великого соотечественника во всём мире. Последние книги Пьеро Каццолы о Лескове—«*Исследование диалога в сказе Лескова*» (Тюбинген, 1991), «*Критические заметки о христианских легендах Николая Лескова*» (Рим, 1993), «*Город трёх праведников*» (Болонья, 1992).

Название последней из указанных монографий отсылает нас к русской народной легенде, которую любил повторять Лесков,—о том, что *«без трёх праведных несть граду стояния»*, то есть ни один русский город не устоит, если в нём не найдётся хотя бы трёх праведников. На обложке этой книги—«Троица» гениального русского иконописца Андрея Рублёва как знак постоянных религиозно-нравственных исканий и устремлений Лескова, создавшего в своём творчестве «иконостас святых и праведных» земли русской.

Делая на своей монографии дарственную надпись для автора этих строк, Пьеро Каццола записал: «*Еще раз—и навсегда—Лесков…*».

И ещё несколько штрихов к портрету Пьеро, несколько впечатлений, которые он оставил в душе и памяти. Это был удивительно благородный, деликатный и бескорыстный человек широкой, доброй и щедрой души, распахнутой навстречу людям, что проявлялось в большом и малом. У супругов Каццола не было детей. «Это судьба»,—говорил Пьеро и на неё не сетовал. Но я видела, как во время посещения жемчужины орловской земли—имения Тургенева Спасское-Лутовиново—он забавлял местных ребятишек, показывая на стене фигурки-тени из сложенных ладоней: то лающую собачку, то спящего котёнка. Как на улицах Милана, Турина и Вероны угощал детей сладостями.

Он был большим другом православных русских людей. Православный Христианский Приход Святителя Максима, епископа Туринского вспоминает о Пьеро Каццоле с огромной благодарностью и скорбит о его кончине. А у меня остался его подарок—православная икона Ангела Хранителя.

Наша дружба и научное творческое взаимодействие продолжались 20 лет. Перебираю письма, открытки, книги с автографами Пьеро… В России он был не чужестранцем, а своим, близким, родным человеком.

Memoria eterna! Вечная память!

Владимир Шанин

Душа, открытая всем

В предисловии к собственному сборнику стихов «Заповедная обитель», вышедшему в 1995 году в Абакане на средства автора, русский поэт и прозаик, проживающий в Хакасии, Сергей Пестунов, известный в своё время романтическими повестями «Белая птица лебедь», «Чудный месяц» и многими рассказами, упомянул имя поэта — Анатолий Кыштымов. Имя ни о чём не говорило мне: мало ли поэтов, даже очень талантливых, кануло в Лету. И, может быть, канут ещё… Но вот Сергей оскорбился: единственный покойного поэта сборник плохо раскупается в книжных магазинах города. Он прямо-таки закипал от негодования: «Рулончик туалетной бумаги — две тысячи, а книга Анатолия Кыштымова „Я не прощаюсь…“ — всего 20 рублей. И не берут! — возмущённо говорил мне Сергей. — А ведь он за неё жизнь положил. Утилитарность превыше духовности… О боже, как же это страшно, что в нашем обществе дрянная ж… бумага пока ещё дороже поэтического сборника!»

И в том же пестуновском сборнике есть стихотворение, посвящённое Анатолию Кыштымову, рано, в 29 лет, ушедшему из жизни:

Я прочёл в родной газете
Воспоминанья о поэте.
В невероятнейшей судьбе
Пустил он пулю сам себе.

Давно привыкли, что поэтов
Уносит случай роковой.
Наверно, нет на этом свете
Для них уже судьбы иной.

Анатолий Петрович Кыштымов (1953–1982) родился в селе Московское (совхоз «Московский»), в Хакасии, стихи писал с детства и пока не помышлял где-нибудь напечататься. Простой сельский паренёк, хакас, только что окончивший среднюю школу, даже не знал, к кому обратиться со своими стихами, стоят ли они того, чтобы ими заниматься, он только писал, писал много, каждый день, будто кто-то свыше надиктовывал ему, и он едва успевал записывать. Свои стихи он читал сельчанам и радовался, что его слушают, одобряют, советуют послать в Абакан, в газеты. Но паренёк лишь скромно отмахивался. И тут помог счастливый случай…

Это было в 1970 году. В село Московское приехала корреспондент Усть-Абаканской районной газеты Лариса Катаева с редакционным заданием освятить подготовку к празднованию Дня работников сельского хозяйства. В клубе шла репетиция местной агитбригады. На сцене стоял невысокий хакасский мальчик и по-русски читал стихи.

Стоят берёзы, словно свечи.
А листья жёлтые — огни.
Огни, огни… Нам очень явно
Спешат ресницы опалить.
А мы стоим, как изваянья,
И время, кажется, стоит…

Душа Ларисы Катаевой, тоже пишущей стихи, встрепенулась: ах, какие искренние, светлые, проникновенные строки! — и девушка побежала за кулисы, чтобы узнать, чьи стихи читал этот мальчик?

А мальчик оказался местным, ему семнадцать лет, и стихи он читал собственные, а их у него много-много. Назвался Анатолием Кыштымовым. Познакомились, разговорились, и Анатолий пригласил корреспондентку к себе домой — в длинный барак, в комнату, где он жил с мамой и сестрой.

Действительно, стихов было много-много: листочки, блокнотики, тетрадки… на стульях, на столе, даже под кроватью… Лариса восхитилась: «И многие — упоенье!» Стихи о природе, о любви, размышления автора о смысле жизни:

И холодно, и пасмурно, и грустно.
Душа кому-то, как вокзал, открыта…
В продрогших скверах на скамейках пусто,
Нет ни влюблённых, ни тоской убитых…
Никто не вышел эту осень встретить…

Написано талантливо. Из этого юноши, подумала Лариса, выйдет со временем большой национальный поэт, пишущий на русском языке. Она не могла не помочь ему и велела приехать в райцентр, в редакцию газеты на заседание литературного кружка, который она недавно организовала. Так началась их творческая дружба.

Лариса отлично понимала состояние души молодого поэта, улавливала его тонкие поэтические струны, как музыкант, прислушиваясь к звучанию отдельной скрипки в оркестре, она «стала его другом, его наставником, порой одним

только словом, уточнением доводила его стихи до совершенства». Анатолий боготворил свою наставницу, профессионально оценившую его талант, да и сам вскоре почувствовал, как стихи его «начинали звучать по-особому, ярче, звонче».

Всякий раз, когда Лариса бывала в Московском, они с Анатолием, «оба увлечённые поэзией», уходили к озеру и читали друг другу стихи. Анатолий внимательно слушал, как Лариса читала свои стихи, восхищался их мелодичностью и гармонией. «Твои стихи, Лариса,—говорил он,—обладают какой-то плавностью, ритм у них какой-то такой, какого до тебя ещё не слышал. Мне бы тоже хотелось наделять стихи такой плавностью, ритмом… Но я не умею этого делать. Мне до тебя, наверное, ещё очень далеко…». «А стихи твои замечательные!—сказал он при следующей встрече.—Когда читаешь, то видишь… А это здорово, это главное… „Быть со мною—жить несчастливо…“. Здорово! Я бы так не смог…».

Так судьба подарила обоим встречу «с родственной поэтической душой»: сельскому пареньку—с поэтом Ларисой Катаевой, у которой «хватает душевной энергии на развитие и популяризацию творчества других, ярких в литературном смысле, личностей», а Ларисе Катаевой—Анатолия Кыштымова, который «ворвался в её мир со своим необычным романтическим мироощущением».

Из воспоминаний Людмилы Каймановой, корреспондента областной газеты «Хакасия», видно, как этот юноша, влюблённый в свою наставницу, писал ей «необыкновенные письма—на узеньких блокнотных листочках в клеточку». Делился своими мыслями, стихами, рисунками. И каждый рисунок—то ваза с цветами, то еловая ветка, то необыкновенной формы парусник, и во всех рисунках—«лёгкая изящная линия». Не влюбиться в Ларису было нельзя: тоненькая, с глазами, излучавшими таинственный блеск, а главное—«понимание его как поэта, понимание его души!».

Часто ночью мне снится
Твоих глаз лунный блеск.
Над глазами ресницы,
Как над озером лес…

Так писал влюблённый поэт-романтик. Но Лариса не ответила на его чувства—ведь он так молод, а она… Анатолий возражает: «А что на вид я молодой, не очень взрослый, это бывает, Лариса. Ведь это совсем неплохо. Мы всегда успеем состариться…».

Лариса понимала и бережно относилась к его чувствам, но в то время она любила другого… Анатолий страдал:

Но ты не поняла, не поняла!
Как грустно, словно песни спеты!
Ведь ты не поняла, не поняла,
Что без тебя я—без любви на свете!

Он ждёт её в Московском, ездит в Усть-Абакан. Ему хочется общения с нею, и когда они наконец-то встретятся, Анатолий, «оглушённый» её приездом, начинает «вести себя по-иному, болтать всякую чушь», а потом каяться: «После твоего отъезда у меня в груди остался какой-то переполох, осадок, какая-то неземная тоска… Но самое главное, читая твои стихи, окунаясь с головой в твой мир, я отчётливо осознаю: мне до тебя, Лариска, очень и очень далеко. А может быть, и вовсе недоступно. Мне твои стихи очень и очень, Ларис, нравятся».

Чутким сердцем поэта Анатолий понимал, что Лариса—«только его друг, но друг настоящий», и пишет «стихи-прощание»:

Когда-нибудь нам вспомнится с тобою—
Мы были влагой друг для друга в жажду.

Узнав, что Лариса выходит замуж, он желает ей «огромного светлого счастья», шлёт к бракосочетанию краткую телеграмму: «Горько! Анатоль!», а позже напишет ей:

…Птица окольцованная ты,
Вешняя.
До меня, до той моей мечты
Не долетевшая…

С мужем Ларисы Геннадием Степановым, художником, Анатолий Кыштымов сошёлся на «любви к творчеству», и они подружились. Анатолий не скрывал своей симпатии к Ларисе, по-прежнему писал ей письма, а однажды прислал стихи:

Духами «Красная Москва»
Доносит от берёзы белой…
Краснеет, как снегирь, трава,
И я краснею… Значит, спею…
И всё вокруг красно-красно…
Таким бывало на закате
Твоё крыльцо, твоё окно
И волосы твои, и платье…

Отработав два года в совхозе, Анатолий в 1972 году поступил на филологический факультет Абаканского педагогического института—быть поближе к Ларисе, которая училась тут же, правда, заочно и работала корреспондентом усть-абаканской газеты «Путь к коммунизму», руководила литературным объединением имени Георгия Суворова при пединституте. Здесь Лариса Катаева «оттачивала своё перо и помогала расти другим»—Анатолию Кыштымову и Валерию Майнашеву, а также и совсем ещё молодым, в которых увидела «искорку писательского таланта». Осенью 1974 года в студенческой библиотеке Анатолий встретил девушку по имени Людмила, ставшую вскоре его женой, и от нового прекрасного чувства у поэта-романтика родились «удивительные стихи о любви, о женщине, стихи проникновенные, дивные, тонкие». И Ларисе он тогда написал:

А могло бы быть?!
Нет, забылось!
Мне другая помогла забыть!

В. П. Астафьев как-то сказал: «Поэзия всегда восставала против бездушия и стандарта, она всегда стремилась возвысить человека…». Поэзия возвысила Анатолия Кыштымова над всем, что могло бы ему мешать творить «доброе, вечное». Не было у него ни ревности, ни обиды, и досада куда-то ушла, осталось чувство привязанности к «родственной душе», Ларисе, которая и не отталкивала его, и не позволяла ничего лишнего. Он бывал у неё и Геннадия в гостях, приносил стихи на рецензию (Лариса работала тогда старшим редактором в Абаканской торговой рекламе), они пили чай по-домашнему, вели нескончаемые разговоры о живописи, о поэзии.

Между тем неумолимо приближался роковой день… «За неделю до ухода из жизни,—вспоминает Лариса,—Анатолий принёс мне несколько стихотворений, написанных зелёными чернилами (он знал, что мой любимый цвет зелёный. Вот потому и я назвала свою первую книгу прозы „Зелёная вьюга". Есть у меня и такое высказывание: „Люблю писать зелёными чернилами, где строчки, словно ветки тополиные…") на разрозненных листках бумаги аккуратным почерком. Стихи оказались прощальными…». Его трагическое мироощущение особенно пронзительно прозвучало в стихотворении «Птицы»:

…Всё. Теряю навсегда черты.
Но… Пока ещё!
Птицы мы с тобою. Я и ты.
Пролетающие.

Анатолий Петрович Кыштымов добровольно ушёл из жизни 7 сентября 1982 года, в самый разгар бабьего лета, самое любимое время года. Для любителей поэзии это был шок. Никто и предположить не мог, что Анатолий, «такой беззащитный ребёнок», покончил с собой. Почему? Что произошло? Какой сдвиг произошёл в легкоранимой душе? Для всех это было загадкой.

Лариса Катаева не могла смириться с его смертью и на похороны не пошла, чтобы не видеть его мёртвым. Но отозвалась полными печали стихами:

О юноша пылкий!
О мальчик мятежный!
Куда ты? Куда ты?
С какою надеждой
Уходишь в долину
Из светлого дома?
Познать Беспредельность?..
Тебе ль незнакома?!

Она дала себе слово сделать всё, чтобы стихи своего друга поэта-романтика донести до читателей. Началась упорная, кропотливая работа по собиранию литературного наследия поэта. Именно—по собиранию, потому что стихи, неизвестные и неопубликованные, во множестве хранились у частных лиц. К поискам подключились Хакасская писательская организация во главе с мэтром советской литературы М. Е. Кильчичаковым и филологический факультет Хакасского педагогического института имени Н. Ф. Катанова.

И вот в 1993 году Хакасское книжное издательство выпустило в свет небольшую книжку «Я не прощаюсь…»—о природе, о любви, размышления автора о смысле жизни:

Я не прощаюсь. Я не знаю…
На кладбище цветут цветы…

Лариса Катаева исполнила свой завет. «Можно назвать подвижничеством ту огромную работу, которую она провела по собиранию и популяризации литературного наследия талантливого хакасского поэта Анатолия Кыштымова»,—сказала Нина Иншина, заместитель главного редактора газеты «Хакасия».

После первой посмертной книжки вышли «Избранное», «Листозвон золотой», «Звёздное». В последнюю книгу вошло ещё около сорока стихотворений, неизвестных читателям и разысканных комиссией по литературному наследству: Геннадием Степановым, Ларисой Катаевой, Людмилой (женой Анатолия) и его сестрой Галиной. Рецензентом и редактором всех книг была Лариса Катаева.

О покойном поэте заговорили как о «хакасском Есенине». В его стихах есть всё: и жизнь, и страдание души, и любовь к природе, к женщине. Некая Людмила С. написала: «Своими высокими помыслами они заставляют нас встряхнуться, задуматься над своей жизнью, над своей судьбой. Заставляют припомнить тропинки детства и первый поцелуй в семнадцать лет…».

Жаль, что лирическое перо преждевременно выпало из талантливой руки и затерялось в сутолоке «перестроечной эпохи». Недаром возмутился быстрый на «горячее» слово писатель и поэт Сергей Пестунов. Яркий самородок, обронённый в хакасской степи и занесённый пылью забвения,—пробьётся ли он к свету, к людям, к своему читателю?

…Заново перечитываю стихи Анатолия Кыштымова. Они совершенны, звучат тихой музыкой, отчего в душе рождаются яркие поэтические образы,—только вслушайтесь!

Душа поэта поёт об осени: «На листьях наших бликами охры играет свет осенний. Мы печальны…», о лете: «…Над домом солнечные перья Качнулись в тёплой вышине. Поют в скворечнике деревья, Как в микрофоны, по весне…», о зиме:

От снегопада всё оглохло,
Как будто выключили звук.
Исчезли возгласы и вопли,
И храп шагов, и взмахи рук.
На зданиях исчезли крыши.
К закату, в сторону одну
Машины двигались неслышно
Пунктирной линией в снегу.

А вот как зримо, почти ощутимо кончиками пальцев описывает поэт зрелое лето:

Из трав здесь—запах земляники!
В кругу берёз, в тепле полян
Я закружусь, такое выкину,
И кто увидит, скажет: пьян…
Здесь встану, и к моим коленям
Прижмётся по цветку. Я—гость…
Здесь звёзды марьиных кореньев—
Зелёных карамелек горсть!

В 2012 году было уже тридцать лет, как нет Поэта на этом свете. И той самой первой книжечки, за которую он «жизнь положил», теперь не сыскать нигде. Неужели всё-таки разобрали? А может, уничтожили как «неликвид»—залежалый товар, и к тому же уценённый? Но тот, кто всё-таки приобрёл в своё время тоненькую, неказистую на вид книжечку с многообещающим названием «Я не прощаюсь…», уверен: бережёт её и перечитывает иногда хотя бы вот эти строки:

А дождь слепой вчера в веселье
Такого всюду отмочил!..
Стога, пушистые от сена,
Приплюснул к полю и залил.
И платье пёстрою газетой
К тебе, наморщив, прилепил…
Ты хохотала… «Где ты? Где ты?»—
Он звал тебя и—находил.
И, видя, где ты, бесновался
И звонко по навесу бил.
В поводырях он не нуждался,
Он просто ненаклонным был.
Он растекался ручейками,
Он в лужах всплёсками вставал,
Он струи разбивал о камни!
Кипи, бурли, «девятый вал».

Со времён великого Пушкина гениям не хватало места на грешной земле: Лермонтов, Маяковский, Есенин, Рубцов… Гениями их считают теперь. А тогда, во время оно, каждый из них кому-то мешал («Наверно, нет на этом свете Для них уже судьбы иной…»). Их стихи музыкальные, летучие, народ подхватывал, заучивал, цитировал, пел…

Современники Анатолия Кыштымова в Хакасии, его друзья помнят о нём, поют песни на его стихи. Художник Геннадий Степанов создал графический портрет поэта, а Лариса Катаева, его жена, памяти друга написала стихотворение «И нет мне покоя…»:

В твоей стороне
Звёзды ниже, крупнее;
Осока в твоей стороне
Зеленее;
Рокочут ветра
Над твоей головою…
И нет мне покоя,
И нет мне покоя…

Забытые имена начинают воскресать для будущих поколений любителей поэзии. В школе №11 г. Абакана открыт литературный музей Анатолия Кыштымова: вот его портрет, вот его картины («В лесу», «Маме», «Сестрёнке»), рисунки, шаржи на друзей и самого себя, книги любимых писателей и поэтов. В центре музея—фотовыставка «Город в судьбе поэта».

В 2013 году Анатолию Кыштымову исполнилось бы 60 лет—юбилейная дата. Лариса Катаева сдержала своё обещание—подготовила к печати полный сборник стихов поэта.

В 2014 году он вышел в свет и назван строчкой одного из стихотворений—«Жарки растут в твои ладони…». Это солидное издание почти в десять печатных листов. Особенностью его является печать большинства текстов по рукописям. Ряд стихотворений опубликован впервые. Книга издана в Абакане (ООО «Книжное издательство „Бригантина“») за счёт финансовых средств Л. Ф. Шушпановой, Л. П. Катаевой, Л. И. Петровой, И. Г. Русаковой.

Владимир Зыков

Таким я его запомнил[1]

Вот уже скоро два года, как нет с нами Валентина Распутина. Сорок дней его душа бесприютно, а может быть, с надеждой ещё бродила среди русского народа, вглядывалась в настоящее и будущее: что-то будет? Оптимистических прогнозов у него не было, но, как у всякого любящего человека, оставалась надежда: а вдруг? И вот теперь ему уже больше не взглянуть на родную землю, не сказать в который раз своё веское слово в её защиту против ненавистников России и её супостатов. Но, я думаю, он и так сказал много и весомее всех остальных. Больше, чем любой другой из наших современников. И мы ещё не осознали всей важности и нужности им сказанного. Думаю, его книги и жгучие публицистические статьи будут перечитывать и осмысливать снова и снова. Ведь он последний и единственный наш заступник и молитвенник перед Господом Богом за русский народ.

В наше молодое безбожное время мы не очень-то оглядывались и вспоминали Господа. И сейчас мне по-иному припомнилось, как в самом начале семидесятых я разговаривал в Красноярске с Валентином, не так давно отъехавшим от нас обратно в родной Иркутск, о Божьем Слове, божественных делах. Он поведал мне о своих долгих беседах с православным иркутским епископом, умнейшим, по его словам, человеком, достойным всяческого уважения. Для меня, проработавшего перед этим пять лет на строительстве Красноярской ГЭС, «в нашей буче, боевой и кипучей» в знаменательные годы перекрытия Енисея и пуска первых агрегатов, все епископы казались, по меньшей мере, инопланетянами (в нашем крае епископами и не пахло). И такой разговор «о духовном» был у меня первым в жизни. И тогда, наверное, больше из любопытства или из-за впервые пробудившегося интереса к «неведомому», я попросил у Валентина «достать» мне Библию, не вполне запрещённую, но абсолютно недоступную для простого народа (позднее я не смог купить её даже в тогдашнем Загорске, Троице-Сергиевом посаде, центре русского православия, куда специально ездил из Москвы познакомиться с Троице-Сергиевой лаврой). Распутин пообещал посодействовать.

Как изменились жизнь и наше мироощущение с той поры! Особенно после 1988 года, когда вся Россия так торжественно и пышно отмечала тысячелетие Крещения Руси, тысячелетие русского православия.

Но сейчас речь не об этом, а о самом Валентине Григорьевиче Распутине, воплотившем в себе все лучшие качества русского человека,—истинном исповеднике русского народа.

Мы встретились с Валентином, когда ему только исполнилось 25 лет (первый «взрослый» юбилей!). То, что он человек необыкновенный, почувствовалось почти сразу после знакомства и двух-трёх мимолётных разговоров. Но вряд ли бы тогда нашёлся хоть один человек, представивший, что когда-нибудь этот молодой журналист взойдёт на ступени мировой славы. Мне запомнилось, как гораздо позже какой-то иностранный корреспондент на заре писательской карьеры Валентина, когда его пытались заинтересовать творчеством молодого писателя, только и спросил: «Он имеет отношение к Григорию Распутину? Нет? Тогда он нам неинтересен». «Восходящую звезду» обязательно надо было к кому-нибудь прислонить, с кем-то сопоставить. Нашему Валентину ещё предстояло создать собственную биографию и заставить зазвучать свою фамилию по-своему—несопоставимо ни с кем другим.

А ведь он и в самом деле имел непосредственное отношение к Григорию Распутину. Только совсем к другому. Григорий Никитич Распутин, тоже коренной сибиряк, был его отцом. Родился он в 1913 году, умер в 1974-м. Прожил сравнительно недолго—подкосили «колымские годы», где Григорий Никитич вскоре после возвращения с войны отбывал срок за утрату казённых денег (у начальника поселковой почты на пароходе срезали «денежную сумку») и вышел по амнистии только после смерти Сталина.

Помню также, что когда Валентин отработал несколько лет в «Красноярском комсомольце» и вернулся в родной Иркутск, я сообщил ему о моей находке в сибирских «Учёных записках», упомянувших некоего «Распуту», поселившегося в «первые русские» годы на Ангаре. И Валентина заинтересовал такой факт: «Может быть, это кто-нибудь из моих древних предков?»

1. Первая публикация— «Красноярская газета», 5 мая 2015.

Да, «Распуту» из средневековой Сибири могли связывать родственные узы с нашим Валентином Распутиным. Но никто и никогда не пытался найти общие родословные корни Валентина Григорьевича со знаменитым «старцем» Григорием. Очень уж несопоставимые исторические фигуры! Разве только иностранцу могло прийти в голову притянуть одного к другому.

...Впервые я увидел Валентина Распутина в редакции «Красноярского комсомольца» в 1962 году. Видимо, в конце августа или ранней осенью, потому что он приехал к нам вместе с женой Светланой, «распределённой» из Иркутска в Красноярск после окончания университета. Помнится, она была математиком и запомнилась мне женщиной красивой и строгой.

В ту первую встречу рядом с Распутиным «сопровождающим и направляющим» его в редакторский кабинет был собкор газеты «Известий» по Красноярскому краю Бессонов. Все «комсомольцы» невольно и в какой-то мере заинтересованно оказались рядом, пока собкор беседовал с редактором В. И. Полустарченко. Пока они разбирались с ситуацией, моя соратница по отделу комсомольской жизни Лиля Моисеева шёпотом объяснила мне, что Валентин работал в иркутской «Молодёжке», в чём-то проштрафился («написал какую-то «крамолу»), а «Известия» взяли его под свою защиту и добились справедливости в борьбе с ретивыми администраторами.

После «реабилитации» Валентин не захотел возвращаться на прежнее место и предпочёл отправиться вместе с женой в Красноярск—для «расширения кругозора». Красноярский край в шестидесятые годы, безусловно, был «передним краем страны», краем Всесоюзных ударных комсомольских строек, таких как Красноярская и Саяно-Шушенская гэс, «трасса мужества» Абакан—Тайшет, Ачинск—Абалаково, Красноярский алюминиевый завод и многих других пониже рангом. Это не могло не привлекать молодого журналиста.

Помню, как Бессонов живо объяснял что к чему, а Валентин молча, неулыбчиво и как-то понуро стоял рядом и не вставил ни слова в эмоциональный монолог своего «ведущего». Когда через полвека после нашего знакомства классик русской литературы В. Г. Распутин выступал перед красноярцами в гостеприимном Педагогическом университете имени В. П. Астафьева в компании с земляками-иркутянами и свердловской киногруппой, проехавшей с ним от истоков до устья Ангары (две серии документального фильма-репортажа «Река жизни» позже показывали по центральному телевидению), он вёл себя точно так же отстранённо и неэмоционально—прямая противоположность выступающему перед публикой азартному артисту-лицедею Виктору Астафьеву.

Осенью 1962 года вакантного места для Валентина Распутина в «Красноярском комсомольце» не нашлось, и его «первой ступенькой» в журналистской карьере в нашем крае стал «Красноярский рабочий». Он трудился там, наверное, с полгода и, говоря по правде, совсем измаялся. Наша молодёжная редакция располагалась тогда на верхнем, пятом этаже только что построенного в центре Красноярска «Дома печати» по проспекту Мира, 89, а «Красноярский рабочий» с полным комфортом устроился пониже. Мы были соседями, и Валентин по-соседски частенько заглядывал к нам «излить душу», насколько это было возможно при его природной сдержанности.

Как я понял, в иркутской «Молодёжке», где он раньше работал, были несколько иные взгляды на жизнь, чем в красноярской партийной газете. Точно так же «по-комсомольски» вольготно было и у нас в редакции. Валентин с первых «газетных» лет привык писать легко и без оглядки. Именно поэтому в «Красноярском рабочем» с первых же дней всерьёз взялись за его перевоспитание с чисто партийных позиций: учили уму-разуму, как писать «правильно». Валентин признавался: «Иногда я специально перебарщивал с затёртыми штампами или же выдавал полнейшую сухомятину, пародируя навязываемый мне стиль. И тогда в секретариате оживлялись: вот так, именно так и надо!»

К счастью, страдания будущего классика продолжались недолго, и он вскоре перешёл к нам в редакцию на правах «специального корреспондента». Его феерический стиль буквально ослепил всех. Ну, может быть, и не всех, но наша заведующая отделом комсомольской жизни Римма Иванова, добрейшей души человек, никак не могла уразуметь его ярких эпитетов и заковыристых метафор. Сама она писала свои корреспонденции только строго по-деловому и при оформлении меня в отдел литсотрудником по сельской молодёжи предупредила о себе: «Для души ничего не пишу».

А Валентин Распутин вскоре выдал одну из первых зарисовок о семнадцатилетней телятнице именно «для души». Называлась она, как сейчас помню, «Весна в распахнутых руках». Была в те годы у всех на устах такая жизнерадостная песенка: «Хорошо свою весну нести на распахнутых руках! Солнце нашей вечной юности не померкнет в облаках!» Вся зарисовка была—обаяние молодости, наив и радость жизни. Валентин весело, искренне и задушевно расхваливал семнадцатилетнюю простодушную телятницу, которая нигде не бывала, кроме родной деревни, но так много красоты видела вокруг! И заканчивалась зарисовка словами: «Завтра ей исполняется восемнадцать лет. О ней ещё никогда не писали в газетах».

Хороший подарок получила хакасская девчонка ко дню рождения! И даже наша строгая Римма

Леонтьевна была покорена, хотя и несколько озадачена: «Разве можно писать в газете так несерьёзно!»

1963 год, когда Валентин пришёл к нам в «Красноярский комсомолец», ознаменовался для меня выходом первой авторской книжки «Работа наша такая». Перед этим мы с секретарём Бирилюсского райкома ВЛКСМ Олегом Андреевым по командировке крайкома комсомола объехали весь край от Таймыра с Норильском и Дудинкой и экзотическими факториями в тундре до Хакасии с её древними каменными памятниками-исполинами и Шушенским со знаменитым музеем сибирской ссылки В.И. Ленина. И написали об этом книжку «Работа наша такая», куда вошли одноимённая документальная повесть об ударных трудовых буднях Бирилюсской районной комсомолии, опубликованная в третьем «съездовском» номере журнала «Юность» за 1962 год, и наши путевые записки о многовёрстном путешествии по Красноярью на самолётах, оленях, поездах и автобусах. Первая страница книжки была посвящена нашим читателям-комсомольцам:

Это о вас, это о наших друзьях, это о нас самих.
О сибиряках коренных и потомственных,
О тех, кто приехал в Сибирь по путёвкам,
О тех, кто просто приехал.
О тех, кто приедет ещё.

Как только Распутину попала в руки наша «Работа…», он сразу ухватился за неё: «Обязательно надо написать рецензию». И написал. Старейший фотокор Игорь Венюков сфотографировал авторов, и через несколько дней рецензия Валентина «Привет от друзей с красноярских широт» появилась в «Комсомольце»: «У нас в редакции радость, и мы хотим поделиться ею с тобой… Вышла книжка…».

В первую очередь Распутин отметил нашу храбрость. Ведь мы вдвоём взялись рассказать о таком огромном крае, в котором «юг и север — это юг и север страны, а красноярские стройки — самые огромные и важнейшие в стране. Рассказать о самом необычном, чего нету нигде…».

И он тоже рассказал о том, что было в книжке. О фактории Усть-Авам в таймырской тундре, где в «красном чуме» молодёжь ставила пьесу Ивана Франко, а роли в ней исполняли долганин, нганасанка, дунганин, украинец, русская… Рассказал о страшном июльском пожаре 1962 года в Игарке, когда пылал весь город. Трижды загорался горком комсомола, но девчонки и мальчишки отстояли его. Игарка выжила. Рассказал об организованных для молодёжи вечерних курсах трактористов в Бирилюссах. А также о Дивногорске, Норильске, Красноярской ГЭС и других местах, где мы побывали…

«В Москве идёт XIV съезд комсомола, а по краю идёт весна. Вот о чём эта книжка, — заканчивал рецензию Распутин. — В ней много имён, но герой в ней только один — красноярская комсомолия. Эта книжка о тебе: „Работа наша такая: всё делать и за всё отвечать". Это строка из книги. Так она и называется „Работа наша такая". Хорошая работа! И это уже относится к книге».

Валентин с женой Светланой и сыном Серёжей жили тогда в общежитии Сибирского технологического института. Светлане как преподавателю и молодому специалисту дали там комнату. В редакции с квартирами было туго. Наверное, именно в общежитии я и узнал кое-какие подробности из распутинской жизни. О родной деревне, об отце с матерью, о первых годах учёбы. Из всего рассказанного ярче другого запомнилось, как Валентин поступал в университет. Приехал за 400 километров из глухой деревни в Иркутск — первый увиденный им большой город.

«Шёл, озирался по сторонам. Всё казалось ново и дико. И надо же, когда все зашли в аудиторию, где писали сочинение, я умудрился зацепиться за гвоздь и порвал штаны. Повезло, в общей суматохе никто ничего не заметил. Я успокоился, сел за стол и всё написал, как полагается. Но как идти обратно с рваными штанами? Решил подождать где-нибудь в закутке до темноты. Мол, поздно вечером никто ничего не разглядит. А того не дотумкал, что в большом городе и ночью светло, как днём! Тем более дорог по закоулкам я не знал — только главную улицу! Так и добрался до общежития, шарахаясь от прохожих. Тогда я ещё не знал простой истины: в деревне всякий человек на виду, а в городе один для другого просто не существует! А мне тогда казалось: все только и глазели на меня!»

В общежитии «Технолаги» я познакомился и с первыми художественными творениями Распутина. Помню рукописные страницы рассказа «Я забыл спросить у Лёшки» — ещё недоделанный черновик. Считается, что он стал его первым опубликованным рассказом. Запомнились и другие: «Продаётся медвежья шкура», «Мама куда-то ушла», что-то ещё.

В то время Валентин ещё не был уверен в себе как писателе.

«После университета, — говорил он, — мне всё казалось нипочём. Казалось, всё смогу. Теперь же мои собственные оценки стали более осторожными».

Что же касалось газетной журналистики, мне чудилось: он уже считал её занятием не для очень взрослых людей. Помню, на время уборки урожая 1963 года его «прикрепили» ко мне. Я в отделе комсомольской жизни был единственным «ответственным» за сельскую молодёжь, и Валентин, видя мою озабоченность, подбадривал: «Не боись, всё будет хорошо. Увидишь, нас ещё хвалить будут». Не помню уже, хвалили ли нас, но точно не ругали.

Вообще-то в журналистике Распутин был мастером на все руки. Правда, сельской темой не

увлекался. Зато по многу раз перебывал на наших Всесоюзных ударных комсомольских стройках: на «трассе мужества» Абакан—Тайшет, Красноярской ГЭС, на Талнахе и в Норильске, на Красноярском алюминиевом заводе и других. Из написанных им «ударных» очерков и составилась первая книжка Валентина «Костровые новых городов», выпущенная Красноярским книжным издательством в 1966 году. Одновременно в том же году в Иркутске вышла его другая очерковая книжка «Край возле самого неба»—о тофаларах, небольшом горном народе в Саянах.

К этому времени наши дороги уже разошлись, и только изредка сводила нас жизнь. Меня переманили в Дивногорск, на строительство Красноярской ГЭС, в редакцию только что реорганизованной из многотиражки городской газеты «Огни Енисея». Да я и сам больше тяготел к стабильности. Репортажный стиль газеты и вечные командировки—сегодня здесь, а завтра там—мне осточертели. А с краем, по моему мнению, я и так уже познакомился изрядно.

1965 год запомнился нам обоим юбилеем—тридцатилетием «Красноярского комсомольца». В один из январских дней я был приглашён на праздник как «ветеран» и нештатный корреспондент «молодёжки» из своих «Огней Енисея»—в новый красноярский ресторан «Огни Енисея» возле Коммунального моста; Валентин—как штатный сотрудник. Он недавно получил от редакции квартиру и уже «смотрел на сторону», в сторону родного Иркутска, раздумывая о вариантах обмена. Моей же главной новостью была женитьба, и я тоже задумывался о перспективах. О наших ближайших планах на будущее и был у нас разговор. Какую дорогу выбрать? Где работать и как жить?

Свершить свой выбор Валентину Распутину очень скоро помог организованный летом того же года в Чите зональный семинар молодых литераторов Сибири и Дальнего Востока. Валентина, понятно, пригласили туда. Приглашали и меня (ведь я уже мог похвастаться собственной книжкой!), но, увы!—редактор «Огней Енисея» А. В. Суходрев, чуждый всякой лирики, использовал право «вето»: «Ты будешь разъезжать, а работать кому? Для творчества и в газете хватает места—200 строк в день! Твори, выдумывай, пробуй!». На сём и закончился мой неначавшийся вояж.

А Валентин Распутин стал «главным открытием» Читинского семинара наряду с другими красноярскими молодыми талантами: поэтами Романом Солнцевым и Вячеславом Назаровым. В русскую литературу вступало новое поколение писателей, и, как я потом осознал, именно Распутин стал знаменем этого поколения, хотя при его характере он никогда не был и не стремился быть лидером. Он просто стал совестью России. Не сразу, конечно, но зато на многие годы. И до сих пор (и не знаю, на сколько лет в будущем) некого поставить рядом с ним.

В середине шестидесятых лет, сразу после Читы, о Валентине Распутине много говорили в центральной печати. Неоднократно звучали слова о «немедленном издании» первой книги молодого автора. Но Москва далеко. И пока там, как положено в столицах, рецензировали рукопись, вставляли её в план редподготовки, а затем в тематический и уточнённый темпланы, Красноярское книжное издательство уже в 1967 году помогло ему дебютировать с первой книгой рассказов.

Первая «художественная» книга Валентина Распутина называлась «Человек с этого света». Много раз потом я встречал в печати при перечислении различных его изданий это название с характерной ошибкой—«Человек с того света». Извечный стереотип держал в плену некоторых критиков и рецензентов. Но наш автор был человеком именно «с этого света», и проблемы современной злободневной жизни были для него первостепенными.

Говорят, первое впечатление—самое яркое. Вот каким было моё впечатление о «Человеке с этого света», опубликованное в те годы в «Красноярском комсомольце»:

«Книга поразила меня необычной манерой письма. Вернее, разнообразием этой творческой манеры. Казалось, сборник написал не один, а несколько начинающих писателей, настолько рассказы были не похожи по стилю, по выбору темы. Автор словно демонстрировал свои творческие возможности со щедростью и озорством юности».

Наиболее значительным в небольшой книжке на 120 страниц мне показался рассказ «Василий и Василиса». Именно в его героях были заметны ростки распутинских характеров сибиряков и сибирячек из будущих повестей «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой»—людей несгибаемых, обаятельных и ярких.

Редактировать книгу дебютанта выпало на долю старейшего и наиболее опытного редактора Красноярского книжного издательства Ольги Александровны Хониной, «поставившей на крыло» не одного начинающего красноярского писателя.

На этот раз опытнейшая и поднаторевшая в литературных делах Ольга Александровна была в совершенной растерянности.

«Впервые встречаю такого автора,—откровенно признавалась она.—Да мне с этой рукописью совершенно нечего делать: ни советовать, ни улучшать её. В ней и так всё совершенно!»

Таким было профессиональное мнение опытного литератора о «пробе пера» будущего классика русской литературы. Редакторы могли отдыхать!

Может быть, именно поэтому при следующем посещении Красноярска из Иркутска в начале

семидесятых Валентин был изумлён, увидев меня за столом редактора книжного издательства:

— В любом месте был готов тебя увидеть, но только не здесь!

Он, видимо, судил всех приходящих издаваться авторов по себе: написал человек — и издавай! Зачем посредники? Или просто думал: гораздо достойнее быть творческой личностью, чем тенью за её спиной? Разговор об этом у нас как-то не случился. Но, может быть, именно поэтому много позже Распутин так ответил на присланные мною циклы стихов «Сретенье», «Россичи» и «Беловодье»: «Удивлён и обрадован».

Первая повесть Валентина Распутина «Деньги для Марии», изданная в Москве, сразу обратила на себя внимание. Её прочли все и единодушно одобрили: здесь русский дух, здесь Русью пахнет! Запомнилось мне замечание, высказанное о повести кем-то из родни или земляков-односельчан Валентина: «Молодец! По-нашему написано! Русским языком, всем нам понятным». Валентин писал для народа на народном языке. А большинство писателей писали и пишут на языке писательском — друг для друга или же сами для себя. Сердце не ворохнётся.

После первой же изданной в Москве книги стало ясно: появился новый народный русский писатель. Народным был язык его прозы. Народными были и созданные им характеры. В 1967 году после издания повести «Деньги для Марии» Валентин Распутин был принят в Союз писателей СССР, стал профессиональным писателем.

Правда, уже в следующих повестях распутинские герои и задуманные автором коллизии не вполне соответствовали жёстким канонам социалистического реализма, были не совсем такими, какими им «положено быть» в советской литературе. Серьёзная «накладка» у писателя вышла с дезертиром из следующей после знаменитого «Последнего срока» повести «Живи и помни». Вначале она была опубликована в журнале «Наш современник» (1974, №10, 11), накануне 30-летия Великой Победы — и встретила глухое молчание.

Пресса не знала, как реагировать, как совместить юбилей Победы и злосчастного дезертира. Похоже, что и власть предержащие были в замешательстве, какую отмашку дать своей команде? Но поскольку никаких «руководящих указаний» на сей счёт не поступило, я ничтоже сумняшеся написал рецензию на понравившуюся мне повесть в «Красноярский комсомолец» и отослал газету в Иркутск (Валентин, получив квартиру, почти сразу обменял её и переехал из Красноярска на родину). Помню, рецензию я назвал, как и книгу — «Живи и помни», — и в письме запоздало каялся, что лучше бы назвать её «Настёна»: ведь именно Настёна — центр и смысл всей повести.

«О Валентине Распутине, — писал я, — в последнее время много говорят и пишут, хотя им самим создано ещё немного. Но, видимо, не по количеству изданных книг определяется подлинное значение писателя. Глубоко современный и в то же время глубоко чуждый поверхностным поделкам на „злобу дня“, Распутин берётся за самые коренные, изначальные человеческие проблемы, выбирая сложные, часто трагические, но всегда бесконечно жизненные ситуации. То, о чём он рассказывает тебе, не надо запоминать — оно само западает в душу. Автор словно даёт тебе в руку ниточку, по которой ты вместе с ним входишь в доселе неведомую, но такую близкую для тебя жизнь, как будто всё случившееся с его героями касается лично тебя. И вот уже судьба этих незнакомых людей тревожит тебя, не отпускает душу. Они входят в твою жизнь и остаются в ней. Ты учишься у них жизни, переживаешь за них, чувствуешь себя с ними богаче и крепче на этой земле. А расставаясь с ними, уносишь с собой неназойливый авторский завет: живи и помни. И помнишь их».

Валентин ответил очень быстро. В первые годы после переезда мы переписывались весьма активно, и у меня до сих пор хранятся «авиа» и обыкновенные конверты с письмами, открытки, написанные мелким филигранным неповторимым распутинским почерком. Вот что он тогда написал мне в письме от 26 января 1975 года (даты на корреспонденциях Валентин ставил обязательно — и одним этим любое сообщение превращалось в документ времени):

«Володя, здравствуй! Рад был получить от тебя письмо, а с газетой — рецензию, первую рецензию на «Живи и помни». Прочитал я её и ещё раз убедился, что самые лучшие и искренние рецензии пишутся не критиками, которые любое человеческое чувство зафразировали до того, что невозможно понять, о чём речь, — а умными и понимающими людьми. Спасибо тебе, Володя, особенное спасибо за Настёну, которую ты совершенно верно понимаешь. Я ведь ради неё и затевал и писал эту вещь. Обидно будет, если станут говорить о дезертире. Он здесь лицо пусть не самое второстепенное, но и не самое важное.

Прочитал я твоё письмо и захотелось в Красноярск, захотелось собраться старыми „комсомольцами“, посидеть за рюмкой или даже без рюмки и говорить, говорить… Вспоминать чудачества, жалеть, что были мы осторожными и скупыми в отношениях друг с другом, — а время-то ведь было самое золотое. Оно, очевидно, не так сложно и в Красноярск попасть, да всё как-то недосуг. Сейчас вот пишу тебе из своей родной деревни, а это от Иркутска 400 км.

Недавно похоронил отца. Мать осталась одна. Я и приехал к ней хоть на месяц. Отдохну от суеты. Может быть, немного поработаю, да и опять

туда-сюда, когда не понимаешь, что ты делаешь и зачем делаешь. Что тебе жаловаться? — ты всё это сам прекрасно знаешь. Всё-таки в этом году (разбередил ты меня) я собираюсь показаться дня на два, на три в Красноярске.

У „Комсомольца“ был недавно, слышал я, юбилей. Ко мне в начале января подходил какой-то парень из редакции (он, видимо, учится заочно на журналистике у нас) и сказал, что редакция пришлёт просьбу что-нибудь сказать в юбилейном номере. Но от редакции я ничего не дождался — там и народ-то, наверно, сплошь новый, — а присылать самостоятельно свои воспоминания и поздравления я не посмел. Да дело не в этом, конечно, а вот очутиться там было бы здорово. Приди приглашение, я бы, пожалуй, не сдержался: чтобы посидеть с вами, посмеяться с Аидой и Таней, в тёмном уголке шлёпнуть с Капусто лишнюю рюмку. Ну да, не уйдёт. Пусть только подольше живёт Капусто.

Выйдет книжка, Володя, — пришли, пожалуйста (речь шла о моей книге „Слушайте Дивногорию!“ — о молодых строителях Красноярской ГЭС, вышедшей в 1975 году и получившей потом первое место на Всероссийском молодёжном конкурсе. — *В. З.*). А я тебе потом „Живи и помни“. Она, если всё будет благополучно, должна появиться летом. Ещё раз спасибо за то, что помнишь. Сердечные приветы от меня всем нашим „комсомольцам“. Ваш В. Распутин. 26 января 1975 г. Аталанка, то бишь Атамановка».

Свою рецензию на «Живи и помни» я заканчивал такими словами: «Военные годы — суровые годы. Но разве кто выбирает время, чтобы родиться? Нет! Мы родились и живём, как того требует время».

Именно так и жил Валентин Распутин. Он жил так, как того требовало время, и, мне кажется, в конце концов Время стало равняться на него. Он был нашим Правофланговым. И был достойным представителем нашего поколения — поколения детей войны.

У меня в руках книга «Живи и помни» («Современник», 1975) с тёплым автографом и наклеенными на вторую страницы обложки поздними вырезками из газет о присуждении писателю Валентину Григорьевичу Распутину Государственной премии СССР в области литературы за повесть «Живи и помни» за 1977 год и с высказыванием председателя Комитета по Государственным премиям Николая Тихонова: «Это глубоко патриотическое произведение, посвящённое проблемам нравственности, <…> страстный призыв быть верными Родине, честно служить родному народу».

Молодцы «комитетчики»! Выдержали паузу — и наградили! Вполне заслуженно. Хотелось бы добавить, что о проблемах нравственности никто не говорил и не писал так страстно и с такой болью за русский народ, как Валентин Григорьевич. Он, наверное, единственный человек в России за все последние «клятые» десятилетия, который мог бы по праву принимать наши исповеди. За весь русский народ. Наш исповедник.

В той книге, изданной «Современником», кроме повести, напечатаны рассказы «Рудольфио», «Василий и Василиса», «Уроки французского». Все они наряду с многими другими произведениями В. Г. Распутина экранизированы, любимы народом. Распутину есть о чём рассказать, есть что показать. А в маленьком герое «Уроков французского» узнало себя всё наше поколение «детей войны». Так же как в «Прощании с Матёрой», отождествил себя с жителями «Матёрой» весь русский народ, уходящий в небытие, на дно под победные звоны «великих строек коммунизма».

Переписка с Валентином Григорьевичем у нас начиналась из Красноярска в Дивногорск, потом перешла на линию Красноярск — Иркутск, Красноярск — Москва и снова в Иркутск и Москву. О чём писалось?

Первая из тощей пачки писем — открытка в Дивногорск, в редакцию «Огней Енисея» от 30 декабря 1963 года. Наверное, открытку послали с редакционной новогодней «вечеринки» «Красноярского комсомольца». Три подписи моих друзей-«комсомольцев»: В. Распутин, Л. Моисеева, Р. Иванова, но текст и адрес написаны неповторимым «ювелирным» почерком Валентина. Видно, просто больше его маленьких, словно игрушечных, буковок входило на малюсенькую площадь для письма. И почему-то поздравление было в стихах: «Зыкову Владимиру свет Павловичу. Люди нынче в бога верят мало. Люди больше верят в Новый год. Мы ждём его, как поезд у вокзала. А он придёт, потом опять уйдёт. Мы остаёмся. Мы полны желаний. Мечтаем мы о том и о другом. Всё тише стук, и тишина, как рана, сосёт и давит нас. Мы снова ждём».

13 февраля 1976 года: «Извини меня за молчание. Я больше месяца жил в деревне и запустил всякую переписку. Спасибо за книжки. Посылаю и свою. Давно следовало это сделать, но я в своё время не запасся тиражом и стреляю, где только могу. Живу сейчас сложно: то водку пью (пока не подорожала опять), то сижу за столом по 18 часов. Этакий образ жизни ни к чему хорошему, разумеется, не приведёт, но уж не до хорошего, было бы как-нибудь. Что-то не хочется становиться на правильную и разумную дорогу, и без меня лжеправедников достаёт. Как у тебя? Пиши иногда и не обижайся, пожалуйста, коли отвечать буду не сразу. Приветы всем, кто помнит меня. Твой В. Распутин».

Валентин прислал тогда книгу «Живи и помни», которую обещал. С надписью: «Володе Зыкову с неизменным товарищеским верно. В. Распутин, февраль 1976».

25 января 1977 года: «Спасибо за новогодние поздравления. Я только-только вернулся из Москвы. Даже новогодние открытки не успел разослать… Что-то ничего не стал успевать—ни работать, ни жить. Сейчас пишу тебе из деревни, где живёт мать. Тоже пособирался сюда целый год и наконец выбрался. Хотел поработать, но такие стоят морозы, что успеваю только дрова рубить да печку топить. Наверное, и у вас зима та же—есть, значит, ещё у матушки Сибири характер. Сейчас вот пишу тебе, и руки стынут, а всё утро топили… Избёнка, правда, холодная, мать в ней одна, а в город никак не решается. На следующую зиму придётся, наверное, её всё-таки увезти. Как вы? Нынче были ваши из издательства во главе с Ритой Николаевой. Договорились по телефону о встрече—и не получилось. Надо как-нибудь всё же приехать, посмотреть в доброй памяти, что стало с Красноярском. Пиши иной раз, Володя. Близким твоим—приветы. Ваш В. Распутин».

24 декабря 1977 года: «С Новым годом тебя и твоих близких! Всего вам доброго—большим и маленьким! Спасибо за письма и поддержку. Извини, что отзываюсь мало и редко, но знай, что помню, люблю и чувствую, а кроме того, верю, что удастся посидеть и поговорить ещё и в этой жизни. Передавай привет нашим из „Комсомольца“. Жив ли он, „Комсомолец“-то? И что за поколение там теперь, о чём оно хлопочет? Твой В. Распутин».

В письме от 19 января 1979 года Валентин рассказывает о борьбе за чистоту Байкала, природы России, её экологии, своём противостоянии «великим стройкам», калечащим нашу Землю. Этот добровольно принятый на себя крест он безропотно нёс до конца. Он пишет: «Я уже довольно далеко зашёл в своём консерватизме по поводу старого и нового. И не только в книгах, но и в устных всяких высказываниях и заявлениях и считаю, что так и нужно, если даже не совсем прав. Вреда, по крайней мере, от этого никому не будет. В таких случаях лучше перегнуть в пылу палку, чем в осторожности не догнуть: чересчур могуча и неостановима та, другая сторона… Книжку отправляю тебе. Твою получил… Спасибо за выписку о Распуте. Она наверняка мне пригодится. Так далеко своего однофамильца, а возможно, и предка я ещё не видывал. Пиши… Хотел вложить эти листки в книжку, но решил отправить отдельно».

Книжка эта (может быть, самая лучшая из всех распутинских книг) передо мною: Валентин Распутин. Повести. Прощание с Матёрой. Живи и помни. Последний срок. Деньги для Марии. М.: Молодая гвардия, 1978. С дарственной надписью: «Володе Зыкову с дружеской и светлой памятью о „комсомольских“ годах наших. В. Распутин, январь 1979».

Поздравительная новогодняя открытка от 30 декабря 1981 года, Иркутск: «Дорогой Володя! Тебя и близких твоих—с Новым годом! Да сбудутся ваши главные желания, будьте все здоровыми и в меру весёлыми и благополучными! Собирался нынче по осени в Красноярск—не получилось. Теперь, видимо, до весны… Вспоминаю часто и тебя, и редакцию, и Красноярск. Жму руку. В. Распутин».

После этого новогоднего поздравления в нашей переписке наступил перерыв. Но зато была одна неожиданная встреча в 1984 году—в мой первый рабочий день, когда я до 1998 года «заступил на вахту» главного редактора Красноярского книжного издательства, сменив на этом посту тоже «воспитанницу» «Красноярского комсомольца» шестидесятых лет Маргариту Ивановну Николаеву. Я только приготовился устроиться поудобнее в кресле «главного», как вдруг открылась дверь и в кабинет вошли Валентин Распутин и Владимир Крупин, бывший главный редактор журнала «Москва», больше мне известный по «вятским корням»—я тоже родился и провёл детство на Вятке.

Поражены были мы оба: я и Валентин. Хотя, кажется, Валентин был поражён меньше, чем когда увидел меня впервые за редакторским издательским столом. Я с тех пор уже менял места работы, но судьба (или просто дружно высказанные пожелания красноярских писателей) снова привела меня в эти стены. А приезд Распутина и Крупина был связан с юбилеем—60-летием Виктора Петровича Астафьева, который после переезда из Вологды в Красноярск стал не просто у нас ведущим писателем, но и постоянным арбитром и «палочкой-выручалочкой» во всех издательских-писательских делах-спорах и оратором-подарком для зональных семинаров сибирских и дальневосточных книжных издательств Госкомиздата РСФСР.

Следующая весточка от Валентина—новогодняя открытка от 31 декабря 1990 года: «Дорогой Володя! С новым годом тебя и твоих близких! Дай-то Бог и тебе и всем нам в это тяжкое время. Хотя Бог-то Бог, но и сам не будь плох, как замечено давно. Во всех смыслах будем, будем и будем!.. Рад, что твоя книжка стихов выходит, и буду рад получить её от тебя. Удач тебе и за домашним письменным столом (теперь и про кухонный нельзя забывать), и за служебным. Искренне, В. Распутин. P. S. Пишу из Москвы, но скоро опять в Иркутск».

17 марта 1995 года, Иркутск: «Володя, добрый день! Спасибо за новогодние поздравления…

Вернувшись из Москвы почти месяц назад, прежде всего поехал к матери в Братск, где она живёт у моей сестры и в 84 года чувствует себя всё хуже и хуже. А я уже и сам чувствую себя глубоким стариком. В последние года год выходил за пять. Приехал сейчас на Байкал в санаторий, куда раньше не раз уезжал поработать и где ещё

узнают меня — так узнают, всплёскивая руками: Вы ли это?.. И сам не знаю. Сказались пять операций под наркозом, моя былая беспутная жизнь, мой консерватизм по отношению к переменам и прочая… Не буду больше жаловаться, дело это невесёлое.

В Москве пока остаётся казённая квартира — пока до мая (видимо, как для депутата прежнего Верховного Совета. — *В. З.*). Держался за неё из-за дочери, которая нынче заканчивает консерваторию, по специальности музыковед, вторая специальность — органист, но на работу консерватория приглашает в издательский отдел, там же в Москве. Сын у меня окончил Иркутский иняз, отслужил в армии и теперь зарабатывает вместе с женой курсами английского языка.

Почти не пишу. То есть пишу, занимаюсь подёнщиной. В прошлом году вышел трёхтомник (издавали совместно „Молодая гвардия" и „Вече", но деньги были последнего), заплатили по старым понятиям копейки. И так всюду. Коммерческие издательства не хотят платить, некоммерческим платить нечем. В демократы не вышел — сам виноват. Спасают изредка зарубежные журналы, заказывающие статьи. Я со своими взглядами для них — нечто экзотическое. Напечатают рядом с цивилизованным человеком меня, чтобы показать, какие экземпляры на Земле ещё остались, — читателю забавно. Скоро, пожалуй, будут показывать живьём из вольера, не говоря ни слова.

Красноярск стал слишком далеко, гораздо дальше Москвы. В прошлом году, едучи поездом, сошёл на перрон, наобещал встречавшим, что потом обязательно приеду, — и исчез. Ехало не повезло. Вместо Енисея отправился опять на Лену, да и то недалеко. Намеревался, собираясь продолжать книгу о Сибири, проплыть всю Лену, но на первом же (горном) этапе жёстоко простудился, четырежды отлежал в больницах с двумя операциями и теперь уже никаких обещаний не даю. Надеюсь всё же, что встретимся ещё и на этом свете. Прости, письмо невесёлое, но уж так „наехало"… Да, встретил в конце января в Колонном зале на праздновании 60-летия Союза писателей Лилю Моисееву и Тамару Назарову. Легко узнаваемы, по-прежнему великодушны, особенно Лиля… В. Распутин».

Хотелось сказать хотя бы несколько слов об уникальнейшей и драгоценной для сибиряков да и для всего нашего народа книге очерков Валентина Григорьевича «Сибирь, Сибирь…». Именно о ней и упомянуто в письме. Только читая такие книги, начинаешь по-настоящему понимать и принимать сердцем свою Родину-Отчизну — страну отцов и дедов. В книге, альбомно, празднично изданной иркутским книгоиздателем Сапроновым, представлены все «святые» заповедные места Сибири, составляющие от древности до современности нашу гордость и величие. Так здорово и проникновенно никто никогда ещё не писал о Сибири. В недавней беседе за «круглым столом» ТВ по каналу «Культура» советник президента Владимир Толстой с придыханием говорит о распутинском очерке о Русском Устье:

«Валентин Распутин заново открывает для нас Сибирь, её историю, её истоки. Да кто из нас знал раньше о затерявшемся в глубине веков русском посёлке на берегу Ледовитого океана в устье Индигирки, где поселились русские первопроходцы (безусловно, из давних новгородцев) задолго до „открытия Сибири" Ермаком и сохранившие свой древний язык и культуру в вековой изоляции буквально до наших дней? Валентин Григорьевич открыл для меня Русское Устье, и я после знакомства с очерком специально съездил туда. Правда, прежней старины, которую успел „прихватить" писатель, не увидел, но всё оставшееся поразило меня. Нет, это не просто „этнографические очерки". Это наша „самая суть"».

Следующее письмо — от 2 ноября 1995 года в мой юбилейный 60-й год, вклинившийся в самую середину проклятых девяностых. У Валентина этот год также выдался тяжёлым.

«В августе хватил меня удар, вызванный, как потом выяснилось, всего-то спазмом мозгового сосуда, но меня он напугал. Только пришёл в себя — инсульт у матери, которая живёт у сестры в Братске. Пришлось ехать туда. С трудом „откачали" мать, но она с той поры уже больше не поднимается.

Думаю, в 60 лет ты морально чувствуешь себя даже лучше, чем в 55. Во-первых, потому, что за эти пять лет удалось и отстоять себя, и показать, что и впредь мы сдаваться на милость всякой шушеры не собираемся, и, во-вторых, от физического достижения высоты, свидетельствующего о твоих силах. Теперь, после „подведения итогов", дальше. Как пелось в комсомольских песнях: „Покой нам только снится". Хотя он уже и не снится. Обнимаю. В. Распутин».

Мать В. Г. Распутина умерла 12 марта 1996 года, о чём он сообщил мне в следующем письме от 26 марта из больницы, куда уложили его самого «с болячками, которые чересчур начали тревожить… Тут потихоньку успокаиваюсь от всех прелестей жизни».

Мы в эти дни — 21 марта — отмечали 60-летие издательства, и Валентин Григорьевич нашёл силы поздравить нас: «Ваше издательство уже тем достойно уважения (и удивления), что оно живо и не скурвилось. Наше (видимо, речь об иркутском Восточно-Сибирском издательстве. — *В. З.*) скурвилось, решив в своё время расцвести на нечистотах, и теперь вынуждено было распустить всех редакторов и ничего, кроме двух-трёх заказных книг, произвести не в состоянии… Я живу подёнщиной,

но большой частью статьями. Книги нынче не кормят. Книги едва хватает на месяц, и издавать их можно только от сытости. Я потихоньку пишу и буду писать прозу, но, как мне кажется, пишу для близкого круга друзей… Но это моя судьба. Бог с ней! А издательству подниматься в рост и печатать лучшее и необходимое надо. Это мы можем уходить. Издательство не может. Сейчас опять начинают писать. Опять идут рукописи, и я вижу, что русская литература жива. Хотя многие, в том числе и известные, поддались на наживки, с помощью которых сделалось принято подцеплять писателей. Будь здоров. Спасибо за память. Твой В. Распутин. P. S. С пасхой и весной!».

Из письма от 18 февраля 1996 года: «Опоздал с новогодним поздравлением. Но это уже по правилам моей жизни. Я слишком опаздываю от тех событий и явлений, которые происходят у нас — с той же литературой. Литература во всю мочь старается стать американской или, на худой конец, европейской, а я всё ещё застрял на русской. А с такими пристрастиями и вкусами не проживёшь.

Не собираюсь я отмечать свою очередную круглую дату (60-летие в 1997 году. — *В. З.*). Не потому, что не признаю её, а больше потому, что не признаю себя в этой дате. Хвастаться нечем, работаю в год по капельке, передовые методы не усвоил… Но день рождения свой не скрываю — 15 марта. Поздравлению твоему буду рад, если даже придёт оно в июне. Хорошо, что ты по-прежнему в издательстве, — так прочнее мир стоит. Искренне твой, В. Распутин».

Последние наши встречи с Валентином Григорьевичем были в какой-то мере случайными. Хотя вряд ли можно назвать случайною его постоянную тягу к Красноярску и хотя редкие, но регулярные приезды на Енисей. В последние годы писатель по приглашению ректора Красноярского педагогического университета Николая Ивановича Дроздова трижды приезжал к нам пообщаться с преподавателями и студентами. По-моему, в последний раз в 2009 году, когда В. Г. Распутин по инициативе иркутского книгоиздателя Сапронова с киногруппой полюбившегося красноярцам кинорежиссёра Сергея Мирошниченко и известным литературным критиком Валентином Курбатовым совершали незабываемое турне на теплоходе по Ангаре — от истоков до устья. Об этом был снят документальный двухсерийный фильм «Река жизни», который мы позднее смотрели по Центральному телевидению. Тогда же Распутину были вручены мантия и прочие атрибуты почётного профессора Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева.

На одной из этих встреч я в последний раз разговаривал с В. Г. Распутиным. И получил в подарок его новинку — книгу «Дочь Ивана, мать Ивана», изданную в Иркутске издателем Сапроновым с послесловием Валентина Курбатова. Кстати, именно Сапронов оказался тем самым ангелом-хранителем, который представил в последние годы немало книг Распутина в наилучшем виде. Всё-таки писателю повезло под конец жизни — его признали «в родном Отечестве». С самим Сапроновым мы тоже встречались в Красноярске после завершения «ангарского вояжа» и были потрясены, узнав через несколько дней о его скоропостижной кончине.

В книгу «Дочь Ивана, мать Ивана» вошли несколько новых рассказов. Из них самым запоминающимся безысходным трагизмом показался мне «В ту же землю». Трагизмом веяло от всех последних произведений писателя. Он ничуть не обольщался насчёт будущего России, русского народа: «Люди теперь живут не ожиданием спасения, а ожиданием катастрофы». Так он сказал. И ещё несколько его печальных-прощальных слов: «Слово исчезает в народе. Его вытесняют радио и телевидение».

А заголовок повести «Дочь Ивана, мать Ивана» подсказала Валентину в одном из писем давняя знакомая по «Красноярскому комсомольцу» Маргарита Ивановна Николаева (именно при ней, когда она была главным редактором нашего книжного издательства, издали большой том В. Г. Распутина в серии «Писатели на берегах Енисея»). В своём письме она упомянула, что её стойкость держится на крепком фундаменте: ведь она дочь Ивана. И мать Ивана.

«Да это же готовый заголовок книги!» — воскликнул Валентин Григорьевич. Так и появилась повесть именно с этим названием.

Своими произведениями Валентин Распутин призывает не сдаваться. Призывает к сопротивлению, к борьбе. Призывает не сгибаться перед трудностями, а жить да жить. Наверное, именно поэтому в мою поддержку он и начертал на последней подаренной книге: «Володе Зыкову — дружески и с радостью при виде после долгой разлуки крепкой твоей фигуры и твёрдого голоса. В. Распутин. 8.07.04.».

Нельзя складывать руки и жить благодушествуя. Нельзя быть спокойными, когда «горит, горит село родное… Горит вся родина моя». Именно такой эпиграф поставлен впереди повести В. Распутина «Пожар»: «Горит вся родина моя…». Об этом пожаре — горит Россия! — бил в набат все последние десятилетия своей жизни Валентин Григорьевич. Он кричал о «пожаре» всем своим творчеством. И особенно пронзительным и громким был голос его публицистики. Он бился за народ. За русскую землю. За экологию. За Байкал. За Русское Устье. За Тобольск и Кяхту. За всю страну. Именно Валентин Распутин, как сказал наиболее авторитетный наш критик Валентин Курбатов,

«писал „красную книгу“ русской жизни». И все русские воспринимали и воспринимают Валентина Распутина не только как борца за Байкал, за экологию, а как радетеля за весь русский народ. Народ в опасности! Он на грани исчезновения! На грани «рассеянья».

Помните давние слова писателя в статье «Полная чаша злата и лиха»? Прочтите их снова: «Двадцать лет назад моя статья в газете „Известия“ о плодах хозяйствования (тоже двадцатилетнего со времени запуска комбинатов) называлась предостерегающе: „Байкал у нас один“. Многие и многие сотни писем-откликов получила тогда редакция, я их храню до сих пор. Теперь впору говорить с одышкой после множественных отступлений от былого величия: Россия у нас одна! Другой, запасной, нет».

Эти слова были сказаны в 2006 году. Десять лет назад. Вряд ли вы припомните, что в России хоть что-нибудь изменилось в лучшую сторону…

Наверное, большинство центральных, республиканских, краевых и областных газет России (и, думаю, многих зарубежных тоже) напечатали слова соболезнования об уходе из жизни Валентина Григорьевича Распутина — нашего самого близкого человека. Я не читал никаких некрологов, кроме как в «Красноярском рабочем», первом месте работы будущего писателя в Красноярске, и в «Красноярской газете». «Красноярский комсомолец», где когда-то мы работали вместе с Валентином, давным-давно утоп в волнах рыночных штормов.

«Красноярский рабочий» посвятил ему всю первую страницу: «Ушёл последний классик… 14 марта, за несколько часов до своего 78-летия… скончался знаменитый русский писатель Валентин Григорьевич Распутин, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственных премий СССР и Государственной премии России, лауреат многих других литературных премий».

Тепло написал об ушедшем писатель Эдуард Русаков: «Особенно грустно, что именно в этом году, который объявлен Годом литературы, от нас ушёл последний классик русской словесности, писатель-сибиряк, автор таких всемирно известных произведений, как „Деньги для Марии“, „Последний срок“, „Прощание с Матёрой“, „Живи и помни“, „Пожар“, „Дочь Ивана, мать Ивана“».

И в «Красноярской газете» также прозвучало: «Прощай, Валентин Распутин! Вечная память!»

Обратило моё внимание и высказывание Александра Проханова в газете «Завтра»: «В литературном, духовном, идейном отношении я не близок Распутину. В каком-то смысле — даже антагонист… Мы никогда не были близки и ни разу не общались, что называется, по душам. Он был певцом народа, а я — певцом государства». Что тут скажешь? Каждому — своё.

22 апреля 2015 года накануне, как мы отметили 40 дней ухода Валентина из «мира тварного», я смотрел о нём передачу (нечто вроде «круглого стола») на ТВ по каналу «Культура». Мне показались интересными некоторые высказывания выступающих, совпадающие с моим мнением.

Владимир Толстой, советник президента России: «Совестливость — самое главное в человеке. Об этом все книги Валентина Распутина. А какой у него язык! Когда я читаю его произведения, мне кажется, я с ним разговариваю. У него нет ничего случайного и ни капли фальши, всё естественно… Это человек огромного общественного звучания».

Алексей Варламов, ректор Литературного института: «Валентин Распутин — самый высший уровень литературы XX века. Роль этого писателя будет только возрастать».

Константин Скворцов

Шарманщик

● ● ●

На станциях,
Где нет тепла,
Базары—бабьи посиделки.
Как звон разбитого стекла,
Оркестров медные тарелки.

Ушли попутчики,
А я
В пустующем вагоне—дальше!
И снова кружатся поля,
Берёзы сирые
И пашни.

Через туннели чёрных бед,
Через мосты размолвок мелких
К тебе я еду
Сотни лет,
Но кто-то переводит стрелки.

Игра в войну

В пустых обугленных полях
Война оставила работы!..
А мы седлали, как телят,
Ободранные самолёты.
В войну играли.
И легко
В степи у глиняного дота,
Раскинув руки, как в кино,
Красиво падала «пехота».
Искали бабы по дворам
Детей, но из глухих укрытий
Им отвечала детвора:
—Домой нельзя нам. Мы—убиты.
Их воскрешала на заре
Живой водою кружка кваса.
А мне везло. Везло в игре—
Всегда живым я оставался.
И оттого в степной глуши
В ночном, холодном карауле
Я не заметил, как прошли
Сквозь грудь мою шальные пули.
Стреляли где-то соловьи,
Скрываясь средь лесных угодий,
Но раны вещие мои
С той ночи ноют к непогоде.

Шарманщик

В городе Туле в старинном посаде,
Не признавая тяжести лет,
Ворот рванув, умер добрый мой прадед.
Умер, а я появился на свет.
Скажут о нём: балагур и обманщик.
Скажут и следом забудут про всё…
У перекрёстка вечный шарманщик
Плачет и крутит своё колесо.

Лебедь летел и кричал ошалело.
Всё в этой жизни, знаю, не вдруг.
Видимо, новое горе приспело:
Умер отец, но родился мой внук.
Новые лебеди низко летели.
Острые крылья касались земли.
Матушку белые вьюги отпели,
А по весне внучку в дом принесли.

Что же теперь мне в бессмертье рядиться?
Вечность прекрасная мне не жена.
Если умру я и правнук родится,
Значит, Россия наша жива.
Скажут мне вслед: балагур и обманщик.
Скажут и тут же забудут про всё…
У перекрёстка вечный шарманщик
Плачет и крутит своё колесо.

● ● ●

Пролетала птица над селом.
Обронила белое перо.

Маховое белое перо.
На ладонях тёплый снег его.

Что ж ты, птица, песнь моя и плеть,
Не тебе ли за море лететь?..

Там птенцы, едва прольётся гром,
Будут мокнуть под твоим крылом…

Маховое белое перо.
На ладонях тёплый снег его.

Десять вёсен в солнце и зарю,
Словно в окна красные, смотрю.

Снова лебединая пора.
Как тебе живётся без пера?..

Русская женщина

Чёрные вороны кружатся стаями.
Мёртвые воины спят изувечены.
Кто из груди вынул стрелы Мамаевы?
Русская женщина.
Русская женщина.

Верила солнцу и Богу молилася,
Зная, что в битве судьба переменчива.
Кто на войну обрядил новых витязей?
Русская женщина.
Русская женщина.

Есть под кольчугою тайна зашитая,
Чтоб не бросаться им в бой опрометчиво…
Тысячу лет у окна ждёт защитника
Русская женщина.
Русская женщина.

Вдовьими криками славим победы мы.
Кровное горе—не месть нам завещана.
Кто с пленным ворогом всех милосерднее?
Русская женщина.
Русская женщина.

Холмы разрыты, и косточки вымыты.
Выжжена память, и боги развенчаны.
В муках себя, как могла, сохранила ты,
Русская женщина.
Русская женщина.

Что ж ты глядишь на меня, ясноокая?
Ты же давно с моим другом обвенчана…
Но и в замужестве ты одинокая,
Русская женщина.
Русская женщина.

Станция Пустошка

Вблизи от станции Пустошка
Который век, который год
Стоит убогая сторожка.
В ней Дарья-беженка живёт.

Она от поезда отстала
С красноармейцем молодым,
Но счастлива, увы, не стала,
Всё в жизни—паровозный дым!..

И чуть заря—она хлопочет
У косогора над рекой,
Остановить свой поезд хочет
Дрожащей в мареве клюкой.

А поезда все мимо, мимо…
Но ей и это не беда.
Она давно уже забыла
Откуда ехала, куда.

И нет давно родного дома,
Что был сработан без прикрас.
Мне так лицо её знакомо,
Что слёзы сыплются из глаз.

У нас одно на свете горе,
Одни печаль и непокой:
Вся Русь стоит на косогоре
С воздетой к Господу рукой.

А поезда все мимо, мимо…
Но ей и это не беда.
Она давно уже забыла
Откуда ехала, куда…

* * *

О, колдовство
девичьих рук.
Колени,
спрятанные пледом…
Я знал тебя.
Но мир вокруг,
таинственный,
мне был неведом.
И уносил
девятый вал
то в ад меня,
то в двери рая.
Я мир огромный
познавал,
тебя за далями
теряя…
Ручей
с полей моих бежит.
В берёзах звень,
грачиный гомон.
Теперь мне мир принадлежит.
И только ты одна—другому.

Галина Климова

Здесь был Богоматери Тихвинской храм…

Мария и Марфа

Не зная зимы,
разнотравьем взрослели холмы.
Отары насытились.
Ливень замолк.
Все—рот на замок:

И только Мария вполголоса
пела под цитру псалмы.

Сестра её Марфа,
чуть свет засучив рукава,
скребла и полы, и столы добела,
орехи толкла—
медовая так утешительна пахлава.

Марфа кого-то ждала.

Три дня бедный Лазарь не жил-не дышал,
в холодной пещере три дня пролежал,
а день на четвёртый успел к нему друг Иисус,
едва прикоснулся спелёнутых рук,
и голос—как голубь—взлетел из груди:
вставай и иди!

И Лазарь воскресе.
Он сел.
Он уже на ногах.
О, чудо! Лазарь—не прах.

Лепёшки с кунжутом, оливки, сухое вино.
—О, Марфо, Марфо, остынь к суете, веретено!
Господь наш и Лазарь—с нами,
и мы, недостойные, с Ним,
а мне до заката успеть бы в Ершалаим!

Мария запела под цитру дорожный псалом.
Лазарь с устатку вздремнул за столом.
А Марфа…
Возлюбленный, Равви, тобою жила,
дыхания слова живого ждала,
…пока пахлаву пекла.
К чему, растолкуй мне, всё снится и снится:
ты на осляти, на белой ослице,
входишь во славе
в Золотые ворота столицы…

Храму Тихвинской Богоматери в Ногинске

Сорваться с физики на «Пепел и алмаз»,
надышаться за 20 копеек западным ветром свободы.
Любая война—изнанка природы,
и жертва—тоже герой из народных масс.
Готовься к случайной смерти в финале,
в этом плюшевом Синем зале,
не предполагая,
что ты в приделе
Чудотворца Николая.

«Дьявол и десять заповедей» крутили всё лето,
лишнего—ни за какие коврижки—билета,
жуть, и хохот на две серии,
и в первой тебя связали,
нервы уже на пределе
в этом плюшевом Красном зале,
в бывшем приделе
Преподобного Сергия.

Эстрада в софитах (был ли алтарь?),
назойливый шлягер на пару куплетов,
Дед Мороз на исходе, запойный январь
салютовал пивком из буфета.

Задолго до кинотеатра «Юность»,
когда колокола будили город по утрам,
здесь был Богоматери Тихвинской храм,
и молилась великомученица Елисавета.

• • •

Когда зимы ворованную повесть
читаю перед сном строптивцу декабрю,
читаю как свою и беспокоюсь—
всё не о том, не так я говорю
и вру подстать календарю.

Хоть повесть—не роман, но длится, длится.
Декабрь лютует, снег прессуя в лёд.
и я, небоязливая синица,
уж если угораздило родиться,
то жизнь перезимую за один пролёт.

Декабрь молчит. И день не настаёт.

Евгений Степанов

И пришла пора иная

• • •

Так ведут себя демоны — властно, сердито, упрямо,
Энергично — хоть головы подлым руби.
Так ведут себя тётеньки в гипермаркете «Castorama»
Или в «Obi».

Так ведут себя ангелы — тихо, задумчиво, кротко.
Так ведут себя ангелы — тихо — по лику — слеза.
Я живу сотни лет, но моя черепная коробка
Не вмещает всего, что уставшие видят глаза.

• • •

Бывший мачо глядит очесами измученной клячи.
От него до бомжа расстояние — две неудачи.
От него до реки под названием Лета —
Два кульбита судьбы и два пируэта.

Бывший мачо, ушедший из хора плейбоев,
Тихо песню поёт. Подпевает старик Козлодоев.
Бывший мачо хандрит — дни и ночи несносны.
— Это зря, ты не плачь, — говорят величавые сосны.

Всё правильно

Всё правильно — время, и возраст, и вялость,
Сковавшая руки и ноги, и мозг.
И леди, которая мной восхищалась,
Теперь сокрушается: «Как же ты мог?!»

Всё правильно — я чемпион раздолбаев,
Седой дауншифтер и антигерой;
Не стал знаменит, как поэт Улюкаев,
Сидящий, как Бродский, в темнице сырой.

Всё правильно — время прошло бестолково.
Но я, как известный предмет, не тону.
Всё правильно — тихо на даче в Быково.
Но я-то как раз и люблю тишину.

• • •

Я знаю, что всегда некстати
пустые громкие слова.
Я в состоянии сомати
провёл и день, и век, и два,
не реагируя на враки,
на сумрачную болтовню.
Пусть дурни лают, как собаки,
я отвечать повременю.

Несколько греческих слов

Этнос — выросший из логоса.
Этнос — возвращённый в логос.
Эрос — выросший из космоса.
Эрос — возвращённый в космос.

Этнос. Смерть — не завершение.
Эрос. Жизнь — волшебный бонус.
Космос. Смерть-и-воскрешение.
Логос. Точен вечный Хронос.

• • •

Не беден — смел, трудолюбив,
Успешен и продвинут.
Но смерть — единственный актив,
Который не отнимут.

Я совладелец (хоть и клерк)
Большой конторы смерти.
А жизнь — секундный фейерверк
Добра и зла — поверьте.

Портрет

Пусть ниже среднего IQ,
Но я работаю, не пью,
Я трудоголик, я из тех,
Кто верит в собственный успех.

И сад сияет белизной,
И луг пьяняет заливной,
И обеспечена родня,
И внучка в гости ждёт меня.

Старая песенка

Мир на части расколот.
Как же это понять:
Похоть, голод-и-холод
И — любовь, благодать?

Брови хмурить негоже,
Нежелателен сплин.
Мир расколот, но всё же
Беспощадно един.

Грех

Надеть
на здравый смысл намордник.
Я принимаю жизнь-наркотик.
Забыть
смертельную угрозу.
Я увеличиваю дозу.
Наркотик-бой —
я рвусь к победе.
Наркотик-боль.
Наркотик-леди.
Наркотик — дальняя дорога.
Наркотик — долгая эклога.
Не скучно в этом мире странном.
Так и подохну наркоманом.

Центон

Куда ни кинь — везде художник Шилов,
Как водится, в мерцании светил.
И мастер по ремонту крокодилов
Предательски на пенсию свалил.

И мумба-юмба — дембельское племя —
Захватывает банки и печать.
И умолкает пепельное время,
Но как опасно времени молчать.

Памяти Алексея Парщикова

…И стою, как конь, в загоне я.
Завываю, как собака.
Дайте мне чуть-чуть мельдония,
Чтоб разрушить сервер мрака.

Всюду — ложь и мощь пиарщиков.
И поругана Даная.
И ушёл волшебный Парщиков.
И пришла пора иная.

ДиН ревю

Екатерина Ратникова

Орнамент

Москва, 2016

• • •

Люблю я в полдень в январе,
В пяти шагах от шума, бега,
Расчистив лавочку от снега,
Сидеть в каком-нибудь дворе.

В трясине светско-городской
Нельзя всерьёз не удивляться
Тиши дворов-старообрядцев,
Хранящих строгость и покой.

К ним входишь, робок и согбен,
Как в дом к любому староверу,
С условием принять на веру,
Что правды нет вне этих стен.

Вот голубь с выгнутым хвостом
Скользит по льду вокруг подруги,
Как воин в ритуальном круге,
Весь в танце важном и простом.

Вот неприметный магазин
Глядит из темноты дворовой,
На лоск многоэтажки новой
Стремясь всем видом возразить.

С надеждою набить нутро
Собака грязная хромает,
Когтями хрусткий лёд ломая,
По направлению к метро…

…И всё в новинку, как во сне,
Пусть каждый год одно и то же,
И жгучая роса на коже
Руки, сметавшей с лавки снег,

И ослепительный, как смерть,
Луч солнца в ледяном покое,
И небо — чистое такое,
Что вверх не смею посмотреть.

Ян Бруштейн

Неспешный сад

Любить и плакать

Я навестил знакомых стариков,
Сплетённых, словно корни или ветки.
Она его держала за рукав,
Поглядывая редко.
Он вырвался неясно, как вода:
«Постой минуту, я поставлю чайник».
Она его теряла навсегда,
И голос был отчаян.
Но он вернулся к ней, её герой,
А мир качался, словно зона риска…
Однажды ночью он шагнул за край
И вовсе растворился.
Как будто кто-то прокричал: «Замри!»
Когда вокруг—глухая тьма и слякоть…
Она осталась посреди земли
Любить и плакать.

• • •

Пространство неспешного сада
Светло и беспечно,
В саду этом думать не надо
О грешном и вечном.
А нужно любовно касаться
Деревьев и речи,
И может на миг показаться,
Что мир безупречен.
Как будто бы вспомнило тело
О детском и важном,
Как будто бы жизнь пролетела
Легко и отважно.

• • •

он слова как тесто месит
он порой винишко квасит
и летит к нему как мессер
время злое словно трассер

неуютная погода
ноет сердце у планеты
снова в штопор из полёта
обрываются поэты

Солдатские тетрадки

1.

Не помню те глупые траты,
Которыми юность полна…
Но как я корябал в тетради,
Слова выгребая до дна!

Так было свободно и сладко,
Стихи возникали как свет…
Но как же горела тетрадка,
Потом, через множество лет!

Когда сотрясались основы,
И всё было словно назло…
Я выжил, и вечное слово
Вернулось ко мне и спасло!

2.

Когда ямбическая сила
Меня над миром возносила
Так, что горели прохоря,
Во сне солдатики охально
Стонали и всю ночь кохали,
И от стыда цвела заря!

Я побирался Бога ради:
Осколки слов хватал и тратил,
И было что—бери и трать!
Солдатский храп вздымался лютый,
Тряслись кровати от поллюций,
И солнце улетало вспять.

Мои армейские тетрадки…
Как говорится, взятки гладки
С того, кто дожил до войны.
Все знали—поутру тревога,
Но, как за пазухой у Бога,
Свои досматривали сны.

Яблоня

В безумном мире есть одна забота:
Болеет яблоня и стонет при ветрах.
Кору теряет. Стынет у забора,
Но яблоки лелеет на ветвях.

Перезимует? Ствол измазан глиной,
Ломает ветки непосильный груз,
Зима пребудет яростной и длинной,
И потому тревожна эта грусть.

Грибов и яблок—столько не бывает!
Старухи каркают о бедах и войне…
Но яблоня моя стоит живая,
Дай Бог, она проснётся по весне.

Когда взлетаю…

Кто эту женщину придумал,
Кто колдовал, кто плюнул-дунул,
Кто знал: я с ней не обручён,
Но вычислен и обречён?

Жизнь прожита, судьба прошита
Суровыми стежками быта,
Но как же дышат эти швы
Шершавым запахом айвы!

Что я искал, какого смысла?
Наш год вильнул хвостом и смылся…
Что я из этих дней скрою,
Когда останусь на краю?

И вижу я, когда взлетаю
Над пережитыми летами,
Вот эту женщину во мгле
На опрокинутой земле…

Молитва

Ну сделай, Господи, для меня
Так, чтобы попросту были живы,
Среди вранья и среди огня,
Все—и любимые, и чужие.
И тот, кто пялится сквозь прицел,
И тот, кто молится о заблудших.
Прости, я лишнего захотел,
Когда земля забирает лучших,
Когда от ярости ножевой
Как будто иглы растут сквозь кожу,
Когда срывается ветра вой…
И всё же ты постарайся, Боже!
Не жду от жизни иных даров,
И не имею такого права.
Глаза открою—закат багров.
Глаза закрою—вода кровава…

● ● ●

Весной приходит полая вода
И старый дом ломает, и деревья,
Пасуют перед этой силой древней
И камни, и литые глыбы льда.

Не устоит и слабая душа,
Её поток сорвёт и покалечит.
Кто думает, что он силён и вечен—
В такие дни не стоит ни гроша.

Останутся пустые берега
И смутные клочки воспоминаний,
Всё это было словно и не с нами.
Немое время, тихая река…

Спасётся только тайнопись корней,
И новый мир произрастёт на ней!

● ● ●

Ну, сентябрь… Ну и что… Ну, прорвёмся!
Мало ль сгинуло их, сентябрей…
Лета будто и не было вовсе,
Да и время не стало добрей.

Ну а всё же нечастое слово
По ночам нисходило ко мне,
И чужая не трогала злоба,
И не много летело камней.

День дождливый, пугливый и сонный
Словно выстудил душу до слёз…
Но смотри: пробивается солнце!
Эта осень пока не всерьёз.

Форма

У меня был ремень с пряжкой,
И фуражка была с кантом.
Как сказали б сейчас—няшный
Был пацанчик, ходил франтом.
И любила меня Нюся
Из четвёртого «Г» класса,
Через столько лет повинюсь я:
Целовал её в щёку, два раза!
Как осенний листок ломкий,
Гонит время, в асфальт лупит…
Пацанёнок я был ловкий,
А девчонка была глупой.
Споро шарит метлой дворник,
Мы летим от зимы к маю…
В спину гадко кричит ворон,
Ничего-то он не понимает.

Алёна Бабанская

Статистический случай

* * *

День ослепительный и тени лебедины,
И мы пока что живы-невредимы,
А на Дону ворочаются льдины,
Как будто в масле жёлтые сардины.
И вниз плывут до самого Ростова,
И хочется чего-нибудь простого.
Допустим, быть здоровым и нестарым.
И чайник с крышкой жаберной и паром.
Допустим, чай с малиною и мятой.
И за грехи помилуй, боже святый…

* * *

Солнце яркое светит в окошко,
Собираются тени тесней.
В закромах прорастает картошка,
И заметней любая оплошка,
И коты раскричались к весне.
По обочинам сельского тракта
Бесконечные лужи-нули.
Слышишь, сердце сбивается с такта?
И сбиваются голуби с такта?
Всё кружит: раз-два-три, раз-два-три.

* * *

Зажмёшь рукой — и боли никакой,
Зажмёшь рукой — и скачешь, точно конь,
Весь день себе до одури топочешь.
И под небесной сизою дугой
Звенит, звенит весёлый колокольчик:
Не колокол на башне вечевой.
И звон его не значит ничего.

* * *

В густом тумане, как в сметане,
Исчезли очертанья все.
Автобус мчит со светом дальним
Вдоль тополей пирамидальных
По тонкой ниточке шоссе.
Лишь день забрезжит непогожий,
Подступят ближние холмы.
И кустик — придорожный ёжик
Кольнёт иглами из тьмы.

* * *

Так поживём, пока рак на горе не свистнет.
Всё-таки не пустыня, не Север Крайний.
Этот район пригоден вполне для жизни,
Пусть горизонт завален и пруд отравлен.
А вдоль него кораблик плывёт высотки.
Тусклый пейзаж кровавой рябиной выткан.
Пусть небосвод и бельё никогда не сохнут,
Но ничего, ничего, поживём, привыкнем

* * *

Пусть утро казалось седым и туманным,
Но мелочь звенела по божьим карманам:
Синичка, московка, воробышек, чижик,
Из тёмных небесных летели подмышек,
Звоночки мои, колокольчики, скрипы!
Навстречу росли им берёзы и липы,
Тянули к безбашенным этим оркестрам
Свои золотые шестки и насесты.

* * *

Вдохнёшь июнь, и выдохнешь: июнь!
А он стоит, сиятелен и юн,
Ему к лицу восторженная речь,
Здесь лишь его каштаны стоят свеч.
Ему бы заливаться соловьём.
В сиреневом, жасминовом своём
Он несказанно, царственно ленив,
Все школьные занятья отменив,
С грамматикой, забытою уже,
На озере в предложном падеже.

Личинка

В дверной личинке комара
Застряла летняя жара,
Вот оттого и ключ заело.
Листвой пахнуло поржавелой,
Болотным духом от земли.
По эту сторону двери
Лишь писк натужный, комариный,
Пустые заросли малины,
Дождь, кучевые облака,
Стальное бдение замка.

• • •

На уровне четвёртых этажей
Не видишь ни машин, ни гаражей,
Лишь карканье для услажденья слуха,
Да небеса, спелёнутые глухо.
Вдруг синева сквозь облачный поток:
То пяточка мелькнёт, то локоток,
То солнце вдруг, сквозь облачную пену—
И зайцы ошалелые по стенам.

• • •

Живём неказисто: картошка да хлеб,
Где держится небо опорами ЛЭП,
Гудки электричек и скорых.
И ветер гуляет в опорах,
Взметая играючи снега фонтан.
Здесь голос вороны на ветке картав.
Здесь всякий—не хуже, не лучше,
А так, статистический случай.

• • •

Одуванчики в полный рост
Озарили мою округу.
Сколько жёлтых сияет звёзд
В небесах заливного луга!
Кто в зелёные дебри вхож,
В них души золотой не чает.
Жалко только, что гаснут в дождь,
Будто лампочки выключают.

• • •

Галки звякают, как склянки,
Чуть восход сочится в ранку.
Видишь тоненький разрез
Вдоль по краешку небес?
Вспыхнет бок лиловой тучи,
Ветви клонит ветер жгучий.
В мутный воздуха поток
Прячет месяц коготок.

Марина Комиссарова

Визит в полночь

• • •

Ищу в кармане твоего пальто
Немного тепла для своей души.
Мы были в кафе. Вкусно.
И вот я стою и думаю:
Может, зря выбирала чулки?
Ты смеёшься: девчонки одинаковы—
Наденут каблуки, а потом падают…
Называешь меня графиней
И обещаешь ухи. Горячей.
И водки. И угрожаешь
Домой проводить, до подъезда.
А я стою, как брошенная невеста,
Как блондинка, причесавшаяся
Не с той руки, и помню: джентльмен
Показывает даме коллекцию марок,
Даже если визит—в полночь.
А мне так хочется тепла!
Ты приходишь на помощь,
Согреваешь.
Сказала тебе спасибо—и ушла.
Я ушла—а ты меня
Помнишь.

• • •

Танец в стакане чая
Нарушен твоим глотком.
Останется лишь осадок
Сахара с кипятком.

Рухнул словесный замок
И в горле стоит комком.
Скрываю свою обиду—
За веником и совком.

Скрываешься ты—за дверью.
Вдогонку—башмак броском.
Зачем стою у порога?
Ждать холодно… босиком.

• • •

Капелька воды на коже…
Слизнуть её—и молчать.
Пусть всё будет как во сне:
Утром кончится.
Я назову это стихами,
Выкину. И забуду.

Сергей Кузичкин

Двадцать лет и одна ночь

(Избранники Ангела)

Роман в четырёх книгах[1]

Книга третья. Один

5.

Женя-Златовласка повернулась и пошла от него, держа за руку Саньку, а он смотрел им вслед. Санька несколько раз оборачивался, продолжая идти. Андрей же думал в ту минуту, в те короткие секунды их пути от ворот до поворота: оглянется ли она?! Он молил: «Повернись! Посмотри ещё раз!» Он готов был закричать — окликнуть её…

Но не окликнул, не закричал…

На повороте она остановилась и оглянулась. Оглянулся ещё раз и Санька. Андрей радостно взметнул обе руки вверх и замахал. Женя не ответила; секунду, мгновение летел от неё до него её взгляд. Затем она отвернулась и, легонько дёрнув Саньку, шагнула с его сыном за поворот.

Сколько раз потом вспоминал он это мгновение! Сотни, наверное, за день и тысячи, десятки тысяч за годы, отдалённые от них. «Женя… Женя… Златовласка…» — иногда бредил он наяву. Жил воспоминаниями о коротких встречах с ней, понимая, что прошлого не вернуть, иногда всё же тешил себя мыслью: «А вдруг?» Сладостно закрывая перед сном глаза, он видел её улыбку, предназначенную только ему. В его мечтах, видениях, реже снах она была только для него и только его.

А ведь так могло быть! И всё шло неожиданно, но предсказуемо к тому, чтобы они были вместе. Он, она и Санька. Его первая робость и растерянность после чудесного превращения на его глазах нянечки Жени из Конопушки в Златовласку быстро сменились несмелыми ухаживаниями, выраженными в ежедневном — утром и вечером — посещении им детского сада и их разговорами ни о чём во время приёма-передачи Саньки туда или обратно. Позже — в его звонках из редакции в детский сад. Эпизоды эти не могли остаться незамеченными. Пошли какие-то разговоры и намёки, на которые, впрочем, ни он, ни Женя не обращали внимания и даже подыгрывали говорунам, ещё ярче и открытее улыбаясь друг другу.

Женя прочла его неоконченную повесть и, возвращая машинописные листы, спросила:

— А они так и не останутся вместе?

— Нет… — сказал он, глядя на неё непонимающе. — Вся суть повести в том, чтобы показать двух людей, вроде бы во всём предназначенных друг для друга, но разделённых препятствиями, которые кажутся на первый взгляд пустяшными, незначительными, но по мере преодоления становятся непреодолимыми…

— Жалко… А так хочется, чтобы они были вместе, — вздохнула Женя.

— Ну, тогда это будет слюнявый рассказ со счастливым концом, не дающий ни уму ни сердцу читателя ничего, — попробовал пояснить ещё раз Андрей. — Таких тысячи уже написаны…

— Хорошо, хорошо! — засмеялась Женя, пряча лёгкую грусть в глубину глаз. — Я не настаиваю. Но что-то почти все ваши рассказы заканчиваются печально…

— Жизнь, Женя, больше печальная штука, чем радостная… — сказал он тогда ей и впервые увидел в её глазах отблески предстоящей печали.

Лучше бы он не говорил этой фразы и вообще не затевал этот разговор. Лучше бы оборвал его в самом начале, отшутившись или согласившись с ней, как делал несколько позже. Но то было позже, а тогда…

Тогда он не знал, как себя вести с ней и что делать дальше. Да, конечно, он был влюблён в неё, он думал о ней утром, днём и вечером, а ночами она жила в его снах. В снах о Златовласке Женя была совсем своей, близкой… А наяву… Наяву он не решался заговорить с ней о порывах его сердца, хотя подозревал, что подобные чувства при встрече с ним наполняют и Женю. Может быть, в его отсутствие она думает и даже мечтает…

«Нет, нет! — гнал он от себя грёзы-мысли. — О чём она мечтает? Обо мне? Навряд ли! Она же девчонка, девочка ещё, а я отец двухлетнего сына. Я на пять, а то и шесть лет старше её. Нет, нет!

1. Окончание. Начало см. «ДиН» №5–6/2016, №1/2017.

Её мать ни за что не согласится отдать дочь за мужчину с ребёнком!» Мысли эти останавливали, стопорили действия Андрея от проявления чувств. Несколько раз по утрам он встречал мать Жени на Шпалозаводской улице. Она всегда неторопливо шла к проходной завода, где она работала лаборанткой очистных сооружений. Вначале он не знал, что эта белокурая высокая женщина, часто хмурая, но привлекательная своеобразной походкой, длинными волосами, как бы небрежно опущенными чуть ниже плеч, и есть Женина мать, но однажды в выходной день увидел её вместе с Златовлаской на небольшом рынке возле гастронома. Женя кивнула ему, улыбнулась, а мать, как показалось Андрею, бросила на него грозный взгляд. Позже он узнал, что все зовут эту необычную женщину Люсей, хотя по паспорту она Людмила Михайловна. Дошло до Андрея и то, что Люся-Людмила Михайловна была отлична от многих других женщин не только своей запоминающейся походкой, но и тем, что никто в городе ни разу не видел её в сопровождении ни одного мужчины. Ни с кем она не флиртовала и никого из мужиков ни о чём никогда не просила. Казалось, ни дом, ни двор Людмилы Михайловны (а жила она с дочерью в частном секторе в конце улицы Терешковой) даже не ведали о существовании людей мужского пола. Сей факт порождал среди любительниц посудачить невероятные версии о мифическом Женином отце. Одно время им считался начальник планового отдела строительно-монтажного поезда, огненноволосый бугай Сан Саныч, любивший громко балагурить и шутить. Потом — школьный преподаватель уроков труда по имени Пётр Андреевич, с пышной шевелюрой и со вставным глазом, тоже крепкий на вид, хотя уже седеющий и внешне замкнутый, но на уроках разговорчивый до анекдотов. Сама же Людмила Михайловна в редкие минуты душевного общения с интересующимися подробностями её личной жизни говорила без налёта улыбки и озорства о непорочном зачатии. Дальше разговоров и предположений за последующие после рождения Жени двадцать лет никто из любопытствующих так и не продвинулся. Женя вопросом, мучающим соседок и знакомых, видимо, тоже не интересовалась, а когда провокаторы пытались заговорить с ней на тему отцовства, она непонимающе смотрела на них и улыбалась.

Мысль о том, что ему нужно будет переступить порог дома, где живёт не только Женя, но и Людмила Михайловна, сильно приземляла рвущиеся ввысь чувства Андрея. И он всё мялся, маялся, вздыхал, прятал глаза при встрече с Женей.

А на Земле уже миновал календарный август, за ним — две декады первого осеннего месяца, и приближалась-приближалась трепетная для Андрея пора — расцвет золотой осени, отголосок бабьего лета и его дня рождения. В этот год особенный — его двадцатипятилетие. Сколько помнил себя Андрей — каждый раз за день, за два до его именин устанавливалась тихая, безветренная, обязательно солнечная погода. Иногда бывало — поливал до того, накануне, целую неделю дождь, на небе просвета не было, а в ночь перед его днём рождения уходили куда-то тяжёлые тучи, разбегались облака и выступали из укрытия крупные и низкие звёзды. В этот год день рождения Андрея выпадал на среду. Во вторник погода установилась, стало по-летнему жарко и ребятишек из шпалозаводского детского сада снова выпустили поиграть на площадку. Андрей утром доверил увести Саньку матери — спешил на срочное интервью и мысленно готовился к вечернему разговору с Женей. Разговору, как он уже понимал, неизбежному.

Ещё издали увидел он в песочнице сына с неизменной троицей рядом: сестрёнками-близняшками и огненно-рыжим мальчонкой, со сметано-белым лицом и белыми, почти невидимыми бровями. В группе, куда ходил Санька, было около двадцати ребятишек, но Андрей запомнил и всегда узнавал именно этих. Как из всех детсадовских работников он узнавал лишь нянечку Златовласку да воспитательницу Санькиной группы Людмилу Александровну, высокую сорокалетнюю даму с пышной копной крашенных в белое волос. Возле детей стояла сегодня Людмила Александровна, и напрасно Андрей искал взглядом Златовласку — её не было.

— До конца недели я теперь одна с детьми буду, — сказала, ответив на приветствие Андрея, воспитательница. — Женя у нас на курсы уехала, на пять дней. Будем её готовить в воспитатели. На следующий год ей направление на заочное отделение пединститута обещают дать — пусть учится, молодая…

Вот так! Андрей было уже решился поговорить сегодня с Златовлаской, набраться смелости и пригласить её на день рождения, а она уехала…

День его именин прошёл без особых торжеств. Андрей их и не планировал. Во второй половине хорошего солнечного денька его поздравили в редакции. Владимир Георгиевич подарил ему новый блокнот и авторучку, а затем разрешил идти домой. Женщины организовали небольшое десятиминутное чаепитие с тортом в честь именинника, произносили ему хорошие слова, оставляя следы своей губной помады на его щеках, намекали и говорили прямо: такому хорошему парню нельзя жить одному.

— Женись, Андрюша, не майся, девчонок у нас в городе полно хороших.

Андрей улыбался, переводил намёки и прямую речь в шутки и кивал в знак согласия. Дома мать постряпала пирог. Вечером пришли сёстры с мужьями, принесли в подарок пуловер и две пары носков. Поздравили, посидели за столом.

В последний день сентября, в пятницу, небо снова нахмурилось. Мелкий дождь, собравшийся к вечеру, лил и в выходные. Андрей несколько раз садился продвигать повесть, но сосредоточиться не мог. Он думал о Златовласке, о предстоящем понедельнике, о разговоре с ней. В воскресенье вечером он сделал неожиданное открытие: «Если Женя завтра выйдет на работу, то вернуться из областного центра она должна накануне! Сегодня, наверное, уже вернулась! Или даже в субботу!» Андрей отставил пишущую машинку, прошёл в прихожую, стал одеваться. На молчаливый вопрос в глазах матери ответил:

— Да прогуляться пойду…

Кинулся было к нему и засобирался идти с ним и Санька, но мать взяла его на руки и унесла на кухню, предложила коробочку с мармеладом. Ребёнок, хотевший было расплакаться, успокоился и загремел мармеладками, тряся коробку. Андрей, воспользовавшись этим, спокойно вышел, закрыв за собой дверь. Нет, он не собирался решительно войти в дом, где жила Женя. Он только хотел пройтись раз-другой возле её дома, надеясь, что она вдруг… Пока он собирался, пока шёл через Креозотку, пока вышел к окраине на улице Терешковой, стемнело. Дождь не переставал. Капли колотили по наброшенному на голову капюшону его куртки, куртка намокла. В доме Жени горел свет. Он прошёлся мимо ворот в одну сторону до конца улицы, потом обратно. Подошёл было близко к ограде, но из-за забора послышался собачий лай, и Андрей отошёл к дороге. Подождал, когда перестанет лаять собака. А темнота стремительно накрывала неосвещённую улицу имени первой женщины-космонавта, а дождь всё прибавлял и прибавлял, и промокший Андрей побрёл от Жениного дома назад по размытой осенней дороге к святящейся вдали пятиэтажке, где его ждали мать и сын.

В понедельник на глазах изумлённой матери он сам собрал Саньку к семи утра и в начале восьмого вышел с сыном из дому. Расстояние до детского сада, укрываясь от неотступающего дождя зонтом, с ребёнком на руках, Андрей преодолел с рекордной для себя скоростью. Стремительно поднялся по ступенькам крыльца, открыл одну дверь, затем вторую и столкнулся с Женей — сияющей, в белом халате, с причёсанными назад, схваченными заколкой в большой пучок золотыми волосами.

— Женя, Женя… — начал он, забыв сказать «здравствуйте», продолжая держать сына на руках.

Улыбающаяся Женя взяла из его рук Саньку и, глядя в его бегающие, растерянные глаза, попросила:

— Научите меня на машинке печатать.

Она пришла к нему около восьми часов вечера.

Он, ожидая её, приготовил пишущую машинку, зарядив в неё чистый белый лист; начиная с шести поминутно смотрел на часы в зале, выглядывал в окна — то из кухни, где то и дело включал-выключал чайник, то из маленькой комнаты, где были его спальня и рабочий кабинет. Мать, заметив его волнение, вопросов задавать не стала, а когда он отказался от ужина, сослалась на усталость и пошла в спальню прилечь. Санька помчался следом с цветной детской книжкой и молчаливой просьбой — рассказать ему, что там нарисовано. Без десяти восемь Андрей сел в кресло и стал смотреть информационную программу областного телевидения, в очередной раз глянув на висевшие над диваном квадратные часы.

Ожидаемый звонок в дверь всё же застал его неожиданно. Душа Андрея сразу же сорвалась с места и ринулась вперёд него — к двери, под звонкий перелив. Следом пошёл он — открывать. Из спальни выбежал Санька, зашевелилась на кровати мать.

Сияющая Женя в модном синем плаще, с маленькой сумочкой-ридикюлем через плечо и пакетом в руках, бросив лёгкое: «Здрасьте», — переступила порог. Первым подбежал к гостье обрадованный Санька и ухватился за ручку пакета.

— Правильно, Санечка! — сказала светящаяся Златовласка, поправив свои золотые пряди. — Возьми пакет и неси на кухню. Тут кое-что к чаю.

Санька команду понял: весело взял пакет и побежал. Но не на кухню, а в зал, навстречу появившейся там бабушке.

— Здравствуйте! — поздоровалась с ней Женя.

— Ой, Женя! Здравствуй! — вышла в прихожую Валентина Андреевна. — Ой, как неожиданно ты пришла. Это тебя тут Андрей, оказывается, всё поджидал, а мне не сказал… Я бы хоть что-то приготовила к столу…

— Да ничего не надо, не беспокойтесь! Мы же заниматься собрались — на машинке печатать, — сказала Женя, снимая плащ.

— Да, конечно, мам. Что ты? Попечатаем немного, а потом попьём чаю, да и всё, — поддержал гостью Андрей, принимая из её рук плащ и пристраивая его на вешалке.

— Всё вам просто! — незлобно обиделась Валентина Андреевна. — Разве так гостей встречают? Я не привыкла так…

— Я не в гости, а по делу! — нашла что сказать Женя.

— Ну, по делу так по делу! — согласилась Валентина Андреевна. — Вам виднее. А я всё равно что-нибудь приготовлю, пока вы там печатаете.

Они зашли в маленькую комнату, где их ждала готовая к работе пишущая машинка, и Андрей прикрыл дверь. Дверь, правда, тут же вновь приоткрылась — заглянул Санька, но Валентина Андреевна вытянула его обратно и, было слышно, повела с собой на кухню.

Андрей снова прикрыл дверь, и…

На некоторое время, длившееся меньше минуты, он оказался так близко от неё — лицом к лицу,

что ощутил её дыхание—свежее, частое, почувствовал запах её волос. Ему захотелось вдруг взять её руку, прильнуть губами к её щекам—гладеньким, беленьким, с лёгкими румянами посерединке.

Сколько раз он жалел потом об упущенном мгновении, когда её рука была так близка к нему, а её глаза (он, став старше и часто вспоминая тот вечер, был уверен) говорили, поблёскивая: «Смелее, смелее, я пришла к тебе, я твоя…»

Но ни тогда, ни через вечер, когда они возвращались с последнего сеанса кино пешком через полгорода—от кинотеатра «Победа» до Жениного дома, он не посмел взять её за руку.

В день прихода Жени к нему они просто сидели у машинки и поочерёдно писали всякие разные предложения и просто слова. Несколько раз заглядывал к ним Санька, один раз—Валентина Андреевна: пригласить на чаепитие. Они пили чай с материными на скорую руку постряпанными оладушками и конфетами, что принесла в пакете Женя, а потом он проводил её до дома, осмелившись только пригласить в кино. Возвращаясь из кино, Андрей всю дорогу говорил о литературе, современных течениях, называл фамилии интересных, по его мнению, молодых авторов. Женя молча слушала, и ему казалось, что она грустит. Мысленно Андрей готовил себя к тому, что на прощание он осмелится…

И, наверное, он всё же осмелился бы. Возле ворот Женя остановилась, он подошёл к ней вплотную и поднял было руку, чтобы коснуться её. В темноте показалось, что Женя готова протянуть ему свою руку, но за воротами загремела собачья цепь, послышался лай. Почти сразу на веранде зажёгся свет, и на крыльцо вышла Людмила Михайловна.

— Женя! Это ты?—подала голос она.

И хотя Андрей понимал, что мать Жени навряд ли видит их отчётливо, всё же отпрянул от Златовласки.

— Женя, ответь!—негромко крикнула Людмила Михайловна.

— Я, мама! Я!

—Ты там с кем?

— Да ни с кем. Так стою.

— А что домой не заходишь?

Было видно: Людмила Михайловна осторожно спустилась с крылечка и медленно пошла к воротам.

— Да зайду сейчас!—выкрикнула Женя и замахала обеими руками Андрею:—Иди, иди!

И Андрей пошёл, пошёл быстрыми шагами, не оглядываясь, думая о том, что она сегодня впервые сказала ему «иди», а не «идите»—значит, назвала на «ты», а это уже прогресс с её стороны.

«Не буду торопить события,—решил он.—Постепенное развитие, наверное, самое лучшее в наших с ней отношениях».

Но тогда не суждено ему было знать, что постепенность в его отношениях с Женей в тот тёмный осенний октябрьский вечер закончилась, как закончились их, в принципе так и не начавшись, романтические свидания.

Всё случилось до нелепости глупо.

Через два дня после похода в кино и скоротечного прощания у дома Жени Андрей поехал в командировку. Поехал недалеко—на соседнюю железнодорожную станцию. Поехал вместе с собственным корреспондентом железнодорожной газеты по фамилии Король.

Леонид Король был человеком своеобразным. «Тот ещё кадр»,—говорил о нём редактор, и, как знали многие в редакции, не без основания. В молодые годы Лёня не думал быть журналистом, да вообще к знаниям не стремился. Закончил восемь классов, потом пту, пошёл в армию. После службы подался на железную дорогу—монтёром пути. В большой бригаде, обслуживающей перегоны между станциями, выделялась мужиковатая молодая баба по имени Галина. Выделялась тем, что была немногословна, курила папиросы «Север» и иногда давала очень дельные советы начальству, как лучше сделать ту или иную работу. Начальство это отметило, и нередко на ответственных участках Галину назначали старшей. Как, при каких обстоятельствах сблизились Галя и Лёня, никому не было ведомо. Но они сблизились, стали жить вместе и даже расписались. Когда в списках бригады фамилия Галины поменялась на Король, её тут же окрестили Королевой. Для начальства, видимо, тот факт тоже послужил толчком к действию, потому что вскоре Галину пригласили на беседу к начальнику дистанции и предложили стать бригадиром монтёров. Правда, поставили одно условие: она должна была поступить в вечернюю школу и получить среднее образование. Вместе с женой-Королевой подался в школу рабочей молодёжи и муж-Король. Король с Королевой, на удивление себе и другим, учились довольно неплохо. Сидели за первой партой, занятия старались не пропускать. И всё вроде ладно складывалось у новой семьи железнодорожников: не ругались на людях (Лёня с первого слова слушался жену), жили без ссор в доме матери Галины, недалеко от железнодорожного вокзала и школы рабочей молодёжи (тоже железнодорожной), да и учёбу закончили без троек, получили среднее образование. А вот с детьми у них не получилось. Но тоже—смирились. Галина всю свою энергию вкладывала в бригадирство: днями командовала на перегонах, вечерами составляла наряды и отчёты. Лёня, чтобы не отстать от жены и в творческом плане, стал писать заметки в местную, а затем и в железнодорожную газету. Писал о товарищах-путейцах, о проделанной работе на околотках

и в целом по дистанции пути. А потом взял в руки фотоаппарат и стал выдавать фоторепортажи. Дальше — больше. Став своим в местной газете, Лёня постепенно стал осваиваться и в железнодорожной. Сделал несколько визитов в областной центр, познакомился с сотрудниками, те и предложили ему поступить на заочное отделение факультета журналистики. Лёня, не раздумывая, согласился. Но не так всё оказалось просто. И первая, и вторая попытки поступления обрывались в самом начале, на первом этапе экзаменов — на сочинении. Как ни изощрялся Лёня Король, как ни старался писать красиво и без ошибок, безжалостные экзаменаторы его синий рукописный текст раскрашивали в свой — красный. Между первой и второй попыткой пробиться к высшему образованию Лёня стал членом КПСС, но и это дополнение в характеристике абитуриента ему не помогло. После второго «завала», видя, что горячее стремление Короля войти в газетное царство законным его гражданином не ослабело, редактор железнодорожной газеты приложил усилия и помог получить Лёне направление в высшую партийную школу. Там тоже было отделение журналистики. Через два года, вернувшись с учёбы, Леонид Король сразу же был принят в штат железнодорожной газеты и назначен её собственным корреспондентом по западному отделению, штаб которого располагался в родном его городе.

Андрей познакомился с чернявым, пышноусым, небольшого роста, плотным человеком в редакции газеты, на одном из заседаний литературного клуба. Лёня был постарше его лет на семь-восемь, а потому Андрей сразу начал называть его по имени-отчеству: Леонид Анисимович. Собственный корреспондент железнодорожной газеты выстраивал местных литераторов на фоне настенного календаря, долго щёлкал затвором, требуя от них внимания и сосредоточенности, а потом, решив показать свою оперативность, поспешил проявлять плёнку и печатать фотографии. В тот день он удивил Андрея и многих собравшихся на заседание клуба дважды. Тем, что принёс фото до того, как члены клуба ещё не разошлись, и тем, что на фотографии настенный календарь словно отражался в зеркале — цифры нужно было читать не слева направо, а наоборот.

— Плёнку не той стороной в увеличитель зарядил, — сделал заключение редактор. — Я всегда говорил, что Король дилетантом был и дилетантом останется. Я к штату нашей газеты этого кадра близко не пущу.

То, что Лёня — Леонид Анисимович — «кадр», Андрей знал ещё и по слухам, крутившимся возле редакции. Говорили, что к Королям приехала жить «принцесса» — Галинина племянница. Что училась «принцесса» в ПТУ и что Лёня взял шефство над семнадцатилетней девушкой. Возил её с собой в недалёкие служебные поездки, учил фотографировать и проявлять фотоплёнку. И вот однажды, опять же по слухам, вернувшаяся с околотка тётя-Королева застала дома, на диване, свою племянницу-«принцессу», целующуюся с её мужем-Королём. Негодование Королевы можно было себе предсказать, а вот следующий её шаг — навряд ли. В общем, говорили, что Галина не выгнала из дома ни племянницу, ни мужа, а отправила их обоих жить в расположенный во дворе флигель. Впрочем, племянница и жила в этом флигеле. Так что туда отправился только Лёня, а Королева осталась царствовать в доме одна.

Насколько слухи были правдой, Андрей смог частично убедиться сам в день командировки. Они встретились с Леонидом Анисимовичем утром на вокзале перед ранней электричкой. Едва поздоровались, как Король вспомнил, что забыл запасную фотоплёнку.

— Может, конечно, и одной нам хватит, но лучше подстраховаться, — сказал Лёня, предлагая им вместе сбегать к нему домой.

До отправления электрички оставалось минут двадцать. Король жил в пяти минутах ходьбы, и Андрей согласился, до конца не понимая: зачем им идти за плёнкой вдвоём? Непонимание это возросло, когда на подходе к дому Король приказал Андрею остановиться на углу возле палисадника и, шепнув:

— В доме сейчас жена с племянницей живут, а я во флигеле. Надо, чтобы не заметили… — нагнувшись пониже, прошёл под окнами, осторожно открыл ворота и нырнул в ограду.

Как ни хотелось Леониду Анисимовичу остаться незамеченным — не удалось. Через минуту заскрипела дверь дома и из-за ограды раздался басовитый голос Королевы:

— Чё ты там ищешь, козёл безрогий? Бутылку спрятал сам не знаешь где?

— Какую бутылку? Какую бутылку? — стал оправдываться застигнутый Лёня. — Я за плёнкой вернулся.

— Сразу надо было брать. Я тебе сказала: сюда ты теперь только ночевать приходишь, а где днём будешь слоняться — меня не волнует. Понял?

— Понял.

— Ну вот и иди себе…

Леонид Анисимович вышел понурым. Под окнами прошёл уже не нагибаясь. Когда чуть приостановился возле своего палисадника, открылось окно и из него высунулась молодая девка. Даже на расстоянии десяти примерно метров Андрей заметил, что, рыжая и веснушчатая, она улыбалась. «Вот это, видимо, и есть племянница Анисимовича, — подумал Андрей. — Какая она некрасивая! По сравнению с моей Златовлаской — просто дурнушка!» Он улыбнулся, поймав себя на мысли: моей! «Пока не моей. Не совсем моей», — подкорректировал он свои размышления.

Леонид Анисимович тоже попробовал осветить улыбкой своё хмурое лицо. Получилось не совсем хорошо.
— Да и одной плёнкой обойдёмся,— сказал он.

И они действительно обошлись одной фотоплёнкой. Путь на электричке занял не более двадцати минут. На перроне небольшого деревянного вокзальчика их уже встречали. Первым делом повели к начальнику станции. В небольшом кабинете там же, в здании вокзала, собралось всё местное железнодорожное начальство: мастер, бригадир пути, ответственный за пути подъездные, дежурные по станции и один начальник не железнодорожный — директор леспромхоза. После короткой беседы и коллективного фотографирования они всем составом прошли по перрону, зашли к дежурному по переезду, в путейский тепляк, прошли на площадку для погрузки вагонов. Начальник станции непрерывно говорил, иногда, перебивая его, делал дополнения директор леспромхоза. Леонид Анисимович, проворно выбегая вперёд и лавируя между идущими, фотографировал, а Андрей записывал слова в блокнот. Когда он сделал резюме: подготовка к зиме проходит на должном уровне, вагоны грузятся и отправляются без задержек, а отношения железнодорожников и леспромхоза близки к идеальным, директор леспромхоза довольно потёр руки и пригласил корреспондентов и начальника станции в свой «уазик». Он привёз их в леспромхозовскую столовую и завёл в кабинет заведующей, где ожидал гостей сервированный столик на четыре персоны: с коньяком, водкой, вином, холодными закусками.
— Фотографировать этот натюрморт не надо! — пошутил директор, уже дружески похлопав по плечу Леонида Анисимовича и кивком приглашая к столу Андрея.— Присаживайтесь, дорогие гости, присаживайтесь! Сейчас настала пора подкрепить немного свои силы.

Леонид Анисимович, будучи в курсе отношений Андрея с выпивкой, усаживаясь рядом, шепнул коллеге:
— Кочевряжиться не будем, хозяев разочаровывать тоже, пригубим помаленьку…

Андрей кивнул. Вспомнив один из советов Анатолия, мужа двоюродной сестры Тони: «Главное в твоём случае, если вдруг пить придётся, возникнет необходимость такая — не пускать процесс в сознание, считать, что принимаешь лекарство…» — он решил, что растянет рюмочку до конца трапезы.
— Ну, друзья, за плодотворное между нами сотрудничество! — сказал тост директор, разлив коньяк по рюмочкам и кивнув гостям: мол, давайте пейте, я после вас.

Анисимович выпил первым.
— Вот лимончиком сразу,— поднёс ему к лицу тарелочку с нарезанными лимонными кружочками директор леспромхоза.

Леонид Анисимович согласно закивал и взял кружочек. В это время Андрей вздохнув, решился: «Главное — больше не пить»,— и тоже опустошил свою рюмку.
— Лимончиком, сначала лимончиком — перебить коньячный запах и чуть сделать паузу,— директор уже тряс тарелкой перед Андреем.

Андрей сунул кружок в рот и стал жевать прямо со шкуркой. Кисленький сок пошёл по пищеводу следом за спиртным напитком.
— Ну вот, ещё минуточку — и можно закуской заняться,— сказал довольный директор, дождавшись, когда выпьет и зажуёт лимоном начальник станции.— Теперь и хозяину выпить можно.

Потом хозяин налил всем по второй, а Андрей, понимая, что уже сделал не совсем верный поступок, вновь проявил слабость и, стараясь не думать о худшем, снова выпил. После второй пришёл аппетит, после третьей стало тепло и уютно, после четвёртой окружающие показались ему родными и такими близкими — своими в доску…

Потом была водка под пельмени. Осоловевший Анисимович, дома которого никто не ждал, теребя усы, высказал пожелание задержаться «в этом прекрасном месте» ещё на денёк. Директор принял его слова с радостью, пообещав хорошие условия ночлега в леспромхозовской гостинице и баню. У Андрея тоже сразу же возникло желание попариться в баньке, но ему надо было ехать домой — написать и сдать материал. После выпитой водки директор уговорил всех попробовать «отличного кубанского вина», самолично откупорил бутылку и разлил всем четверым. На этот раз уже в стаканы. И только когда стали за окнами опускаться сумерки, уже совершенно хмельного Андрея наконец-то отправили в город на директорском «уазике». По пути он немного вздремнул, а в городе, придя в себя и отметив, что уже совсем темно, попросил водителя остановиться на углу улицы Терешковой.

«Пойду поговорю с Женей и её мамой!» — решил он, отправляясь к знакомому дому.

Ах! Лучше бы он в тот раз не делал этого! Но так, видимо, устроено свыше: чему быть — судьба, чему не быть — не судьба, а человеку приписано стоять на границе и идти по грани Судьбы — Не судьбы. Мог ещё, наверное, Андрей соскользнуть с грани в сторону одной судьбы с Женей, когда на его первый и второй стук в ворота дома Златовласки никто не отозвался, но после того как он застучал громко-требовательно, а потом перелез через забор, и рванулась, гремя цепью, к нему навстречу собака, он уже вовсю катился в сторону не судьбы. Здоровенная немецкая овчарка, натянув цепь, стоя на задних лапах, старалась добраться

до незнакомого человека, а человек, не чувствуя страха, шёл по бетонной дорожке к крыльцу дома, к светящемуся окну. Между человеком и собакой оставалось меньше метра, когда над крыльцом вспыхнула лампочка, распахнулась дверь, и выбежали навстречу ему, набросив на себя наспех курточки, Женя и Людмила Михайловна.

— Ой! Андрей! Это ты!— воскликнула не то радостно, не то удивлённо Женя, узнав его, слегка поправив на лоб спавшие волосы.— Мама, это Андрей.

— И что с того?— сказала Людмила Михайловна, остановившись в двух шагах от Андрея с Женей.— Зачем вы, молодой человек, через забор перелезли?

— Я… я…— замямлил Андрей, глядя не на неё, а на то, как Женя загоняет в будку собаку.

— Вот именно— вы!— Людмила Михайловна сложила руки на груди.— Сюда никто никогда без спроса не заходил, и вы не исключение. Будьте добры— выйти за ворота.

— Мам, ну…— попробовала было вступиться Женя, подойдя снова к Андрею.

— Что «мам»? Ты не видишь— он на ногах едва стоит? Пьяный в стельку. Трезвый бы пришёл, что ли? Да ещё на ночь глядя?

— Андрей, ты что, выпил?— Женя заглянула ему в лицо.

Андрей кивнул:

— Выпил…

— А я-то думаю: почему ты такой смелый сегодня?

— Всё! Провожай его! Женя, провожай!— Людмила Михайловна повернулась и пошла к дому.

— Пойдём, Андрюша. Завтра поговорим,— взяв под локоть, потянула его к воротам Златовласка.

— Дай я сегодня поговорю с твоей мамой!— вырвался Андрей и рванулся следом за Людмилой Михайловной.

Людмила Михайловна остановилась на крыльце.

— А я не желаю разговаривать! Повторяю вам!— выкрикнула она, глядя почти в упор на Андрея и взявшись одной рукой за ручку двери.— И если вы не уйдёте, я буду вынуждена вызвать милицию. Понятно? Тогда вам помогут уйти.

— И-эх!— воскликнул Андрей, внезапная вспышка ярости накрыла его, и он, не контролируя себя и сам не зная зачем, ударил вдруг с размаху ладонью по оконному переплёту веранды.

Рука его провалилась вглубь, проломив рамку; зазвенели, посыпались стёкла.

— Вон отсюда! Вон!— не закричала— завопила хозяйка.— Убирайся отсюда— вон!

Подбежавшая к ним Женя застыла в метре от крыльца, обхватив голову обеими руками.

А Андрей развернулся и, проскочив мимо Жени, быстрыми шагами направился к воротам.

Как долго потом и как часто вспоминал он тот день и тот вечер!

Вспоминал в подробностях: встречу с Королём на вокзале, застолье в леспромхозовской столовой. Ведь мог же, мог он тогда отказаться от выпивки. Мог же! Сказать тактично, что не пьёт, или полушутя, как говорил потом много раз, будучи в компаниях: «В завязке я…»— или полуиронично: «В глухой завязке…» И проходило, и сдерживался. И в тот раз наверняка бы прошло. Но винить было некого, и он ругал только себя. Не директор же был виноват в том, что настоял на застолье, и не Лёня Король наливал ему и принуждал пить. Нет— сам выпил, а потом вторую и третью, и сам, без чьей-то подсказки, пошёл к дому Жени, полез через забор, настойчиво напрашиваться на разговор с Людмилой Михайловной, сломал раму, разбил стекло… Проломленная рама и разбитое им стекло на веранде и сыграли свою, как понимал он, решающую роль на закрытии его отношений с Женей.

«Зачем? Зачем? Зачем?»— спрашивал он себя сам.

Это «зачем?» он задавал потом себе ещё несколько раз в последующие девять месяцев кошмарного периода своей жизни, а потом ещё два года и восемь месяцев ещё более кошмарного для него времени, и после, с небольшим перерывом видимого спокойствия, ещё более двух лет существования. Эти пять с лишним лет он считал потом потерянными для жизни, но, как ни странно, осознал впоследствии, что именно в те отрезки его жизни он вышел на новый путь отношений с людьми, на какой, не будь этих испытаний, он бы не вышел никогда. Это опальное его время помогло ему понять многое, многому научило и повлияло на всё дальнейшее творчество.

И, наверное, всё-таки правильно, что, выйдя из дома Жени, Андрей не пошёл пьяным, с окровавленной рукой, к дому матери, а отправился к дядьке. Вернее, к дому деда— с решением незаметно перелезть через забор и постучаться в «браневик». Дома Игорь или нет, он тогда не думал, как не думал о раненой руке, хотя и заметил кровь на ладони.

Игорь был дома. Едва Андрей, пробравшись через огород, постучал в светящееся окно «браневика», Игорь открыл.

Игорь был в расстройстве. На столе стояла недопитая бутылка водки.

— Я, я, я виноват, Андрюха! Понимаешь? Только я!— начал дядька без вступления, едва племянник зашёл.— Я дёрнул эту чёртову дверь! Но я же не знал, что она там стоит и собирается выходить! Сто раз я открывал и закрывал эти двери! Тысячу раз— и ничего! А тут…

Андрей сел за столик раскладной вагонной полки, а Игорь стоял чуть поодаль у двух неразборных полок, облокотившись на верхнюю.

— Я же не нарочно, понимаешь?

Андрей не понимал. Дядька налил себе в рюмку и сразу выпил. Без закуски.

— Я хотел домой зайти, дёрнул ручку двери. Резко так — р-раз! — а она выпала…
— Да кто выпал? — наконец спросил Андрей.
— Да мать. Бабка твоя! — Игорь сел, поправил на затылке остатки волос. — Выпала в сени, упала на пол. Я поймать не успел. А она рёбра сломала.
— И что теперь? Она где?
— Где? Дома! Лежит. Вызывали скорую, потом врач наш участковый приезжал. Говорит: рёбра поломаны в двух местах сильно, уже не срастутся, в больницу везти бесполезно. Вот уже неделю лежит, стонет день и ночь. Не ест ничего…
— Да когда же это случилось? Я у вас на той неделе был!
— На той неделе и случилось! Или в тот день, когда ты был, или на другой. Теперь какая разница?

Разницы уже действительно не было никакой. Они допили с Игорем бутылку. Попытались поспать. Не получалось. У Андрея болела ладонь. Едва он закрывал глаза, вставала картина посещения дома Жени. Перекошенное в крике лицо Людмилы Михайловны, плачущая Женя. Вырисовывались такие подробности, что он сомневался: а были ли они на самом деле? Игорь тоже переживал — то и дело вставал и выходил на двор.

Утром, не заходя в дом, Андрей, с тяжёлым чувством и шумами в голове, по совету дядьки пошёл в поликлинику, где ему из раненой ладони вытащили несколько едва видимых стёклышек и перевязали, не жалея бинта. Хирург выписал больничный лист на три дня, после чего Андрей отметился в редакции. Редактор, приняв его версию о нечаянном порезе, согласно закивал: иди, мол, иди домой — лечись и поправляйся, дав, однако, понять, что материал, ради которого Андрей ездил в командировку, должен быть у него завтра, в крайнем случае — послезавтра. Андрей пообещал. По пути домой он увидел открытое окошечко винно-водочного отдела гастронома. Очереди не было, и Андрей, сам не зная зачем, подошёл и купил бутылку коньяку марки «Апшерон». За десять рублей ровно. Две шоколадки «Алёнка» он купил в магазине возле дома матери.

Матери дома не было. И вообще никого не было. Андрей зарядил в пишущую машинку новый лист и попробовал написать о вчерашнем мероприятии. «Вагонам — скорый оборот», — настучал он в заголовке. Потом встал, погладил больную руку, походил по комнатке, вышел на кухню, достал рюмочку и налил коньяк. Отломил шоколадку, закусил. Затем снова сел за машинку. Раскрыв блокнот с записями, он не стал мудрить и добросовестно переписал слова начальника станции и директора леспромхоза. Оформив написанное как репортаж, Андрей подписал его своим именем и именем Короля. Затем он ещё дважды приложился к рюмочке с коньяком. Время приближалось к обеду, Андрей поставил недопитую бутылку в тумбочку, заложил книгами и прилёг. Он задремал. Дрёма продолжалась, видимо, больше часа, потому что когда он посмотрел на часы, они показывали начало третьего часа пополудни. Сделав вывод, что мать на обед не приходила, Андрей достал из холодильника кастрюлю с супом. Суп разогрел, налил в тарелку и под коньячок поел с аппетитом. Бутылку он допил ещё за два раза, теперь уже закусывая сардельками. Часам к четырём он почувствовал неожиданный прилив сил и решился отнести репортаж в редакцию. Всё получилось так, как он задумал: он вошёл незамеченным, в приёмной, ничего долго не объясняя, сказав, что ему нужно на перевязку в поликлинику, отдал материал ответственному секретарю и, больше никем не видимый, выскочил из редакции.

Ох, не знал, не знал он тогда, что в следующий раз он придёт сюда, а в принципе уже не сюда, а в новое, пристроенное к этому здание редакции только через десять с лишним лет…

А тогда он попался дома матери. Вернее, она заметила, что он пьян, когда пришла домой вечером, забрав по пути из детского сада Саньку.
— Что случилось? — спросила она. — Ты же знаешь, что тебе нельзя. Зачем выпил?

Андрей промолчал.
— А с рукой что? — мать заметила бинт на его ладони.
— Да порезал…

Андрею не хотелось разговаривать, не хотелось ничего объяснять. И он прилёг в своей комнате.
— Ты с Женей, что ли, поссорился? — продолжала наступать мать. — Что молчишь?
— А что говорить? — пробурчал Андрей, отворачиваясь к стенке.
— То-то она сегодня всё молчит. Разговаривать со мной не хочет. Может, нам Саньку перевести в наш детсад? По месту жительства? Мне уже предлагали. Совсем рядом — пять минут ходьбы, а сейчас наша Ольга переезжает из деревни — туда идёт работать. Так что Санька будет под присмотром. Как, поговорить?
— Поговори… — отозвался Андрей.
— И поговорю.

И мать действительно поговорила, и в начале следующего месяца Санька стал ходить в детский сад завода по ремонту дорожно-строительных машин, что действительно был в нескольких метрах от дома матери и ещё ближе от дома Хиля.

А Андрей с того дня запил. Нет, он хорошо понимал, что пить ему нельзя, что нужно ходить на работу, и он собирался это делать. На другой день, сделав перевязку в поликлинике, он снова купил бутылку в окошечке гастронома и решил заглянуть к Королю.
— Да хрен знает, где его носит! — сказала ему недовольная Королева, вышедшая с папиросой на

его стук в ворота.— Пьёт, падла, где-нибудь. По дружкам шныряет… Я его не сторожу…

Эту бутылку он выпил один, потихоньку, намереваясь покончить с ней и больше не пить. Хотел было вечером заглянуть к Хилю, посидеть, поговорить, давно не был, но не рассчитал силы и заснул. Ночью, проснувшись, поворочался с полчасика и, поняв, что сон ушёл, стал думать. Думал о Жене, о том, что с ней уже всё кончено, думал об Алёне: не прошло и года, как её нет. Не прошло и года! А сколько всего произошло за эти десять месяцев без Алёны в его жизни! Не рано ли он перестал вспоминать её? Переключился на другую? Но нет, дня не было, чтобы он не вспоминал её — Алёнку! Да как можно, когда Санька — живая копия матери? Может быть, и не получилось у него с Женей потому, что слишком мало времени прошло после смерти Алёны? Как сказала бы бабушка: Бог не допустил. Андрей встал, посмотрел в окно и увидел, что идёт снег. Первый снег… Вспомнился их первый Новый год с Алёной, который они отмечали здесь. Вспомнилось, как он рассердился на неё после того, как Алёна призналась Валентине Андреевне, что ждёт ребёнка, а мать вызвала его на разговор. Он стал оправдываться, шуметь и кричать, а Алёна оделась и выбежала из дому. Он смотрел вслед ей из этого окна: как она бежала по тропинке, как оглядывалась через каждый шаг — в надежде, что он выскочит следом. Вот так же падал тогда снежок. И Андрей тогда не вытерпел: выскочил и догнал её. Правда, выскочил не сразу и догнал уже на улице Гагарина, за мостом через Креозотку. Вернул домой. С Алёной у него было всё проще. С Женей не так…

Утром по первому снежку пришёл Игорь. Пришёл рано, едва мать проснулась и стала собираться на работу. Игорь принёс печальное известие: умерла бабушка.

— Как раз на Покров,— сказал он, тихо присаживаясь в прихожей на обувную полочку под висевшими куртками и пальто.— Родилась на Покров и на Покров умерла. Через семьдесят три года…

Мать расстроилась, засуетилась, быстро стала одевать Саньку, высказав намерение отпроситься с работы после обеда.

Андрей пошёл с Игорем. Они вышли на улицу Гагарина и, пройдя её почти всю, немного не дошли до Старобазарной площади, остановились у дома с колодцем, где много-много лет (больше шестидесяти) жила сестра деда — баба Поля. Баба Поля померла два года назад, и теперь там не жил, а «проживал жизнь», как он любил выражаться сам о себе, её внук, двоюродный брат Игоря — Стас. Разбуженный Стас, узнав о смерти «тёти Нюры», запричитал, захлопал себя по коленям. Собираясь, он то и дело разводил руками:

— Как вот так-то: недавно тётя Поля, теперь тётя Нюра, и Николай Григорьевич тоже хворает…

— На отца-то не накликай! — оборвал его Игорь.

Возле небольшого дома на Партизанской, несмотря на ранний час, толпился народ. В избу заходили одни люди, выходили другие. Ворота были нараспашку, собаки закрыты в будке.

— Пойдём ко мне,— потянул к «браневику» Андрея со Стасом Игорь.— Раз Андрюха развязал — выпьем по стопке, чтоб не так горько было. Помянем Анну Веденеевну. Я у бати бутылочку выпросил.

Они прошли мимо стоявших в узком дворике нескольких старушек. Игорь поздоровался с ними громко. Стас и Андрей лишь кивнули.

Нутро «браневика» дышало тяжело и жарко. От открытой самодельной электропечи, всеми называемой «козлом»,— с накрученными на асбестовую трубу раскрасневшимися спиралями, спрятанными в металлическую клетку-куб,— шёл горячий дух. Воздух в середине и в углах комнатёнки, отгороженной от электропечи, от пересохших рубашек, футболок, носков, шарфов, разбросанных по полкам, был прелым и подпалённым. Подпалённым оттого, что Игорь постоянно варил и подогревал на «козле» супы, картошку на сале, жарил яичницу, и, бывало, жир, масло или картошка, выплёскиваясь из кастрюльки-сковородки, попадали на спираль — и внутри «браневика» становилось чадно, дымно, запашисто…

«Козёл» стоял недалеко от входной двери, и Игорь дважды предупредил гостей, чтобы заходили осторожно и не обожглись.

Они не обожглись ни сейчас, ни потом — после похорон, за четверо суток безвылазного пьянства в «браневике».

Что так получится, не думали ни Игорь, ни Андрей, ни Стас, и никто из них и не хотел, чтобы так получилось. Но получилось. Игорь сразу достал бутылку водки и тарелку с нарезанным салом и двумя кружочками колбасы. Вначале выпили по одной. Послушали всхлипы и причитания Стаса. После второй инициативу взял на себя Игорь. Он стал называть себя самым последним человеком, приписывал себе едва ли не все человеческие пороки. В общем, стал наговаривать и словесно истязать себя. Андрей сидел молча. Он вспоминал бабушку: её светлый, всегда приветливый взгляд, как она укладывала его в детстве, как укрывала одеяльцем одним, а сверху другим, гладила ему лобик своими мягонькими пальцами — осторожно, едва касаясь, и говорила тихо, распевно, пока он не засыпал. Что говорила, он теперь не помнил. Но помнил, как потом она молилась и за деда, и за Игоря, и за всех живых и уже ушедших, как она говорила, к Богу. Кто теперь будет за них молиться?

После третьей рюмки Игорь притих, присел напротив Андрея и задумался. Андрей, хорошо зная повадки дядьки, насторожился. Игорь во

время пития обычно замолкал перед какими-то решительными действиями. Он словно обдумывал и собирал внутренние силы. Несколько раз он, бывало, после таких задумок резко вставал и убегал часа на два, а бывало, и терял чувство реальности и несколько раз тут же, в «браневике», во время брагопития, бросался с кулаками на племянника. А однажды зимою схватился за топор, и Андрею пришлось убегать без шапки и шарфа. Дядька бежал за племянником в шерстяных носках по снегу, вверх по улице Рабочей, что впадала в Партизанскую и на ней обрывалась. Бежал метров пятьдесят—до колодца, а потом то ли ноги у него замёрзли, то ли мозг просветлел—остановился и, забросив топор в чужой огород, стал махать Андрею и звать его на продолжение застолья. На этот раз задумкам дядьки не суждено было осуществиться. Их остановил вломившийся в «браневик» без стука пожилой мужик, одетый не по моде—в телогрейку и обутый не по сезону—в валенки с галошами.
—Кто мне скажет, где краску взять? Крест привезли, сказали—красить надо!—громко обратился он к вставшему ему навстречу Игорю.

Игорь похлопал его в плечо.
—Не шуми. Как тебя звать?
—Павел,—сбавил прыть мужик,—Паша…
—Сейчас, Паша, краску найдём. А как там на улице? Не потеплело?
—Да нет… Прохладно ещё…
—И будет прохладно… До конца жизни…—произнёс философски Игорь, наливая в рюмку и подавая мужику Паше.—На, Паха, помяни бабу Аню.

Паша-Паха взял подаваемую ему рюмку, выпил, взял с тарелочки кусочек сала.
—Пусть земля ей…—проговорил он, закусывая.

Андрей вышел из «браневика» следом за дядькой и мужиком Пахой.

Снег перестал, но было ветрено. Во дворе толпились новые незнакомые люди, то и дело открывалась входная дверь—кого-нибудь выпустить из дома или запустить. Дед, набросив на плечи полушубок и небрежно нахлобучив шапку, стоял у ворот.
—Вот, бабушки, Андрей, теперь нет! К кому будешь на пирожки приходить?—сказал он, увидев внука.

Андрей опустил голову.
—Батя… Тут вот…—Игорь подвёл к деду Паху.— Тут вот крест покрасить надо. Краска нужна…
—Ну, в сенцах краска, в кладовке. Не знаешь, что ли?—развёл руками дед.—Как маленький…
—Понял… Понял, батя…—закивал Игорь.— Я просто думал, что ты сам тут распоряжаешься… Чё я лезть буду…
—Когда надо—лезешь, не спрашиваешь никого…—отчитал сына Николай Григорьевич, затем кивнул Пахе:—Пойдём… Краску дам, кисточку…

Возле двери дед остановился, окликнул сына.
—Никуда не уходите,—сказал он, обращаясь к нему с Андреем,—в одиннадцать Саша приедет, съездите с ним за водкой. На поминки два ящика купите.
—Хорошо, батя!—отозвался Игорь.
—Чего хорошего-то?..—вздохнул дед, открывая дверь дома.

Упомянутый дедом Саша для Андрея был дядей Сашей—двоюродным братом отца и Игоря, старшим сыном дедовой сестры—бабы Поли. Из всех родных и близких он прошёл дальше всех в моральном и материальном отношении: получил высшее образование, работал инженером в стройуправлении, имел собственный автомобиль. На его «жигулях» и поехали с ним Игорь с Андреем в «Партизанский» магазин. Ехать было недалеко—по Партизанской к Старобазарной площади. Дядя Саша договорился с продавцом, чтобы им выдали «Старорусскую» водку прямо в ящиках, и Игорю с Андреем пришлось зайти в подсобку. Когда ящики поставили в багажник, дядя Саша, рассчитавшись с продавцом, вынес в руках ещё две бутылки. Одну сунул в бардачок, другую отдал Игорю, пояснив:
—Это вам. А то Николай Григорьевич до самых поминок ничего не даст. Стасу там налейте. А вторую я мужику отдам, что крест вызвался красить.

Похороны Анны Веденеевны были назначены на другой день, а весь день, предстоящий им, ни ворота, ни двери дома не закрывались. К обеду привезли гроб, переложили покойницу туда. Андрей при этом не присутствовал. Он не хотел смотреть на умершую бабушку до самых похорон. Он не хотел видеть её неподвижной, неживой. Отданную дядей Сашей бутылку они распили в течение часа. Стас улёгся было на вторую вагонную полку, Игорь сел курить у «козла», а Андрей вновь стал думать о Жене, всё больше приходя к выводу, что с ней всё закончено. «А что закончено, когда и не начиналось даже?..»

Невесёлые его мысли прервала соседка деда. Тётя Катя, как называл её Игорь, пришла с завёрнутой в полотенце кастрюлькой.
—Поешьте, ребята, поешьте горяченького. Я вам супчику с мяском принесла,—сказала она, поставив кастрюлю на столик перед Андреем.—В доме-то теперь не протолкнуться и печку не затопить. А я у себя сварила. Сейчас Николая Григорьевича позову сюда, а то он тоже забыл, когда в последний раз ел.

Она ушла и вернулась в сопровождении деда с тарелками и ложками.
—Стасик, вставай суп есть,—толкнул Игорь брата.
—Я потом лучше…—отозвался Стас.
—Потом не будет,—отрезал Игорь, подсаживаясь к столику рядом с дедом.

Николай Григорьевич, посмотрев на сына и внука, полез в карман, достал ключи, протянул Игорю.
— На. Иди в кладовку, принеси бутылку. Только одну бери. Не напиваться же собрались…

Игорь соскочил и быстро выбежал. Услышав такие слова, сначала зашевелился на полке, а потом поднял голову Стас.
— Наверное, точно — поесть надо… — сказал он, спускаясь из-под потолка.

Тётя Катя разливала суп по тарелочкам, Николай Григорьевич и Стас сидели молча и, кажется, равнодушно смотрели на поднимающийся над похлёбкой дымок.

Игорь вернулся быстро и привёл с собой Пашу-Паху.
— Работника-то покормить тоже надо, — сказал он, подталкивая того к столу. — А то дело сделал и стоит замёрзший там, во дворе. Не зря же трудился.
— Тарелки не хватает… — сказал Стас.
— Ничего, мы с ним с одной похлебаем… — Игорь посадил Пашу между Андреем и Николаем Григорьевичем.
— Ты откуда, Паша? — спросил дед, глядя на нового знакомого.
— Да я в нгч работаю. Маляром, — ответил с готовностью Паша. — Вы меня, наверное, не помните, Николай Григорьевич, но когда вы ещё директором дк были, мы у вас там ремонт раза два делали. Я тогда, правда, моложе был…
— Не помню… — кивнул дед.
— Ну, хватит, хватит разговоров! Ешьте, пока не остыло! — скомандовала тётя Катя. — А я пойду, не буду вам мешать. Всё на столе: хлеб, соль, перец. Ешьте!

Игорь разлил водку в пять рюмочек.
— Я не буду, — отодвинул свою Николай Григорьевич. — Потом, на поминках. Сейчас — нет. А вы поминайте.
— Ну, прости нас, мама… — сказал Игорь виновато и выпил, не глядя ни на кого.

Закусил сразу супом. Передал ложку Паше, кивнув: мол, давай и ты.

Паша выпил молча, тоже закусил, забросив в рот пару ложек супа из Игоревой тарелки.
— Прости, тёть Аня… — тихо сказал Стас, выпивая из своей рюмки, но не торопясь закусывать.
— Ты ешь давай! — сделал ему замечание дед. — Не то уляжешься здесь и сопли распустишь…
— Хорошо, хорошо, Николай Григорьевич. Только не ругайся, — закивал Стас, цепляясь за ложку.

«Прости, бабушка…» — подумал Андрей, выпивая и сразу делая несколько заходов в тарелку. В голове у него уже шумело.

Про распускание соплей дед говорил не зря. Когда он доел суп и ушёл, Игорь налил ещё по рюмке, после чего Стаса повело. Андрей, Паша и Игорь забросили его на полку уже в полусонном состоянии. Когда присели снова за стол и разлили по тарелкам остатки супа, Паша-Паха достал свою бутылку.
— Не домой же мне её с поминок нести? — резонно сказал он.

Разлили ещё по одной. Выпили, уже не закусывая. Потом ещё…

Андрей проснулся от громкого хлопка двери. Он лежал на нижней полке, где недавно был столик. Столик собрали. На полу рядом с ним спал Паша. На другой нижней полке, под Стасом, лежал Игорь.

В «браневик» зашёл дядя Саша.
— О, ребята, так у вас тут целое купе скорого поезда, — пошутил он. — Далеко поехали?

Игорь что-то пробормотал в ответ.
— Ясно всё. Ладно, отдыхайте. К вечеру приходите в себя. Люди ещё придут. Женя из Енисей-града должен вот-вот приехать. Я думаю, глядя на вас, он не обрадуется. Заканчивайте с выпивкой. Завтра похороны. До них больше ни-ни. Понятно?
— Понятно! — ответил за всех Игорь.

Дядя Женя приехал к вечеру вместе с тётей Женей. Как правильно предполагал дядя Саша, его не обрадовало поведение обитающих в «браневике». Ругаться он не стал, а, растормошив всех, усадил за столик, нарезал копчёной колбасы, поставил две банки шпрот, самолично вскипятил чайник, заварил зелёным чаем и заставил поесть.
— Можете тут до завтра кантоваться, можете по домам разбрестись, — сказал он Стасу с Андреем, — но выпить до самых поминок не получите.
— Я тут останусь, — отозвался Стас. — Мне дома жутко одному будет. А тут прилягу на полку и никому не помешаю. Правда, Игорь?
— Да не помешаешь, — кивнул Игорь. — Да и Андрюха не помешает…
— Ладно, — согласился дядя Женя и обратился к Пахе. — А вы?
— А я домой пошёл… — сказал Паша-Паха, вставая. — Мне домой надо. Жинка уже потеряла, наверно.
— Давай, Паша. Счастливо добраться, — пожал ему руку Игорь. — Завтра к двум приходи. Не опаздывай…
— Не опоздаю, — вздохнул Паша. — Мне же за крест поручили отвечать. Я его устанавливать буду.

Вместе с Пахой «браневик» покинул и дядя Женя.

Ночь Андрей провёл в полудрёме. В голове проносились думы об Алёне, Жене, матери, Саньке, редакции и редакторе. Несколько раз он выходил во двор на промозглый ветер. Беспокойно вёл себя и Игорь. Дважды он заваривал чай и приглашал Андрея и Стаса присоединиться к нему. Стас отнекивался, а Андрей поучаствовал в чаепитии.

— Вот так, Андрюшка. Теперь некому будет за нас молиться… Некому…— вздыхал Игорь и вытирал кулаками обильно катившиеся из обоих глаз слёзы.

К утру ветер стих, и день выдался ясным. Народ в большом количестве стал собираться к дому на улице Партизанской к полудню. Женщины несли сумки с продуктами, мужчины, сбиваясь в группы, жались по углам двора, приветствуя друг друга кивками и пожатием рук. Дядя Женя взял на себя роль распорядителя и заставил Игоря с Андреем наколоть побольше дров, а Стаса — складывать их в поленницу возле входной двери. К часу дня дядя Женя собрал всех близких родственников для прощания с покойной. Андрей несмело вошёл в дом. Возле гроба стояли человек восемь постоянно причитающих старушек, а у изголовья на стуле сидел дед. Как он изменился со вчерашнего вечера! Осунувшееся лицо, провалившиеся глаза. Его потряхивало. Казалось, он мёрз, хотя был одет в овчинную дублёную безрукавку и суконные брюки, сшитые для него Анной Веденеевной. Сама недвижно лежавшая Анна Веденеевна не была похожа на себя. Андрей не мог узнать в женщине с жёлтым лицом, необычно острым носом, распущенными длинными седыми волосами свою бабушку Аню, всегда радостно встречающую его, кормившую пельмешками, рыбным пирогом. Какой-то странный запах стоял в доме. На столе горели свечи — две или три, и ещё одна — маленькая — была зажжена и зажата в связанных белой верёвочкой руках бабушки. Андрея затошнило, он хотел было выйти, но сзади за ним плотной стеной стояли многочисленные родственники, и он лишь часто задышал. Кто-то подошёл к нему, встал рядом, взял под руку. Мать. Мать тоже казалось чужой. Заплаканные глаза, красное лицо, чёрный платок на голове. «Боже, она похожа на старушку! — вдруг ужаснулся Андрей.— Прямо как старушка. А ей всего сорок пять!» Ноги его вдруг ослабли, и он дрогнул. Мать притянула его к себе, поддержала, молча дав понять: держись.

До кладбища шли пешком. Процессия растянулась примерно метров на пятьсот. Впереди — люди с венками, за ними медленно двигалась машина — бортовой «газик» с гробом. У гроба сидели дед, тётя Женя, несколько старушек, среди которых была соседка тётя Катя, кормившая вчера горячим обедом, а ещё Паша с НГЧ, придерживающий двумя руками крест. Дядя Женя суетился: то и дело забегал вперёд, останавливал идущие навстречу большегрузные автомобили, заставлял водителей прижиматься к кюветам. Андрей шёл следом за «газиком» рядом с матерью. Рядом шли его сёстры Оля и Лена, чуть дальше — Тоня с мужем Анатолием. Где-то в хвосте колонны плелись Игорь и Стас.

На городском кладбище смотрители давно не видели столько народу в одном месте, на одних похоронах. Когда процессия подошла к последнему приюту Анны Веденеевны, в округе, растянувшись на несколько десятков метров, стояли легковые автомобили разных марок и два автобуса-«пазика». Как узнал потом Андрей, это приехали проститься с бабой Аней благодарные её пациенты. Некоторые были из других городов и дальних сёл района и даже из областного центра. Могила Анны Веденеевны была сразу за дорожкой, на новом участке кладбища, метрах в ста пятидесяти от того места, где была похоронена Алёна. Андрей разглядел вдалеке на пригорке золотистую оградку и кривую берёзку.

Гроб сняли с машины, выставили на табуретки, и началось прощание. Какие-то незнакомые женщины сразу взялись было говорить речи и усыпать покойную цветами, но дядя Женя вовремя всех остановил.

— Вначале родные прощаются! — скомандовал он, бесцеремонно оттесняя незнакомцев и выстраивая родственников в очередь.

Андрей с Валентиной Андреевной встали за Игорем, оказавшись в начале прощальной колонны. Игорь прощался долго: вставал на колени, плакал, целовал мать в губы, щёки, лоб, умолял простить его. Он бы ещё, наверное, часа два каялся и страдал, но его прощание оборвал стоящий у изголовья жены Николай Григорьевич:

— Живую мать надо было любить! А ты ей сколько крови испортил!

Дед поднял вверх трость, с которой ходил иногда в последнее время, и пошёл было на сына, но дядя Женя остановил его. Тётя Женя, подсуетившись, помогла подняться Игорю и увела его в сторону.

За Игорем подошла Валентина Андреевна, опустилась на одно колено, поцеловала свекровь в лоб.

Андрей глядел в лицо бабушки, узнавая и не узнавая. Вот она, бабушка Аня, водившая его маленького за ручку, кормившая его, своего первого внучка, с ложечки, лежит теперь здесь, в деревянном гробу, рядом с глубокой ямой — могилой, куда её опустят скоро, и он, Андрей, больше никогда не увидит её. Никогда! Почему? Зачем? Зачем так устроено на свете? Зачем они с бабушкой давным-давно, когда он ещё не учился в школе, шли вдвоём тридцать первого декабря вечером из красного барака, где он жил с родителями, в дом деда и бабушки на Партизанской, шли по улице, где стояли тогда в ряд несколько двухэтажных каменных домов, и смотрели в окна, любуясь украшенными ёлками? «Бабушка, бабушка! А на той звезда светится и мигает! — показывал он пальцем на окно, а бабушка кивала.— А там какая-то макушка вместо звезды, она не светится! А эта ёлочка вся мигает! Смотри, бабушка, вся мигает!» — «Это

гирлянду включили. Гирлянда называется»,—поясняла бабушка. «Гирлянда»,—повторял он пока незнакомое ему слово.

А как он, став постарше, любил закрывать вечером ставни бабушкиного дома! Выбегал в ограду, отцеплял ставни от крючочков, закрывал, поднимал навесы и вставлял в них и в оконные отверстия длинные болты. «Лови, бабушка!»—кричал он в окно, и бабушка, находясь дома, за окном, ожидала, когда появится конец болта, и ловко вставляла в паз железные, привязанные верёвочкой клинышки. «Есть!—говорила она громко внуку.—Пойдём к следующему». И он бежал к следующему окну. Всего окон было четыре: два—со стороны улицы Рабочей, два—с Партизанской. Ах, сколько радости было, когда работа была окончена! Он ложился спать на кухне, на деревянном диванчике, застеленном периной из гусиного пуха, а бабушка рассказывала ему, что когда она была такая же маленькая, как он, то отец (она говорила: тятя) посылал её в магазин, тогда называемый лавкой, и она покупала на пятнадцать копеек коробку лампасеек, головку сахару, калач и вязанку баранок. Повзрослев, вспоминая рассказы бабушки, Андрей стал понимать, что «лампасейками» бабушка называла конфеты-леденцы «монпансье», продававшиеся и в его время в круглых железных баночках, что деньги царского времени были отличны от времени советского, когда на пятнадцать копеек можно было два раза проехаться на автобусе и выпить на сдачу стакан квасу. Или сдать на вокзале багаж в автоматическую камеру хранения. Но об этом он думал потом, а тогда, слушая рассказ бабушки, Андрей думал о том, что завтра утром, как только станет светло, он снова побежит в ограду и будет открывать ставни, а бабушка станет смотреть из окна, чтобы он не забыл пристегнуть ставни на крючочки.

Зачем это всё было в их жизни? Зачем? Неужели зря? Вот сейчас её уже нет, она не сможет ему ничего сказать, не позовёт больше никогда: «Андрюша, иди есть пельмени». Никогда! Зачем придумана смерть? В назидание кому? Андрей коснулся губами холодного бабушкиного лба и почувствовал, как слёзы ручьями побежали из его глаз. Слеза капнула на лицо бабушки, на её закрытое веко, и Андрею показалось, что веко бабушки дрогнуло. Андрей отпрянул от гроба. Его повело в сторону вырытой ямы, и неведомая сила потянула его к могиле. Он качнулся, почувствовал: слабеют ноги,—но был вовремя подхвачен с двух сторон матерью и тётей Женей. Мать притянула его к себе, вывела через толпу к дорожке, отделяющей один ряд могил от другого.

— Тут ещё долго прощаться будут,—сказала Валентина Андреевна.—Пойдём, развеешься немного. До Алёны сходим, проведаем, а то когда теперь придётся—зима на носу.

Они медленно стали подниматься по пригорку по направлению к золотистой оградке и кривой берёзке. Через минуту их догнали Тоня с Ольгой. Вчетвером, не говоря друг другу ни слова, они поднялись к кривой берёзке, обошли золотистую оградку и вышли к могилке Алёны. Могилка была присыпана опавшими берёзовыми листьями. Один из листочков прилип к памятнику—прямо под фотографией вечно молодой Алёны.

— Здравствуй, невестушка…—Валентина Андреевна первой зашла в оградку, оторвав прилипший листок.—Вроде недавно, на родительский день, наводили мы у тебя порядок, а вот за лето опять трава наросла, листья нападали…

Тоня с Ольгой тоже зашли в оградку, присели за столик. Постояв с минутку у оградки, вошёл в калитку и сел рядом с ними Андрей.

— Надо было бутылку взять, помянуть. Не догадались…—Валентина Андреевна тоже присела за столик.

— Не до того было…—сказала Тоня.—Дома, когда бабушку поминать будем, и её вспомним, помянем.

Андрей молча смотрел на фотографию жены. Знала бы она, Алёна, фотографируясь с подружками в фотосалоне, что эта её фотография станет могильной. Андрею стало не по себе. Он почувствовал, что замёрз, но вставать и подниматься не хотелось. «Взять бы сейчас и замёрзнуть, и окоченеть тут, и остаться, и никуда больше не ходить…—всплыла вдруг в мозгу неожиданная мысль. Он вздрогнул.—Нет! Нет! А как же Санька, мать, сёстры? Надо жить. Надо жить…»

Его вернул в сознание неожиданно появившийся Толик, муж Тони.

— Я так и знал, что вы здесь. Пойдёмте, там уже гроб опускать собираются.

Женщины встали одновременно, как по команде. Андрей вышел из оградки последним, закрыл калитку, взглянул ещё раз на фотографию. «Симпатичная она всё-таки была,—подумал он и невольно сравнил:—Златовласке далеко до неё…» От этого сравнения он ещё раз вздрогнул: при чём тут Женя-Златовласка?

Они подошли к месту похорон, когда гроб уже опускали в могилу. Андрей остановился метрах в двадцати. «Хорошо, хоть не видел и не слышал, как крышку гвоздями заколачивали»,—подумал он. Гроб опустили, и дядя Женя первым бросил горсть земли в яму, за ним пошли другие—родственники и не родственники. Полетели, ударяясь о гроб, монеты, мелкие камушки. Андрей тоже взял горсть земли и, пройдя мимо могилы, бросил вниз. Потом он прошёл сквозь толпу и снова вышел на дорожку. Четверо мужиков с лопатами, оттесняя всех, стали быстро засыпать яму. Андрей отвернулся. Он слышал, как переговаривались между собой копщики, как всхлипывали женщины, как Паша, отвечающий за установление креста, крикнул

кому-то: «Помоги удержать!» — и после ещё кому-то: «Смотри, чтоб ровно было!» Минут через десять стало поспокойнее. Андрей повернулся и увидел, что бугорок с крестом усыпан цветами и венками. Люди окружали могилу, а дядя Женя, взяв в помощники Пашу-Паху, раскрыв багажник дяди Сашиной машины, доставал оттуда бутылки с водкой, раскупоривал, разливал по рюмочкам. Паша-Паха раздавал всем.

— Иди сюда! — крикнул Андрею дядя Женя. — Помяни бабушку.

Андрей подошёл. Дядька протянул ему рюмку. Андрей выпил.

— А где друзья эти? — спросил дядя Женя, и Андрей сразу понял, что он говорит об Игоре и Стасе.

Андрей осмотрелся и увидел двоюродных братьев, стоящих отдельно от всех и о чём-то переговаривающихся.

— Да вон они, — махнул он в их сторону.

— Ну идите сюда! — крикнул дядя Женя. — Как неродные. Помяните мать.

Сначала Игорь, а потом и Стас медленно подошли к машине. Дядя Женя сам налил им по рюмке.

— Пейте!

К дому на улице Партизанской Андрей ехал в переполненном «пазике». Он сидел в последнем ряду с незнакомыми ему женщинами. Где и с кем ехали мать, сёстры, Игорь и Стас, он не знал. Видел только, что деду помог сесть в «жигули» дядя Саша.

Поминки получились сумбурными. За столы сажали в несколько заходов. Постоянными оставались только ближайшие родственники. Распоряжался дядя Женя: одних выводил из дома, других, ожидающих во дворе, заводил. Люди за столом менялись с частотой в десять-пятнадцать минут. Игорю со Стасом досталась работа: откупоривать бутылки с водкой. Разливал по рюмкам сам дядя Женя. Паша-Паха только успевал приносить новые бутылки из кладовки, где на выдаче стоял дед.

— Откуда столько водки? — спросил Стас. — Мы же всего два ящика брали!

— Да Женька ещё купил, — ответил Игорь. — Сегодня перед похоронами с Сашей опять ездили.

Андрей помнил, что выпил рюмки три. Закусывал голубцами и котлетой. Часа через два после начала застолья количество поминающих поредело. Осталось человек двадцать: родные и несколько незнакомых Андрею мужчин и женщин. Дед закрыл кладовку, принёс и поставил на стол ещё бутылок пять. Они теперь сидели рядом: и Игорь, и Стас, и Андрей, и Паха. Мать с Тоней суетились у плиты, тоже подсаживаясь к столу на минуту-другую. Обе выглядели уставшими и к вечеру, когда стало темнеть, собрались домой.

— Иди, иди, Валя! — сказала матери тётя Катя. — Устала, отдохни. Завтра-то на работу надо. А мы тут, соседки-пенсионерки, посуду соберём, перемоем.

Вместе с Валентиной Андреевной собралась домой Ольга.

— А ты давай тоже долго не засиживайся, — сказала мать Андрею. — Завтра тебе тоже в редакции надо быть. День рабочий.

Андрей кивнул.

— Смотри у меня, — погрозила пальцем мать, уходя.

— Смотрю, — снова кивнул ей Андрей.

Сколько он тогда выпил, Андрей не считал. За столом пошли разговоры, не относящиеся ни к похоронам, ни к покойной. Игорь наливал, а Андрей закусывал котлетами и пил.

Проснулся он опять на нижней полке в «браневике». Наверху, чуть наискосок от него, спал Стас, на другой нижней полке — Паха. Игорь колдовал у «козла». Андрей присмотрелся и понял, что дядька пытается скрутить самокрутку — «козью ножку».

— Выспался, Андрюха? — спросил Игорь, заметив, что Андрей смотрит на него.

— Да, выспался… На двор приспичило, — вздохнул Андрей, поднимаясь с лежанки.

— Ну, сходи, сходи. Да выпьем по полстаканчика с тобой. Я вчера у бати две бутылки ещё выпросил.

За порогом «браневика» было темно и холодно. Андрей взглянул на небо. Редкие звёздочки, выглядывающие из-за тёмных, почти сплошных облаков, не могли осветить бледным мерцанием землю.

Игорев будильник, стоявший на маленьком подоконнике крошечного окна, показывал начало четвёртого. Игорь налил по полстакана, затянулся.

— Хорошо тебе, Андрюха, ты не куришь. А тут… — Игорь сидел на корточках недалеко от камина. — Я ж тоже до тридцати шести лет не курил. А потом вдруг начал. С Нинкой поругался ещё раз, пошёл к одной подруге, а та смолит сигарету за сигаретой. Ну и мне дала затянуться… Вот уже восемь лет затягиваюсь.

— Какие мои годы! — сказал Андрей, сотворив из полки столик и установив стаканы. — Мне до тридцати шести одиннадцать лет осталось. Может, как ты, и закурю ещё…

— Не надо лучше. Не начинай, а то потом привыкнешь и будешь искать не только похмелку, но и где закурить взять.

Дядька с племянником выпили, закусили несвежими, ещё на поминки нарезанными кружками колбасы. Потом выпили ещё раз. Ни Стас, ни Паха на их мероприятие не откликнулись.

Они откликнулись потом. Когда уже не только рассвело, но и день стал набирать силу. Во дворе и в доме стали снова появляться люди. В «браневик» первым зашёл дядя Саша и снова, улыбнувшись, сделал сравнение: их — с пассажирами, «браневик» — с вагоном в составе поезда дальнего следования. Мол, куда, в какую сторону поехали на сей

раз? Ни Игорь, ни Стас уже не улыбались, только кряхтели и вздыхали. Паха, присев к Андрею на полку, прятал глаза, а Андрей, повернувшись к стенке, лежал тихо.

Игорь ходил на переговоры с дедом в надежде выпросить ещё пол-литра, но вернулся без водки, хотя не разочарованный.

— Батя говорит: бутылок много пустых, сдавайте и похмеляйтесь. Давайте соберем и отнесём в «Партизанский» магазин. Там берут. Бутылок точно много: литра на полтора хватит.

Бутылки собирали, а потом ходили сдавать втроём. Стаса сильно штормило, и он остался в «браневике». В магазине продавщица полная хозяйка, у неё свои законы.

— На бутылки водку не дам, денег тоже. Берите ром «Негро». Он плохо идёт, потому что дороже водки. Или ром, или совсем не приму.

Взяли дорогой ром, причём на вторую бутылку пришлось собирать ещё мелочь по карманам.

В первый после поминок день они пили ром, потом кто-то заглянувший к ним, разжалобившись, дал им на водку, и Паха снова бегал в «Партизанский». Пили водку. Андрей снова жевал колбасу, снова спал, снова вставал и выходил во двор ночью. И на следующий день пьянство продолжилось. Игорь вышел во двор и затащил какого-то деда — не то соседа, не то дальнего родственника, и тот принёс им бутылку; затем бутылку принёс ещё один человек. Уже вечером в «браневик» заглянул муж Тони Анатолий — справиться, как дела у Андрея и скоро ли он придёт домой. Андрей пообещал прийти сегодня же и отправил Анатолия за очередной бутылкой. Они снова пили, жевали колбасу, спали. Утром очередного наступающего дня опять появился дядя Саша. Покачал головой:

— Ну, если на восток едете, то уже где-то возле Читы должны быть, а на запад — то к Уралу подъезжаете. Кончать вам, ребята, надо и по домам расходиться.

Но и в тот день они не закончили. Кто-то снова появился и принёс им сначала водки, потом портвейна. Водка вперемешку с вином дали знать: Андрея к ночи затошнило, спать он уже не мог и несколько раз выбегал во двор, под черёмуху.

Домой он добрался к вечеру то ли четвёртого, то ли пятого дня после поминок. Дверь открыла мать, подбежал Санька. Андрей чмокнул сына и пошёл в свою комнату. Мать хотела было что-то сказать, но промолчала и лишь взглядом проводила его.

Дня два он отлёживался, пил капустный рассол, с трудом глотал похлёбку, что приносила ему в комнату мать. Мать говорила о том, что ему надо идти в редакцию, повиниться перед начальством и начинать работать. Андрей кивал и даже, собравшись, пошёл было на разговор с редактором. Но ноги пронесли его мимо — вверх по Гагарина, а затем к вокзалу. На вокзале он неожиданно встретил Лёню Короля, возвращавшегося из командировки. Лёня предложил Андрею заглянуть в ресторан и выпить по «сотке». Андрей хотел отказаться, но Лёня настоял:

— Полегчает, отойдёт, а завтра пойдёшь к редактору.

Ста граммами они не обошлись, выпили больше бутылки, и уже хорошего и расписного Короля Андрей довёл до его дома. Как и следовало ожидать, на них прямо у ворот обрушила весь свой гнев Королева, и Андрею ничего не оставалось, как отвести коллегу с ночёвкой в «браневик», к Игорю. Там они пили ещё, и Андрей снова ночевал на железнодорожной полке.

И пошли дальше, и поехали в жизни Андрея не самые его светлые дни. Несколько раз он, с утра решаясь пойти на разговор с редактором, днём, к вечеру, а то и к ночи оказывался то у Игоря, то у Гены Хиля, то у кого-то из своих одноклассников и непременно напивался. Мать и кричала, и ругалась, и впадала в истерику, но в редакцию Андрей больше не ходил. Дошёл как-то до двоюродной сестры Тони и попросил её мужа Анатолия сходить забрать у редактора трудовую книжку. Толик сходил и, на удивление быстро, книжку принёс. Андрей обошёл в начале зимы несколько предприятий и в середине декабря устроился на работу сантехником в эксплуатационную контору разворачивающегося в городе домостроительного комбината. Бригада сантехников и сварщиков располагалась в строительном вагончике за жилым посёлком завода по ремонту дорожно-строительных машин. Работы было немного. Бывало, что и по целому дню никто не отрывал двенадцать здоровых мужиков от игры в домино. Естественно, они пили. Командировали кого-нибудь до магазина за водкой, а потом в течение дня помаленьку выпивали, закусывая тут же. К вечеру некоторые набирались и оставались в вагончике и добавлять, и даже ночевать. Андрей не отрывался от коллектива, не оставался в стороне: несколько раз он ходил за выпивкой и уходил домой пьяным. Сил у него хватило до марта. После Международного женского дня он заболел. Простыл где-то на сквозняках и слёг на две недели в больницу. Может, пролежал бы на больничной койке и дольше, но попались ему весёлые друзья по палате, организовавшие однажды в выходной день выпивку, а затем продолжили её уже в день будний. С перегаром и ещё не совсем отрезвевшие, лечащему врачу попались трое, в числе их Андрей. В тот же день троица была выписана за нарушение режима и лишена больничных листов. После этого Андрей в вагончик к сантехникам больше не пошёл, а побрёл вновь по друзьям. И выпивал, и пропадал иногда из дому на двое, а то и на трое суток.

Накануне майских праздников мать вызвала его на разговор.
— Я думаю, что самое лучшее тебе сейчас — поехать к дяде Жене в Енисей-град. Я с тобой совладать не могу, а он мужик опытный — устроит тебя там, в городе, на работу, дадут тебе общежитие… Может, и жизнь по-новому у тебя пойдёт. Если пить перестанешь…

Андрей думал недолго. Он сам уже понимал, что тонет, проваливается в бездонную яму, одновременно путаясь в алкогольных сетях, и самому ему не выпутаться и не остановить падение. В общем, он согласился съездить к дядьке и, было, уже собрал всё, что ему нужно для поездки, и пошёл даже за билетом…

Билет он не купил, потому что (и надо было ему зайти на вокзал со стороны перрона) у большой тугой двери, вернее, уже за дверью он снова столкнулся с Лёней Королём. Собственный корреспондент железнодорожной газеты возвращался из очередной командировки с сэкономленными командировочными и, как в прошлый раз, был настроен на ресторан.
— Пошли, — пригласил Лёня Андрея. — Много не будем. По сто граммов да окрошку закажем. А я тебе записочку дам: приедешь в Енисей-град — зайдёшь в местную железнодорожную газету, там помогут. Будешь им писать, гонорары у них неплохие, а могут ещё проездной на электричку дать.

Окрошки в меню ресторана не было.
— Рано же ещё, — отвечая на вопрос Короля, сказала пожилая официантка. — Мы её с июня начинаем делать, а сейчас ещё холодно, не окрошечное у людей настроение.

Лёня заказал суп-харчо и по тарелочке винегрета. На ста граммах дело опять не кончилось. А закончилась новой ночёвкой у Игоря в «браневике» и похмелкой на другое утро коньяком «Апшерон», за которым Лёня командировал Андрея в гастроном.

Он так и не уехал в Енисей-град. Сказав матери, что не судьба, он через неделю устроился подсобным рабочим в ремонтно-строительное управление. Грузил и выгружал доски со старенького бортового «газика», таскал вёдра и носилки с раствором для каменщиков, возводивших пристройку к гаражу.

Промелькнул май, набрал ходу, перевалил на вторую половину июнь. Андрей всё это время старался не пить спиртного и продержался так больше месяца. И чем больше длился его трезвый период, тем мрачнее становилось его лицо, тем больше грусти копилось в его сердце. Он понимал, что жизнь идёт куда-то не туда, что он должен уже давно быть среди писателей и ставить автографы на первых страницах собственных книг. Но книг, кроме сборника молодых писателей, у него не было, недописанные рассказы и повесть заброшены, и как ни старался Андрей, как ни прилагал усилия — заставить себя вернуться на творческую ниву не мог. «Творческий кризис», — вспоминал он в такие минуты слова советского писателя-классика и соглашался: кризис…

За трезвый месяц Андрей ни разу не был у дядьки, краем уха от матери слышал: с начала июня приболел дед. Он собрался было в первый же выходной сходить навестить Николая Григорьевича, заглянуть к Игорю. Но в первый ближайший не смог — мать взяла его с собой на дачу, во второй — водил Саньку в городской парк, а на обратном пути уже не пошёл. А в третий выходной почти всю дождливую субботу провозился, перебирая свои записи, намереваясь завтра же взяться за рассказы и непременно с утра в воскресенье сходить к деду. Но вечером неожиданно пришёл дядя Женя.
— Отец сегодня умер… — сказал он. — Я уже три дня тут, Игорь вызвал. Когда приехал, отец ещё в уме был, разговаривал. Да и позавчера ещё соображал, бормотал, кивал что-то там, а сегодня уже лежал без сознания. Вечером, после пяти, вызвали скорую, врач приехал, а он уже не дышит…

Деда хоронили в понедельник. Андрей отпросился с работы после обеда. До дома на Партизанской добирался пешком. От конторы РСУ прямые автобусы не шли, с пересадками он решил не связываться и рванул что было сил — быстрым шагом. Как он ни торопился, а добрался до дома уже после двух часов. У ворот его встретила всё та же сердобольная соседка — тётя Катя.
— Уже увезли. Увезли Николая Григорьевича! — уронила слезу она. — Поехал, поехал к Нюре своей. Недолго он без неё пожил-помучился. Встретятся теперь там, — тётя Катя подняла глаза вверх, — и уже не расстанутся…

Андрей снова пошёл быстрым шагом. Почти побежал по Партизанской, промчался через Старобазарную площадь, проскочил вокзал и виадук и, сокращая путь, по переулкам направился к кладбищу. Но всё же опоздал. Когда подходил к месту похорон, гроб уже опускали, и он только успел бросить горсть сырой земли в могилу партизана гражданской войны и почётного железнодорожника страны. Земной путь его закончился на восемьдесят восьмом году жизни. Рядом с могилкой бабушки с крестом выросла новая — с памятником и пятиконечной красной звездой.

Назад они шли с Игорем пешком. Андрей посмотрел издали на кривую берёзку и золотистую оградку, но на могилку к Алёне заходить не стал. «Позже, в августе, на её день рождения схожу», — решил он.

Игорь всю дорогу причитал, говорил, что теперь он круглый сирота, что остался у него только один брат, да и тому нет никакого дела до него. Андрей спросил его про Стаса:
— Почему не пришёл?

Игорь ответил, что тот в больнице, подхватил воспаление лёгких. Он сказал: умудрился подхватить,— намекая, что сейчас же лето.

Как и на поминках у бабушки, народу снова набралось много. Андрей разглядел, что тут была и официальная делегация от железной дороги, и представители горисполкома и совета ветеранов города, и какие-то незнакомые шаромыги, каковых всегда хватает на любых похоронах в небольших городках Сибири. За дело снова взялся дядя Женя. Усадив родных полукругом в дальний угол стола, он размещал ближе к двери знакомых и незнакомых ему людей, наливал им по рюмке-другой и через десять-пятнадцать минут бесцеремонно выпроваживал, приглашая на их место других. Скромные люди, помянув и сказав хорошие слова в адрес Николая Григорьевича, сразу уходили. Менее скромные толпились во дворе, намереваясь ещё раз прорваться к столу. Но у дядьки глаз был намётан. Дважды прорваться не удалось никому, а через час после начала поминок дядя Женя раскрыл ворота и выпроваживал уже со двора как нескромных, так и скромных. А ещё через час за столом остались только очень близкие и очень знакомые люди.

В доме было жарко, даже душно. Раскрыли окна и двери. Все что-то говорили. Мать грозила Андрею пальцем: мол, не пей много. Но и она не усмотрела. Мало-помалу Андрей набрался и стал клонить голову к столу. Его подхватили под руки, увели в «браневик», уложили на железнодорожную полку. Он проснулся, когда на улице только-только стало светать. В маленькое окошечко «браневика» заглядывал несмелый синий рассвет. Игорь спал на другой нижней полке. На табуретке возле потухшего «козла» стояла недопитая бутылка водки. Андрей поднялся, налил себе полстакана и выпил, потом вышел во двор. Было тепло. Короткая июньская ночь отступала. Уже слышались в вышине короткие птичьи напевы, из огорода — стрекотание кузнечиков, издали донёсся крик петуха, его поддержал второй, подхватил третий.

«Пойду, наверное,— решил Андрей.— Игоря будить не буду, пускай спит».

Ох, сколько раз он потом, в течение последующих двух лет и восьми с половиной месяцев особенно, и потом в другие годы и даже десятилетия в порывах, направленных на осмысление жизни, вспоминал то утро и ту минуту, когда вдруг собрался уйти из «браневика», со двора дома его предков, из-под набирающей силу черёмухи. Куда и зачем рванул он ни с того ни с сего в такую рань?.. А размышляя, приходил только к одному выводу: судьба. Судьба повела его тогда и привела…

Судьба повела его, понесла к железной дороге, и он оказался на стрелочном посту, где на крыльце околачивался и сторожил жену башмачник Коля Орешков, отец одноклассницы Андрея — Любки. Андрей поздоровался с Колей и почему-то неожиданно для себя спросил:

— Проводников с вином тут нет?

— Не видел,— ответил смутившийся появлением Андрея Коля.— Я не интересуюсь. Мне сегодня на смену надо. Вот посижу до полседьмого тут и пойду собираться на работу.

Из избушки-поста вышла сама Клава, поздоровалась.

— Как Любка там?— опять не зная зачем, спросил Андрей.

— А чё ей? Работает себе…— сказала Клава, зевая.

— Замуж за меня отдадите?— засмеялся Андрей.

— Это ты её спроси, хочет ли она снова замуж. Уж была один раз там…— снова ответила ему Клава и ткнула мужа в бок:— Собирайся уже, иди, пока совсем не рассвело. Скоро люди ходить начнут тут, тебя увидят и на планёрке смеяться надо мной будут.

— Ну и пусть смеются, мне то что…— буркнул Коля.

— Тётя Клава, вино тут не продают с вагонов нигде?— спросил Андрей.

Клава замотала головой и дала совет: идти в сторону диспетчерской.

— Там всё знают.

— Пойду,— сказал Андрей и, пожав руку Коле, пошёл вдоль путей.

Судьба его в час рассвета повела до площадки разгрузки и погрузки контейнеров, потом перевела на другую сторону железной дороги, заставив выйти за вокзалом, напротив компрессорной, а затем указала путь к отстойнику пассажирских вагонов. Вагоны эти были прицепными и шли по Транссибирской магистрали на север или, наоборот, с севера на Транссиб и, попадая на узловую станцию, отцеплялись от одного поезда и прицеплялись к другому. Поскольку поезда шли с разницей в десять, двенадцать, а то и четырнадцать часов, вагоны с пассажирами отправляли в отстойник, где вместе с ними до утра ночевали и пустые электрички. Вот туда, в отстойник, ко всё яснее и яснее выступающим из рассвета вагонам и привели ноги неугомонного Андрея. Ноги вели, нутро ныло — просило новой дозы выпивки, а голова… В голове роились и бегали бильярдные шарики-мысли: вправо-влево и, как в барабане спортлото, по кругу и вверх-вниз. Когда Андрей подошёл к вагонам, на поверхность сознания выскочила шальная мысль и завладела им всецело. Посмотрев, хорошо ли закреплён вагон — надёжно ли прижат башмак под колесом, Андрей залез под вагон и лёг, положив шею на рельс — поближе к колесу. Сначала он подтянул ноги к животу, выставив их домиком, но потом вытянул их на второй рельс и подвинул под другое колесо вагона. Почувствовав

на шее холодок от остывшего за ночь металла, он закрыл глаза и представил... И вот — качнулся, дёрнулся, двинулся с места вагон, вот — гребень колеса легко вошёл в его плоть, и... голова его, с частью шеи — по кадык, отделилась от тела и упала на одну сторону пути, а ноги ниже колена — сначала левая, а затем и правая — хрустнули и вместе с разрезанными брюками обмякли по другую сторону. Андрей представил себе эту картину так ясно и явно, что даже услышал совсем близко сигнал тепловоза, клацанье соединяющихся автосцепок и действительно почувствовал, как дёрнулся с места вагон, как крутнулись медленно колёса и пошли-поехали, наезжая на хрустящие под ними хрящи и кости...

«Он погиб на рассвете!» — чёткое, почти восторженное восклицание с металлическим оттенком в интонации раздалось над правым ухом, и страх завладел Андреем. Первым желанием было рвануться, оторвать голову, крикнуть... Но тело его уже не слушалось: веки будто закрыты на замок, рот не издавал звуков, а ноги и шея уже были в плену металла.

Колёса медленно наезжали...

— Ты что тут развалился, мать твою?! — услышал он другой, живой, полный ужаса голос. — А ну вылезай оттуда! Быстро!

Андрей всё ещё тщетно пытался открыть глаза, вытащить, оторвать голову от рельса, вырвать из-под колеса, но тело его не слушалось — оставалось напряжённо-застывшим. Лишь небольшой участок сознания сопротивлялся и давал надежду на спасение. Андрей попробовал крепче зажмуриться, чтобы потом резко поднять веки, и вдруг почувствовал, как монолит размякает, сдаётся, и теперь уже не металлическое грозное колесо разрезает его шею, а шея отодвигает и сминает железо, а сам он обретает невесомость и плывёт.

Силы и осознание происходящего вернулись к нему неожиданно. Он понял, что его схватили за плечи и тянут за рубашку из-под вагона. С глаз словно слетело проклятие — веки разверзлись, Андрей увидел колесо, вагон и, было, рванулся, но, ударившись головой, снова уронил её на рельсы. Кто-то перехватил его под руки и, матерясь, продолжал вытаскивать из-под вагонного плена. Андрей чувствовал, как из рельсово-колёсной неволи освобождается его голова, затем оказываются на свободе спина и ноги. Он снова предпринял попытку открыть веки. Набирающий силу рассвет наполнил его зрачки, и он увидел, что сидит на гальке между путей, а над ним стоит человек в железнодорожном жилете.

— Ты, Андрюха?! — воскликнул вдруг человек.

Андрей потёр глаза, поднял голову. В сизом окружении рассвета проступало знакомое лицо, но имя-фамилию вспомнить он так сразу не мог — голова трещала и раскалывалась.

— Ты что, не узнаёшь меня? — с возмущением в голосе спросил железнодорожник. — Вот допился... Кочкин... Володя я...

— Володя? Кочкин? — пробормотал Андрей.

— Да! Это я же! Мы с тобой же лечились зимой в железнодорожной поликлинике... чтобы не бухать больше... А ты что — развязал?

— Да, развязал... — вздохнул Андрей, уже узнав коллегу — составителя поездов и силясь встать.

Володя подал ему руку.

— Слышал, у тебя жена умерла?

— Да ещё зимой. В январе...

— Понятно, — смутился Кочкин. — А под вагон-то какого хрена полез? Мы тут подъехали, подцепились, я пошёл башмак убирать... Смотрю: мужик лежит. Не шевелится... Ну, думаю, если неживой, то весёлая концовка смены будет: и милицию вызывать придётся, и показания давать.

— Да я сам не знаю, зачем полез. Захотелось ощущений каких-то необычных... представить, как оно — когда на тебя вагон наезжает...

— Представил?

— Представил...

— Вижу как — чуть там не остался. А если бы я не посмотрел? Дал бы команду машинисту сдёрнуть вагон с башмака, как раз бы тебе на горлышко наехали...

— Ну не наехали же!.. — махнул рукой Андрей.

— Не наехали! А могли! — лицо Кочкина ещё выражало растерянность и даже испуг.

— Ну извини, извини, Володя, — решив, что действительно переиграл, сказал Андрей. — Подскажи мне лучше: где проводничка с вином найти? Выпью на радостях, что живой, да домой пойду. За ум браться надо...

— У тебя шишка на лбу — так об вагон шандарахнуться! Точно синяк будет, — сказал Кочкин. — А насчёт вина — иди к диспетчерской. Там сегодня Лёша-мент дежурит, он всё тебе скажет.

Когда Андрей вышел к диспетчерской, совсем рассвело. По откосам железной дороги пополз туман, поблёскивали капли росы на рельсах и шпалах.

Лёшу-мента он не искал. Тот сам вышел навстречу, едва увидел в окно поднимающегося по ступенькам знакомого человека.

— Что, баночку с вином ищешь, сосед? — спросил он, тут же поясняя с улыбкой: — Я страждущих за версту чую. В милиции же работаю. В железнодорожной. Смотрю в окно на блуждающих по железке и вижу: один просто идёт — домой торопится, а другой ищет. А тут и я. Почему не помочь ищущему? А? Денег-то сколько?

— Трояк есть.

— Хорошо, пойдём. Тут в нечётном парке, недалеко, стоял один — то ли узбек, то ли азербайджанец. Вино хорошее. Светлое. И с градусами. Я пробовал уже. Типа портвейна. Думаю, тебе как раз сейчас такое и надо.

По пути Лёша, как всегда, рассказывал анекдоты про милиционеров: гаишников, участковых и из патрульно-постовой службы. Они прошли над тоннелем, оставили в стороне локомотивное депо и, не доходя до депо вагонного, вышли к диспетчерской нечётного парка грузовых поездов.

— Мишу не задвинул? — спросил улыбающийся Лёша выходящего из диспетчерской составителя.

— Да стоит ещё. Дрыхнет, наверное, я его с вечера не передвигал. Так что стучите сильнее, — сказал составитель, пожимая им руки.

Андрей помнил этого мужика. Не один раз видел его на планёрках в красном уголке станции. Знал, что он постоянно работает в нечётном парке, но по имени-фамилии знаком не был.

По указке составителя Лёша с Андреем перелезли через площадку крытого вагона на междупутье, прошли несколько метров в сторону шпалозавода, нашли нужный вагон…

И снова и снова всплывали в памяти Андрея то недоброе для него утро, его подвагонная эпопея, спасающий его составитель Кочкин, густой туман по откосам железной дороги, Лёша-милиционер, небритое, недовольное их нежданным визитом лицо проводника-азиата и какой-то особенный вкус поданного им вина. Андрей никогда раньше не задумывался о вкусе спиртных напитков, но то светлое, прохладное, чуть со сластинкой вино запомнилось своим необычным вкусом.

— Наверное, спросонья нам своего винца сунул. То, что сам пьёт, не для продажи… — подмигнул Андрею Лёша, тоже отметив необычность вина.

Пожалуй, то, что он выпил из пол-литровой баночки один раз, а потом, когда выпил Лёша, стал подсчитывать, хватит ли ему ещё на одну, было последним, что Андрей запомнил в нечётном парке станции. Помнилось, что он предложил Лёше распить на последний рубль ещё баночку на двоих, но милиционер отказался:

— Спасибо, сосед, но мне скоро нужно смену сдавать.

И Андрей выпил вторую баночку один. Как и где они расстались с Лёшей, Андрей, сколько потом ни силился, вспомнить не мог. Как не мог вспомнить, почему и зачем понесли его ноги в сторону гастронома. В памяти отрывисто мелькали пустые улицы сонного города, автобусная остановка, из-за которой то ли выбегал ему навстречу мужик в пальто, то ли не выбегал, и был ли вообще этот мужик и женский крик, о котором ему потом говорили. Но дамская сумочка и зонтик, брошенные возле остановки, были…

Ни женского крика, ни мужика в пальто Андрей, скорее всего, не запомнил, но после того, как ему напомнили об этом несколько раз, а потом в течение нескольких месяцев напоминали ещё и ещё, он уже готов был согласиться, что они были и он видел и слышал, потому что…

Зачем он тогда поднял сумочку, а главное, на кой ляд взял тот зонтик?..

Запомнилось: он сделал круг от гастронома, вышел к узлу связи, где цифры на часах плясали и менялись как-то быстро и странно. Дальше — мимо железнодорожной бани к своей четвертушке, где теперь жил его отчим Анатолий Васильевич. Стучал ли в окно или в двери, Андрей не запомнил. Но когда вернулось к нему осознание происходящего и он осмотрелся, то понял, что лежит почему-то за крылечком, возле дровяного сарайчика, а возле него небольшая дамская сумочка и зонтик.

«Наверное, сидел на крыльце, задремал и кувыркнулся…» — сделал вывод Андрей.

Он пробовал объяснить себе появление у него сумочки и зонта, но ничего не получалось.

В сумочке, помимо губной помады, зеркальца, носового платочка, был ещё кошелёк с красной десяткой, жёлтеньким рублём и несколькими копейками. Посидев несколько минут на ступеньках крыльца, Андрей поднялся, постучал в дверь. После пятиминутного ожидания постучал ещё. Потом попробовал заглянуть в окна: дома ли Анатолий Васильевич? — но из-за занавески на окне кухонном и из-за шторки на комнатном ничего не разглядел. Тихонько постучав по стеклу и не получив ответа, он снова присел, на этот раз под окном на завалинку.

А солнце уже высоко поднялось в небо. День набирал ход. Андрей ещё раз подошёл к крыльцу бывшей своей квартиры и только теперь рассмотрел на двери небольшой замок.

«Так его нету дома», — понял он наконец. Нащупав в кармане десятку, Андрей решил заглянуть к соседке — старухе-хохлушке, торгующей самогонкой. Сам не зная почему, когда жил в соседях, Андрей старался с бабулькой дел не иметь. Заходил к ней за самогоном не более двух раз. Может, потому, что самогон у бабули всегда срезал наповал дурманящим запахом. Но зато шёл в реализацию по три рубля за бутылку, и из него можно было готовить зажигательные смеси. Горел, если поджечь, синим пламенем. Крепко и дёшево.

Хохлушка копошилась в ограде, возле клумбы с цветами. Андрей силился, было, вспомнить, как зовут старушку, но не смог. Бабуля же, заметив посетителя, без слов поняла, что ему надо, и показала рукой на дверь. Мол, проходи.

— Тиби бутылку? — спросила она в сенцах.

— И бутылку, и, если можно, я бы стаканчик сразу выпил.

Старуха подняла голову и, растопырив пальцы своей морщинистой ладони, поднесла ладонь к лицу пришельца.

Андрей кивнул и протянул бабуле червонец, что мял во время кратких переговоров в правой руке.

У хохлушки засветились глаза, она взяла деньги и, открыв дверь в квартиру, пригласила гостя.

— Сядай сюда,— кивнула она на табуретку у стола.

Андрей сел у окна. Старушка заскользила по настланным по полу половичкам, скрылась за шторкой в комнате, загремела там посудой и появилась с двумя бутылками — полной и начатой.

— Ету убери,— поставив перед Андреем полную бутылку, закупоренную бумажной, из газеты, пробкой, сказала она.— А с етой я тиби налью.

Хохлушка наклонилась, открыла стол-буфет, с торца которого сидел Андрей, достала стакан и булькнула туда из неполной бутылки.

— Ты так пиваешь или разводить?— спросила она.

— Так, только запить надо,— сказал Андрей, морщась от несносного запаха самогона.

Старушка кивнула. Она зачерпнула из эмалированного бачка в эмалированный же ковш воды, поставила перед Андреем фарфоровую тарелочку с двумя целыми огурчиками и половинкой помидора. Затем, вспомнив, наклонилась вновь к буфету, вытащила начатую буханку хлеба, отрезала кусочек и положила на тарелочку с овощами.

— Пивай давай! А то скоро сын придёт… Обещался сегодня…

Андрей взял в правую руку стакан, в левую ковш и…

Обжигающая лава упала где-то в районе пупка, тут же её огонь был пригашен длинными глотками нехолодной воды.

— Ишь! Ишь скорей!— подвигая тарелочку ближе к Андрею, засуетилась старуха.

Андрей откусил огурец, стал жевать.

Старуха ещё раз просеменила по половичкам в комнату и вернулась с пятёркой.

— Восьми, пока не забыла,— протянула она сдачу.

Андрей взял, положил в карман брюк и спросил:

— Вы соседа сегодня не видали?

— Это отчима твого, что ли? Или отца?— в свою очередь спросила хохлушка.— Как сам зовёшь?

— Я Анатолием его зову…— сказал Андрей.

— Рано гремел сегодня замком Анатолик твой. Пошёл куда-то, видно…

— Спасибо,— Андрей поднялся, не выпуская из рук недоеденный огурец, взял бутылку.— Пойду я.

— Давай,— махнула старушка, подав ему с тарелки целый огурец.— На закуску годится ещё…

Андрей снова зашёл в бывший свой двор, глянул ещё разок на дверь своей бывшей квартиры, на замок, охранявший её. Немного подумав, спрятал возле крыльца в траве бутылку с самогоном, рядом прикрыл травой дамскую сумочку. Затем отряхнул гачи брюк, потёр руки и пошёл в сторону ПТУ.

И зачем он не оставил там зонт? Зачем взял его тогда с собой, хотя дождя не намечалось?

Ну а дальше — крепкая самогонка взяла над ним власть. Дальше — туманные картинки и туманные мысли. Он толкался возле госбанка, в районе дома, где прошло его детство,— бывшей Спортивной улицы, то и дело раскрывая и закрывая зонт. То ли так, ради интереса, то ли для того, чтобы продать. С кем он тогда общался — растворилось в спиртовом тумане. Выскакивала на поверхность мысль: в винно-водочном магазине обменять зонтик на бутылку водки. Магазин был недалеко — по другую сторону улицы Гагарина, и он взял было направление к нему, но возле автобусной остановки к нему подошли двое. Один из них запомнился — был в клетчатой рубашке и представился старшим лейтенантом милиции. Откуда-то появился вдруг милицейский «уазик». Андрею быстро застегнули наручники, помогли забраться, закрыли за ним дверцу, и он поехал. Что думал он тогда, глядя в зарешеченное окошко, когда уплывал от него летний солнечный день июня 1984 года, отдалялись и оставались где-то там, в другом времени и другой жизни, и двор его детства, и дом, и улица имени космонавта Гагарина, и тоннель, над которым он проходил ещё сегодня ранним утром вместе с Лёшей-ментом, и далее стадион, где не раз он выходил на футбольное поле и даже забивал голы на радость друзьям и болельщикам, и городской парк, куда в далёком, кажется, уже детстве бегал он к застывшему там на лето автобусу-кинотеатру «Малютка» смотреть узкоформатные кинофильмы? Что чувствовал он тогда, проезжая в милицейской машине полгорода? Предчувствовал ли беду, перемену в жизни и то, что нескоро теперь увидит и двор детства, и улицу Гагарина, и парк, и стадион?..

Наверное, не было в нём тогда ностальгии, потому как не понимал он, зачем и куда везут его милиционеры и что этим днём он вышел на рубеж нового витка его жизни. Была мелкая мысль о вытрезвителе, куда он уже попадал дважды. Но жёлтый милицейский «уазик» не пошёл в сторону улицы Матросова, где находился «трезвяк», а, пробежав по Кирова, повернул к горотделу. Машина въехала во двор и остановилась. Дверь ему открыл молодой милиционер и приказал выйти. У машины ждал представившийся старшим лейтенантом мужик в клетчатой рубашке. Он повёл его вовнутрь здания по ступенькам на второй этаж.

В кабинете, куда они зашли, их встретили оживлённо. Один в милицейской форме — лейтенант — и ещё трое в гражданской одежде потирали руки, крутили в руках отнятый у Андрея зонтик и говорили о том, что им полагается премия за оперативно раскрытое преступление.

С Андрея сняли наручники, и только тогда он начал прозревать и протрезвляться, кое-что понимать. А когда завели в кабинет женщину и, показав на него, спросил её лейтенант: «Этот?» — она вначале замялась, пробормотала: «Тот вроде выше был… и в пальто…», а потом под нажимом милиционеров сдалась: «Похож…» Этого и надо

было собравшимся в кабинете милиционерам. Лица их засветились ещё больше. Женщину вывели, с ней ушли трое, а с Андреем остался один в гражданской одежде. Он сел напротив него, достал уголовный кодекс, посмотрел сначала в книжку, а потом на Андрея и заявил:

— Вам предъявлено обвинение по статье сто сорок пятой УК РСФСР, части, ещё будем уточнять — первая или вторая, трактуемой как грабёж с целью завладения имуществом.

У Андрея оборвалось сердце.

— Потерпевшая только что опознала вас. В заявлении её сказано, что сегодня в пять часов примерно сорок-пятьдесят минут утра в районе автобусной остановки «Гастроном» на неё было совершено нападение неустановленным лицом. В результате вырваны из рук дамская сумочка и зонтик, — продолжал говорить монотонно милиционер в гражданском, как понял Андрей — следователь. — Вы признаёте, что нападение совершено вами?

— Нет… — хрипло, чуть слышно промямлил Андрей. — Я нашёл зонтик…

— А сумочку? — приподнялся следователь.

Лицо его замерло в выжидательной позиции.

— И сумочку… — прошептал Андрей.

— Ага! — вскочил обрадованный следователь. — Где сумочка?

— Ну, там, возле дома…

— Какого дома?

— На Партизанской, где я раньше жил…

— Подробнее.

Андрей назвал номер дома, пояснив, где спрятал сумку и кто теперь там живёт.

— Володя, — позвал, открыв дверь, следователь.

В кабинет быстрой походкой вошёл знакомый Андрею человек по фамилии Быховский. И не просто знакомый, а футболист, с которым они в юные годы играли за юношескую сборную города и объездили весь север и восток области. Как потом слышал Андрей, Быховский учился в школе милиции. Ну конечно, где же ему работать, как не здесь! Быховский был, как и следователь, одет по гражданке — в плотную серую рубашку, джинсы. Андрей встрепенулся, поздоровался, но Быховский сделал вид, что незнаком с задержанным, хотя Андрей отметил: глаза его на мгновение оживились, заблестели. Он узнал его. И как не узнать, когда они не один раз кочевали по поездам и автобусам, делились водой и хлебом, обсуждали сыгранные и предстоящие матчи? Такое не забывается. Но Быховский, как понял Андрей, был на службе.

— Володя, бери водилу, езжайте быстро на Партизанскую, проверьте возле крыльца. Нужна сумочка дамская. Там живёт мужик один, если он дома, прощупай осторожно: в курсе ли он сумки, зонта. Если нет — пока не грузи его вопросами.

— Хорошо, — кивнул Быховский и, ещё раз глянув на Андрея, вышел за дверь.

— Так зачем вы, если, говорите, нашли всё, сумку спрятали? — вернулся к Андрею следователь. — Может, не стоит отпираться? Может, лучше сознаться, дать показания и спокойно дожидаться суда, а? Тем более что дело можно повернуть так, что на условное наказание потянет. При чистосердечном признании, конечно.

— Но я нашёл сумку возле остановки! Это правда! — сказал уже громко Андрей.

— И зонтик, — добавил следователь.

— И зонтик! Они вместе там лежали!

— Они лежали, значит, спокойно там. Сами по себе. И не было никакой женщины. Так?

— Так! Я не видел никакой женщины!

— А зачем взяли? Вещи эти не ваши. Пусть бы себе лежали. В сумочке ещё деньги были. Я уверен, что теперь их нет. Нет их?

— Нет, — кивнул Андрей.

— Ну вот. Теперь даже если и я захочу вам помочь, мне трудно будет. Согласитесь: нападение совершено, у женщины вырвали сумочку и зонтик, есть заявление потерпевшей и есть вы — с зонтиком тем самым и сумочкой…

Андрей молчал. Следователь что-то начал писать. Через некоторое время приехал Быховский с сумкой.

— Никого дома не было. Сумку нашли сразу. Ещё и бутылку самогона.

— А самогон тоже на остановке нашли? — спросил следователь.

Андрей понял: он влип, но старушку-хохлушку выдавать был не вправе.

— Ну, так где же самогон взяли? У кого купили? — давил на него следователь.

— Купил, — согласился Андрей. — Но это к делу не относится.

— Правильно, — кивнул следователь. — Про самогон упоминать в деле не будем. Расскажите о нападении на женщину, и делу конец.

— Да я же не нападал! Зачем я сам на себя наговаривать буду? — закричал Андрей, всё больше и больше понимая, что говорить в оправдание ему нечего.

— Не хочешь чистосердечного признания — не надо, — вступил в разговор Быховский. — Тем хуже для тебя. Получишь по полной. Женщина тебя узнала, задержали тебя с её зонтиком, нашли сумку. Нам больше ничего доказывать не надо. Это ты теперь доказывай, что не нападал. Только навряд ли получится. Всё против тебя.

— Ладно, — сказал следователь. — Сегодня всё равно в изоляторе ночевать придётся. Из прокуратуры приедут завтра. Я завтра с утра вас выдерну, если чистосердечное подпишете, то попрошу у прокурора, чтобы дал подписку о невыезде, и — шагайте домой!

— До суда,— добавил Быховский.
— Да, до суда,— подтвердил следователь.— А там условным сроком можно отделаться. Ранее не привлекался. Приводов не имел. Не имел же?
— Нет,— согласился Андрей.— В вытрезвитель только…
— Вытрезвитель не в счёт,— сказал Быховский.— Направят на лечение… Добровольное… Пройдёшь, зато на свободе.

Андрею немного полегчало — словно сняли наручники с души. Но ненадолго. В изоляторе, что находился тут же, на первом этаже здания милиции, душа снова затомилась. Особенно после того, как один из сокамерников, услышав его историю, сказал:
— Да, положеньице у тебя незавидное. И дашь чистосердечное — загремишь, и не дашь — всё равно пойдёшь по этапу. Всё на тебе сходится. Тут только молить Бога надо, чтобы настоящего гоп-стопника задержали. Но это навряд ли. Менты успокоились теперь: подозреваемый с уликами есть, дело оперативно раскрыто. По горячим следам. Чалиться тебе, друг, придётся…

В камере их было всего трое. Помимо опытного, как сделал вывод Андрей, пристающего к нему с расспросами с исколотыми, синими запястьями пожилого человека, был ещё один, примерно Андреева возраста. Как понял Андрей, парень этот был немного не в себе, потому как ежеминутно повторял: «Аблокат, нужен аблокат…»
— Адвоката хочет,— пояснил пожилой.— Надеется, адвокат его оправдает. Шланг на ферме в своём колхозе для летнего водопровода стянул и продал, а виноватым себя не признаёт,— улыбнулся разговорчивый сосед.— И тебе бы адвоката — может, вытащил бы. Не какого попало, а хорошего. А хорошим хорошие деньги нужны. За мелочь мараться не станут…

К ночи Андрей протрезвел окончательно и загрустил на полную. Думал о матери (как она перенесёт известие, если его посадят?), о Саньке (как он будет без него?), о Жене (наверняка мать ей не раз теперь напомнит, что это она вовремя открыла глаза дочери на него: вот каким он оказался). Думал он и о том, чтобы взять на себя вину чужого человека за нападение на ту женщину. Если возьмёт, следователь обещал отпустить до суда. Если нет, то будет сидеть неопределённое время и, вполне может быть, всё равно получит срок. Но если взять вину, то, значит, согласиться с тем, что он преступник. Грабитель женщин. От такого до конца жизни не отмыться…

Андрей задремал под утро на короткое время. Где-то на грани сна и дрёмы он бежал от кого-то, задыхался, кричал. Перед ним были длинные тёмные коридоры, какие-то люди с перекошенными лицами и блестящие наручники на руках.

Видения эти ещё более подорвали дух узника: появилось странное томление под сердцем и предчувствие, ожидание дурных известий.

Предчувствие оказалось верным. Когда утром повели его в кабинет следователя, на его месте восседала в форме старшего лейтенанта белокурая дама. Андрей узнал её — одно время она жила в общежитии завода по ремонту дорожно-строительных машин и часто ходила по жилому посёлку завода. Ходили слухи, что у неё был роман с женатым гаишником, закончившийся её замужеством и уходом гаишника от семьи.
— Я хочу довести до вашего сведения, что у вас заменился следователь,— сказала она, предлагая Андрею присесть напротив.— Тот, что начал вести ваше дело, срочно ушёл в отпуск, у него неприятности в семье. Дальше ваше дело буду вести я. Вы меня помните?
— Видел в заводском посёлке,— кивнул Андрей.
— Ну и я вас запомнила. И компанию вашу. Многие из неё уже сидят.
— Вы о ком? — не понял Андрей.
— Можете называть меня Людмила Степановна,— сказала белокурая милиционерша и назвала несколько знакомых Андрею фамилий ребят, живущих в заводском посёлке.

Правда, Андрей был знаком с ними шапочно и никаких дел совершенно не имел. Но это, видимо, нисколько не смущало следовательницу.
— Знакомы с ними? Я знаю, что знакомы. Вот и ваша очередь подошла. Составите скоро им компанию.

Андрей не знал, что и сказать. Теперь и дальнее знакомство с перечисленными следовательницей людьми играло против него, и получалось вроде того, что он имел с ними криминальные дела.
— Открылись некоторые дополнительные факты в вашем деле,— продолжала милиционерша.— В сумочке, оказывается, не нашли золотой кулон с цепочкой стоимостью в двести семьдесят два рубля. Как понимаете, в связи с этим статья сто сорок пятая УК РСФСР, предъявленная вам в качестве обвинения, теперь однозначно будет квалифицироваться второй частью, предполагающей уголовное наказание от трёх лет и более.

Андрей поперхнулся.
— Какой кулон? Какая цепочка? Не было там ничего!
— Ну, так уж и ничего! — на лице следовательницы появилась недобрая улыбка.— Много там что было. Общей стоимостью более трёхсот рублей. В общем, так: дискутировать я тут с вами не собираюсь. Список вещей есть, протокол допроса составлен. Вам надо подписать с пометкой «ознакомлен» и «согласен» или «не согласен с вышеизложенным».

Андрей написал, что не согласен, и расписался.
— Хорошо,— кивнула следовательница.— Сейчас пойдём к помощнику прокурора, он выдаст

санкцию на арест, и поедете в следственный изолятор.
— Куда?—не понял Андрей.
— В тюрьму, дорогой, в тюрьму. Дело-то нешуточное: нападение на человека, грабёж.

Помощник прокурора сидел в приёмной начальника милиции, куда привели Андрея в сопровождении следовательницы два милиционера.
— Помощник прокурора города Абассов,—представился Андрею смуглый человек в коричневой рубашке и светлых брюках и обратился к следовательнице:—Необходим ли арест?
— Я думаю, да,—сказала белокурая.—У него все друзья уже сидят. К тому же, я предполагаю, он может попробовать скрыться.
— Есть основания этому предположению?—спросил помпрокурора Абассов, листая протокол допроса Андрея.
— Есть—на основании того, что подозреваемый отрицает факт нападения, хотя тот очевиден, и пытается сбить вторую часть статьи на первую путём отрицания некоторых им похищенных вещей.

Андрея ввели в ступор слова следовательницы.
— Хорошо,—сказал Абассов, покашляв в кулак.— Я подписываю ордер на арест.
— Ведите его во временный изолятор и готовьте к отправке в следственный,—дала распоряжение милиционерам-конвойным следовательница.
— Ну, теперь она семь тридцать получит,—сказал Андрею в камере пожилой арестант.—За каждого арестованного следакам платят по семь рублей тридцать копеек. Вот она и старалась, из кожи лезла, чтобы тебя засадить... И бабу потерпевшую, наверное, уговорила, чтобы она про кулончик золотой заявила.

Андрею сразу же вспомнился железнодорожный вокзал, милиционер Кунька, доставляющий пьяных в отдел. Там ему тоже что-то платили...

И начался очередной этап в жизни Андрея, не самые лучшие годы его жизни, требующие и требующие потом нового и нового осмысления. Большая пересылочная камера стала для него первым тюремным классом, где он познал азы невольной жизни. Жёсткие нары, похлёбка прямо из чашки, без ложки, торчок—параша—унитаз у входа, куда можно было ходить, только когда никто в камере ничего не ел. Подозрительные люди, присматривающие одежду каждого вновь поступившего и примеряющие её на себя. Люди-«положняки»—ведущие господский образ жизни и говорившие правильные слова, едва ли не истину. И люди-«шныри»—следящие за чистотой в камере и готовые услужить и прислужить «положнякам». Классом вторым была камера первоходочников. Тех, кто шёл по первому сроку, называли «пряниками», их содержали отдельно от ранее судимых и побывавших в исправительных зонах. Законы у «пряников» были чем-то сродни детсадовским. Правда, в более жёстком смысле. На бетонный пол нельзя было наступать носками или голой ногой. Иначе нужно было мыть ноги с мылом, а носки выбрасывать. Выбрасывать нужно было всё, что падало на пол: одежду, ложки, кружки, даже кости домино. Садиться на пол тоже было запрещено. Присевший уже считался «зачуханенным» и на нары не допускался—жил и питался под ними, выбираясь к остальным только для того, чтобы сходить «на парашу». Нары же располагались в два яруса. Камера, называемая здесь «хата», рассчитанная на двенадцать человек, вмещала около тридцати. Обитатели её делились на три категории: «положняки» в количестве четырёх человек, во главе с белокурым Русланом—смотрящим за «хатой», занимали первый ярус; «ночники», числом шесть человек, вели ночной образ жизни, а днём отсыпались, и «дневники». «Дневниками» назывались все остальные. Они вели обычный образ жизни: дежурили по камере, получали пищу и сдавали посуду, караулили дважды в неделю воду. Про воду сказ особый. Её включали только по вторникам и пятницам, а потому все имеющиеся в камере ёмкости наполнялись. Цинковый бачок, цинковый таз, пластмассовые баночки (банки стеклянные и железные были запрещены) и даже попавшие сюда с кем-то из арестантов большие болотные сапоги. Болотники заливались под самые вывернутые голяшки и стояли привязанными к батарее. Вода из сапог предназначалась для технических нужд: туалета, бритья, стирки. Каждого вновь прибывшего встречал и инструктировал дежурный. Новичку говорили один раз и сразу обо всём, и если он не уяснял с первого раза, то это уже были только его проблемы. Андрея встретил дежурный Володя Курков, с которым через два года, восемь месяцев и несколько дней после этого они зимним февральским утром вместе покинут зону на севере области и уйдут из невольной жизни в более вольную. Но это случится потом, а тогда, летним июньским днём, Володя, как и все уже вкусившие невольного хлеба обитатели камеры, пренебрежительно смотрел на новичка и объяснял с металлом в голосе о том, как нужно вести себя. Видимо, объяснил доходчиво, потому как Андрей законы «хаты» усвоил и косяков не наделал. Народ в камере собрался разнообразный. Среди претендентов «на зону» сидели здесь и ждали своей участи люди, скрывающиеся от уплаты алиментов, и ведущие паразитический образ жизни (привлечённые за тунеядство), и мелкие воришки, и «кухонные боксёры» (семейные дебоширы), и хулиганы (драчуны в основном). Были и убийцы. Один из них зарезал «по пьяной лавочке» соседа—ткнул кухонным ножом в сердце. Другой—уже дед—зарубил свою старуху. Тоже по пьянке. Дело деда отягчалось тем, что,

протрезвев и поняв, что натворил, решился он на сокрытие преступления — разрубил тело старухи на несколько частей и сложил в три мешка. Два вынес на кладбище, а ещё один взял да забросил на платформу проходящего поезда. Этот мешок-путешественник обнаружили железнодорожники, сообщили в милицию, а те вышли на деда. Был среди обитателей подследственной «пряничной» хаты и милого вида человек по имени Шура. Его, улыбающегося и приветливого, можно было сравнить с Шуриком из фильмов «Кавказская пленница», «Операция „Ы"» или «Иван Васильевич меняет профессию», но ни за что нельзя было, с первого раза глядя на него, подумать, что он самый настоящий маньяк. Впрочем, слово «маньяк» Андрей узнал позже, а тогда говорили: «серийный насильник». Шурик этот караулил молодых девок, насиловал их и убивал. Душил. Три эпизода были доказаны и предъявлены ему в обвинение. Узнал Андрей здесь, и как называется на тюремном языке статья, по которой его обвиняли, — «гоп-стоп». «Гоп-стопщик» в «хате» он был один.

Почти три месяца провёл Андрей в «пряничной» камере. Через месяц поднялся до «ночника». Играл в домино (без интереса) ночами, спал днями, познавал тюремный жаргон. Один раз его «выдёргивали» на закрытие дела. Следовательница — он уже её звал «следачка» — была немногословна, спросила номер камеры и, написав: «Подследственный вины своей не признаёт, но вина его доказана полностью», — дала бумагу на подпись Андрею. За проведённые в хате дни и ночи Андрей смирился со своей участью. Вспоминал дядю Женю, совершившего не одну а три «ходки» в неволю, и благодарил небеса за то, что дед его — партизан Николай Григорьевич — не дожил до позора.

Суд состоялся в начале октября. День выдался по-летнему солнечным. Андрея под охраной завели с торца здания суда и усадили на скамью подсудимых. Зал был занят наполовину. В первом ряду сидели мать с Санькой, сёстры Ольга и Тоня. Матери с Санькой разрешили подойти к нему. Поговорили коротко обо всём и ни о чём. Перед тем как начался суд, Андрей заметил в последнем ряду знакомую фигурку.

«Женя! — оборвалось у него сердце, и застучало в висках. — Зачем она-то тут? Она услышит сейчас всё, в чём меня обвинят. Всё, что было и не было. Ах, как стыдно, стыдно, стыдно…»

Андрей опустил голову и не поднимал её до конца процесса.

После суда им дали увидеться. Мать в слезах, Тоня, Ольга, не понимающий, что происходит, Санька. Андрей не знал, что им говорить. Когда он простился со всеми и его вывели во двор, к нему подошла Женя. Охранники понимающе остановили его у ворот, за которыми ждала их машина, и остались чуть в стороне. К Жене подбежал Санька, взял её за руку. Мать и сёстры смотрели издали.

«Я не виноват, Женя!» — хотел сказать — нет, крикнуть — он. И не смог — сил не хватило. Но Жене-Златовласке не надо было его оправданий.

— Всё ещё будет у вас хорошо, — сказала она тихо, глядя ему в глаза, и, повернувшись, медленно пошла.

Женя-Златовласка повернулась и пошла от него, держа за руку Саньку, а он смотрел им вслед. Санька несколько раз оборачивался, продолжая идти. Андрей же думал в ту минуту, в те короткие секунды их пути от ворот до поворота: оглянется ли она?! Он молил: «Повернись! Посмотри ещё раз!» Он готов был закричать — окликнуть её…

Но не окликнул, не закричал…

Андрей освободился на три с лишним месяца раньше положенного ему срока. Условно-досрочно. «По УДО», как принято было говорить на зоне среди зеков и администрации. Вместо солнечного летнего июня он покинул место своего подневольного обитания зимним хмурым февралём. Покинул с желанием скорее вычеркнуть из своей жизни не лучший её этап и забыть, забыть о своём погружении в ад. Но ад под названием Ханяки, образованный сразу после войны для пленных японцев, японцами же наречённый, имеющий с того же времени и официальный аналог — посёлок Октябрьский, не отпускал так просто. Посёлок, правда, он видел только мельком, да и то когда освободился, а так — лишь знал название его на конвертах писем да смотрел на высокий забор, охранные вышки с часовыми и на небо: лазурное, облачное, хмурое, тяжёлое. За два с лишним года небо было над Ханяками разным, и разные люди прошли вереницей через это местечко с прижившимся японским названием. Прошли мимо Андрея сотни разных людей, соприкоснувшись с ним едва и растворившись после. Как будто и не было их вовсе наяву, а где-то там, то ли во сне, то ли в какой-то полудрёмной нереальности, появлялись фигурки с лицами и именами, говорили, что-то делали, даже как-то влияли на события вокруг, а потом исчезали, пропадали, уходили навсегда. Некоторые, правда, запомнились по именам, фамилиям, кличкам. Всегда улыбающийся, наполовину плешивый Никифор, иногда жалующийся на боли в позвоночнике, а потому освобождённый от тяжёлых работ, отбывал два с половиной года за подделку больничных листов; скромный и даже тихий Лёша-баптист из Москвы страдал за веру в Иисуса Христа и за то, что отказался идти в армию; немного шебутной другой житель столицы — Дима, бывший футболист дублирующего состава московского «Торпедо», — подколол ножом

после матча футбольного судью; непонятно за что получивший срок ревнитель славянской культуры по имени Константин… Образы этих людей, их поведение отложились в памяти Андрея ярче, чем другие. Познакомившийся ближе других с ним Никифор не просил, а упрашивал Андрея сочинять стихотворные строки на лагерную тематику, а потом, общаясь с «положняками»-блатными, выдавал стишки за свои и за декламацию «с чувством и расстановкой» получал в награду запарку — несколько ложек чая. Когда такое случалось, он приглашал Андрея на чифир — «чифирок», как он говорил. Нередко запарка чая проходила в сушилке их отряда, где собиралось вечерами немало народу. Был там и Лёша-баптист. Чифир он не пил, но иногда, как выражался футболист Дима, «под настроение толкал пропаганду» — говорил о Библии, Новом Завете, Иисусе Христе, писаниях апостолов. Сам Дима, всегда подсаживающийся к Андрею с Никифором на глоток-другой крепкого чая, иногда пытался вступать в дискуссию с Лёшей, но почти всегда безуспешно — за Лёшей, как правило, оставалось последнее слово. «Истина со мной»,— говорил баптист. Но бывало, его истина давала сбой, когда в спор подключался Константин — красноречивый, крепко сбитый, чуть за сорок, человек, заставляющий своей речью всех, включая замполита колонии, открывать перед ним рты.

— Да, наверное, на нынешнем этапе христианство — приемлемая для многих у нас в стране религия. Тем более якобы православный её вариант,— говорил с горящим взором Константин.— Но давайте вспомним, как оно пришло на Русь. Людей мечом загоняли в Днепр креститься, в других городах и весях русских силой насаждали новую веру, под корень уничтожая старую, исконно русскую, славянскую. Под видом внедрения новой веры разрушили всю культуру славян, обычаи, уклад жизни, а что разрушить не удалось — приспособили под новые праздники. Подогнали и день нашего Ивана Купалы под их Иоанна Крестителя, и весенние и летние праздники славян связали с христианством: Пасху свою внедрили, Троицу. Календарь заменили. Был от сотворения мира — стал от Рождества Христова. Было в неделе девять дней, в году девять месяцев — стало семь дён и двенадцать месяцев…

— Календарь не христиане сменили, а Пётр Первый! — обрывал его Лёша-баптист.— В православной церкви до сих пор год начинают не с января, а с первого сентября, если хочешь знать… И от сотворения мира считают даты…

— А неделю зачем вашей седьмицей заменили? — ещё более загорался Константин.— Неделя, она неделима и не может быть семь дней. Она состоит из девяти: понедельника, вторника, третейника, четверика, пятницы, шестицы, седьмицы, осьмицы, и последний день «неделей» называется. Когда дел никаких не делают. Неделя! Нет дел в этот день, понял? И понедельник называется понедельником, потому что по неделе день первый. Как время считают умные люди пополудни: час после полудня, два после полудня, три после полудня… А самое главное для нас, славян,— вы наше православие под себя подмяли. Мир славян сложен из Яви, где мы живём, Нави, куда уходим после смерти, и Прави — где живут наши славянские боги. Из Прави они правят нами. Оттуда и слова «править», «правительство»… Мы Правь славим, отсюда и «православие».

— Да я не православный! Я — баптист,— преображался скромный Лёша.

— Баптист! — пылал Константин.— Ты — баптист, другой — евангелист, третий — католик! Где в вашей Библии написано, что христиане должны разделиться на какие-то группы и тянуть одеяло каждый к себе? Разрывать учение? Где, я тебя спрашиваю? Да нигде! Нет там ни одной строки об этом. Это всё ваши администраторы сделали. Растянули веру по своим норам. А ещё правильнее сказать — было это тонко продумано теми, кто создал христианство. Мудрые, ничего не скажешь. Мол, это учение сына плотника, мы ни при чём! Разрушили Римскую империю, добрались до Британии, потом разделили славян на католиков и православных, пошли с крестом на Америку и в Азию… Это же политика! А ты программу этих политиков выполняешь и сам не знаешь об этом! И не догадываешься даже. Тебя захомутали — и вперёд: выполняй приказ своих администраторов!

— А мне ничего сверх Писания знать не надо,— похлопав с минуту глазами, отвечал Лёша.— Я знаю, что я верю в Иисуса и в его учение. Я отвечаю только за себя перед Богом, а не перед администраторами, как ты их называешь. Я люблю Бога и ближних своих. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Разве это плохо?

— Да, не плохо. И даже хорошо,— вроде бы соглашался, сбавив обороты, Константин.— И многие слова Христа хороши и правильны. Только в современных ваших проповедях мало что от его учения осталось. Всё больше на апостола Павла проповедники ссылаются, а не на Христа, и отцами своих пастырей называют, и наставниками, и учителями. Будто специально. А ведь он говорил: не называйте отцами, наставниками и учителями. А ещё дело в том, что если и был Христос на самом деле, существовал реально, то был послан для спасения только одного народа. Почитай внимательно Евангелие от Матфея, и ты найдёшь там слова Христа в десятой главе, сказанные своим ученикам-апостолам: «Сих двенадцать послал Иисус и заповедовал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарийский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам

дома Израилева». Почитай лучше свою Библию, прежде чем за проповедь браться. А слова, кстати, «проповедь», «проповедник», «праведник» тоже не христианские, а наши. Связанные с нашими Ведами. Везде слово «Веды» там есть.

Лёша пытался ещё что-то говорить, ещё возражать Константину, приводил цитаты из Библии, Константин ему отвечал, но большинству пребывающих в сушилке всё дальнейшее сказанное ими было уже не интересно, ибо они не понимали, о чём вообще идёт речь. Далёк от темы дискуссий был и Андрей. И даже Дима-футболист, глядя на спорящих, только улыбался, делал глупое лицо и хлопал в ладоши, веселясь: «Вот и не подерётесь, вот и не подерётесь…»

Беседы в сушилке по вечерам и выходным дням были лишь одной частью жизни, где люди говорили, хотя и споря до хрипоты, всё же о хорошем: о светлом назначении человека и возвращении его в рай, и не только об этом — вспоминали с теплом время своей свободы, родных, жён, детей. Но была и другая, более тяжёлая, мучительная часть подневольной их жизни. Почти реальный ад. «Погружением в ад» назвал их пребывание в зоне один из офицеров, когда их, нескольких человек с этапа, морозным ноябрьским утром ввели через ворота исправительного учреждения.

— Вы погружаетесь в ад! — сказал, встречая новичков на КПП, капитан внутренней службы, хлопая себя по голяшке сапога железным шомполом, которым тут же перетянул по загривку зашедшего последним этапника. — На время своего срока забудьте, что вы люди. Вы — скот, вы — масса ждущих своей участи в аду. И только мысль о свободе некоторым из вас поможет выйти к воротам и освободиться. И ворота зоны будут для вас сродни воротам рая…

Этого капитана-философа Андрей видел только один раз, но тоже запомнил. Ибо его слова про ад начали принимать реальную форму с первых же минут их жизни в зоне. Ежедневным кошмаром были просчёты. Зеков каждое утро и вечер выстраивали по пятёркам и считали. Если цифры не сходились с указанными в списке, считали заново. Силой выгоняли из бараков на мороз и строили. Отстающих и идущих вразвалку офицеры и прапорщики били по лицу наотмашь и подгоняли пинками под зад. Кошмар просчётов трижды в день сменялся кошмаром посещения пищеблока. В грязной, сколоченной из досок столовой выдавались им непромытые, с застывшим на дне льдом алюминиевые чашки; ложек не хватало, и некоторые не ели — выпивали свои порции. Это получалось легко, ибо в похлёбке было не много картошек и крупинок. Но настоящим погружением в ад в первое время жития Андрея на зоне были ночи. Двухъярусные кровати — шконки — стояли по всему спальному корпусу в два ряда и, за исключением придвинутых к боковым стенкам, были сдвоенными. Из-за большого перенаселения отрядов на каждую шконку укладывали «валетом» по два человека. Следовательно, на сдвоенную — четыре. Но иногда (такое случалось, когда в зону приходил новый большой этап) пристраивали между двумя «валетами», как раз на соединении шконок, ещё и «полувалета» — пятого бедолагу. В такой тесноте спать было физически невозможно, но спали! И даже похрапывали. С храпунами вели борьбу. «Положняки», которым, естественно, валетное спаньё не грозило (они, как и завхоз отряда, и бригадир, спали на придвинутых к стенкам койках, называемых угловыми), заставляли ночных дневальных — «ночников» — «глушить» издающих храп. И «ночники» били храпящих костяшками по рёбрам, колотили сапогами по бокам и набрасывали на лица им нестиранные портянки. Храпуны вскакивали, пытались возмущаться, но окрик кого-то из «положняков», завхоза или бригадира заставлял их присмиреть. Интересными до ужаса были отхожие места. Как таковых их в зоне долгое время не было совсем. Мелкую нужду зеки справляли за полусараем-полунавесом, где варили в солдатских котлах чай. Говорили, что сарай, как и дощатую столовую, строили ещё японские военнопленные. Летом за чаеварней не просыхали лужи и пахло аммиачной селитрой, а зимой прямо на глазах вырастал жёлто-коричневый ледник. Ледник порошило снежком, но за новые сутки он снова становился цветным и рос, рос, рос. Бывало, за неделю ледник перерастал крышу чаеварни, и некоторые весельчаки с разбегу взбирались на вершину, чтобы помочиться именно там. Некоторые — прямо на крышу. Но большинство справляющих мелкую нужду в альпинисты не метили и поливали ледник у основания. Ледник разрастался и, случалось, выходил за пределы границ сарая, образовывая новый ледяной нарост, подступающий к крайнему от чаеварни бараку. Когда застывшая моча подходила к бараку вплотную, к леднику пригоняли людей с лопатами, кирками и ломами. Это были хозотрядовцы. И не просто зеки, а из числа обиженных, опущенных в тюрьме или уже на зоне за разного рода грехи и прегрешения, не совместимые с «моральным кодексом советского заключённого». Чаще это были «крысы» — попавшиеся на воровстве чужой пайки, реже — осуждённые за мужеложство. Когда группа ассенизаторов шагала по зоне с лопатами и кирками на ликвидацию ледника или шла, облегчённая, в пищеблок, движение их сопровождали выкрики: «Португальцы идут! Португальцы!». Кричали специально назначенные из хозотряда глашатаи. Крики эти были предупреждением всем: соприкоснувшийся с «португальцами» или даже заговоривший с ними зек сразу же попадал в разряд изгоев и переселялся на местожительство

к ним. Стол «португальцев» в столовой стоял отдельно, чашки и ложки они носили с собой. Говорят, что «португальцами» назвал «обиженных» сам начальник зоны. «Хозяин» был человеком с юмором. Татарин, по фамилии Валиулин, разъезжал по посёлку в бричке один или с полной, как и он сам, супругой и заявлял во всеуслышание всем гражданским жителям посёлка, что в Ханяках есть только два вольных человека — он и его жена; остальные все — либо зеки-заключённые, либо офицеры-бесконвойники. Он ходил по зоне, перекатываясь, словно шарик, в форме подполковника внутренней службы. Говорят, что однажды во время ликвидации «португальцами» ледника «хозяин» проходил мимо, споткнулся и упал. Поднявшись, отряхнулся и сказал фразу, которая потом стала крылатой: «Последний пацан на зоне зачуханился…» «Португальцы» несколько дней ровняли ледник с поверхностью, откалывая при этом расписные и узорчатые глыбы льда, за которыми приходил дважды в день самосвал. «Зилок» увозил лёгкие зековские отходы за ворота — на волю. За ворота, на волю, вывозил ассенизаторский самосвал и более тяжёлые отходы невольников, каковые накапливались в заброшенном вагончике, превращённом в туалет. Вагончик стоял недалеко от колючки, почти под вышкой часового, был без крыши и двух стенок — боковой и торцовой. Добрая половина зоны ходила оправляться именно туда. Даже «положняки», завхозы и бригадиры. Летом там, в рассаднике мух и туалетных червей, стоял невыносимый смрад, зато зимой было довольно сносно. На застывшей, тоже ежедневно, но медленно растущей вверх горе можно было отыскать себе удобное местечко в уголке бывшего вагона. Правда, рядом обязательно подсаживался кто-то, а на сидящих рядками и вразнобой со спущенными штанами зеков почти в упор смотрел с вышки часовой, но люди привыкали и к этому, а наделённые чувством юмора даже ходили «на дальняк» с газетками и нередко под настроение делали ручкой часовому.

Непросто далось Андрею вхождение в лагерную жизнь, но всё же он в неё входил, всё же вживался, привыкал. Деваться-то всё равно было некуда. Никуда не деться ему было и от лагерного жаргона. Новые слова невольно пополняли его словарный запас. «Тарочка», «марочка», «бирочка», «ксива», «малява», «халява», «портак», «балабас» и самые ходовые, применяемые к месту и не к месту: «в натуре» и «конкретно». От этих и других слов и понятий, стоящих за ними, тоже никуда было не деться. И он привыкал и к ним, и к кошмарам, и к аду. И привык.

Кошмар и ад действительно казались Андрею кошмаром и адом лишь в начале его жития «на Ханяках». К исходу первого его подневольного года по стране загуляла перестройка, объявленная в Москве новым Генеральным секретарём, и, может быть, поэтому, а может, и нет, на следующее лето в зоне выстроили из красного кирпича новое здание столовой и два здоровенных кирпичных туалета, а чаеварню и вагончик для «дальняка» снесли. Разгрузилась и зона. Ещё до объявления перестройки в стране отметили круглую дату со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и была по этому поводу объявлена частичная амнистия, согласно которой «легкостатейники» ушли гурьбою на более вольные хлеба, называемые «химией» и «поселухой». Ни «химия», ни «поселуха» Андрею не светили, как и Лёше с Константином, поэтому они с завистью смотрели на уходящих по этапу. Со шконок как-то сразу быстро исчезли «валеты», и теперь зоновцы спали по одному, как короли или тузы. Конечно же, ни Андрей, ни Лёша, ни Константин, ни освободившиеся летом Никифор и Дима-футболист к тузами себя никаким образом причислить не могли, да и к королями тоже. Эти не звания, а понятия больше подходили к угловым-«положнякам», которых амнистия тоже не коснулась. С уменьшением числа зеков в зоне стало как-то светлее, и оставшиеся там люди неожиданно подобрели и стали относиться друг к другу терпимее. Даже «положняки». Андрей, заметив это, подумав, отнёс сей факт к тому, что «как ни крути, а все здесь первоходочники, у всех первый срок».

И дни неволи, тянувшиеся вначале утомительно долго, тоже после амнистии пошли веселее. Особенно когда Андрей стал выезжать на рабочую зону. «Промка» (как называли место работы зеков — видимо, от слова «промышленная») находилась на территории деревообрабатывающего комбината — ДОКа — и представляла собой часть цехов, отгороженных от остального комбината забором и колючей проволокой. Зеки занимались распилом досок и погрузкой вагонов. Наряду с ними там работали вольные мастера ДОКа и контролёры ОТК. Андрей вначале грузил вагоны. Дощечки разного размера назывались мебельными и отправлялись из комбината по многим городам России, в Среднюю Азию и в Грузию. Адреса отправки Андрей очень скоро узнал лучше других, так как мастер по имени Валера решил поставить его учётчиком. Работа нетяжёлая: следи, чтобы вагоны грузились нужного размера досками, в определённом количестве, а когда погрузка закончится, опломбируй вагон. Большую часть рабочего времени он просиживал в вагончике, составляя сопроводительные бумаги на груз. Выезд на «промку», работа, а главное, наверное, составление бумаг, авторучка в руках сделали своё дело: Андрея потянуло на творчество. Между делом он написал несколько небольших лирических рассказов, рассчитывая опубликовать их под псевдонимом в местной районной газетке. Это было вполне выполнимо,

ибо мастер Валера согласился унести их в редакцию, где у него были знакомые люди, оформить их на себя и, по публикации, принести не только номера газет, но и полученный на его имя гонорар. Рассказы Валере понравились, и, скорее всего, они бы и увидели свет, но неожиданно творчеством Андрея заинтересовался защитник славянской веры Константин. Он попросил почитать, а почитав, сказал следующее:

— Рассказы простенькие, без наворотов, хотя за душу берут. Что есть у тебя, то есть и не отнимешь. Умеешь зацепить, по чувствам ударить. Но всё, о чём там у тебя написано, на мой взгляд, вторично. Всё где-то, когда-то, кем-то уже было написано. До тебя ещё. Может быть, даже задолго до тебя. Сочинения твои, конечно, могут напечатать, даже книгой издать, деньги тебе заплатить, но продвижением в области литературы они не станут… Кроме лирики и душещипания, нужно ещё что-то такое, чего не было у других писателей… И вообще: не было ни у кого и никогда. Заложенная между строк мысль. Невидимая, но ясная, понятная, заставляющая читателя прозреть, увидеть мир по-новому. Открывающая твой мир, мир твоих героев совершенно с неожиданной стороны. Это должно быть на грани потрясения. Читатель должен быть потрясён, должен испытать стресс. У тебя пока этого нет. Жаль, потому как человек ты способный и, видимо, талант тебе дан, и дан не случайно. Мой тебе совет: не торопись с публикацией, поищи ещё свой подход, почитай классическую литературу.

Мнение Константина стало сродни приговору. Андрей задумался и отложил рассказы. Он был согласен с Константином и сделал для себя вывод: так, как писал он раньше, уже не годится — нужно переходить на новый уровень. Новый уровень требовал глубокого переосмысления и времени. Андрей познакомился с завхозом зоновской школы — стариком по фамилии Дидик, на воле бывшим директором школы и осуждённым за мошенничество. По воскресеньям он ходил в школу к Дидику, пил там у него чай с печеньем и хорошими конфетами. У завхоза с чаем и конфетами проблем не было. До получения срока он жил в посёлке — «за забором» — и после суда приложил все усилия, чтобы не ехать далеко. Естественно, связи с волей у него были, и он чуть ли не ежедневно передавал посылки с позволения замполита и начальника колонии. Андрей в школе не только пил чаи, но и стал брать там из библиотеки книги классиков русской литературы. Он не просто читал, а делал для себя открытия в творчестве Гоголя, Толстого и особенно Достоевского. Он дважды прочёл «Братьев Карамазовых». Причём второй раз — с ручкой и блокнотом, выписывая понравившиеся фразы и записывая свои, родившиеся при чтении, мысли. Но чтобы совсем не растерять творческий потенциал, Андрей решил всё же написать несколько зарисовок о работниках ДОКа, уговорил Валеру-мастера подписаться под ними и отнести в редакцию. Зарисовки напечатали. Валеру даже взяли в газете на заметку как нештатного автора и предложили почаще заглядывать с новыми материалами. Довольный мастер на полученный гонорар с лихвой набрал чая и конфет и, пользуясь тем, что его не всегда должным образом осматривают на КПП, доставил покупки Андрею. Опубликованные в районной газете зарисовки и даже гонорар удовлетворения Андрею принесли мало. Над рассказами он думал, но после слов Константина всё не решался браться за новые. Но, видимо, публикация заметок всё же не прошла даром. Творческий потенциал всё больше раздирал его, и совершенно неожиданно у него вдруг стали складываться и пошли стихотворные строки. Андрей никогда не причислял себя к стихотворцам, считая, что он одарённый прозаик, и предназначение прозаика как мог исполнял. Но всё же его и раньше нет-нет да посещали рифмы. Он даже записывал их иногда, но перечитав, безжалостно рвал, считая записанные строки наивными. После «холодного душа» Константина и публикации зарисовок он смотрел на себя, на свои литературные способности уже иначе. Снова стал записывать приходящие ему на ум метафоры, выкладывал их в рифму, разбавляя обыденными словами. Менее чем за месяц Андрей записал более ста стихотворений, разбив их условно на три цикла: «Времена», «Лица», «Откровения». Стихи показывать Константину он не стал, а сложил аккуратно в конверт, написал на нём адрес и попросил Валеру-мастера вынести конверт на волю и отправить по почте домой.

Уже после, по истечении некоторых лет, раскрыв конверт и вспоминая время и место, где стихи были написаны, Андрей целиком и полностью отнёс стихотворный порыв к временному. На дворе тогда стоял сентябрь, и приближался очередной его день рождения. «Да, это была моя Болдинская осень!» — убеждал он себя, тем самым оправдывая своё отношение к дальнейшему своему стихотворчеству, а вернее, к его отсутствию. А память всё возвращала и возвращала его в Ханяки, и он вдруг вспомнил (а ведь начисто забыл!) о том, как в зоне, на просчёте двенадцатого января, во вторую годовщину гибели Алёны, он увидел в небе зимнюю радугу и, решив, что это предзнаменование, впервые в невольной своей жизни сочинил стихи, посвящённые ей — Алёне. А вот Жене стихов он не посвящал. Не приходили нужные строки, но зато не было дня, чтобы он не думал о ней и не мечтал со сладострастием, даже лёжа полувалетом, пятым на втором ярусе шконок, и после, на шконках отдельных — сначала на втором ярусе, а потом, заслуженно, уже на

правах старожила, на первом. Думал, ругая себя и проклиная свою судьбу.

На второе лето ханякского заточения к Андрею на свидание приехала мать. Да не одна. Валентина Андреевна привезла с собой Саньку. Сыну тем летом исполнилось пять лет, он уже говорил бойко и даже пытался размышлять. Но понимал ли он, где находится его отец и почему он здесь, Андрей так и не разобрался. Едва ли не с порога ребёнок спросил:

— Папа, а тебя эсэсовцы охраняют?

— Почему эсэсовцы?—улыбнулся Андрей.—Откуда ты это взял?

— Кино видел по телевизору. Там тоже за проволокой люди были, а их эсэсовцы с собаками охраняли.

— А может быть, это были не эсэсовцы, а просто солдаты? Немцы. Наши же с немцами воевали тогда.

— Может…—кивнул Санька, но тут же добавил:— Но эсэсовцы тоже там были. В чёрной форме…

Так называемая «комната свиданий», где происходила встреча Андрея с матерью и сыном, на деле имела аж двенадцать комнат и находилась в административном здании колонии. Естественно, заключённые попадали туда со стороны зоны, а вольные люди—со стороны посёлка. Свидания обычно давались на трое суток.

— Это ж надо: столько дверей мы прошли, пока к тебе попали,—удивлялась, в свою очередь, мать.—И все на замки закрываются, и везде солдаты стоят…

«На свиданку» Андрей пошёл тогда в одно время со славянином Константином и земляком и однокамерником по тюрьме Володей Курковым. Володя по прибытии на зону попал в другой отряд и даже в другую локальную зону. Виделись они с Андреем только на просчётах да иногда в столовой. Отряд Куркова на «промку» не выезжал, а потому Володя несколько раз просил о переводе его в рабочий отряд. «Может, хоть немного что и заработаю…»— мечтал Володя. Ему не отказывали, даже обещали, но время шло, а он оставался на месте.

Порадовавшись родным, Володя, Константин и Андрей встретились к вечеру первого же дня на общей кухне, заварили крепкий чаёк. Санька, крутившийся возле отца, тоже потянулся было к общей кружке, но Андрей опередил, плеснул из «кружака» в кружку другую, изрядно разбавил кипятком и бросил туда два кусочка сахару-рафинаду. Довольный Санька сел за общий стол и, подражая взрослым, неторопливыми глотками пил свою запарку.

Конечно же, ребёнку, попавшему в новую для себя обстановку, было интересно всё. Пока мужчины общались за чифиром, Санька обследовал длинный коридор, заглянул в некоторые приоткрытые комнаты, за что получил гостинец—конфеты и пряники. Особенно ребёнка заинтересовали входные в комнату свиданий двери. Скорее всего тем, что были зарешечены и на них был глазок. Санька как раз находился там, когда пришло время вечернего просчёта: двери открылись, открылась решётка, и вошли двое солдат и прапорщик. Увидев военных, Санька сломя голову помчался к кухне и, вбегая, громко и тревожно закричал:

— Папа! Папа! Прячьтесь! Прячьтесь скорее! Немцы идут! Немцы!

Под дружный хохот трёх мужиков и улыбки солдат и прапорщика Андрей, Константин и Володя вышли на просчёт, и пока они стояли в строю, Санька смотрел на происходящее, с тревогой и любопытством выглядывая из-за двери комнаты.

После очередного новогоднего праздника Андрей уже, было, смирился: ему придётся сидеть «до звонка». До окончания срока оставалось менее полугода, и он уже начал считать дни. Но совершенно неожиданно в день четвёртой годовщины смерти Алёны, двенадцатого января, пришедший с планёрки завхоз сообщил ему: готовься к суду. Весть о суде не в осуждение, а в досрочное освобождение для большинства зеков (кроме «положняков»)—весть радостная. Если тебя представили на суд (а это могли сделать начальник отряда, замполит зоны или же сам начальник исправительного учреждения), то на девяносто процентов можно было считать, что скоро выйдешь на свободу. Судьи обычно не «заворачивали» представленных. Видимо, и у них был свой план не только по осуждению на лишение свободы, но и по освобождению. Суд над Андреем и ещё несколькими претендентами на досрочное освобождение—удо—состоялся через несколько дней, а ещё через неделю все «удошники» вышли за ворота колонии, дружно прогулялись по посёлку Октябрьскому—Ханякам—от зоны до автобусной остановки. И автобус увёз их оттуда на станцию, откуда шли поезда.

Итак, Андрей покинул Ханяки в конце февраля второго года переустройства, о котором только и говорили в стране. Покинул вместе с земляком Володей Курковым, так и отбывшим весь зоновский срок в другом отряде. Вместе с ними в один день вышли на свободу завхоз школы Дидик и ещё несколько человек. Узнав, что они освобождаются вместе, Володя предложил Андрею перед выходом встретиться в школе. Там Дидик заварил им в последний раз подневольного чаю-чифиру, а Володя отыскал проигрыватель и пластинку с записью «Марша славянки» и, перед тем как выйти на кпп, включил проигрыватель на всю громкость.

Марш этот долго потом стоял в ушах Андрея. Вырывающаяся из открытой форточки музыка была для них лёгким попутным ветерком, наполнившим паруса их надежд и мечтаний о новой свободной жизни. Всё плохое, тогда казалось,

осталось позади, а впереди были только радужные мечты, планы и перспективы…

Эйфория длилась с неделю. Он приехал домой, обнял Саньку, пожал руку поседевшему отчиму — Анатолию Васильевичу, попил вволю чаю с сахаром, закусывая горячими «мамиными» пирожками с капустой. Дня два гулял по городу, по знакомым до замирания в сердце улицам детства и юности. Сходил на стадион — посмотрел, как играют знакомые и незнакомые ему парни в хоккей с мячом, поел горячих чебуреков на колхозном рынке. Зашёл в гости к Гене Хилю. Гена искренне обрадовался его приходу, посетовав лишь на то, что не может угостить друга водкой, ибо «с перестройкой этой ни хрена не достать, очереди в винополку больше, чем в Мавзолей на Красной площади в Москве».

Да, очереди в винно-водочные магазины действительно были огромными. Чуть позже Андрей с Геной выстаивали в них по два, а то и по три часа. Причём стояли вместе, ибо в руки выдавалось лишь по одной бутылке. Когда Гена назвал происходящее кошмаром, Андрей лишь улыбнулся, вспомнив кошмары Ханяков. «Мелочи всё это, суета…» — подумал он.

Но мелочи и суета через некоторое время стали доставать и его. Андрей прекрасно понимал, что путь в газету для него здесь отрезан. Никто не позволит редактору взять на работу в партийный орган человека, судимого по уголовной статье. В другой город или райцентр уехать и попробовать, не вдаваясь в подробности биографии, устроиться на работу корреспондентом он не мог, потому как целый год привязан был к городскому отделу милиции, осуществляющему надзор за освобождёнными из мест лишения свободы, и каждый месяц ходил на отметку. Мало того, что он был обязан приходить в милицию, — участковый милиционер стал нередким его гостем. Заходил, спрашивал, где Андрей был в такой-то день и час и, главное, с кем. Андрей понимал, что в этот день и час в городе совершён очередной грабёж и его как человека, судимого по аналогичной статье, проверяют на причастность. Этот самый участковый помог, в некотором смысле, устроиться Андрею на работу. В принципе, за друга перед своим начальством похлопотал Хиль, а участковый, как бы между делом, перед визитом Андрея в отдел кадров зашёл на пару минут.

И Андрей снова стал работать на заводе, снова слесарем-сантехником в паросиловом цехе завода по ремонту дорожно-строительных машин и снова в бригаде вместе с Геной Хилем. Вечерами и по выходным он пробовал писать повесть, писать, как он считал, на новом уровне. Он понимал, что перспектива её напечатания ничтожна, но всё же продвигал своих героев вперёд, хотя часто без вдохновения. Нередко, задумавшись над строчкой, он вдруг оставлял сочинительство и уходил бродить по городу, взяв в попутчики хандру и ностальгию. На прогулках, бывало, встречался со знакомыми: одноклассниками, бывшими футболистами, корреспондентами газеты. Но встречи эти теперь не были приятными. Многие знали о судимости Андрея и, увидев его, здоровались с ним второпях, будто спешили по срочному делу. Андрей их понимал. Как понимал некую осторожность и натянутость в общении с ним Игоря и Стаса. Игорь за последние годы в доме родителей не жил, полностью перебрался в «браневик», а дом хирел в запустении, палисадник покосился, забор, разделяющий черёмушник и огород, полулежал, удерживаясь на двух хлипких столбиках. Раза три заходил Андрей к Игорю и дважды заставал там Стаса. Увидев племянника, дядьки начинали темнить и мямлить. Игорь говорил, что с дрожжами сейчас туго и браги он не ставит. Хотя и в первый раз, и во второй было заметно, что и Игорь, и Стас под хмельком.

Несколько раз Андрей проходил по Партизанской улице с начала её и почти до конца. Проходил мимо места, где вроде бы совсем недавно стояла его четвертушка. Её снесли, и отчим Анатолий Васильевич и все соседи получили по однокомнатной квартире в новом микрорайоне города, выросшем за время отсутствия Андрея аж семью пятиэтажками на месте картофельного поля. От дома, где прожил Андрей почти три года, ничего не осталось. Как и от других щитосборных домиков. Их снесли подчистую. Андрей пробовал было установить на отрытой большой площадке, где именно располагался его дом, и даже примерно определял место, рисуя в воображении: здесь вот было крыльцо, там — сарай, вот тут — огород, а дальше — калитка и летний водопровод. Для этого нужно было иметь богатое воображение, ибо ничего теперь не напоминало о некогда стоявшем в два ряда временном посёлке строителей. Время временного посёлка наконец закончилось. А вот время больших электронных часов на узле связи продолжалось. Часы, как и раньше, высвечивали на табло цифры. И время шло, двигалось прямо перед Андреем, мелькая минутами и часами, каждый день повторяя одни и те же цифры на вечных, казалось Андрею, часах.

Как-то на пересечении улиц Шпалозаводской и Гагарина Андрей встретил Женину мать. Людмила Михайловна, скорее всего, и не узнала его. Как всегда задумчивая и неторопливая, она шла к проходной шпалозавода. Андрей на секунду замер, поравнявшись с ней. Специально он никого не спрашивал о Жене. Несколько раз, проходя по Партизанской, он хотел было свернуть на Женину улицу, подойти к её дому, но каждый раз менял своё решение. Валентина Андреевна как бы

мимоходом сказала, что видела Женю несколько раз в сопровождении высокого белокурого парня, и как ей показалось, Женя ждала ребёнка.

Андрей тоже делал было попытки устроить личную жизнь. По объявлению в газетах он выбрал двух претенденток на своё свободное сердце и написал им письма. Одной — по имени Марина — в областной центр, другой — Наташе — в Енисей-град. Письма дошли до адресаток, и в течение месяца он получил ответные послания от обеих женщин, с интересом прочёл, но переписку развивать не стал. Когда сел за пишущую машинку, то вдруг понял, что писать-то ему больше не о чем. О себе он рассказал, а что дальше? Напрашиваться в гости? Глупо.

По выходным он заставлял себя садиться за машинку и вымучивал очередные строки новой повести. За этим занятием в одну из суббот июня и застал его двоюродный брат Олег.

Олег пришёл к Андрею около одиннадцати часов утра, когда тот был дома один. Мать, забрав Саньку, уехала в гости к Тоне. Тоня с мужем Анатолием и дочерью Ольгой жила в частном доме на другом конце города, имела свой огород, корову и баню. Баня её притягивала многих родственников, вот и эта суббота была объявлена большим банным днём, и Валентина Андреевна была приглашена. Приглашали и Андрея, но он пообещал быть ближе к вечеру.

Олег был как не в себе. Он нервно звонил в дверь, а когда Андрей открыл, вошёл, оглядываясь, словно боясь сзади преследования, а спереди засады. Осторожно заглянув в комнаты и кухню, он немного успокоился, отдышался и заявил, что он сбежал из вытрезвителя, а потом невнятно и запутанно стал рассказывать, как его мать — тётю Галю — отправили на лечение в профилакторий («аж на Ангару, на целых три недели»), а он, оставшись один, по этому поводу выпил, да не просто выпил, а разгулялся и продал по пьянке бензопилу. На вырученные деньги, как говорил Олег, он угостил друзей и с бутылкой водки поехал в город, якобы с намерением к Андрею. Но почему он, приехав на вокзал, пошёл не к автобусной остановке, а в обратную сторону — через виадук — и нарвался там на милиционеров, Андрей так и не понял.

— Всё выгребли: и водку забрали, и деньги, и говорят, ещё двадцать рублей должен, неси, мол… Вот я и пошёл… — страстно и зло говорил Олег.

— Так тебя за деньгами выпустили? А ты мне сначала сказал, что сбежал от них. Я ещё подумал: как это тебе удалось? Там и камеры на запорах, и дверь входная охраняется…

— Можно сказать, что сбежал. Я же возвращаться туда не собираюсь… — Олег нервно ходил по комнате.

— Успокойся, сюда же они за тобой не приедут…

— Сюда нет, но потом… Они же мой адрес записали… Я им сказал… Пришлось сказать…

Олег присел на диван, потом встал, подсел к Андрею за стол с пишущей машинкой.

— Я вот что думаю: надо им справку принести… — сказал он.

— Какую справку?

— Справку о том, что у меня мать в тяжёлом состоянии или… Или лучше, что умерла… Да, справку о том, что мать умерла. Тогда они отстанут…

Олег часто захлопал веками, глядя в лицо Андрею.

— А где такую справку взять? — спросил Андрей. — Это надо какого-то врача просить или в морге разговаривать… У меня таких знакомых нет…

— А если… — Олег кивнул на пишущую машинку. — Если взять и напечатать самим?..

— Справку?! — улыбнулся Андрей, поднимаясь из-за стола. — Так это липа будет. Никто её не примет всерьёз. У нас же нет ни гербовой бумаги, ни печати… Что толку от такой писульки?

Олег вроде согласился, закачал, было, головой, но тут же встрепенулся:

— А если попробовать?.. Ты напечатай, а я унесу им, скажу, что сегодня суббота, печать в понедельник поставим…

Андрей с интересом посмотрел на брата.

— Напечатать — не проблема, но у меня даже стандартных листов нет. Я, как видишь, на тетрадных печатаю… Вырываю из середины двойные листы, разворачиваю и вставляю в машинку, — пояснил он.

— Ну давай попробуем, — наступал Олег, — вдруг пролезет…

— Ну ладно, — сдался Андрей и, зарядив новый лист в машинку, чуть подумав, написал, что сия справка дана такому-то в том, что его мать скоропостижно скончалась в лечебно-оздоровительном профилактории «Ангара» такого-то числа.

Дату смерти Андрей указал числом вчерашним и справку якобы за подписью главврача (почему-то он дал ему фамилию — Лебедев) датировал тоже вчерашним числом.

— Вот тебе справка, — сказал Андрей, выкручивая листок из машинки. — Только подпись главврача сам рисуй. Не хватало мне ещё за подделку документов снова зону топтать.

— Ладно, — сказал повеселевший Олег, забирая листок. — Не зря ты, брат, у меня писатель. Как лихо сочинил: «Скоропостижно скончалась в лечебно-оздоровительном профилактории. Главврач Лебедев»… Прямо — стихи…

Подделывать подпись за мифического главврача Лебедева Олегу не пришлось. Едва братья закончили писать справку-«липу», в дверь позвонили. Пришёл Хиль.

— Привет, бродяги! — поздоровался он. — А я видел, как утром тётя Валя с Санькой уходили. Понял: Андрюха один сегодня скучать будет. Вот прихватил…

Гена достал из внутреннего кармана рабочей куртки-спецовки неполную бутылку, закупоренную неплотно и даже грубо самодельной пробкой из газеты.

— Самогонка,— пояснил Хиль.— Тут один мой подопечный делает. Правда, по червонцу в торговлю пускает. И то не всем…

— Неужели червонец отдал?— улыбнулся другу Андрей, принеся из кухни рюмки.

— Андрюха! Друг! Обижаешь!— засмеялся Гена.— Ты же в курсе, что меня тут каждая собака знает как лучшего в посёлке спеца по сантехнике. Заработал я бутылку. А вот если надо добавить, то уж тут и червонец— в долг не пройдёт…

Самогонка была крепкой. «Градусов под семьдесят»,— определил Хиль. Закусывали малосольными огурчиками, что оставила для Андрея в холодильнике мать. Поговорили о футболе (Хиль пропел дифирамбы киевскому «Динамо», удачно играющему в европейском Кубке чемпионов), о грибах (Гена высказал уверенность, что их нынче будет «хоть косой коси», и предложил Андрею, как в «добрые времена», сделать пару вылазок в лес) и о проблеме Олега (Андрей, не вдаваясь в подробности, намекнул приятелю про подпись на справке). Гена ещё раз подтвердил, что был парнем своим в доску, ибо, когда узнал, что справка нужна для того, чтобы одурачить работников вытрезвителя, не задумываясь согласился подписаться за главврача профилактория «Ангара».

— Чувствую себя настоящим главным врачом,— сказал он, ставя свою закорючку на листке в клеточку.

После второй Андрей настоял на том, чтобы Олег со справкой немедленно отправлялся в вытрезвитель.

— Отдай им, пока не пьяный,— сказал он, выпроваживая брата.— Отдашь и приедешь. Мы с Геной ещё одну сообразим.

Олег ушёл в надежде вернуться скоро, а Андрей с Хилем действительно сообразили ещё одну бутылку самогона.

Андрей проводил уже пьяного друга около трёх часов пополудни. Олега не было. «Неужели его снова в вытрезвитель посадили?»,— подумалось Андрею перед тем, как он прилёг на диван.

А дальше… Дальше события развивались стремительно. Нет, не для него, а вокруг…

Он смутно, через дрёму, слышал вечером голоса матери, Саньки, отчима. Включали телевизор, и над его головой говорили актёры и дикторы. Говорили о каких-то похоронах Валентина Андреевна с Анатолием Васильевичем, о том, что нужно завтра же Толику— Тониному мужу— искать начальника дистанции пути и просить у него машину.

Андрей проснулся, когда было уже темно и мать с Санькой спали. Он прошёл на кухню, попил воды, разделся и лёг в своей комнате.

Около восьми утра в комнату зашла мать и сообщила ему, ещё полусонному:

— Тётя Галя умерла.

Андрей подскочил.

— Как умерла?!

— А как умирают?— вздохнула Валентина Андреевна, глаза её были заплаканы.— Она же болела. Ей и операции делали, и вот в профилакторий отправили: думали, подлечится, поправится, а она там умерла…

«Мы написали с Олегом понарошку про её смерть, а она взяла и умерла по-настоящему!— вчерашний хмель слетел с Андрея.— Напророчили!»

Он решил не говорить матери ни о приходе Олега, ни тем более о справке.

Валентина Андреевна и не расспрашивала его ни о чём. Она оставила Саньку на его попечение, бросив, уходя:

— Не пей сегодня!

Как понял Андрей, мать собиралась снова к Тоне, чтобы готовиться к похоронам и отправить телеграммы родственникам.

— Как назло, сегодня воскресенье, придётся телеграммы с узла связи отправлять, с переговорного пункта.

Было видно: мать в сильном расстройстве и, скорее всего, не спала.

Ещё тогда, когда Андрей остался с Санькой и стал помогать сыну учить стихотворение для утренника в детском саду, мелькнула у него мысль о том, что весь сыр-бор о смерти тёти Гали разгорелся из-за Олега, из-за того, что он, выпив с ним и Хилем самогонки, пошёл не в вытрезвитель, а прямиком к Тоне и показал «липовую» справку. Но он сразу же отогнал эту мысль. Во-первых— Олег должен совсем сдвинуться «с катушек», чтобы так обмануть родных ему людей, а во-вторых— родные же люди неглупые, наверняка справке, написанной на тетрадном листочке, не поверят…

«Нет, это совпадение. Трагическое совпадение…»— рассуждал он.

Мать вернулась поздно вечером, сильно усталая. Даже чай не пила, пошла сразу прилечь. Андрей узнал от неё лишь, что завтра рано утром Толик, Тонин муж, поедет за покойницей в профилакторий, к вечеру её привезут, а во вторник состоятся похороны. Ночью Андрей слышал, как мать несколько раз поднималась, зажигала на кухне свет, и несло валерьянкой.

— Уже гроб сделали. Толик поедет с гробом за ней. На закрытой машине поедет, рабочих на которой возят, они её «путевозкой» называют,— сказал утром мать, провожая Андрея на работу.

— Знаю. Она «путеремонтная» называется. На будке у ней так написано.

— Да, вот на такой. Сегодня могилу выкопают. Говорят, экскаватором копать будут, чтобы быстрее.

Начальник ПЧ обещал Толику, что за день всё сделают.

— А Олег где? — спросил Андрей.

— А где ему быть? У Тони. Плачет да пьёт. Пьёт без конца. Тоня ему наливает. Жалко — без матери совсем пропадёт. Надо хоть Игорю сказать, чтобы с собой забрал, к себе. Наверное, на похороны-то матери приедет…

Игорь — родной брат Олега, старший сын тёти Гали — приехал на следующее утро, чему Андрей был очень рад. Братья почти все детские и подростковые годы провели вместе. Детство Олега и Игоря прошло в посёлке, имеющем интересное название: Шекспировка. Интересное, по крайней мере, по двум причинам. Первая: у проезжающих мимо просвещённых людей название это целиком и полностью ассоциировалось с именем всемирно известного английского поэта-драматурга, и, естественно, многие были удивлены — нечасто в отдалённых сибирских просторах дают название населённым пунктам по именам классиков мировой литературы, всё чаще Берёзовки, Осиновки, Сосновки, Еловки встречаются. А вторая, известная небольшому кругу людей, интересующихся краеведением: «Шекспировка» — не что иное, как искажённое (они так и говорили: «искажённое») название существовавшего здесь до революции села Шекса, стоявшего на протекающей здесь же одноимённой речушке. Краеведы знали, что Шекса образовалась лет на двести раньше города, являющегося сейчас райцентром, и вполне сама могла стать районным центром. Но не стала. Судьба выбрала главным в районе другой населённый пункт, а с Шексой пошутила. В первые годы советской власти одним из руководителей то ли района, то ли сельсовета оказался просвещённый в области литературы человек, он и вписал в нужное время слегка подправленное название населённого пункта, которое появилось вскоре на географических картах и в краеведческих справочниках. По аналогии с новым названием стали Шекспировкой называть и речушку.

Вот там, в Шекспировке, в возрасте десяти-пятнадцати лет, Андрей каждый раз проводил половину своих летних каникул. Братья ходили по грибы и ягоды, ловили в мелководной Шекспировке рыбу, иногда накалывая её, проплывающую у самых ног, на вилку, привязанную к шесту; играли в футбол на сооружённом ими же недалеко от дома футбольном поле, а вечерами смотрели футбол и фильмы по телевизору. Иногда к ним подсаживалась и тётя Галя. Тётка много лет работала монтёром пути на шекспировском околотке дистанции. Небольшого роста тоненькая женщина в составе бригады мужчин и женщин поддерживала состояние Транссиба на отведённом участке. Летом, бывало, орудовала кувалдой, вбивая костыли для скрепления шпал и рельсов, а зимой очищала с железнодорожного полотна снег и следила, чтобы даже в лютые морозы работали на станции автоматические и ручные переводные стрелки. Тётка любила выпить и любила кино. Особенно фильмы с участием Савелия Крамарова, которого она почему-то называла Лапшин. Почему и отчего, Андрей так и не узнал. Несколько раз он поправлял тётку, она кивала, давая понять, что запомнит, но когда они снова оказывались вместе у телевизора, а на экране появлялся Крамаров, она громко смеялась и кричала: «Опять Лапшин этот! Да на него без смеха смотреть нельзя, когда молчит даже, а заговорит, так…» Тётка всегда не договаривала, ибо её сражал приступ хохота. Андрей запомнил, как смеялась тётя Галя, в прямом смысле падая со стула, когда они смотрели фильм «Большая перемена». Он потом ни разу больше не видел, чтобы так просто, заразительно, от души и до слёз мог смеяться человек. Смех летал по комнате, заглушая телевизор. Глядя на смеющуюся мать, засмеялся сначала Игорь, потом поддержал брата Олег, последним поймал смешной вирус Андрей.

Во вторую половину лета, особенно когда в городе проходил детский футбольный турнир на приз «Кожаный мяч», братья перебирались к Андрею. После восьмого класса Игорь поступил в сельское ПТУ, но не в местное, а поехал ближе к областному центру. Наверное, по зову судьбы, ибо там познакомился со своей будущей женой Любашей и уехал к ней, в её родную деревню.

Андрей почти десять лет не видел Игоря и, естественно, обрадованный его явлению, заодно и обрадовал брата. Но перед тем как тихий и печальный Игорь приехал на похороны матери и был тут неожиданно обрадован, произошли следующие события.

Ни в какой вытрезвитель Олег не пошёл. Скорее всего, никто туда его не помещал, и никакая справка ему не была нужна. Осознав, что за проданную бензопилу ему крепко достанется, братан, с глубокого перепою, впал в агонию и, гонимый бесами, поехал из Шекспировки в город, сочинив по ходу для Андрея страшную сказку про вытрезвитель. А потом больная фантазия повела его со справкой прямиком к Тоне, где он заявил собравшимся на банный день родным о смерти матери. Естественно, известие было неожиданным, и вполне понятно, что никто никакую справку у Олега не спросил. Все поверили на слово. Олегу налили, проводили в баню, а Толик дозвонился до начальника дистанции пути. Начальник сразу же через дежурного по дистанции разыскал водителя «путевозки» и дал ему задание: завтра же с утра ехать за покойной. Конечно же, и начальник дистанции пути (ПЧ — путейской части, как чаще говорят на железнодорожном транспорте) поверил на слово и справку тоже не спросил.

Справку не глядя взял Толик, отправляясь с водителем «путевозки» к «Ангаре» в четыре утра в понедельник. Ранним утречком Московский тракт на много километров свободен, и машина с двумя людьми и пустым гробом через пять с лишним часов — в начале десятого часа — подъехала к нужному профилакторию. Толик быстро сориентировался: отыскал административный корпус, нашёл приёмную и, без доклада и стука представ перед главным врачом лечебного учреждения, довёл того до предынфарктного состояния словами:

— Я за покойницей.

Главврач, сидевший за своим рабочим столом и разговаривавший в это время по телефону, опешил, медленно опуская трубку, прижал её к груди и побелел.

— За какой покойницей? — прошептал он, едва ворочая губами.

Толик, имевший большой опыт общения с руководителями разных учреждений, не имел привычки объяснять долго, он достал из кармана рубашки бумажку и протянул её главврачу:

— Вот.

Главврач отложил трубку телефона, приподнялся, взял справку, поправил очки, прочёл.

— Вы, наверное, не в тот профилакторий приехали, — сказал он, протягивая справку обратно Толику. — Моя фамилия не Лебедев, я Соколовский.

— Но профилакторий у вас же «Ангара»? — несмело спросил Толик, принимая справку назад. — У вас же эта женщина лечилась? — Толик помахал справкой.

— Да, мы «Ангара», и другого профилактория с таким же названием тут нет… — сказал неторопливо, словно размышляя вслух, главврач Соколовский, подойдя к Толику. — Можно мне ещё раз на справочку вашу взглянуть? Мы таких справок не выдаём, да ещё на таких листочках…

Как потом рассказывал Толик много раз и многим людям в разных компаниях, он после слов главврача всё сразу понял. А поняв, и оцепенел, и похолодел, и лишился дара речи.

Вскоре выяснили: пациентка профилактория, объявленная покойной, поступила в учреждение неделю назад, с жалобами не обращалась, на все процедуры ходит регулярно, режим не нарушает.

— Вам пригласить её? — спросил повеселевший главный врач.

— Нет, нет, — стал отказываться Толик. — Пусть она лучше ничего не знает…

Но было уже поздно. Посланная глянуть на пациентку профилактория медсестра, видимо, не поняла, что от неё требовалась, и сказала Галине Андреевне, чтобы та зашла в приёмную. И Толик, распрощавшийся уже было с главврачом, столкнулся с родственницей на пороге.

— Да я тут проездом, вот решил заскочить по пути… — сказал он застенчиво удивлённой Галине Андреевне.

Водитель изумился не меньше Толика, узнав, что прокатился шестьсот вёрст с гробом напрасно и что с этим же грузом ему предстоит обратный путь. Назад, по загруженному тракту, они ехали более семи часов. Дважды останавливались. Один раз — чтобы пообедать. После того как подкрепились в дорожном кафе, настроение обоих улучшилось. Доселе молчавшие, они разговорились, заулыбались и, осознав, в конце концов, что всё в принципе закончилось хорошо, рассмеялись.

Но не до смеха было начальнику дистанции пути. С утра он отправил экскаватор на кладбище, вызвал председателя профкома, предложив тому выделить деньги на похороны и заказать два венка с надписями: от администрации и профсоюзного комитета. Что и было сделано. Венки с надписями заказали, привезли и положили на хранение — до похорон — в Красный уголок предприятия. Но к исходу того же дня они были оттуда изъяты, уложены в пустой гроб, вывезены за город и вместе с гробом сожжены.

Гроб с венками сожгли по приказу разгневанного начальника ПЧ. Узнав, что он стал жертвой розыгрыша, железнодорожный начальник вскипел, пустил пар, и полетели во всех окружающих его бранные слова. Окружающих его было немного: председатель профкома, Толик, водитель «путевозки».

— Что теперь с гробом этим делать? — кричал он. — С венками? Столько денег затратили, люди в выходной, в воскресенье работали: гроб колотили, могилу рыли.

— Может, продать кому?.. — несмело высказал рацпредложение водитель.

— Гроб продать? Кому? — изумился начальник. — Вот ты и купи. Забирай сейчас, а мы из зарплаты у тебя удержим. А ты, — обратился он к Толику, — готовься. С тебя за бензин, что потратили на поездку, удержим. Это ты всех взбаламутил.

— Ну чё я? Это сын её всем сказал и справку принёс… — пролепетал Толик.

— Я ещё со справкой этой липовой разберусь. Завтра в милицию позвоню — пусть разберутся. Так это дело оставлять нельзя…

— Насчёт гроба — продать не получится, видимо, — вступил в разговор председатель профкома. — Не по-нашему это. Делали под одного человека, а хоронить другого… Да и размер определённый. Гробы в таких случаях сжигают. А вот могилу продать можно. Договориться со смотрителем кладбища, он её переадресует, денюжки вернём.

— Возьми это на себя, — сказал ему начальник. — Хоть это, может, выгорит. А с венками что?

— Ленточки можно снять, а венки в магазин ритуальных услуг снова сдать… — предложил председатель.

— А ну вас, с барыжничеством вашим! Везите всё за город, за склады наши, и спалите к чёртовой матери! — приказал он Толику с водителем.

Начальник лично покидал венки в гроб и захлопнул заднюю дверцу «путевозки».

А в доме Толика и Тони уже собрались родные и близкие ложно усопшей Галины Андреевны. Жившие в городе и приехавшие из близлежащих деревень и даже областного центра. Они купили свои венки и сделали свои надписи на ленточках. Было закуплено два ящика водки — на поминки. В неторопливой суете, встречах и негромких разговорах никто не заметил, как выпал из их общества Олег. Его хватились, когда вернулся Толик.

Толик, вопреки ожиданиям, приехал не на «путевозке» и с покойницей во гробе, а пришёл один. В грязной рубашке, взъерошенный, пропахший бензином и дымом.

— Эх, хорошо горел гробик, а веночки на огоньке так и потрескивали, — сказал он не понимающим, что происходит, родственникам, устало присев на скамейке возле дома.

Когда всё выяснилось, пришедшие в негодование стали искать Олега, чтобы сказать ему всё, что они о нём уже давно думают, а тут повод сказать нашёлся, более сдержанные изумились, как их провели, и, не теряя изумления, предложили сесть за стол и выпить за здоровье Галины Андреевны.

— Давайте тогда за встречу, коль за упокой не получилось, — сказал самый жизнерадостный из них. — Давно вместе не собирались.

Поздно вечером в тот же понедельник от матери узнал об этом и Андрей, а утром во вторник он со смехом, додумывая по ходу детали, рассказал всё вызванному на похороны матери брату Игорю. Вырвавшийся в страдную пору из деревни Игорь повеселел, заходить к родственникам не стал, а поторопился обратно. Андрей проводил его до вокзала.

— Надо мать к себе забирать, — сказал Игорь. — Пусть с внуками нянчится. Дом у меня большой — места хватит. Да и Олежку принять смогу. Найду ему работу. Что им тут?

Как оказалось после, Олега уговаривать на переезд было не нужно. Когда Игорь к концу следующего дня добрался до дома, брат его уже был там. А где ему, бедному, было скрыться от негодующих? Не прошло и недели, как к братьям приехал и Андрей, а к осени и тётя Галя.

Но это произошло чуть позже. А тот вторник, начавшийся для Андрея радостной встречей с братом, закончился неприятным разговором с участковым. Участковый пришёл около семи вечера. Матери дома не было.

— Мне нужен образец шрифта твоей машинки, — сказал старший лейтенант милиции, проходя в комнату Андрея. — Давай напечатай несколько строчек. Я на экспертизу унесу. Есть подозрение, что справку ту печатали у тебя.

Андрей безропотно настучал под диктовку участкового несколько для него непонятных предложений, что-то вроде сводки происшествий.

— А здорово вы тут с братишкой всех на уши поставили! — улыбнулся старший лейтенант. — Теперь моли Бога, чтобы дело не завели. Есть обращение начальника пч в милицию. Заявления пока нет, не дрейфь, может, и не будет. Но проверить шрифт твоей машинки мне поручили. Ты же, если дело зайдёт далеко, уж сам не глупи, расскажи всё, как было. Мой тебе совет.

Визит участкового растревожил Андрея. Уголовное дело! Это же процентов на пятьдесят новый срок! Даже на девяносто! Был судим, состоит под надзором, не исправился. Всё не в его пользу. За ночь Андрей вставал дважды, зажигал настольную лампу, листал записную книжку, пересчитывал имеющиеся у него рубли и копейки. Он так и не уснул. Утром он поцеловал сына и перед уходом матери на работу бросил ей:

— Я тут денька на три отъеду, ты не теряй.

— Куда это? В колхоз, что ли, отправляют?

— Не в колхоз, но по работе, — соврал Андрей.

— Ой, Андрей, смотри не дури! — сказала мать, словно предчувствую недоброе.

А Андрей, уже замыслив своё, не думал, доброе или недоброе делает он. Ему не хотелось больше в неволю. Вновь встали, выявились, выплыли из памяти и представали перед ним сцены из недавней его жизни: подъём, построение на просчёт, дорога в «автозаке» до «промки», крики охранников, часовые на вышках…

«Нет! Живу один раз на белом свете, и хватит с меня погружений в ад!» Он решил собраться и уехать, а там будь что будет. Пусть ищет участковый, пусть паникуют в милиции, пусть переживает мать. Мать, конечно же, будет переживать, но если его снова отправят в тюрьму, она не переживёт. И он уехал. Уехал снова в другую для себя жизнь.

Новая, другая жизнь, а скорее новый виток в общей его нескладной жизни ожидался совершенно непредсказуемым. Дважды его увозили в неизведанное помимо его желания (в армию, в тюрьму), теперь он ехал сам. Раньше он был подневольным, сейчас воли было — хоть отбавляй. В подневольной жизни ему гарантированно предоставлялись не Бог весть какая пища и какой кров, теперь он должен был их искать сам. Где? Ответа на этот вопрос Андрей, отправляясь в путь, не знал. Да, он дал дёру от обстоятельств, от милиции, от маячащей перспективы оказаться за решёткой, понимая, что усложняет себе жизнь. Но не сидеть же и ждать, когда за ним придут! На языке ментов и зеков его поступок назывался: отправиться в бега. Он отправился в бега. И первое, что решил сделать, — податься в областной центр, побродить там по скверам и широким улицам, кои пленили его ещё в юности, прокатиться на трамвайчике,

посмотреть на большую сибирскую реку и, если получится и хватит средств, побывать на знаменитом сибирском озере.

И на следующее утро Андрей действительно прошёлся по центральным улицам большого города, посидел в скверике недалеко от драматического театра, постоял на крыльце корпуса факультета журналистики университета и даже сходил в планетарий. На автовокзале, разглядывая расписание, узнал, что дважды в день автобусы уходят до района, где живёт брат Игорь, что идут они в сторону озера едва ли не каждый час и по пути заходят в пригород, вернее, город-спутник, где живёт Никифор. Андрей заглянул в блокнот, отыскал адресок приятеля поневоле и решил…

Аккуратненький городок машиностроителей встретил Андрея приветливыми улыбками. Здоровый усатый мужик, к которому он обратился, подробно и доходчиво рассказал, как пройти на нужную улицу; старушка во дворе дома указала на нужный подъезд. Вначале удивлённый, а потом обрадованный Никифор обнял его прямо на пороге своей квартиры и, принимая из рук Андрея сумку, буквально затащил в прихожую.

— А я на целую неделю один остался,— пояснил хозяин, провожая гостя на кухню.— Сын с семьёю уехал на озеро. Вот хозяйничаю.

Насколько знал Андрей, Никифор жил вместе с сыном, невесткой и внучкой. С женой его было что-то не совсем понятное. Из рассказов приятеля, ещё в неволе, Андрей понял, что она сбежала от него и сына то ли с каким-то кандидатом наук, то ли вообще со студентом моложе её на семнадцать лет и живёт теперь где-то в деревне, километров за триста от областного центра. Вообще-то Никифор по паспорту был Николаем Никифоровым. Андрей, несмотря в разницу в возрасте в пятнадцать лет, при общении называл его Колей, хотя на первый план всегда выплывало более привычное—Никифор.

Коля-Никифор налил приятелю горячего борща.

— Сам варил. «Украинский» называется. Скажу без скромности: обалденный борщ. С приправами, со свининкой. Ну как?

— Вкусно!—кивнул проголодавшийся Андрей.

Он решил всё как есть рассказать—и рассказал.

— Всё понятно,—сказал хозяин, выслушав гостя.— В общем, так: давай недельку у меня перекантуйся, а по ходу решим, что делать.

Пять дней жил Андрей у Коли-Никифора. За это время они дважды были на озере, ходили на футбол, доставали и пили водку, ездили за спиртом на электричке в другой город. В другой город поехали по необходимости. С водкой, как и везде по стране, в областном центре было напряжённо. Не сказать, чтобы её не было. Была. Ею торговали сплошь и рядом таксисты и цыгане. Причём таксисты брали больше—по двадцать рублей за бутылку, поясняя, что у них водка самая настоящая, а «не то что у этих черномазых—„палёнка“». Цыгане же отбивали конкурентов не только ценой (пятнадцать рублей бутылка), но и блокированием стоянок такси. Цыганки создавали двойные и тройные заслоны к стоянкам и всем проходившим мимо них предлагали водку. Андрей с Никифором брали по бутылке у тех и у других, но сделали вывод: ничем хорошим таксистская водка от цыганской не отличается. А вот две бутылки, что взяли они с доплатой в официальном специализированном магазине, оказались гораздо лучше по качеству. Официальных винно-водочных специализированных магазинов, а вернее, точек-ларьков в городе было по две в каждом районе. Вот там-то и была напряжёнка. Работали точки каждый день с одиннадцати утра и до семи вечера, с часовым перерывом на обед, но подступиться к ним простому человеку было сложно. С восьми утра там занимали очереди. Причём, если ты пришёл к точке даже в шесть утра с готовностью подождать пять часов до открытия, гарантии, что будешь первым, никто не давал. Часам к десяти—к половине одиннадцатого могли появиться крутые крепкие парни и, оттеснив всех от окошечка, заявить, что они стояли тут со вчерашнего дня. Им никто не возражал. Крутые тут же создавали свою новую очередь, якобы из таких же вчерашних очередников, и те, отоварившись, со словами благодарности вручали, отходя от окошечка, по бутылке-другой своим «благодетелям». Как правило, через час-полтора крутые затаривались «булькающей продукцией» основательно и покидали торговую точку, давая возможность купить водки обычным очередникам. Но и тут не так всё было просто. Под присмотром крутых парней торговля шла спокойно и размеренно, но едва их импортная машина отъезжала от винной точки, у окошечка возникала давка и неразбериха, и, бывало, некоторых очередников оттесняли от заветного окна. Сама же очередь к тому времени растягивалась уже метров на пятьдесят. Вот тогда выходили из тени и являлись перед жаждущими сорокоградусной трое-четверо парней, прозванных «акробатами». Один из них назывался «прыгунком». Был он обычно одет в плотный облегающий комбинезон без карманов и с минимумом пуговиц либо представал перед публикой в одних лишь плавках. Волосы этого человека были спрятаны под шапочкой для плавания. «Акробаты» возникали в конце очереди, интересовались: кто хочет купить водки побыстрее, а после того как желающие находились и переговоры об условиях быстрого приобретения завершались положительно, «прыгунок» вкладывал собранные рубли в толстую зимнюю рукавицу, в другую заталкивал сеточку-авоську и, надев

рукавицы, говорил: «Готово!» Двое других тоже с готовностью брали «прыгунка» за руки и за ноги, раскачивали и бросали через головы очередников. Обычно, подлетая к стене, «прыгунок-акробат» успевал вытянуть вперёд ладони и смягчал удар рукавицами, но бывало, не успевал и влеплялся в стену плечом и даже спиной. Но, так или иначе, цели он своей достигал: опускался сверху на очередь, аккурат перед самым окошечком. Очередь кричала, визжала, хватала «акробата», но он упорно падал к цели: оттеснял других от окна, доставал деньги и авоську и через несколько минут выходил с десятью-двенадцатью бутылками. Занятие такое было небезопасным для здоровья, поэтому «прыгунков» в городе было немного. По словам Никифора, всего два или три. Каждый «прыгунок» совершал ежедневно по три-четыре полёта у каждой точки, и группа «акробатов» имела навар не меньший, чем крутые. Правда, в отличие от парней в иномарке, «акробаты» не всегда честно исполняли обязательства: бывало, нет-нет да не досчитается кто-то из отдавших им деньги бутылки-другой при раздаче.

Опытный Никифор предпочитал иметь дело с крутыми, но только когда это было уж очень необходимо. Чаще он пользовался другой услугой, а потому и позвал с собой в путешествие в другой город Андрея. В другом городе дымил огромными трубами большой химический комбинат. На комбинате работал электриком знакомый Коли-Никифора по имени Валера, время от времени снабжавший Никифора и таких, как он, спиртом, произведённым в цехах химпредприятия. Спирт, как уверял Никифор, хотя и не предназначался для пития, но имел многие для того компоненты.
— Главное — качество хорошее, добавок мало, при нормальной разбавке получается не хуже водки и по деньгам выгоднее, — пояснял Коля, собираясь в путь и укладывая в портфель-дипломат три пустых литровых бутылки и стопку газет.

Зачем он это делал, Андрей узнал чуть позже. С вокзала они направились не к проходной комбината, а домой к Валере-электрику, и по пути Никифор купил в магазине булку хлеба. Валера встретил и пригласил гостей на кухню, без разговора поставил перед ними трёхлитровую банку со спиртом. Коля-Никифор банку брать не стал. Он открыл дипломат, достал оттуда бутылки, попросил у Валеры воронку и перелил спирт. Потом он уложил бутылки в портфель, пристроив рядом булку хлеба, и прикрыл газетами. Валера-электрик одобряюще кивнул и улыбнулся.
— В этом городишке всё повязано и все повязаны, — объяснял на обратном пути к вокзалу Коля Андрею. — Комбинатовское начальство в курсе, что спирт тоннами уходит, охрана не препятствует. Все с этого что-то имеют. Имеют и кто выносит, и кто продаёт — типа Валеры. Имеют и менты. Они тоже в курсе, и у них свой метод заработка: отлавливают спиртовозов на вокзале и автостанции. Народ-то у нас, видишь, сейчас какой: только урвал выпивон — сразу выпить надо. Пьют прямо у вокзала, пока электричку ждут. Сюда много бедолаг за спиртиком из области мотается. Пол-электрички. Пьют и в самой электричке — дождаться не могут. А менты караулят. Заметят, что пьют или поддатых уже, — на досмотр: открой котомку. А в котомке баночка со спиртом. Откуда? Понятно, что никто за хищение привлекаться не хочет и протоколов заводить, отдают спиртик. А я вот с дипломатом катаюсь. Трезвый. К таким даже и не подходят.

И точно: людей с рюкзаками, сумками и пакетами в ожидании электрички на перроне было немало. Может быть, и даже скорее всего, ехали эти люди с ними и из областного центра. Андрей на это за разговорами с Никифором не обратил внимания. Зато теперь отметил: милиции на вокзале, на перроне и в электричке действительно больше, чем обычно. На всём пути следования электропоезда ходили милиционеры по вагонам, проводили беседы с пристрастием с некоторыми из пассажиров, заставляли открывать рюкзаки и сумки, то и дело выводили подозрительных в тамбур. Было видно: после бесед в тамбуре пассажиры возвращались с облегчёнными сумками и рюкзаками.

Они доехали без приключений. Радушный Никифор с вокзала повёз Андрея на рынок. Там, в одной из подсобок, он открыл дипломат и отдал бородатому мужику бутылку спирта. Оказалось, что не просто так и даже не за деньги. В обмен бородач принёс рыбы, колбасы и фруктов. Рыба называлась омулем, колбаса «Домашней», а фрукты — яблоками и апельсинами.
— Ну что, дружбан? — похлопал Андрея по плечу довольный Коля-Никифор. — Выпивон и закусон у нас есть. Хата, где нам никто не помешает, — тоже. Оторвёмся за все годы, проведённые в неволе?
— Оторвёмся! — согласился улыбающийся Андрей.

Он снова видел перед собой весёлого, хитроватого Никифора с Ханяков.

Они отрывались двое суток без показа на улице. Выходили подышать на балкон, включали телевизор и магнитофон и под действие фильма или хорошую музыку — «по кайфу душе», как говорил Никифор, — пили рюмашку за рюмашкой. Говорили они тогда о многом. Вначале вспомнили о Ханяках, о том, как Андрей придумывал стишата для Коли, чтобы тот мог обменять их на чай. Никифор даже несколько стихотворений помнил наизусть, особенно то, из которого зоновский музыкант сделал песню.
— Помнишь, Андрюха? Помнишь? Классную же вещь ты сочинил. Я всё время поражаюсь и пою иногда:

За два года в переулках
Я собрал мешок зубов.
На вечерних тех прогулках
Был подвыпивши здоров.
Кой-кого я брал нахрапом,
Кой-кого за глотку брал,
Но однажды, когда драпал,
Паспорти-и-и-ишко потерял!

— И-эх! — Никифор хлопал в ладоши, хлопал Андрея по плечу. — Подхватывай!

И они продолжали уже вместе:

И тогда средь сувениров —
Ногти, зубы, волоса —
Появились на квартире
Той следачки у-ух глаза!
Как она меня пытала:
Что? Откуда? Где? Когда?
А про жизнь как напевала…
Я наре-е-е-езал…
Без следа!

— Ты, знаешь, когда пою тут: «Нарезал без следа», — на меня полкана спускают, — прерывая песню, пояснял Никифор, — думают, что зарезал бедную следачку, не понимая, что на зоновском языке «нарезать» — всего лишь сбежать от ментов. Темнота!
— Темнота! — соглашался Андрей, и они дуэтом, автор и исполнитель, обнявшись, заканчивали песню:

Снова сделался бакланом,
Баклажаном, брандуком
И начал с подъёма рано
Путь держать на гастроном.
Гастролировал недолго —
Нашу группу взяли враз.
Вот лежим на верхних полках,
И везу-у-у-ут в Ханяки нас!

— Давай за то, чтобы больше никогда нас ни в какие Ханяки, ни дальше никто не увозил! — предлагал Никифор.

И они пили за вечную свободу и волю.
— Но всё-таки и мне, и «положнякам» нашим больше нравилась вторая твоя песня. На которую никто музыки не писал, но ползоны пело на разные варианты. Помнишь? — продолжал углубляться в воспоминания Никифор.
— Откровенно говоря, нет, — отвечал Андрей. — Ты просил — я сочинял. А сочинил — забыл. Ты мне запарушку поставил, и все дела. А где ты их там пел, кому сбагривал за свои сочинения, мне дел нет. Я тебе ещё, помнишь, кучу всяких поздравлений в стихах стряпал. Всяким разным мудакам, извини за выражение, и ещё бабам каким-то сочиняли.
— Я-то помню, — кивал Никифор. — Ещё бы. Я же некоторые наизусть учил, чтобы выдать за свои. Но эта пользовалась популярностью:

Магазин был «Смешанный»,
Продавец помешанный.
Я порядком вдаренный,
Со мной кент кумаренный.
Я торговцу первым врезал,
Кент взял что-то там от вил…
«Вай-вай-вай, он мой зарэ-э-э-эзал!» —
По-кавказки «грач» вопил.
Уработали мы лихо —
Прищемили дверью нос.
И под эту вот шумиху
Кент всю выручку унёс.
Прихватил и я пол-литра,
Шубу, шапку, эликсир.
(Дядя Боря — сосед хитрый —
От зубо-о-о-ов чтой-то просил).

— Как дальше там, Андрюха, подскажи! — снова вошёл в раж Никифор.
— Да там что-то: всё проели, всё пропили, магазин пошёл не впрок. Ну а дальше: где-то там нас прихватили, и на Ханяках мотаем срок. Не помню я этот ханякский цикл. Что мне всякую муру запоминать? — махнул Андрей. — Давай тему поменяем. Я сейчас в бегах, а ты мне про зону опять.
— Ну извини, братан, — снова обнял приятеля Никифор. — Вспомнилось что-то. Как-никак, это тоже часть нашей жизни. Никуда не деться. А я со смехом свои два года невольных вспоминаю. Назад же их всё равно не вернёшь.

Тему они сменили. Никифор с подробностями и юмором рассказал Андрею про то, как он со своими болями в спине доставал врачей — хирурга, терапевта и невропатолога, как убеждал лечебную комиссию в необходимости дать ему инвалидность и победил.
— Получил я, Андрюха, инвалидность, и пошли они все.

Они потом ещё говорили о чём-то, но крепенький спирт давал о себе знать, и темы дальнейших бесед стёрлись из памяти Андрея.

К исходу вторых суток пьянства у них оставалась ещё больше половины во второй бутылке. Андрей проснулся около пяти часов утра, долго ворочался, думал. Пить спирт ему больше не хотелось. Хотелось воды. И он пил воду, несколько раз вставая и прогуливаясь на кухню. Вставал и Коля-Никифор и тоже пил воду. Утром Андрей отказался от опохмелки и сообщил другу, что решил ехать к брату Игорю в деревню.

Никифор проводил его на автостанцию, загасив на корню его возражения, купил билет на свои деньги и заставил поесть на дорожку в кафе. В кафе они взяли по стаканчику чаю и по порции блюда, называемого позами. Нигде в других городах Андрей не слышал больше упоминаний о позах. Везде мясо в тесте, приготовленное на пару, называлось либо мантами, либо хинкали, либо ещё

как-то, но только здесь—позами. Правда, позы отличались от мантов и хинкали тем, что тесто у них было более плотным, лучше хранило мясной сок, и, съев мясо, можно было сок из тестовой оболочки просто выпить.

Перед посадкой в автобус друзья обнялись.

— Пиши,—сказал Никифор.—Назад поедешь—заезжай.

— Добро,—кивнул Андрей.

Когда автобус поехал, Никифор не заторопился и не ушёл. Андрей видел в окно, что Коля стоял и смотрел на отъезжающий автобус с поднятой рукой. Андрей дважды помахал другу.

Автобус вышел из областного центра в 9.20 утра и, согласно расписанию, должен был прибыть в райцентр к семи часам вечера. Большое расстояние не пугало Андрея. Он думал лишь о том, сможет ли добраться за день до нужной ему деревни и ходят ли туда вечером из райцентра автобусы. Эта проблема разрешилась неожиданно; он разговорился с сидевшей рядом девчушкой-студенткой, и она дала ему совет: не ехать до райцентра, а сойти на так называемом Балаковском повороте.

— Там в двух километрах от трассы есть деревня Балаковка, а от неё есть прямой путь на вашу деревню. Там недалеко, многие ходят. С горы уже видно. Через поле километров пять, не больше. Сойдёмте вместе, я еду в Балаковку и куда идти дальше, вам покажу.

Дорога от Балаковки действительно шла через пшеничное поле. В небе щебетали птицы, ветерок тихонько покачивал неспелыми, ещё набиравшими силу и рост колосьями, играл в волосах Андрея, забирался под ворот рубашки. Ему вспомнилось детство, родной город, походы с улицы Спортивной через пшеничные поля к Грибановой горе. Вот так же пели в небе птички и обдувало лицо ветерком. Вспомнились выходы по ягоды с братьями под Шекспировкой.

Ещё издали, с пригорка перед ним открылся прекрасный вид: дома в несколько рядов полукругом-подковкой возле залива и небольшой сосновый бор в середине селения. Андрей знал от брата, что залив этот—часть большого водохранилища, появившегося здесь после строительства электростанции. «Раньше дома в деревне вообще по кругу в четыре ряда стояли, между ними улицы тоже круговые были: хоть в одну сторону иди, хоть в другую—всё равно к своему дому придёшь. А посередине, на возвышенности, был сосновый бор. Когда ГЭС построили, почти половина домов под воду ушла и речушка, что протекала здесь, тоже под водой оказалась. Бор остался, потому что выше, чем дома, стоял»,—помнил Андрей рассказ брата. Но одно дело слышать, а другое—видеть.

На окраине деревни несколько пацанов гоняли на велосипедах по футбольному полю. Андрей спросил одного про дом брата.

— Идите за мной, покажу,—сказал парнишка и поехал в деревню.

За ним помчались наперегонки остальные. Когда Андрей подходил к остановившимся велосипедистам, из ворот двухквартирного дома вышла навстречу молодая женщина.

«Люба»,—догадался немного растерянный Андрей. Жену Игоря он не знал и не видел даже на фотографиях.

— Вы Андрей?—спросила Люба.

Андрей кивнул.

— А Игорь с Олегом на работе,—сказала невестка.—Придут поздно. Они дома в соседнем селе строят.

— И Олег здесь?—удивился Андрей.

— Тут,—махнула Люба, открывая ему ворота.

Пацаны на велосипедах, с замиранием смотревшие на сцену встречи, ожили, едва Люба закрыла ворота, и помчались, снова обгоняя друг друга, по улице.

Люба усадила его за стол на широкой веранде, предложила окрошки. Наливала окрошку и нарезала хлеб она не торопясь. Люба была беременна. И, как мог сделать вывод Андрей, на восьмом или даже девятом месяце. У Игоря с Любой уже было пятеро детей. Старшая, Алёнка, перешла в третий класс, младшей, Насте, едва исполнился год. Ещё были второклассник Лёша, дошкольники Аня и Галя. Все ребятишки, кроме старшей и младшей, собрались на веранде и с интересом смотрели на незнакомого пока им дядю, как черпает он ложкой из большущей чашки окрошку. А Андрей, глядя на них, думал о том, что здесь он долго не задержится—не до него им тут. С мыслями, куда дальше, он после обеда присел на диван, откинулся на спинку и задремал. Долго, правда, ему поспать не пришлось. В гости к дочери как бы мимоходом заглянула Любина мать, тёща Игоря, за ней подтянулся и тесть. Родители Любы посчитали своим долгом поздороваться с братом зятя и задать ему несколько вопросов. Братья же пришли ближе к полуночи, уставшие и голодные. Игоря приезд Андрея обрадовал, было видно, что и Олег доволен.

— Баня готова,—доложила Люба, выждав, когда братья пожмут друг другу руки и перекинутся несколькими словами.

В баню пошли втроём.

— Надолго к нам?—спросил Игорь.

— Да денёчка три побуду,—неуверенно сказал Андрей.—Отдохну от суеты. Если не прогоните.

— Да мне-то что? Хоть всё лето живи,—поддавая пару, сказал Игорь.—Молока у нас полно—целых три дойных коровы, рыбы в заливе—навалом тоже, хлеб есть—свой печём, скоро овощи пойдут…

— А хорошо тут как! — вступил в беседу Олег, устраиваясь рядом с Андреем на полке. — Залив, тайга прямо за огородом. Для писателя само то! Насочиняешь кучу всего.
— Ну ладно. Тогда с недельку поживу, — согласился Андрей.

Однако обстоятельства повернулись так, что задержался он у братьев не на недельку и даже не на месяц.

Ночью Любе стало плохо. Головные боли, тошнота. Игорь сбегал к тестю с тёщей, выгнал их старенький «Москвич» и увёз жену в районный центр, в больницу. Вернулся он уже утром, расстроенный, и сообщил, что у Любы обнаружили желтуху, и вдобавок к этому у неё получились преждевременные роды, закончившиеся неудачно.
— Два выкидыша получились!

На Игоре не было лица.
— Придётся тебе, братуха, тут немного нянькой побыть, дома похозяйничать, — сказал Игорь Андрею. — Мне никак нельзя работу оставлять, да и скоро нас со стройки на полевые работы переведут. Тесть с тёщей уже в поле работают. На ребятишек пока надежды мало. Им и сварить надо, и за ними посмотреть.

И Андрей на три с половиной недели стал и нянькой, и кухаркой в доме брата. За это время он ходил со старшими ребятишками по грибы и по ягоды, помогал тёще брата перевозить мешки с дроблёным зерном с колхозной мельницы домой, был на сенокосе и даже совершал прогулки на лодке по заливу. С интересом он читал местную районную газету, трижды в неделю приходившую в дом брата. Сердце его трепетало, когда он брал в руки районную прессу. Газетные информации, репортажи и интервью будоражили его душу, и в мыслях витал один только вопрос: почему он не с теми, кто делает газету? Когда началась массовая сенокосная пора и братьев отправили в поле скашивать многолетние и однолетние травы, Андрей не выдержал, расспросил Игоря, как идут на полях дела, и написал заметку в газету. Заметку подписал псевдонимом «Антон Костровский» и отправил письмом. Знать бы ему тогда, что псевдоним этот сыграет свою роль в дальнейшей его жизни. Заметка в газете появилась на следующей неделе, а в конце месяца по почте пришёл и гонорар: один рубль тридцать копеек. Гонорар получил на почте Игорь, убедив заведующую, что он адресован его брату. В деревне люди все свои: Игорь расписался в получении, а заведующая отдала деньги без претензий. Публикация вдохновила, Андрей написал за короткое время несколько рассказов из деревенской жизни, но в газету отправлять не торопился. Мысли о том, что рассказы его достойны более солидного издания, не давали ему покоя.

Люба приехала из больницы худая и слабая, и Андрею пришлось «тянуть хозяйство» ещё недели две. А там к нему уже привыкли, привык к деревне и он, но время шло. Незаметно подошёл сентябрь. Алёнка с Алёшкой пошли в школу, началась копка картошки. К её завершению приехала тётя Галя. Игорь ездил встречать мать на станцию: автобусом, потом паромом, потом снова автобусом. Тётка первые дни вела себя тихо. Выходила к столу, когда позовут, а так всё сидела на своей койке, думала о чём-то, лишь изредка выходя во двор и к заливу. Но так было, как выразился потом Олег, «до первой рюмки». К концу сентября уборочная была почти завершена и в магазин разрешили завезти водку. В один из дождливых дней, накануне Андреева дня рождения, Игорь решил устроить застолье. Вот там, под рюмочку, за поеданием молоденькой варёной картошечки, малосольных огурчиков, помидоров и других даров с огорода тётя Галя развязала язык. Она высказала всё, что думала по поводу своих похорон, обиду за то, что не смогла закончить весь курс лечения в профилактории, «чуть со стыда не сгорела», там над ней «стали смеяться и звать покойницей», что она была вынуждена поэтому уехать раньше на целую неделю, что дома ей тоже было несладко, то и дело приходилось отшучиваться и оправдываться.
— Что, падла, похоронил мать? — закончила вопросом Олегу свой монолог Галина Андреевна.

Олег, не выдержав, встал из-за стола и вышел во двор. За ним вышел и Андрей, ибо косвенно, а может быть, и прямо, слова тёти касались и его.

Заключительные слова тётка повторяла потом едва ли не каждый раз, когда была выпивши.

В последний день сентября Андрей решился ехать.
— Куда ты теперь? — спросил его Игорь.
— Да поеду к дяде Жене в Енисей-град, может, там рассказы в журнал устрою, — потупив глаза, отвечал Андрей.
— А то бы оставался здесь, в райцентре работу какую нашёл бы, — предложил Игорь.
— Может, и вернусь ещё. Но в Енисей-град съезжу, да заодно и одежду возьму дома. Я-то ведь в рубашке и пиджачке к тебе приехал, а тут уж и зима не за горами.

Игорь проводил его до райцентра, там помог найти попутку до парома. И Андрей поплыл на большом пароме через большую реку по новым для себя местам. На другом берегу располагался большой посёлок, до затопления числившийся городом. А оттуда Андрей на другом автобусе уехал к другому районному центру, где была станция и Транссибирская магистраль.

В родной город он приехал ранним утром. К матери решил не идти, пошёл к сестре Ольге. Сестра года три уже жила в большом одноэтажном доме на двенадцать квартир. Ольга с зятем Виктором

собирались на работу, племянник Лёша—в школу. Ольга, перед тем как отдать Андрею ключ от квартиры, сообщила, что раза два к матери приходили милиционеры и расспрашивали: куда Андрей мог поехать?

Андрей решил из дому не выходить, и если получится, что Ольга принесёт вечером его одежду, пойти сразу к поезду и перед отправлением купить билет до Енисей-града. Первые часы ожидания Андрей пил чай, просматривал местную газету, даже прилёг, но сон не шёл. То и дело за окном, за дверью что-то скрипело и шуршало, проходили мимо люди, и Андрей вздрагивал, прислушивался, выглядывал в окно. После полудня вернулся из школы племянник. Стало веселее. Лёша задавал дядьке много вопросов. Андрей старался как можно правдивее на них отвечать, а потом помогал племяннику делать уроки. К вечеру его всё же сморило, и он задремал на диване.

Ольга пришла после шести вечера, принесла куртку, шапку, носки, несколько рубашек.

— Мамке плохо стало, плачет,—сказала сестра.—Говорит, тяжело с Санькой. Он в школу пошёл, учиться не хочет, ничего не понимает, что там учительница говорит. Хотела пойти со мной, но в сердце закололо.

Андрей вздохнул.

— Я назад дня через три поеду, может, через неделю. Ты зайди ещё к матери, забери моё зимнее пальто,—попросил он сестру, собираясь в дорогу.

— Мамка сказала, что милиционеры говорили: ты зря убежал, ничего бы тебе не было, дело не открывали…—добавила Ольга перед тем, как он вышел.

— Да-а, не было. Знаю я их,—махнул Андрей, подбрасывая на плечо сумку.—Только за то, что не отмечался вовремя, привлекут.

На знакомом с детства вокзале Андрей перемен не заметил: те же в зале ожидания много лет назад поставленные скамейки, те же тугие большие двери, тот же самый железнодорожный ресторан… И даже та же самая, правда, чуть поседевшая, кассирша, двадцать лет назад продавшая им с Валентиной Андреевной билет в Ленинград, выдавала ему и теперь проездной документ до Енисей-града.

Ему повезло: билет взял сразу и почти без очереди. Номер прибывающего поезда и время его прибытия были теми же, что и в тот день, когда он встретил Алёну. Глянув ещё раз на расписание, Андрей хотел было пройти в зал ожидания, но увидел Куньку. Теперь уже в форме старшего прапорщика милиции, старый знакомый ходил от зала ожидания к кассам, вглядываясь в лица выходящих из ресторана. С наваром у него было, видимо, не очень: спиртное в ресторане не продавали, и выпивших Андрей не заметил. На всякий случай Андрей решил с Кунькой не встречаться и вышел на перрон. Время он подгадал точно и ждал недолго.

Поезд прибывал в Енисей-град в начале восьмого. Проводница начала будить пассажиров за час до конечной остановки, и когда вагоны шли по большому железнодорожному мосту, Андрей с интересом смотрел на тёмные воды ещё одной сибирской великой реки. К дому дяди на правом берегу Енисея он не торопился. Андрей был до того в Енисей-граде один раз, в год смерти Алёны, перед свадьбой сестры Елены. Гостил всего один день и на автобусах не ездил. Дядя Женя встретил племянника на вокзале и привёз домой на такси. И потом по городу они тоже передвигались на «тачке». Андрею запомнились здание краеведческого музея, автомобильный мост и кинотеатр под названием «Звёздный». Дядя Женя с тётей Женей жили недалеко от «Звёздного». Когда приезжал Андрей, тётка была в отъезде—уезжала на свою родину, на Урал. Провожая его, дядька подробно объяснял, как добраться до «Звёздного» от вокзала, но Андрей тогда слушал рассеянно. Запомнилось: нужно ехать с пересадкой. Насчёт пересадки он спросил на первой же автобусной остановке, и едва назвал «Звёздный», несколько сердобольных людей едва ли не наперебой всё подробно объяснили.

Повезло ему и ещё: на подходе к дому дядьки женщиной, подметающей во дворе, оказалась тётя Женя. Тётя Женя работала дворником в местном жко.

— А Женя на работе,—сказала она, узнав племянника.

Тётка ни о чём его не расспрашивала. Проводила на кухню, налила ещё тёплого супа, приготовила яичницу и чай.

— А дядька твой к юбилею готовится,—наливая чай и подсев к столу, сказала тётя Женя.—В декабре шестьдесят ему. Самогона нагнал. Я бы тебя угостила рюмочкой, но без него не буду, он не любит, когда без него.

Крепким самогонным напитком угостил его дядя Женя. Он пришёл на обед около полудня. Андрей до того успел уже ознакомиться с его большой библиотекой и даже вздремнуть на кровати «для гостей», куда его заботливо уложила тётка.

— Ну как там, у «хозяина»?—спросил с порога дядька, снимая куртку.

— Да, как и раньше. «Хозяин»—хозяйничает, народ—сидит,—ответил племянник.

— Надолго к нам?

— Я к брату Игорю на Ангару собирался и вот решил к вам на денёк заехать.

— Да хоть на два заезжай,—сказал дядька, пожав руку племяннику.—Я вижу, торопиться тебе особо некуда.

Больше дядя Женя вопросов ему не задавал, лишь справился о здоровье матери.

Самогон же был крепким. Андрей выпил две рюмки, закусывая пельменями.
— Сегодня отдыхай уже, а завтра поезжай, погуляй по городу, — уходя снова на работу, предложил план пребывания Андрея в Енисей-граде дядька. — Время для экскурсии, конечно, не совсем подходящее — октябрь как-никак на дворе, но не дома же тебе сидеть…

Дядя Женя работал лифтёром в многоэтажке возле цирка. «Лифчики в подъездах снимаю-одеваю», — шутил дядька, когда его спрашивали о работе.
— Надоело уже с пересадками до работы добираться, — пожаловался он вечером Андрею. — До Нового года ещё дотерплю — и на пенсию.

На другой день Андрей прогулялся по городу. Побывал в торговом центре, прошёлся по набережной, прокатился на левый берег до вокзала, где в газетном киоске купил местный литературный журнал. Там, на вокзале, вспомнил про Наташу — женщину, которой он написал письмо по объявлению в газете. Конечно, хорошо бы повидать её. Вроде бы она жила по улице не то Ленина, не то Карла Маркса, но номера дома он вспомнить не смог и решил, что Наташа из Енисей-града — не его судьба…

Ещё в первый день он понял, что нужно возвращаться к братьям и, несмотря ни на что, прожить зиму, а весной…

Иногда Андрей чувствовал: внутри него — какое-то раздвоение. Одна половина противоречит другой. «А что весной? Что изменится? — застревает вопрос в мозгах, напрягая при этом душу. — Что?» Но почти тут же следует успокаивающий ответ: «Главное — зиму пережить, а там видно будет… Там видно…»

Через день, когда он собрался уезжать, тётка сунула ему в руку пять рублей. Мол, бери — пригодятся. Андрей вздохнул и молча положил деньги в карман. В поезде он полистал литературный журнал, прочёл интересный, на его взгляд, рассказ о любви с неожиданным снегом, выпавшим в июне, несколько стихотворений и потерял покой.

«Почему мои рассказы не в журналах? Почему я начинаю день не с редакций и разговоров с писателями? Почему просто так бегут дни и уходят годы?..» — снова будоражили его душу вопросы, и он не смог успокоиться до утра. Одна дума преследовала другую.

Но кроме того, что всё-таки нужно ехать к Игорю и Олегу, да ещё к тёте Гале, невестке Любе и пятерым племянникам, он не надумал ничего и, как и трое суток назад, ранним утром прямо с поезда пошёл к сестре Ольге. Ольга уже приготовила ему зимнее пальто, но, узнав, что Андрей собирается сразу уходить, попросила остаться.
— Мамка хочет тебя видеть. Говорит: если приедет — путь дождётся.

День Андрей промаялся у Ольги, снова разговаривал с племянником и помогал ему с уроками, а вечером пришли мать с Санькой.

Сын словно бы и не был ему рад, отворачивался, на вопросы отвечал неохотно.
— А что он будет тебе говорить? Никак не хочет учиться, — сказала мать, немного поплакавшая до этого. — Ему говорят: пиши букву, а он рисовать начинает. Видно судьба у меня такая: вырастила троих, теперь вот ещё одного придётся.

Мать снова всхлипнула, а потом достала из сумки конверт.
— Вот, — протянула она Андрею. — Письмо… От женщины какой-то из областного центра.

Прощаясь и снова вытирая слёзы, мать молча, как и тётя Женя, протянула сыну десятирублёвую бумажку, и Андрей опять молча положил деньги в карман. Санька прощался с ним неохотно, отворачивался, прижимался к бабушке.

Андрей пошёл на вокзал около десяти вечера. Опять же без приключений и у той же кассирши взял билет и, опять же заметив патрулирующего Куньку, вышел заранее на перрон.

Письмо он прочёл в поезде.

Оно было от дамы по переписке, той, которую звали Мариной. Не дождавшись от него ответа на своё письмо, Марина написала сама и приложила фото: своё и пятилетнего сына. Марина приглашала его в гости, и Андрей подумал, что это шанс. В письме были номера телефонов — домашний и рабочий, и он решил по приезде в областной центр позвонить ей.

Он так и сделал.

Позвонил Марине с вокзала. Час был ранний, но Марина сразу же подошла к телефону и, узнав, что это он, назначила свидание возле политехнического института.
— Я там лаборанткой в политехе работаю. Подходите к главному корпусу к десяти часам, я встречу, — сказала она.

Андрей ответил: «Да», — и, позавтракав в привокзальном кафе, не спеша пошёл от вокзала через мост на другой берег Ангары. Утречко выдалось прохладным, но это его не пугало. Андрей прошёлся знакомыми улицами и без пятнадцати минут десять был у крыльца политеха. Марина уже ждала. То, что женщина на ступеньках крыльца института была именно Мариной, Андрей почувствовал интуитивно. В широкой шляпе, длинном осеннем пальто и сумочкой-ридикюлем в руках, издали она выглядела, как бы сказал его друг Никифор, шикарно. Но вот ближайшее рассмотрение потенциальной невесты Андрея не вдохновило. Длинный нос, чуть впалые щёки, но главное — верхний ряд железных зубов, при улыбке будто бы рвущийся к нему навстречу с кажущейся готовностью ухватить за нос или за ухо.

«Акула!»—возник сам собой в сознании Андрея далёкий от поэтического образ его новой знакомой.

— Здравствуйте, Андрюшенька! Здравствуйте,— Марина-Акула легко сбежала к нему по ступенькам, и Андрей не успел опомниться, как его рука оказалась под её ладонью, плотно обвитая снизу длинными костлявыми пальцами.—А я представляла вас другим: выше ростом и плотнее телом. Но ничего, и так тоже хорошо—смотритесь!

Марина освободила его ладонь, но взяла в зацепление—под руку.

— Пойдёмте, я вас чаем напою.

Они вошли в здание института, поднялись на третий этаж и пошли по длинному институтскому коридору. В сапожках на высоком каблуке и высокой шляпе, Марина возвышалась над ним и при постоянных своих поворотах головы, приветствуя идущих им навстречу людей, то и дело опускала свой подбородок на макушку Андрея. При этом зубы её щёлкали, и при каждом новом клацании Андрей всё больше убеждался: сравнение Марины с акулой наиболее подходящее.

Марина привела его в лаборантскую.

— Присаживайся пока за стол, а я сейчас чай поставлю, пирожки где-то у меня оставались позавчерашние,—улыбалась она, буквально стаскивая с него куртку и переходя на «ты».—Пока будешь здесь чаи цедить, я попробую отпроситься. Делать, в принципе, тут сегодня нечего, ко мне поедем. Или у тебя другие планы?

— У меня по плану было на междугородний автовокзал, на автобус, я к братьям в район собрался. Тут проездом, письмо ваше… твоё получил и вот решил…

— Правильно решил!—Марина гремела стаканами, доставая их откуда-то снизу, из-под высокого длинного стола в центре лаборатории.—Я так понимаю: билеты ты ещё не купил, и не будет ничего трагичного, если отложишь поездку на день. Мы же должны узнать друг друга лучше. Как считаешь?

— Согласен,—кивнул Андрей, принимая из рук Марины стаканы и сахарницу.

Без пальто и шляпы Марина преобразилась и казалась теперь Андрею стройной, «как кипарис», и воздушной: не ходила, а порхала между ним, столом и окном. Воротничок голубенькой водолазки прикрывал её шейку до подбородка, а кудряшки-локоны белых волос, свисая, аккуратно лежали на плечах. Сравнение с акулой пропало, когда они стали пить чай. Она села рядом, и после первых глотков щёчки её раскраснелись, а глазки заблестели.

— А ты мне нравишься,—говорила она, заглядывая в лицо Андрею и вводя его в неловкость.— Не знаю чем, но нравишься. Не разочароваться бы…

— Можешь и разочароваться,—покашлял в кулак Андрей.—Я на первый взгляд, может, и кажусь безупречным, а это далеко не так. Сложнее всё…

— Ну, сложности мы часто сами себе создаём,— Марина поставила перед ним стакан с кипятком, опустила туда чайный пакетик и ещё пристальнее глянула ему в глаза.—В общем, давай темнить не будем, незачем. Раз я тебя пригласила, то я первая скажу всё, что считаю нужным. Хотела дома поговорить, но давай тут начнём. Как дальше получится, посмотрим. Ну а ты приготовься к исповеди. Приготовился?

— Приготовился…—Андрей глотнул из стакана.

— Так вот, для начала: я здесь, в лаборатории, работаю временно… Подругу подменяю до весны, она в декретном отпуске—сына родила. Второе: живу не здесь, а в райцентре, на берегу озера. Здесь ночую иногда у подруги, она одна с ребёнком, и адрес тебе дала тоже подруги, и телефон её.

Марина сделала пятисекундную паузу, с интересом глядя, как отреагирует на её слова Андрей.

Андрей пил чай и смотрел на неё тоже с интересом, выжидающе, взгляд его выражал примерно следующее: «Давай дальше, я не такое слышал…»

— Когда говорила: поедем ко мне, имела в виду квартирку подруги,—сказала дальше Марина и, видя, что Андрей не возмутился, не подавился, глотая чай, продолжила:—Я подругу мою сегодня на всякий случай на два дня к матери отправила. Ольга у меня молодец: всё понимает. Не зря одна тоже живёт. Когда от тебя письмо получили, то думали с ней, кому отвечать тебе. Решили, что мне. Вот так. Мог бы и к Оле приехать.

На лицо Марины снова вернулась улыбка, в глаза—блеск.

— А мой муж первый, Валера, отец моего Максима, от меня сбежал в неизвестном направлении,—продолжала уже без оглядки на Андрея Марина.—Это тогда я в шоке была, а теперь вот весело об этом говорю. Всё равно бы сбежал—не тогда, так после. Склонен к этому был. Два года с ним не прожили. Он приезжий был, жил в общежитии, работал на консервном заводе у нас в посёлке. Что-то там по электроприборам занимался. Техникум закончил. Сначала вроде всё нормально: ничего такого за ним не замечала. Максим родился… В город по выходным часто ездили: в парк, в зоопарк, в цирк обязательно. В цирке как-то и увидел он ту самую акробатшу. А чё в ней хорошего? Круглая попка только, а на лицо старая… Грим смыть—так совсем: сливай воду—радиатор треснул. Но у моего электрика перемкнуло по фазе, реле перекосило, и уехал Валера вслед за цирком с акробатшей. Пятым или шестым мужем, наверное, уже. У неё до него и не такие были. Куда подался, дурачок? Что ему не хватало? Я год волком выла. Надеялась: одумается, натешится, вернётся. Наверное, любила. Но потом ничего…

Марина снова на секунду-другую замолчала.
— Чай остыл,— сказала она вдруг, заметив, что Андрей поставил стакан.— Сейчас подогрею ещё. Подогреть?

Андрей кивнул. Марина взяла чайник, встала, пошла к умывальнику, добавила в чайник воды, поставила его на подставку, включила и вернулась за стол.
— А потом я ещё дважды замуж выходила.

Она грустно улыбнулась, потянулась. Руки её, длинные, как ветви с растопыренными пальцами-листьями, ушли высоко вверх, вытянулась и шея, и Андрей тут же сравнил Марину с деревцем — с тонкою рябиною.
— Один меня тут, в городе, подцепил,— уже более живо улыбнулась Марина, резко опуская руки себе на колени.— Местный кадр. Заговорил на остановке, потом на автовокзал проводил, до автобуса. Потом звонил несколько раз, потом ко мне приехал. Я тогда сдуру, не посмотрев на него как следует, взяла да приняла его. А он котяра тот ещё оказался. Ни одной юбки не пропускал. Как увидит голые бабьи ляжки, так его мандраж сразу берёт: дёргаться начинает, суетиться, бегать туда-сюда. На три-четыре дня из дому пропадал. Посмотрела я, посмотрела и погнала его. А что? Толку всё равно не было: денег он не приносил, а так — поесть да переночевать… Так у меня не кафе и не гостиница. За полгода столько стыда натерпелась. Неудобно даже соседям в глаза смотреть было. Снова потом почти год ни с кем не связывалась и не связалась бы тогда ещё с год — точно, но тут этот Петечка — птенчик божий — выпорхнул. Одноклассник мой. Тихий, скромный вроде. Всё ходил вокруг поначалу, здоровался, иногда денег на бутылку занимал. Мне бы тогда подумать, покумекать, посмотреть получше. Но нет. Он в школе ещё скромным был, родители у него хорошие, тоже на заводе работали и сейчас работают, как и сам Петечка этот. Ну, ходил, ходил и выходил. Пожалела я его. Женатым он не был, а я с ребёнком. Родители его не против. Стали жить. Вроде всё нормально — даже стирать мне помогал. Огород вскопать, гвоздь прибить — нет проблем. Только вот зарплату всю не отдавал. Даст рублей сорок-пятьдесят, и хватит. Мол, остальное моё. Ну ладно бы был каким скрягой, Плюшкиным, так нет, денег он не копил: пропивал все. Сначала как бы безобидно было: купит пару бутылок вина с получки — вино любил, портвейн, особенно «Три семёрки», «Агдам»… Меня всё поначалу угощал, хотел, чтобы я рядом с ним сидела. А мне что, делать нечего, что ли? Посижу с часок-другой, а ему всё мало. Потом уже по три-четыре бутылки приносить стал. Вечером пьёт, ночь всю шарится по кухне — булькает своим вином, спать не даёт, а потом ещё с утра в магазин бежит. Стала я ругаться, осаждать его. Так он на новую тактику перешёл: принесёт домой бутылочку, выпьет и ходит из дома в огород, из огорода в сарай. И всё весёлый: и днём весёлый, и вечером анекдоты мне свои дурацкие травит, и ночами хмель с него не сходит. Один раз так, два… Присмотрелась я, проследила его выходы-заходы: оказалось, что он бутылки от меня стал прятать. В сарае прячет, в огороде, в сенцах, даже в собачьей будке. Представляешь? Потом это в систему вошло. Люди стали даже замечать. А ему-то всё кажется: шито-крыто — никто этого не видит, не догадывается… Как сумасшедший стал. И смеялись над ним, и потешались в открытую, и следили некоторые даже. А он всё равно не унимался. Заначки свои по всему посёлку стал делать. Прятал в дупло дерева на берегу озера даже, под тротуар у сельсовета. Дальше — больше: пьянки-то систематические даром не проходят — стал злым, подозрительным. Недосчитается иногда бутылки спьяну и меня пытает: куда перепрятала? Бывало, и среди ночи пристаёт. А мне это зачем? У меня ребёнок маленький. Я пошла к его родителям, говорю: забирайте. Они пытались как-то на него повлиять, разговаривали с ним, ругали. Он вроде бы соглашался, прощения у меня просил, лечился даже — в город ездил: три недели в наркологии лежал, но толку мало. Неделю-две не попьёт, а потом по новой. Да ещё хуже: прямо с жадностью какой-то винище своё дует, словно не напьётся. Спился совсем. Теперь у мамочки с папочкой живёт, к моему дому и не подходит — дорогу забыл. А мне и лучше одной, чем с таким… Вот так, Андрюшенька. Я долго думала, прежде чем в газету объявление дать. Решили с Ольгой вместе написать. Написали… Вот от тебя письмо пришло и ещё парочка от других, и Ольге парочка. Но те письма меня не задели, а вот твоё…

Марина снова потянула вверх свои руки-ветви, улыбнулась, оголив свои железные зубы, но теперь они уже не казались Андрею акульими.
— Но нельзя рябине к дубу перебраться…— пропел Андрей, ещё дальше отодвигая от себя пустой стакан.
— А ты весёлый! — засмеялась Марина, опустив руки и наклонившись через стол ближе к нему.
— Я-то весёлый, да вот только жись-то у меня грустная получается…— попробовал улыбнуться в ответ Андрей, не отстраняя своего лица от её, почти вплотную приближенного. Марина-рябина ему уже нравилась.
— А ты расскажи-поведай мне о жизни своей, в общих чертах хотя бы… Только сильно не ври…— Марина коснулась своим лбом его лба.
— А тут хоть ври, хоть не ври — всё равно ведь не поверишь, что я почти три года ни за что, а за кого-то в неволе сидел. А если узнаешь, что от пьянки лечился, как твой Петюня, так вообще через пять минут мне на дверь покажешь…— сказал

Андрей, не отстраняя головы и глядя в Маринины серые глаза.

Улыбка остановилась на лице Марины, блеск глаз стал терять яркость.

— А ты мне написал, что ты писатель… Роман пишешь… Врал? — чуть слышно прошептала она, почти не шевеля губами.

— Нет, не врал. Я и писатель, и журналист, и по совместительству поэт, когда кого поздравить надо… И зек бывший тоже, и алкаш… — тоже тихо произнёс Андрей, продолжая глядеть в её теряющие жизнь глаза.

И Марина не выдержала.

— Что же мне так в жизни-то не везёт! — отпрянула она, резко поднимаясь, и Андрей, уже морально готовый на выход, стал искать взглядом, где висит его куртка.

— Нет, нет, нет! Стоп! — заговорила Марина, заходив от стола к окну и обратно. — Стоп! Стоп! Стоп! Не надо резких движений! Если мы с тобой встретились — значит, это было нужно. Для тебя или для меня — не знаю, но всё не случайно. Всё ведь в жизни не случайно. Правда?

Андрей пожал плечами, откинулся на спинку стула.

— А ну давай рассказывай про себя! — Марина резко отодвинула стул от стола и резко села. — Я вижу, я чувствую, что ты не такой, как те! Ты какой-то особенный, я сразу, по письму ещё, поняла! Давай! Я слушаю!

— Ну, слушай, — сказал Андрей, догадавшись, что сегодня он к братьям не уедет, и начал свой неторопливый рассказ про себя и про тех, кто окружал его в последнее десятилетие: про Алёну и Хиля, про редакцию газеты и Короля, про Женю-Златовласку и её маму, про чётный и нечётный парки железнодорожной станции и проводников вагонов, про Ханяки и Никифора, про братьев Олега и Игоря.

Дважды рассказ Андрея прерывался из-за того, что в лабораторию заглядывали какие-то люди и Марина выходила минут на пять-десять. Дважды Марина ещё ставила чайник. На глаза её наворачивались слёзы, когда Андрей говорил об Алёне и Жене, о том, как закончились его истории любви.

Марина слушала, живо вникала в ход его рассказа, иногда кивая, иногда слегка морщась от сказанного Андреем, иногда улыбаясь его ироническому тону по отношению к самому себе. Ей нравилось, что в своём рассказе Андрей не отводил себе главного места; было видно: он не старается приукрасить свои поступки, и, что самое главное, Марина не услышала в его словах ноток жалости к себе и обвинительных реплик в сторону других.

— Вот так я оказался здесь, — закончил Андрей, поднимаясь. — Извини, аж ноги затекли, пока говорил. Работал язык, а ноги загудели.

— Бедный ты, Ёрик, — обхватив подбородок своей длинной ладонью и облокотившись на стол, проговорила Марина. — Ты теперь бездомный и преследуемый… К братьям собрался? Давай немного братья подождут. Я вот что решила…

И братья Игорь и Олег, а также тётя Галина Андреевна действительно подождали. Минул без малого год, прежде чем Андрей вновь предстал перед ними. А до того, со дня его приезда в областной центр, первый план его жизни заняла Марина.

По её решению Андрей в день их встречи совершил путешествие не только на квартиру её подруги Ольги, но дальше — в посёлок на берегу самого чистого озера в мире. Марина отпросилась у начальника на два дня и устроила Андрею романтическое путешествие, романтический вечер и в какой-то степени романтическую ночь, которую она назвала блаженной и божественной.

Сначала они с пересадками — с автобуса на трамвай — добрались до двухэтажного деревянного дома на Речной улице города. Там в небольшой квартире на втором этаже их уже ждала с годовалым ребёнком подруга Ольга («Я её по телефону вызвала», — пояснила Марина). После короткого знакомства и чая с глазуньей Марина повезла всех на железнодорожный вокзал, где взяла три билета на электричку. И через полтора часа пути перед взором Андрея раскинулось Великое Сибирское озеро. Два раза — в армию и обратно — проезжал он его берегом, и оба раза — зимой и по темноте, и вот оно, рядом, у самых ног, бьёт о скалистый берег, приветствует его, идущего по тропинке, заглядывает в окна Марининого дома на Приозёрной улице. Нежданно-негаданно оказался он в доме на берегу Сибирского моря. Душа его радовалась и рвалась к водным далям, качалась на волнах озера, купалась в его чистой водице и ждала только светлого и хорошего. А он в эти минуты не думал и не хотел думать, что будет дальше.

А дальше было знакомство с пятилетним Максимом и неожиданно и быстро пришедшими «на чай с омулем» многочисленными Мариниными родственниками и знакомыми. Андрей не успевал знакомиться, пожимать руки и запоминать имена прибывающих мужчин и женщин. Примерно за полчаса в доме собралось около двадцати человек. Марина затопила печку, Ольга, передав Андрею на руки дочь Настю, стала помогать Марине по кухне, и он приветствовал входящих, уже чуть приподнимаясь с дивана, на который его посадили при приезде, не выпуская из рук ребёнка. Некоторые из пришедших, не церемонясь, разгуливали по комнате, курили, садились за стол, не обращая на него внимания; другие, наоборот, с интересом разглядывали незнакомца с ребёнком и, каждый раз глядя на него, почтительно кивали. Потом было застолье с самогоном, огурчиками, помидорчиками, грибочками, толчёной картошечкой и омулем разного вида: солёным,

малосолёным, копчёным, вяленым. Были новые знакомства и многозначительные улыбки в его сторону уже познакомившихся с ним и ещё не удостоившихся такой чести гостей. Отряд гостей по мере наступления вечера и сгущения сумерек всё прибывал и прибывал. Входящие, в основном люди, как определил Андрей, до тридцати лет, бесцеремонно (как мужчины, так и женщины) целовали Марину в щёчки и губы, хлопали её по спине и ниже, а она улыбалась им, довольная, и приглашала занимать места за столом. Были среди гостей и почтенного возраста тётки Марины по материной линии, и сама её мать — Зоя Владимировна — женщина возрастом под пятьдесят, такая же худая и высокая, как её старшая дочь. Была и младшая сестра Марины — Юля, к удивлению Андрея, ростом, в отличие от сестры, не высокая, но такая же белокурая и живая.

А потом Марина позвала его в баню, и когда он залез на полок, поддал пару и начал окучивать себя веником, она пришла к нему, оставив гостей, родственников, сына Максима и подругу Ольгу. Она с ходу плеснула на каменку из ковшичка горячей воды и в окутавшем баню пару забралась к нему на полок. Андрей почувствовал сквозь завесу её мокрое крепкое тело, а когда пар стал оседать, оценил все её скрытые до того женские прелести. Им обоим было не совсем удобно, а скорее непривычно на полке, потому как подогнутые Маринины острые коленки то и дело натыкались на рёбра и грудь Андрея.

После бани Марина повела его не в дом, а во флигель. В «зимовьё», как бы сказали его братья. Там, в избушке, за жаркой печкой, хозяйка уложила гостя на кровать-лежанку, застеленную мягкой периной. Оставив его на час-полтора, она вернулась уже за полночь. Не спавший как следует в поездах две предыдущие ночи, Андрей не уснул и в эту. Марина с жаром обнимала его и целовала, поднимала пить чай с мёдом и вяленым омулем, а ближе к утру набросила на него, нагого, висевший у дверей среди другой осенней и зимней одежды большой овчинный тулуп, накинула на себя, обнажённую, дублёнку — и пошли они, босые, осторожно ступая, вниз по крутому спуску, к озеру. В прохладные октябрьские предутренние часы, согреваясь от жара поцелуев, они обнимались, умывались чистой водичкой, смотрели на качающиеся в озере звёзды и замирали, слушая плеск подплывающих к берегу рыбёшек.

А утром Марина привела Андрея в редакцию местной газеты. Редактор, долговязый, усатый, чуть сгорбленный, возрастом за сорок, представился Владимиром Ивановичем Костылей, пояснив при этом с ироничной улыбкой, что он «неисправимый хохол, а потому порой вредный, и когда был собственным корреспондентом областной газеты по шести районам, двери в кабинеты первых секретарей и председателей райисполкомов открывал ногой».

— Я, привыкший к уважению, хочу, чтобы меня уважали, и заслуживших моё уважение — уважаю, несмотря ни на что, — сказал вначале, настраивая их на разговор, редактор.

Марина вела себя с редактором по-свойски. Называла запросто: Костыля, без имени и отчества. Правда, представив мужчин друг другу, она не стала мешать их разговору и присела тихонько на один из стульев у двери.

Как понял Андрей, его визит к Костыле был согласован предварительно. После первых осторожных вопросов и непринуждённых ответов, касающихся газетных дел, мужчины-коллеги быстро нашли общий язык и повели беседу просто и по-мужски, казалось, забыв о сидевшей тут же Марине. Владимир Иванович, естественно, хорошо знал редактора газеты из родного городка Андрея, Владимира Георгиевича.

— Я не хочу вникать в подробности твоих дел и планов, — резюмировал их встречу редактор. — Захочешь — сам расскажешь потом. А сейчас давай так попробуем: поработаешь с месячишко на гонорар, покатаешься в командировки, по посёлку походишь. Стул, стол, телефон у тебя будут, а там, если подойдём друг другу, то возьму тебя в штат на три месяца с испытательным сроком. Сами понимаете: без документов больше чем на три месяца не могу.

Последние слова редактора были обращены уже и к Андрею, и к Марине.

— Хорошо, Костыля, — пожала ему руку довольная разговором Марина. — Я всегда знала, что ты — человек, несмотря что хохол.

— Ну уж что есть, то есть, — не стал скромничать редактор.

Месяца ждать Андрею не пришлось. С ходу, сделав несколько материалов в очередной номер и написав очерк о мастере консервного завода, Андрей уже через четыре дня вызвал восхищение редактора и был информирован им, что приказ о его приёме на работу с испытательным сроком уже подписан.

— Я знала, что ты молодец! — обрадовалась этому известию Марина. — Умеешь ты, умеешь, Андрюшенька, на души и сознания людей влиять. И не только женщин. Твоя бабушка, случайно, ворожеей не была?

— Не была, — сказал Андрей; ему не хотелось говорить с Мариной о своей бабушке, и он поспешил сменить тему производственную на бытовую, спросив, будут ли они топить сегодня баню.

Баню они топили регулярно. Раза по два, а то по три за неделю. Андрею нравилась Маринина баня. Аккуратненькое бревенчатое строение, чистенький светлый предбанник, хорошо сложенная каменка, широкий полок, веники — берёзовые,

сосновые, крапивные и деревянные, сделанные из кедра шайки с ушками-ручками. Истомившийся по домашнему уюту и нормальному быту, Андрей шёл в Маринину баню как в храм, а в дом Марины возвращался как в собственный, в праздничном настроении. В приподнятом настроении стал ходить он и в редакцию.

В коллективе редакции работали интересные люди. «Звёзд с неба не хватают, но дело своё делают»,—характеризовал всех их скопом Костыля. Все—три корреспондента, два заведующих отделами и две дамы: заместитель редактора и ответственный секретарь. Соскучившийся по общению с творческими людьми, Андрей пришёлся ко двору в редакции. По сути своей человек неконфликтный, он быстро освоился среди сотрудников, которым импонировало не только то, что он вовремя сдаёт материалы в номер, но и не гнушается разговоров на различные темы, и не отказывается от походов в магазин за сахаром и печеньем для коллективного чаепития. В общем, дела у Андрея пошли, и спустя три месяца редактор Костыля подписал новый приказ о новом приёме его на новый испытательный срок.

После того как Андрей поселился у Марины, Марина работу в городе оставила и устроилась методистом в районный дом культуры. Так что разлука им грозила в день только на несколько часов. Впрочем, порой и в эти часы они, бывало, скучали друг по другу, и Андрей иногда задумывался: любовь ли он испытывает к Марине или что-то типа благодарности за то, что она помогла ему открыть новую страницу в его жизни? Скучал часто Андрей по дому и по Саньке с матерью, но весточку о себе отправить им побаивался. Побаивался потерять то, что приобрёл неожиданно, побаивался потерять свободу. Хотелось Андрею или нет, но новые мысли каждого его нового дня начинались с Марины. Марина-Мариночка—так звали её все из её близкого окружения. Маринка-рябинка—звал он её, когда был в хорошем настроении. Маринесса—он же, чуть иронично, когда она старалась решать в одиночку некоторые вопросы их совместного бытия. Маришка-Маришка—опять же он, когда накатывала на него хандра и осознавал Андрей на минуту-другую своё положение, понимая, что ближайшие перспективы у него не очень радужные. Иногда он думал об этом с ужасом и ставил риторический вопрос: что же дальше?—но именно минуту-другую, не больше, ибо больше не успевал. Дальше были события рядом с Мариной-Мариночкой. Они шли потоком и менялись, как фигурки в быстро вращаемом калейдоскопе.

Тем временем поздняя осень сменилась зимой. Великое озеро, плескающееся рядом, жило своей жизнью, и нагрянувшие морозы не могли сразу сковать и остановить его плеск. Даже в декабре озеро накатывало на берег и ломало кромки пытающегося скрыть его льда. Но стужа наступала и наступала, и к Новому году лёд лёг от берега уже метров на двадцать-тридцать, а к середине января любители зимней рыбалки, среди которых был и редактор Костыля, наконец-то большими группами стали выходить и даже выезжать по выходным дням в глубь заледеневшего озера. Дважды Андрей в компании редактора выезжал на рыбалку, но терпения у него не хватало, и он возвращался домой уже часа через два и без улова.

Новый год отмечали в Маринином доме. Пришли мать Марины, сестра Юля и несколько подруг с мужьями и детьми. Андрея некоторые знали по публикациям в газете и были рады очному знакомству с ним. К тому времени стараниями Марины Андрей уже лично был знаком с половиной посёлка и даже успел познакомиться со вторым её мужем Петюней. Спившийся, дурно пахнувший мужичишка, без нескольких верхних зубов, заходил к нему в редакцию и просил денег на бутылку. И Андрей ему дал. Жалко стало мужика. Правда, это было один раз. Больше Петюня его не беспокоил, а встречая несколько раз на улице, лишь почтительно кивал.

Надо сказать, что и Зоя Владимировна, и Юля спокойно относились к тому, что их дочь и сестра приняла в дом мужчину. Зятем не называли, но вот Андрюшей мать Марины несколько раз его назвала. Привязался к Андрею и Максим. Звал он его дядей Андреем; просыпаясь утром, как взрослый здоровался за руку—протягивал первым, и Андрей руку мальчику пожимал. Несколько раз Максим садился рядом с Андреем смотреть футбол или хоккей и делал вид, глядя, как дядя хлопает в ладоши или морщится от досады, что тоже искренне переживает. Марину такой дружный просмотр телевизора радовал, и она, бывало, подсаживалась к мужчинам, тоже переживала «за наших» и даже подавала болельщикам к телевизору ужин и чай. Несколько раз они выезжали все вместе в город. Ходили в цирк или по магазинам, заходили в гости к подруге Ольге. Пару раз Андрей подумывал, чтобы заглянуть к Никифору, но что-то его сдерживало. Может, то, что он не знал, как представить ему Марину, а может, не хотел стеснять друга. Ведь жил Коля-Никифор с сыном, невесткой и внучкой.

А зима сменилась мартом, а потом и апрелем, и редактор Костыля написал третий приказ о временном принятии Андрея на работу. В середине мая задышало, задвигалось озеро, и стало слышно ночами, как трескаются и колются льды. В июне вода снова стала чистой, и волны опять накатывали на берег, и, как прежде, Андрей засыпал и просыпался под их шум. В середине июня Костыля вызвал Андрея к себе на разговор и сообщил, что он ещё один раз напишет приказ о временном

приёме на работу, ну а дальше Андрей должен будет что-то решать.

— Ты хоть паспорт, друг мой, мне предоставь, а трудовую книжку я тебе, так и быть, заведу. Паспорт-то у тебя хоть имеется?

— Да имеется, но пока я не могу ни выписаться, ни прописаться…

— В общем, давай работай до августа, а потом езжай или письма куда надо пиши, но вопрос по своему статусу решай. Понял? Я с тобой расставаться не намерен, но и ты пойми: меня же за шкирку подвесят, если проверят в управлении мои приказы. Как я им объясню приём на работу одного человека три раза с испытательным сроком? Ты знаешь?

— Нет.

— Я тоже. Давай думай.

Андрей думал об этом постоянно. Ему нравилась его жизнь с Мариной, ему хотелось работать в этой редакции и жить у озера, в этом посёлке. Он знал, что бытие его шаткое и не совсем надёжное, и особенную шаткость и ненадёжность испытал после разговора с редактором. Предчувствие скорой перемены повисло над ним.

И перемена случилась. Ожидаемая и всё же неожиданная. Примерно за неделю до разговора с редактором Марина уехала с работниками культуры в город по делам и вместе со всеми не вернулась. Андрею позвонили из дк и сказали, что она задержится до завтра. Назавтра Марина вернулась, как всегда, с массой разных новостей, о которых говорила без умолку допоздна. Через три дня случилась вторая поездка Марины в город — и снова с ночёвкой. Во второй раз Марина приехала усталой, говорила мало и рано легла. Андрей не придал этому тогда большого значения. Но вот когда случилась третья поездка Марины в город и тоже с ночёвкой там…

Предчувствие перемены всё больше и больше давило на Андрея, но он старался отгонять его работой, разговорами с Мариной, баней, вечерними прогулками по берегу озера. Вот и в тот июльский вечер шёл из редакции с намерением, пообщавшись с Мариной, засесть к вечеру за пишущую машинку и выдать материал о рыбаках.

Марина встретила его, как всегда, улыбаясь. Но, заметил Андрей, улыбка её была какой-то неживой и длилась недолго. В тот вечер Марина выглядела сильно уставшей. После ужина она попросила его прогуляться с ней на берег.

— Валерка приехал, — сказала она ему, когда они спустились по крутому спуску.

Андрей не сразу понял, о ком речь, но едва Марина произнесла ещё два слова: «Отец Максима…» — ему стало ясно всё.

— Ты к нему эти дни ездила?

Марина кивнула, опустила голову, а потом, встрепенувшись, бросилась к нему, обняла за шею, прижалась к груди.

— Прости! Прости! Я не думала, что так получится. Он позвонил, стал плакать, просить прощения, просить встречи. Я согласилась, думала: поговорю, посмотрю на него, позлорадствую над ним. Мол, кинула тебя твоя акробаточка с круглой попочкой, так тебе и надо, сволочь ты такая… Но как увидела его… Как услышала его голос… Андрюша, дорогой мой, я не могу ничего с собой поделать, он имеет надо мной власть. Тогда имел и сейчас имеет… Он действует на меня как удав на кролика… Говорит, а я уши навостряю — каждое слово его ловлю. Вырвалась первый раз, думала: приеду, тебя увижу, и пройдёт наваждение это. И вроде прошло, но он опять позвонил, опять на встречу пригласил, и я опять поехала…

— Что решили? — спросил Андрей.

— Завтра он приедет. Я поеду утром в город и привезу его после обеда… — Марина отпрянула и посмотрела каким-то далёким и чужим взглядом. — Андрюша…

— Я понял, — сказал Андрей, — я до обеда уеду…

Последнюю ночь в приозёрном посёлке он ночевал, как и первую, в зимовье. Марина принесла ему постель, присела, а потом залезла к нему на лежанку, снова, как в первый раз в бане, подогнула свои острые колени, дважды больно задев Андрея по рёбрам. Она обнимала его, целовала в губы и щёки, плакала. А потом как-то резко встала и ушла.

Он не сомкнул глаз. Смотрел в окно на звёзды, деревья, выходил во двор, всматривался в даль тёмного озера. Там, вдалеке, как ему показалось, качалось на волнах едва заметное маленькое судёнышко. Одно на большой водной глади. Маленькое и неустойчивое. Как и он. Куда качнёт его на этот раз волна жизни? В какую сторону понесёт его ветер нового дня?

Утром, когда Марина заглянула к нему, он притворился спящим. Она не стала окликать, тихонько прикрыла двери и пошла к воротам. Он встал и стал глядеть ей вслед. Белокурая женщина, Маринка-рябинка, Маринесса, ещё вчера — его, а теперь невозможно далёкая и чужая, уходила всё дальше, уходила из его жизни. На минуту он дал слабину: захотел выскочить, догнать… Но он не выскочил и не догнал, и даже не окликнул. А она не оглянулась…

Редактор Костыля был шокирован его заявлением, но быстро пришёл в себя, вызвал бухгалтера и попросил приготовить увольняющемуся корреспонденту расчёт.

Пока расчёт готовили, Владимир Иванович достал из сейфа коньяк, шоколадку, две рюмки.

— Давай, Андрюха. Не было у меня до тебя такого мобильного корреспондента и не будет, наверное, — вздохнул он. — Эх, будь у тебя всё в порядке, я бы замом тебя сделал, учиться отправил… Может, ещё поправишь дела да приедешь? А что?

Чё тебе Маринка эта? Найдёшь получше. У нас много хороших…

Андрей промолчал.

— Ладно, давай по рюмашке на прощание,— сказал Костыля.

Он проводил Андрея до автобуса, обнял на прощание, даже обронил слезу. Андрей прошёл в салон, сел у окна и увидел, что Костыля стоит за стеклом и смотрит на него в упор. Когда же автобус поехал, редактор двинулся следом и стал махать горячо и искренне.

Ностальгическая волна накатила под сердце, и Андрей тоже едва не обронил слезу, когда Костыля скрылся из виду. Автобус стал подниматься по дороге-серпантину, Андрей смотрел на блистающее внизу озеро и думал о том, что ему делать дальше.

Зачем в его жизни были Марина, этот посёлок, редактор Костыля и остановка на жизненном пути длиною почти в год? Почему всё то, что вроде бы так хорошо складывалось, вдруг взяло и разрушилось в одночасье?

Почему? Почему? Почему?

7.

«Почему, почему вроде всё так хорошо складывалось — и вдруг снова разрушилось в одночасье? Почему?» — спрашивал себя Андрей, глядя в окно вагона поезда дальнего следования.

Он проезжал города, станции, поля, перелески — те же самые, мимо которых ехал четыре года назад, но в обратном направлении, такой же порой — в конце сентября. За окном стояли, ожидая холодов и листопада, хрустально-золотые дни и вечера, а по ночам и рано утром было уже не прохладно — холодно. На свою станцию — вокзал родного города — он приезжал около полудня, но около шести утра он замёрз под простынёй. Курткой и одеялом укрываться поленился, решив подняться. Андрей собрал постель, умылся, оделся, заказал у проводницы чаю и, попивая мелкими глотками, стал смотреть в окно. За окном медленно поднимался настойчивый рассвет. Сплошная тёмная масса светлела и преобразовывалась в отдельные дерева, чернеющие пустоты превращались в убранные поля, а между деревьев и полей пролетали мимо поезда редкие полустанки и маленькие станции. И летели и мелькали в голове Андрея его мысли, вставали образы и рисовались картины из прошедших вдали от дома, от матери и сына пяти таких долгих и таких быстрых лет.

Посёлок у самого синего озера ему снился долго. Лазурные дали далёких других берегов, шум и шёпот волн, слышимых днём и ночью, летние и осенние крики чаек, неровные ряды торосов, слепящих блеском зимой и теряющих яркость при оседании ранней весной. Снились дом и баня на берегу, Марина — высокая и белокурая, крепко сложенное из круглого леса — ангарской сосны — здание редакции, суровый и сентиментальный редактор Костыля.

Да, он провёл несколько счастливых месяцев среди хороших людей, но, видимо, время его пребывания в приозёрном посёлке и очередной отрезок жизни, отведённый для него тем, кто играет людьми, как шахматными фигурами, закончились, и никто уже не мог ничего сделать: ни он сам, ни Марина, ни Костыля. Небесный Игрок, отправивший его туда, сделал следующий ход, и перевернулась новая страница в жизни Андрея, и помчался, покатил он дальше по другой дорожке — навстречу написанной для него судьбе.

Добравшись до областного центра, Андрей первым делом поехал к Никифору. Подошёл к дому приятеля вовремя, ибо встретил того выходящим из подъезда.

— А я тут внучку в школу отвёл да решил на центральный рынок съездить — хочу продуктами подзатариться,— объяснил Коля-Никифор, после того как друзья, обрадованные встрече, пожали друг другу руки и обнялись.

— И я с тобой,— вызвался Андрей.— Пивка там попьём. Пивбарчик-то ещё в подвальчике работает? У меня автобус только завтра. К братьям опять махну, а там видно будет.

— Хорошо! — поддержал решение друга Никифор.— Пивбар на месте. Правда, там очередь всегда приличная, но ничего — прорвёмся. А сегодня у меня переночуешь. Молодые мои на работе, придут вечером, но ничего, нам они не помешают. Давай пока сумку твою домой занесём. Чё с ней таскаться? Объёмная… У тебя, наверное, там все пожитки твоих последних лет?

— Точно. Пожитки. Жил-жил и нажил… — улыбнулся Андрей.

По дороге, в трамвае, и после, за кружкой пива под вяленого омуля, Андрей рассказал приятелю, как жил то время, пока они не виделись.

— Правильно решил,— выслушав историю Андрея, сказал Коля-Никифор.— Поезжай пока к братовьям. Отдохни с месячишко, обдумай всё не торопясь. Лето-то, оно быстро промелькнёт. Вот уж почти и середина его… А в сентябре, если ничего у тебя там не сложится, приезжай. Я тут в одно путешествие собрался. Может, со мной поедешь?

— Куда это?

— Потом скажу,— хитро прищурившись, улыбнулся Никифор.— Ты сейчас себе голову ничем не забивай, езжай к родственничкам.

Андрея слова друга заинтриговали, и он, потягивая пивко, несколько раз пытался выведать, куда же Никифор собирается в сентябре. Но Коля самообладания не терял и тайны своей не выдал. Ни в пивбаре, ни потом. А потом они приехали домой к Никифору с продуктами питания и пятилитровой

канистрой пива. Весёлый и хмельной Коля сам за внучкой в школу идти не рискнул, а попросил сделать это соседку—интересную стройную дамочку, возрастом за сорок, преподнеся ей двух копчёных омульков. Соседка сразу же согласилась: как сделал вывод Андрей, скорее не за омульков, а по личной симпатии, потому как во время разговора Никифор то и дело поглаживал женщину по плечу и по руке, брал за талию.

Коля-Никифор определил гостя в своей комнате, на диване. Они снова пили пиво, теперь уже под горячий борщ, сваренный самим Николаем и в комнату им же из кухни доставленным. Поочерёдно под разным предлогом заглядывали к ним сын и невестка Никифора, несколько раз забегала к дедушке с учебниками большеглазая внучка Яночка.

Утром Коля-Никифор, как и год назад, поехал провожать друга на автовокзал, и снова они ели позы в кафе и пили чай, и снова стоял на платформе грустный Никифор, махая вслед отъезжающему автобусу.

А вечером Андрей предстал перед тётей Галей, братьями Олегом и Игорем, невесткой Любой и многочисленными племянниками. За время его отсутствия в жизни его родственников произошли заметные перемены: Люба родила ещё одного мальчика—Ваню, братья выкупили у колхоза небольшой заброшенный домик и, отремонтировав его капитально, передали во владение Галине Андреевне, а Олег женился на доярочке по имени Тоня и перешёл жить в её дом. У Игоря в квартире стало немного посвободнее, как будто специально к его приезду. Но Андрей не собирался покушаться на небольшое высвободившееся жилое пространство брата, уже зная точно, что будет делать.

Через два дня поехал он в районный центр и заявился в редакцию районной газеты. Он взял с собой приозёровские газеты с последними своими публикациями, собираясь их показать редактору, но этого не понадобилось. Едва он попытался объяснить причину своего визита, сказав в кабинете редактора:

— Я как-то тут заметочку давал из деревни, что близ Балаковки…—как редактор подскочил, выбежал из-за стола и бросился с распростёртыми руками:

— Антон?! Костровский?!

Андрей кивнул. Это было единственное, что он успел сделать. Через мгновение он оказался в крепких объятиях на голову выше и в два раза шире его человека, а потом с силой посажен на стул.

— Антон, дорогой! Ничего не хочу знать. Давай выручай!—редактор подсел напротив Андрея и положил на его плечи свои тяжёлые руки.—У меня в сельхозотделе совсем никого, а тут заготовка кормов пошла… Вот-вот за уборку урожая в районе возьмутся… Фермы на зимнестойловое содержание скота готовить начали… А освещать всё это совершенно некому. Я знаю, догадываюсь: ты человек наш… Стихи, наверное, пишешь… Но стихи и всё остальное потом, а сейчас давай включайся, помогай!

— Вы знаете… я…—начал было сбитый с толку Андрей.

— Да ни хрена я знать не хочу!—снова соскочив на ноги и махнув сразу двумя руками, не сказал—выкрикнул редактор.—Ты мне одно скажи: можешь месяц-два у нас в газете поработать?

— В принципе, могу…—промямлил Андрей.

— Отлично!—потирая руки, сверкнул зрачками огромный человек.—Всё остальное решим по ходу! Сейчас я секретаршу позову.

Секретарша—миниатюрная кудрявенькая деваха в юбочке и белой блузке—влетела через секунду после того, как редактор не крикнул, а заревел в сторону двери: «Ольга!»

— Так, Оленька,—сказал он ей, сбавляя тембр и контрастность голоса,—сейчас же пиши приказ о приёме на работу Костровского Антона… Как отчество?—редактор перевёл взгляд на Андрея.

— Николаевич!—вырвалось у Андрея, ещё смутно соображающего, что он только что был перекрещён.

— Антона Николаевича!—продолжил редактор, снова глядя на секретаршу Олю.—Приказ оформи с завтрашнего—нет, с сегодняшнего дня. Иди печатай, я быстро подпишу, мне сейчас уже нужно на тот берег… На паром одиннадцатичасовой надо успеть…

Андрей поднялся, думая, что же ему сказать, но редактор и на этот раз не дал ему раскрыть рта.

— Мне действительно сейчас некогда. Все вопросы потом. Пока главное: у нас во дворе домик есть брусовой. Там мы краску храним, газеты старые… Есть печка, топчан. Пока будешь жить там, заодно и за редакцией присмотришь, сторожа у нас нет. Сейчас тебе Ольга стол твой покажет, ручку, блокнот выдаст… С коллективом уже сам по ходу познакомишься…

— Мне бы в деревню съездить: братьев предупредить, вещи взять…—вставил в паузу между словами редактора Андрей.

— Да…—на секунду задумался редактор, но лишь на секунду, не более.—Вообще-то мне бы тебя на нашем «уазике» отправить, но мне машина самому позарез нужна. Мы вот как поступим: автобус, насколько я знаю, до твоей деревни идёт в четыре часа, ты до этого—да прямо сейчас—созвонишься с нижней фермой местного совхоза, пойдёшь туда и с заведующим фермой или с бригадиром сделаешь материал. А в деревню приедешь—сходи, не поленись, вечером к местному бригадиру отделения и его расспроси по уборке и животноводству. Завтра утром жду тебя здесь. До обеда отпишешься и сдашь в номер два материала. Идёт?

— Идёт…—кивнул всё ещё ошарашенный Андрей.

Чувство возвышенной ошарашенности было с ним весь день. На необыкновенную высоту оно подскочило, когда в его присутствии секретарша Оля принесла на подпись редактору приказ о приёме на работу корреспондентом сельхозотдела Костровского Антона Николаевича, и до Андрея по-настоящему дошло, что шутки ради придуманный им газетный псевдоним станет—уже стал—его именем и фамилией. Во всяком случае, здесь, на новый неопределённый период времени. Отступать и объяснять что-то было поздно. Будь что будет! Антон Костровский так Антон Костровский! Андрей стал было вспоминать, почему именно так подписал он тогда свою заметку, но ошарашенно бегающие мысли сосредоточиться не давали. Антоном Костровским он представился на ферме заведующей, такую подпись он поставил и под заметкой, написанной им после разговора с бригадиром отделения в деревне, где жили его родственники. Родственники—братья, невестки, тётка и даже малолетние племянники—пришли в возвышенно-возбуждённое состояние, когда Андрей сообщил им свою новость. Люба быстренько собрала на стол, Игорь залез в подполье и достал припрятанную «для случая» бутылку водки. А ранним утром все, включая племянников-дошколят, пошли провожать его к автобусу, следовавшему из деревни в райцентр.

В райцентре же его ждал редактор. Ждал, с нетерпением глядя через заборчик-ограду с высокого крыльца большого деревенского дома, перенесённого из зоны затопления после пуска ГЭС и отданного под редакцию.

— Взял материал?—не отвечая на приветствие, спросил он, едва Андрей открыл калитку.

— Взял…—кивнул Андрей, поправляя на плече ремень тяжёлой сумки.

— Давай садись, пиши быстрее! Расквартируешься потом… Время нас не ждёт… Сегодня газету печатаем…

— Да я уже…— Андрей поставил сумку на ступеньку крыльца, достал из кармана пиджака исписанные тетрадные листы.—Написал… От руки, правда…

— Ну ты молодец!—редактор вырвал из рук Андрея листочки.—Сейчас я Ольге на машинку отдам и тебе твою берлогу сам лично покажу.

Редактора звали Владимиром Вениаминовичем. Андрей видел в газете его имя и фамилию—Ерохин, но только теперь, познакомившись лично, усмехаясь, подумал, что либо в области все редакторы районных газет имеют имя Владимир, либо Владимиры-редакторы решили брать под свою опеку только его. Владимир Георгиевич—редактор газеты из родного города Андрея, Владимир Иванович—редактор из приозёрного посёлка, и вот теперь—Владимир Вениаминович. «В этом есть что-то особенное: мистическое или закономерное, или мистическо-закономерное»,—подумал Андрей.

До прихода в газету Владимир Вениаминович служил в милиции. Был следователем, оперуполномоченным и даже заместителем начальника райотдела. Дослужился до майора. Но всю свою сознательную жизнь был увлечён одной страстью: со школьных лет писал он заметки в газету, и когда однажды предложили ему по партийной линии место заместителя редактора районки, он, почти не раздумывая, согласился сменить пистолет на перо, а китель на пиджак. Заочно закончив факультет журналистики, быстро «пошёл в гору»: побыв два года в заместителях в одном районе, получил назначение в другой и вот уже более десяти лет руководил редакцией.

Брусовой домик, называемый всеми в редакции флигельком, размером три метра на четыре и более двух в высоту, с топчаном, небольшой печуркой, банками с краской, почти от пола до потолка наставленными по обе стороны окна и под окном, подшивками газет, уложенными стопками слева от двери и несколькими стопками под топчаном, на некоторое время стал домом Андрея; а большущий, словно вросший в пол стол в просторной комнате дома-редакции рядом с огромной русской печкой и тремя такими же столами напротив был определён его рабочим местом.

Кроме Андрея, в комнате-кабинете хозяевами столов были: корреспондент отдела писем грузный Василий—бывший сельский педагог, возрастом под сорок; заместитель редактора Юлия Викторовна, крашенная под блондинку сорокадвухлетняя дамочка, и её молодой двадцатипятилетний супруг Дима, числящийся фотокорреспондентом. За Димой было закреплено ещё одно рабочее место—комнатка-кладовка, называемая фотолабораторией, но ей он по прямому назначению не пользовался, а с разрешения редактора или заместительницы уходил проявлять плёнку и печатать фотографии домой. Вскоре Андрей через сотрудников газеты был посвящён в историю и узнал, что Юлия и Дмитрий нашли друг друга в далёкой от Сибири Псковской губернии. Они работали там в одной из газет, и однажды между опытной журналисткой, замужней женщиной, и молодым, начинающим корреспондентом случилось чудо необыкновенной любви. Чудо внезапной и безудержной страсти, заставившее влюблённых бежать от грозного Юлиного мужа в Сибирь, похитив при этом у любящего отца девятнадцатилетнюю дочь-студентку педагогического института и пятнадцатилетнего сына, мечтающего стать капитаном дальних морей. Правда, бежали Дима и Юлия с детьми не спонтанно—лишь бы бежать, а предварительно отыскав через журнал «Журналист» место, где не просто остро нуждались

в опытных корреспондентах, но и сразу давали приезжим жильё. Их приняли и подарили дом в центре села.

Андрею пришлось раза два бывать в гостях у Юлии и Димы. Их дом, построенный в стиле редакционного, был немногим меньше здания редакции. Юлия познакомила гостя со своими детьми, а Дима восторженно показывал ему свой кабинет, где стол и стулья были как бы выдвижной частью антресолей и легко задвигались за дверцу, когда хозяин превращал кабинет в мини-спортзал. Но особенно Дима гордился спальней. Там он соорудил двухъярусную выдвижную кровать, которую тоже прятал на день в антресолях.

Был Андрей с визитом и дома у Василия — охотника поразмышлять о литературе и журналистике «сегодняшнего дня» и охотника на диких животных. Как рассказывал сам Василий, он не раз встречал утреннюю зорьку «в засаде на марала», уходя с профессиональными добытчиками в тайгу. Василий не был обременён семьёй, жил в доме у матери — вдовы лесничего, погибшего от пули браконьера.

Несколько раз приглашали Андрея к себе «на обед» пожилые женщины из типографии, иногда снабжавшие его овощами со своих огородов: наборщицы Анна и Люся, линотипистка Настя, — но он отказывался, находя предлог. А вот от предложений более молодых отбиться ему было трудно. Особенно секретарши редакции Оли. Сразу понравившаяся Андрею Олечка оказалась замужем и часто приводила с собой в редакцию дочурку Ниночку, объясняя всем, что ребёнка опять не с кем оставить. Оля ко многому в жизни относилась легко, что было несвойственно большинству сельчанок. Всучив как-то Андрею в обеденный перерыв тяжёлые сумки с продуктами, она привела нового корреспондента домой, оставила на обед и познакомила с мужем Валерием — агрономом местного совхоза. Казалась без комплексов и числилась замужней и другая молодушка — линотипистка Лина. Не менее симпатичная, ровесница Ольги, Лина жила с мамой и имела трёхгодовалого сыночка Коленьку. На работу она его не приводила, но Андрею посчастливилось познакомиться с мальчиком у Лины дома. Лина как бы между делом рассказала Андрею, что муж её вот уже два года как отбывает уголовное наказание за хулиганство на стройках народного хозяйства. «На химии», — подчеркнула она и демонстративно заявила, что не ходить без него на дискотеки она ему не обещала. Про то что Лина «строила всем подряд глазки и флиртовала с заезжими корреспондентами», зачем-то Андрею сказала мать Лины Валентина Витальевна — одинокая женщина, молодость которой прошла в геологических партиях. Лина первой в редакции обратила внимание на то, что на людях Андрей и Ольга стараются друг на друга не смотреть, а при встречах и коротких общениях оба дышат отрывисто и тяжело. Чтобы дыхание корреспондента было всегда ровным, Лина решила переключить его внимание на себя, и как-то в конце рабочего дня она (опять как бы между делом) сказала Андрею, что у неё во дворе на летнем водопроводе не закрывается кран. Андрей оживился, сообщил Лине, что когда-то работал сантехником и что по кранам он специалист. Вечером они вместе пошли к дому Лины. Замена крана заняла минут десять, а вот знакомство с Валентиной Витальевной и Коленькой — гораздо больше. Лина пригласила гостя к ужину. Помимо борща, салата-винегрета, Валентина Витальевна выставила на стол ещё и трёхлитровую банку с бражкой. Полузабытый бражный запах перенёс мысли Андрея в родной город, дом деда и бабушки, а вернее, в «браневик», где дядька Игорь колдовал над флягой. В памяти всплыли картинки из бражных Игоревых застолий. «Как там сейчас дядька? Тяжело ему одному-то, без деда и бабушки…»

Брага оказалась не только хмельной, но и «дурной». «Дурная у нас брага — по башке как колотушкой бьёт. Это ещё муженёк мой, Линкин папаша, ставить научил. Корень один секретный, редкий у нас, в брагу добавлять надо и табак под бутыль ставить. С табаком брага у нас. В корне и табаке — вся дурость заключается, ну а в дрожжах, конечно, хмель…» — объясняла Валентина Витальевна. «Дурость», заключённая в бражке, не только дурила, но и, по ещё одному выражению Лининой матери, «отшибала местами память». И Андрей действительно лишь эпизодами вспоминал потом вечер у Лины.

Он хорошо помнил, что они втроём сели на кухне за стол, но почему скоро остались с Линой вдвоём, совсем сблизившись друг с другом, вспомнить не мог. Он помнил, как гладил Лине руку и что-то шептал ей на ушко. Что?! Не мог он вспомнить, когда снова появилась Валентина Витальевна, предложившая ему выпить ещё, и они пили с ней, но уже без Лины. Не помнил Андрей, и как, уже совсем опьяневший, прилёг на полу в комнате на любезно подстеленный для него матрас. Смутно припоминал, как отрывал голову от лежавшей на матрасе подушки и видел рядом на кровати спящую Лину и её сына… Однако хорошо запомнился ему громко-настойчивый стук в окно и печатник типографии Володя, тормошивший, а затем настойчиво тянущий его за собой. Чётко помнил Андрей одно: утро следующего дня он встретил в доме Володи-печатника, где бывал чаще, чем где-либо в райцентре.

То, что Володя-печатник «тот ещё кадр», как говорили многие, начиняя это слово иронической интонацией, Андрей убедился скоро — чуть ли не на второй день работы в редакции. «Кадр» Володя для Андрея стал ещё «кадром» без иронии,

потому что при первом удобном случае старался встрять между ним и Линой. Едва печатник замечал, что Андрей направляется в линотипную, Володя останавливал печатную машину и бежал следом. Находил он причину и выбегал из-за станка, если видел, что Лина проходит в комнату корреспондентов или выходит на крыльцо редакции. Вначале Андрей думал, что Володя-печатник сам положил глаз на Лину-линотипистку, но при первом же совместном застолье, за бутылочкой Володиной самогонки печатник сказал корреспонденту, что он знал Լининого мужа, и хотя тот недолго прожил в райцентре, он с ним был в приятельских отношениях, а потому считает своим долгом порадеть за честь друга. Несколько раз Андрей был свидетелем: Володя пытался что-то говорить Лине на тему морали и верности, но та, улыбаясь, только отмахивалась. Володя был лет на пять-семь старше Андрея и, было видно, считал себя по отношению к нему опытнее и мудрее в вопросах быта и нравственности. Володя первым обратился к Андрею по имени, написанному в редакционном документе,—Антон (чуть позже—Антоха), чем невольно способствовал быстрой адаптации Андрея в коллективе и привыканию его к новому имени. Вслед за Володей Антоном и Антошей назвала Андрея Ольга, потом Юлия, Дима, Василий и некоторые женщины типографии, что были постарше. На Антошу с первого дня знакомства перешла и Валентина Витальевна, а вот Лина на фамильярности не решалась и звала только Антоном.

То, что «кадр» и «моралист» Володя и корреспондент Антон стали почти приятелями, никого в редакции и типографии не удивило. Два одиноких мужика решили скрашивать одиночество вместе, и то, что один из них, имеющий свой дом, приглашал к себе на ночлег или в баню другого, жилья не имеющего, было вполне естественно и даже вызывало симпатию. Всё это было так по логике вещей, но было и нечто, о чём, наверное, никто даже и не догадывался, но именно это «нечто» и сделало близкое знакомство печатника и корреспондента очень уж скорым.

Володя трижды в неделю задерживался в типографии допоздна. Это были газетные дни и, как правило, напряжённые. В рабочее время газету печатать не успевали, и приходилось вечеровать. В такие дни редактор лично закрывал редакцию с центрального входа и оставлял открытой лишь типографскую дверь со двора. Андрей вечерами обычно выстукивал на пишущей машинке очередной свой рассказ. Первая неделя его работы и первые его газетные дни заканчивались с последним стуком печатного станка, Володя закрывал на ключ типографию и заносил ключ ему. А вот в начале второй недели, когда Андрей резво строчил не рассказ, а репортаж со строительства новой фермы в райцентровском совхозе, ещё довольно рано, явно не закончив печатать, Володя заглянул к нему во флигелёк.

— Хочешь талон на водку?—спросил он, усаживаясь на топчан рядом с Андреем.

— А что для этого нужно?

Лишние талоны в век дефицитов нужны всем, но Андрей понимал, что просто так их никто от себя не оторвёт и не отдаст.

— Нужно минут двадцать-тридцать постоять на крыльце и посмотреть, чтобы никто сюда не зашёл и не нагрянул в типографию, пока я там,—решительно сказал Володя.

— А если редактор пойдёт?—поинтересовался Андрей.

— А если Вениаминыч пойдёт, то ты так же, как со всеми другими, сюда идущими, поступишь: забежишь, предупредишь меня, а потом уже калитку откроешь,—снова уверенно ответил Володя и, поднявшись, кивнул Андрею на выход, понимая, что тот уже согласен.

Андрей вышел следом за печатником, поднялся на крыльцо типографии. Володя подошёл к высокой калитке, убедился, что она закрыта снаружи, и перед тем, как скрыться в типографии, сказал:

— Как не надо уже будет—я выйду, скажу.

Он вышел минут через пятнадцать, протянул Андрею талон, давая понять, что тот свободен.

Андрей ушёл к себе—дописывать репортаж, а Володя, уже без охраны, ещё примерно час печатал газету.

На другой день, купив водки в единственном в селе специализированном водочном магазине, Андрей подошёл к Володе и предложил тому заглянуть к нему во флигелёк после работы. Володя заглянул, но от предложения Андрея выпить по стаканчику у него во флигельке отказался и пригласил корреспондента к себе.

— У тебя тут, кроме огурцов, ни хрена из жратвы нет, а я хоть от тётки что принесу, поужинаем как надо,—прокомментировал печатник своё предложение.

Так Андрей впервые попал к Володе, в первый раз напившись в новом для себя месте, и в первый же раз ночевал не во флигельке. Володя жил в доме покойной матери, напротив тётки, по имени Лиза, подкармливавшей племянника и следившей за сохранностью дома и имущества. Во дворе Володиного дома была баня, и когда Володя приглашал Андрея попариться и тот поддавал пару на каменку и забирался на полок, то воспоминания о бане в приозёрном посёлке и Марине, умело парившей его двумя вениками сразу, словно переменные потоки горячей и холодной воды, выливались на него. Баня Володи, в отличие от приозёровской, много пару не давала, да и Володя был не большим любителем парилки, а потому Андрей хлестал себя веничком сам, предаваясь воспоминаниям

и мечтаниям. Думы же и мечты его были больше с горчинкой. Ни дня и, казалось, даже ни одного часа не было, чтобы он не думал о своём будущем. Если точнее, то своё ближайшее будущее он представлял смутно, с ужасом осознавая, что всё больше и больше входит в новую роль корреспондента Антона Костровского и привыкает к новым людям, а люди привыкают к нему. Почему судьба привела его на этом этапе жизни в это село и в эту редакцию? Почему именно в определённый кем-то час, в нужную минуту он предстал перед Владимиром Вениаминовичем Ерохиным, с первого взгляда поверившим в него? Наверняка не случайно и наверняка для новых испытаний. И он мысленно к испытаниям себя готовил. Вещи из сумки старался все не вытаскивать и держать саму сумку наготове: в случае чего — раз, и в путь-дорожку. Иногда Андрей думал, что, будь его воля, он бы ни в какую уже путь-дорожку не стремился, а взял бы да и остался жить здесь. Привёз бы сюда Саньку, а может быть, и мать, чтобы жила недалеко от сестры. Конечно же, он бы вернул себе своё настоящее имя… Имя надо возвращать, игра начинает затягиваться. Но как это сделать? Как выкрутиться ему теперь? Признаться во лжи?.. А в какой, собственно, лжи? Он подписал однажды материал псевдонимом, а подпись посчитали его настоящим именем и оформили на это имя приказ… В чём же его-то вина? Выходит, ни в чём… Но ведь он мог остановить редактора, сказать ему настоящее имя, но не остановил, не сказал… Всё так как-то даже непроизвольно запуталось и продолжает запутываться… В сентябре надо будет либо предъявить редактору документы, либо…

В сентябре должно всё раскрыться. А если раскроется, то как он потом посмотрит в глаза Вениаминычу, Володе, Ольге, Лине? А если возьмёт и не посмотрит, а просто уедет, как будто за документами, и не вернётся? Скорее всего, так и будет. Но что они, а ещё Юлия, Дима, Василий и все остальные, подумают о нём? А какое ему дело? Пусть думают что хотят. От таких мыслей Андрею было не по себе и хотелось выпить и забыться. И он шёл к Володе.

В ближайший выходной, после первой ночёвки у него Андрея Володя затопил баню и пригласил нового приятеля.

— Давай-ка жахнем с тобой по рюмочке, — предложил хозяин гостю, закрыв за ним ворота на засов, а дверь в сенях на крючок. — Разговор интересный есть.

Они «жахнули» по рюмочке из уже початой бутылки водки, и Володя, видимо, хлебнувший граммов сто пятьдесят до прихода Андрея, достал из-за печки два свёрнутых в трубочку и вложенных один в один бумажных листа. Убрав со стола бутылку, он развернул листы, как полководец разворачивает карту, разрабатывая тактику и стратегию предстоящего боя. Листы эти тоже в определённой мере имели тактическое и даже стратегическое значение. Ибо были они талонами на водку и сахар.

— Я вижу: тебе доверять можно, — сказал Володя, глядя Андрею в глаза.

И хотя говорил он вроде бы уверенно, Андрей почувствовал в интонации нотки волнения.

— Доверяй. Я сто процентов тебя сдавать не буду, но если предложишь торговать талонами у винополки, то не надейся, не стану, — улыбнулся в глаза приятелю Андрей.

— Да подожди ты! — Володя оживился ещё больше, тревожные нотки в голосе пропали. — Я знал, что ты парень надёжный. Послушай меня. Талоны печатают у нас в типографии. Редактор мне не доверяет, приглашает для этого раз в месяц одну бабульку — бывшую печатницу. Они тогда выгоняют всех не только из цеха печати, но и со всей типографии, закрываются и штампуют талоны на маленькой тигельной машине. Печатают в присутствии депутата и милиционера. Это «комиссия» у них называется. Потом считают талоны и, согласно заявке сельсовета, выдают нужное количество, а лишние уничтожают. Заметь, печатают каждый раз на разного цвета бумаге. Редактор прячет набранный шрифт в сейф типографский, а у меня есть дубликат этого ключа. Я не собираюсь подрывать экономику района. Я достаю готовую форму и всего на пару раз включаю тигель. Пять минут делов — и десять-двадцать талонов у меня есть. Всего-то на ящик водки. Это притом, что денюжки я-то свои плачу за бутылки. Талоны же денежной ценности не имеют. Правда же?

— Не имеют, — согласился Андрей.

— Ага! Значит, я никакого преступления не совершаю! — Володя потёр руки и перевернул листы на другую сторону, отмеченную синими квадратными штампиками, — Другое дело, если сельсоветовский штамп подделать. Вот тут можно уже что-то предъявить…

Печатник-кустарь сделал паузу, очевидно, ожидая увидеть на лице штатного корреспондента газеты удивление, но прочёл лишь любопытство.

— Я уговорил Настю-линотипистку, и она мне несколько строчек на линотипе отлила, я скрутил их изолентой — штампик получился.

— Ну ты и жучара! — засмеялся Андрей.

— Да оно всё нормально получалось, — сверкая зрачками, продолжал Володя. — На сахар вообще проблем нет, я по десятку талонов бабулькам сбываю, за брагу в основном. А с водочными — ещё тут есть, кто мухлюет. Ещё до тебя к нам участковый приходил в редакцию, говорил, что пятьдесят почти талонов лишних насчитали и следы, скорее всего, в типографию ведут, потому что сколько они там с нашим редактором цвет бумаги ни меняют, талоны лишние на какой надо идут. Но я столько и не делал. Потом выяснилось: пожарники

с поддельными талонами попались. Я успокоился было, но позавчера приехал паренёк с деревни, я ему талончик отдал из новой партейки, он зашёл в магазин, а вышел оттуда с участковым. У нас же тут своя мафия есть: мама работает продавцом, а сынок участковым милиционером. Чуть что—звоночек, и милиция тут как тут. Хорошо, паренёк сообразил, не сдал меня: говорит, какой-то мужик ему талон продал. Ну, его подержали немного в ментовке и выпустили. А я взял вчера настоящий талон и сравнил со своим. Оказывается, сельсовет наш немного штампик изменил: верхняя строка там теперь подчёркнута, а на моём нет…

— И что теперь? Новый штамп делать?—Андрей глянул на замолчавшего Володю, соображая, зачем тот рассказал ему про талоны.

— Новый не надо,—Володя сел на стул, поставил на стол бутылку.—Надо чёрточки на каждом талоне проставить. Лезвием. Макать остриём в чернила и на талоны ставить. Я бы один справился, но мне сегодня бабке одной нужно отдать десять талонов на сахар и два на водку, в обмен на флягу с брагой. Я подумал, что один флягу не унесу, тебя брать с собой надо, а там, при тебе, всё равно талонами рассчитываться. Какой смысл скрывать?

— В общем, я с сегодняшнего дня становлюсь твоим соучастником и погружаюсь по самую ватерлинию…—произнёс Андрей, разливая водку по рюмкам.

— Что?—не понял его Володя.

— Да ничего. Я о своём,—сказал Андрей, силясь вспомнить, который уже раз за последнее время он совершает поступки, идущие вразрез с уголовным кодексом.

И уже примерно через два часа после признания печатника Володи они шли с проштампованными талонами в другой конец села, а потом обратно, неся с собой брагу в эмалированных десятилитровых вёдрах. Баня была с брагой. Брага стояла в предбаннике, друзья выходили из парилки, черпали ковшом и жадно пили, а потом снова поддавали пару. Володя первым сошёл с дистанции, лёг в предбаннике и пил уже мелкими глотками и с остановкой, а Андрей держался часа два.

Баня повторялась еженедельно, а то и по два раза в неделю. И неуклонно приближался и наконец подошёл сентябрь, прекративший и бани, и выпивки, и работу Андрея в редакции, заставивший его срочно отправиться в новый путь. И снова Небесный Игрок переставил фигурки, и снова судьба Андрея сделала вираж, и какой! Крутой, оторвав его от, казалось, уже насиженного им места. Оторвав с корнем, с мясом, по живому.

Первого сентября Андрей готовился к разговору с редактором, и редактор действительно за час до начала рабочего дня постучался во флигелёк.

— Что у тебя там?—спросил Вениаминыч, переступая порог с лицом, напоминавшим солнышко на закате, показывая на подоконник и трёхлитровую банку на нём.

— Вода…—ответил Андрей нерешительно.

Владимир Вениаминович же, наоборот, очень решительно прошёл к окну, взял банку и отпил приличное количество жидкости.

— Живёшь в деревне и не можешь редактору самогонки привезти…—посетовал он, поставив банку обратно и, не говоря больше ничего, вышел.

В течение дня редактор ещё дважды проходил мимо Андрея, но на разговор так и не позвал. Судьба Андрея, тем не менее, решилась без него и в тот же день, а вернее, вечер. А если точнее—ближе к ночи. Часов в семь вечера Андрей, закрыв флигелёк, пошёл к Володе. День был не газетный, и Володя ушёл с работы раньше. Володя сидел на скамейке возле ворот дома не один, а в компании двух молодых парней и совсем юной девчушки. Между ними стояла отпитая примерно наполовину трёхлитровая банка с бражкой. Володя представил молодым людям Андрея, те в ответ назвали свои имена, которые Андрей тут же забыл, ибо почти сразу выпил один за другим два стакана крепкого напитка и в голове у него зашумело. После третьего причастия ему стало совсем хорошо, он о чём-то восторженно заговорил с Володей и не заметил, как девчушка и парни ушли. Когда банка была допита и Володя намекнул на добавку, уже захмелевший Андрей стал отказываться, нацеливаясь пойти в редакцию, пояснив приятелю, что ему завтра надо быть на работе свежее только что сорванного с грядки огурчика. Володя напомнил, что ему тоже завтра на работу. Однако Андрей на уговоры не поддался, протянул руку Володе для прощания, намереваясь сейчас же уйти, но Володя руку его отстранил.

— Я… это… Я туда молодняков ночевать направил…—сказал виновато Володя.

— Куда?—не сразу понял Андрей.

— К тебе во флигелёк. Думал, ты у меня останешься, а они пусть там…

— Да ты чё? Мне Вениаминыч строго запретил кого-то туда приводить!—возмутился Андрей.—Мой брат из деревни приезжал, так я его только на пять минут туда завёл… И всё! Там же краска, газеты, а они закурят, спалят домик! Ты чё, дружбан? Их трое, а топчан там один…

— Да поместятся как-нибудь,—несмело оправдывался Володя.—Это с материной деревни ребята, я им несколько раз талоны давал…

— Ну и оставил бы их у себя, если им ночевать негде!—продолжал возмущаться Андрей.

— Они молодые, им скакать всю ночь надо. Это или мне из дому уходить, или…

— Да в баню бы их отправил ночевать, и всё! Не флигель же в бордель превращать!

Андрей от возмущения махал руками, плевался, подбоченивался, не находя больше слов.

Тяжело вздохнув, он сунул руку в карман брюк и нащупал ключ.
— Стоп!—осенило его.—Ключ-то у меня! Как они во флигель попадут?
— Я им свой ключ дал. У меня есть. Я сделал дубликат ещё до тебя, когда там фотокорреспондент один жил… Линка к нему бегала, а я не давал ей в грех впасть…
— Да ну вас!..—махнул Андрей.—Собирайся, пошли со мной! Забирай своих молодняков или отправляй их сюда, а сам у меня останешься. На полу, на газетах поспишь, газетами укроешься.
— Подожди,—сказал спокойно Володя.—Сейчас пойдём… Я ещё в баночку бражки налью, с собой возьмём.

Володя потянул Андрея в дом, налил в банку браги, выпил ещё стаканчик и предложил Андрею. Андрей выпил, и приятели пошли к редакции. Чувство тревоги и гнев возмущения, напавшие, было, на Андрея, стали затихать и, наверное, затихли бы за очередным стаканчиком браги во флигельке, но не затихли, а наслоились на новое, более острое чувство. Чувство это возникло, когда приятели стали подходить к редакции, и набрало силу, едва они вошли во двор. Несмотря на то, что на улице темнело, они ещё издали увидели у забора мотоцикл «Урал» участкового Тараскина. Во дворе слышались разговоры. Двери флигелька были открыты, а у крыльца рядом с Тараскиным стояла заведующая расположенной рядом с редакцией гостиницы. Ещё двое незнакомых мужчин ходили в глубине двора.
— Вот и они!—увидев их, воскликнула заведующая гостиницей.

Андрей с Володей застыли у калитки.
— Проходите, проходите, мы вас ждём!—пригласил участковый.—Вы кто будете?
— Я… Я живу здесь…—промямлил Андрей.

Упавший на него страх сковал его движения.
— Хорошо. Документы есть?
— Есть, но… Паспорт у меня в деревне…—Андрей медленно подходил к двери флигеля, за ним Володя.
— А что здесь произошло? Вы в курсе?—подступил к ним ближе майор Тараскин.
— Да мы только пришли… У меня были…—попробовал вступить в разговор Володя.
— Тебя пока не спрашиваю,—оборвал его участковый, глядя на Андрея.—Так что тут было?
— Я… Я закрыл флигель и пошёл к нему…—Андрей показал на Володю.
— Давно пошёл?
— Да часа три уже назад…
— Ключи никому не давал?

Андрей посмотрел на Володю, потом сунул руку в карман брюк, достал ключ и протянул участковому.
— Вот ключ… Мой…
— А чё тут?..—спросил Володя.
— Человека убивали, вот что! Пока вы, друзья, где-то гуляли…—проговорил Тараскин.
— Девчонка в окно нагишом выскочила, раму сломала, стёкла разбила… Вся в крови и в стёклах, ко мне в гостиницу ворвалась…—сказала заведующая гостиницы.—Я вызвала скорую и участковому позвонила. Тут ещё парнишку видели, через забор перелезал…
— Так, иди сюда,—сказал участковый Андрею.—Зайди в домик и посмотри: ничего там не пропало?

Андрей заглянул в освещённый лампочкой флигель. Окно его было разбито, поломанные переплёты, осколки стекла лежали на полу и топчане. Пол, стёкла, подоконник и банки с красками были в каплях крови. Постель на топчане сбита, на табуретке в углу—бутылка с недопитой брагой, стакан, сало и хлеб на газетке.
— Вроде ничего…—посмотрев на участкового, сказал Андрей.
— Бутылка твоя?—спросил Тараскин.
— Нет…
— Коля,—позвал участковый одного из мужиков.—Бутылку возьми аккуратненько—будем отпечаточки смотреть… И стаканчик прихвати…
— Стаканчик мой…—сказал Андрей.
— Ничего, разберёмся. Потом вернём…

Участковый Тараскин сделал несколько записей в свою общую тетрадь.
— Значит так, слушай сюда,—обратился он к Андрею,—сейчас бери кое-что из своих вещей и иди ночевать к нему,—он показал на Володю,—здесь ничего трогать не будем. Дверь закроешь, а утром, к восьми ноль-ноль, вы оба, с документами, ко мне в отделение. Я вызову редактора, пока ему звонить не буду, пусть поспит спокойно ночку. А завтра сюда придёт следователь. Понятно вам?
— Понятно,—сказал Андрей, забирая свою всегда готовую к походу сумку с вещами.—Только вот замка нигде нет… Как закрывать?
— Ну, без замка закрывай. Я попрошу дежурных милиционеров, они подскочат ночью, посмотрят здесь,—участковый сам выключил свет во флигеле, дождался, пока Андрей закроет дверь, и, сопровождая приятелей, заведующую гостиницей и двух мужиков (как понял Андрей, милиционеров в гражданском), вышел последним из ограды редакции.
— Жду вас утром…—напомнил Тараскин за оградой.

Страх, напавший на Андрея, немного отступил, но не уходил совсем. Он был близок к разоблачению, он стоял рядом с угрозой быть задержанным милицией и посаженным, в лучшем случае, в изолятор временного содержания, а в худшем… Сегодня пронесло, а завтра уже не получится. Завтра он ждать не будет. Завтра он уедет утренним автобусом. Самым ранним, в областной центр.

— Ты прости, братан, я не думал, что эти малолетки такие дурные,— сказал виновато Володя, когда они пришли к нему.— Они, видать, напились и к девке приставать стали…
— А чё они стали-то? Они же с одной деревни, как ты говорил…

Андрей старался быть спокойным и не винить Володю. Что должно было случиться — случилось. Время его пребывания здесь отсчитывало последние часы.
— Это парни с деревни нашей, а девчонка я не знаю откуда. Где они её подцепили?
— Ладно,— сказал Андрей.— Поставь будильник на пять часов. Спать будем…
— А зачем на пять?— удивился Володя.— Ты чё задумал?
— Поеду я шестичасовым автобусом…
— Да ты чё? Не сходи с ума. Тебя никто не подозревает даже. Допросят завтра, и всё, а то, что малолетки во флигеле были, так это я на себя возьму и перед Вениаминычем отвечу… Так что не дури…
— Нет, Вова, нельзя мне в милицию…— Андрей присел на кровать.— Заметут меня. У меня документов-то никаких нет. Редактор меня под честное слово принял. Не хочу его подставлять… Ты пойдёшь утром и скажешь, что я поехал в деревню за паспортом. Они пока там туда-сюда, я уже далеко буду…
— Далеко не уйдёшь,— возразил Володя, наливая себе браги.— Если надо, то они сообщат по пути следования автобуса всем ментам, и тебя с автобуса снимут.
— Откуда они будут знать, на каком я автобусе поехал, если ты не скажешь?.. А потом, не такой уж я и грозный преступник, чтобы из-за меня всю областную милицию поднимать. Сам же говоришь, что меня ни в чём не подозревают…
— Ну, как хочешь,— перестал спорить Володя. Было видно: слова Андрея задели его самолюбие.— Только не ходи утром на автостанцию, иди к заправке, утром народу мало в автобусе бывает, и он подбирает всех по пути.

Андрей не заснул ни на минуту. Звонка на будильнике ждать не стал. Встал раньше пяти, умылся, толкнул спавшего крепко после выпитой браги Володю.
— Ну я пошёл… — сказал он.
— Давай,— Володя присел, пожал Андрею руку.— Жалко, что всё так… Ты пиши…

Андрей кивнул и вышел. Автобус подобрал его и ещё одного пассажира на автозаправке. Кроме них, в салоне было около десятка пассажиров. Андрей купил билет у водителя до областного центра, но когда автобус сделал остановку на паромной переправе, вспомнив предупреждение Володи о возможном его перехвате милицией на пути следования, вышел, решив добираться паромом. Через два часа он был уже на другом берегу искусственного моря, а ещё через полтора — на станции, где и купил билет на проходящий поезд. В областной центр он добрался, когда рейсовый автобус был ещё на полпути. Выиграл во времени, хотя понёс незапланированные траты.

Андрей поехал к Никифору. За два месяца он отправил другу одно письмо и одно получил в ответ, на деревенский адрес. Письмо привозил ему Олег. Коля-Никифор писал, что рад удачному трудоустройству Андрея, и если всё будет в норме, то он обязательно выберется, приедет погостить; ну а если же возникнут проблемы, то он ждёт его, как и договаривались, в сентябре.

И вот сентябрь набрал ход, и у Андрея появились проблемы. Как оказалось, не только у него. У Никифора тоже. Его сын и невестка попали в серьёзную автомобильную аварию, и на момент появления Андрея у друга они вторую неделю с травмами рук и ног находились больнице. Коля-Никифор сильно переживал, вся забота о внучке была теперь только на нём.
— Как назло, Андрюха, всё получается. Не смог я к тебе в райские озёровские места приехать, когда ты там жил, не было времени побывать у тебя в блаженных краях на искусственном море, не смогу и теперь вместе с тобой открыть новый для себя мир — отправиться в хадж к нашему общему другу славянину Константину.
— К Константину?!
— Да, к нашему общему другу по невольным годам. Он мне письмо год назад прислал и пригласил в гости. Он тут, не так далеко, обосновался теперь со своей общиной, в Западной Сибири, в краю, что они Беловодьем называют. Он тебе привет передавал и пригласил нас обоих. Я тебя летом не стал сбивать — думал, вместе поедем. А вот видишь как… Мы бы за день-полтора до него бы добрались. Адрес есть. Теперь придётся тебе одному…
— А что я там буду делать?— спросил Андрей.— Константин — человек своеобразный, конечно, упёртый в своём деле. Конечно, интересно было бы у него погостить, но погрузиться в его мир, жить в общине я пока не готов…
— Вот именно — погостить!— воскликнул Никифор.— Погрузиться, но не с головой. Тебе, как писателю, погрузиться чуток не помешает. Даже надо, обязательно! Тем более сейчас у тебя выбор невелик. Поезжай, развейся, а там прямая или кривая куда-нибудь всё равно выведет…

Андрею нечего было возразить другу. Он снова переночевал у Никифора в его маленькой комнатке, куда снова прибегала внучка Яночка, с интересом глядела на Андрея и просила дедушку Колю почитать ей книжку. И снова Коля-Никифор провожал Андрея, теперь уже на железнодорожный

вокзал, где тоже было кафе и были традиционные позы.

И снова поехал Андрей в другую жизнь, в другие, неведомые ещё ему места Родины. А время, как бы сжатое до того и идущее не так торопливо, вдруг разжало свою пружину, а может, Небесный Игрок подкрутил вперёд стрелки…

Время полетело с какой-то новой для Андрея скоростью. Рассветы замелькали калейдоскопом, дни побежали, как свора гончих. Вечера, правда, иногда словно застывали, словно давали возможность поразмыслить, оценить происходящее. А ночи… Ночи будто бы играли с ним: то летели едва заметным потоком, то растягивались на неторопливые часы, на продолжительные минуты, на долгие мгновения…

Память сохранила только избранное.

Золотой, багряный, хрустальный тёплый осенний день на незнакомой станции, где его встречал бородатый мужик с волосами до плеч, в котором он с трудом узнал Константина. Долгие, приятные, познавательные разговоры с Константином и его друзьями из общины. Конечно же, баня по-чёрному! Протопленная как надо, выстоявшаяся. Её Андрею не забыть до конца жизни! Как не забыть в целом его погружения в славянский мир. Именно погружение, ибо жить в том мире Андрей действительно был не готов. Многое он принимал как игру, не придавая большого значения обычаям и словам. Это понимал и Константин и не настаивал. «Родовая память твоя, доселе дремавшая, всё равно теперь проснулась, зашевелилась, и общение с нами обязательно отложит отпечаток на многие твои поступки…» — говорил он. Ближе к ноябрю Константин отвёз гостя в районный центр, определил на постой к пожилой женщине по имени Прасковья, а Андрей, согласно продуманному им плану, пока не дающему сбоя, устроился в редакцию местной газеты. Временно, с испытательным сроком, под настоящим своим именем. Немногословная Прасковья кормила постояльца такими борщами, щами и супами, каких он в жизни до того не едал и какие могли сравниться по вкусу разве что с бабушкиными пельмешками. Там, у Прасковьи, за поеданием борща и увидела его однажды лёгкая как пушинка Маргаритка. Маргаритка интересовалась славянской культурой, была дальней родственницей Прасковьи и через неё общалась с людьми старой веры. С первого взгляда она напомнила Андрею Марину. Не внешностью, а поведением: манерой быстро знакомиться и быстро принимать решения. Маргаритка, как и Марина, работала «в культуре» — в районном дк, пела в фольклорной группе, читала стихи местных поэтов на местном радио и была увлекающимся человеком. Очень увлекающимся. Прасковья познакомила её с Андреем, посадила рядом, налила борща и, оставив ненадолго, ушла по своим делам. Этого недолгого времени оказалось достаточно для того, чтобы они вместе встали из-за стола и вместе вышли из дому. Вернулись они тоже вместе, но уже на другой день и только для того, чтобы забрать вещи Андрея и перенести их через улицу, в дом Маргаритки.

Полгода жизни с Маргариткой промелькнули как мгновение. В её квартире с двумя роялями, баяном, музыкальным центром и несколькими магнитофонами музыка и песни звучали едва ли не круглосуточно. Соседи хорошо знали её привычки и смирились с «беспокойной музыкантшей». Смирился и Андрей с тем, что в доме всегда играла музыка, с раннего утра и до полуночи заходили разные люди, репетировали, говорили о концертах прошлых и будущих. Андрей всё больше и больше находил общего у Маргаритки с Мариной. Он не удивлялся: уже давно был уверен, что все люди распределены на Земле по категориям, их душевные порывы вырываются в определённую плоскость, соединяются на определённой эфирной волне с другими порывами других людских душ и притягивают друг к другу людей, порой внешне, кажется, совсем непохожих и разных. И он, и Марина, и Маргаритка, и Никифор, и, наверное, Володя-печатник, и Оля-секретарша, и даже редактор Костыля, видимо, выплёскивали свои порывы на одной волне, а потому и встретились в своё время и сблизились. С Маргариткой, без сомнения, Андрей точно был на одной волне. Все полгода у них были бархатные отношения, полное понимание и ни одной ссоры. Она даже заставила Андрея сделать то, что он никогда до того не делал: спеть публично. И хотя эта публичность не выходила из-за пределов Маргариткиной квартиры, но человек десять-двенадцать стали свидетелями, как Андрей и Маргаритка пели под музыку: «Мы эхо, мы долгое эхо друг друга…» Дважды они ездили в общину Константина, участвовали в славянских обрядах, очищались у огня, прыгая через костёр.

Расставание их не было стремительным, но оно случилось. Видимо, Небесный Игрок вновь решил переставить фигуры. Дважды подписав Андрею приказ о временном приёме на работу, местный редактор в третий раз сделать это не решился, и Андрей поехал в соседний район, куда его давно звал тамошний заместитель редактора и где местная газета напечатала несколько его рассказов. Андрей бы ещё раньше уехал туда, там коллектив редакции был интереснее, при редакции работал литературный клуб, но Маргаритка…

Естественно, популярная в районе, она не хотела ничего менять в своей жизни, тем более местожительство. Она на удивление спокойно отнеслась к сообщению Андрея:

— Ничего страшного. Будем немного реже видеться. Ты по выходным будешь приезжать сюда, а я в будни к тебе на гастроли.

И первое время Андрей действительно каждый выходной ездил к Маргаритке, а один раз она со своей группой приезжала с концертом к нему в райцентр. Но, видимо, порывы души взаимодействуют на одной волне лишь на малом расстоянии, а на большом, не достигая друг друга, медленно затухают. За последующие полгода порывы их были всё реже, а встречи становились холоднее. Однажды Маргаритка позвонила ему посреди недели и попросила пока к ней не приезжать. «Надо кое-что мне осмыслить. Я тебе позвоню…» Он ждал звонка, но она не позвонила.

В другом райцентре Андрей жил на квартире матери заместителя редактора по имени Сергей Александрович. Александрыч был его ровесником, всячески поддерживал литературную жизнь в районе и практически руководил газетой. Редактор давал ему «зелёный свет», потому как часто болел или, того хуже, уходил на неделю-две в запой. Трижды Сергей Александрович принимал Андрея на работу с трёхмесячным испытательным сроком, каждый раз качая при этом головой и приговаривая: «Надо, надо как-то, Андрей Николаевич, заканчивать нам с твоей нелегальщиной… Не то, чую, влетит нам всем…» Видимо, причитания его были услышаны, и Небесный Игрок вновь передвинул фигуры…

В конце марта в редакцию пришло сообщение, что краевой Дом литераторов проводит семинар по прозе и поэзии среди литературных объединений городов и районов. И Андрей вместе с одарённым, но безработным, молодым, но уже женатым поэтом Вадимом был отправлен Александрычем представлять их литературный клуб. Начинавшаяся восторженно, плодотворно продолжившаяся, их поездка закончилась для обоих не совсем хорошо, а для Андрея плачевно. Познакомившись с интересными литераторами, настоящими писателями, набрав материала для газеты и вручив свои опусы для публикаций в коллективном сборнике, они приняли участие в коллективной попойке, изрядно поддали и вместо того, чтобы прилечь и поспать до утра в гостинице Дома литераторов, во втором часу ночи вызвали такси и поехали на вокзал, чтобы сесть на утренний поезд. Несколько новых друзей-литераторов вызвались их провожать. По пути литераторы купили у таксиста водки, добавили на старые дрожжи и начали горланить песни прямо в зале ожидания вокзала. Но спевку провести им не дал наряд милиции, доставивший всех писателей и поэтов в вытрезвитель. Писатели и поэты возмущались, кричали, что непременно должны уехать на поезде в 5:39. Им пообещали, что уедут непременно, но раздели и рассадили по камерам. Милиционеры сдержали слово: в начале шестого всех подняли, дали возможность одеться и стали выводить по одному к дежурному офицеру. Офицер шустро записывал паспортные данные, домашний адрес и место работы, а затем отпускал. Он отпустил всех, кроме Андрея. Паспорта у него не было, называть другое имя и фамилию было бесполезно, друзья выкрикивали его по настоящей фамилии. Дежурный офицер сделал запрос и через пятнадцать минут, со словами: «Ой, дорогой! А тебя сразу два райотдела из одной области в розыск по всему Союзу объявили. Попался птенчик»,— снова закрыл его в камере. На этот раз одного.

Утром за Андреем приехали из спецприёмника. Почти месяц он пробыл среди людей, чьи личности устанавливали, а потом за ним приехали двое из районного центра, где жил при редакции во флигеле. В одном из них он узнал человека, что был с участковым Тараскиным во дворе редакции, когда молодячка сиганула от своих дружков в закрытое окно флигеля. Андрея приезжие приняли под роспись, надели на него наручники и повезли сначала в такси, а потом на поезде и автобусе обратно в то место, где жили редактор Ерохин, Юлия и Дмитрий, Оля, Лина, Володя-печатник и другие. Путешествие заняло почти двое суток. В поезде, на вокзалах и автобусе Андрей спал и сидел, пристёгнутый наручниками к полкам и сиденьям, и проходящие мимо и сидящие рядом смотрели на него как на отпетого преступника. А он всю дорогу думал, за что ему такая честь и что собираются предъявить ему в вину: причастность к делу по молодячке или содействие в изготовлении и сбыте фальшивых талонов. Но ему сразу ничего не предъявили. Даже следователя. Заместитель начальника райотдела милиции объявил, что, согласно закону, они имеют право на время следствия держать его под арестом до трёх месяцев в следственном изоляторе, и на другой день его отправили по этапу в областную тюрьму. Это было уже серьёзно. Снова ясно вспомнилось всё, что казалось уже забытым. Всё снова было наяву: камера, нары, решётка, тюремный жаргон, толстые стены. По толстым, почти двухметровым стенам перестукивались круглосуточно, их долбили и пробивали припрятанными трубами, дыры маскировали и запускали по ним «коней». Это он запомнил очень хорошо. Как и лица бедолаг, томившихся и ожидающих своей участи. Запомнил хорошо и один из многих тюремных дней. А именно — девятое мая, День Победы, когда пьяные охранники-дубаки вывели их всех из камеры в коридор, построили в колонну по одному и заставили бежать с одного конца длинного коридора в другой, подгоняя отстающих резиновыми дубинками. Так резвились ребята в светлый для страны день. За полтора тюремных месяца Андрей передумал о многом, и не было, наверное, дня, чтобы не молил он силы небесные, Небесного Игрока

передвинуть так фигуры, чтобы не лишать его больше свободы. Ведь жизнь так коротка, а сделать ему надо очень много. Стать хотя бы писателем и написать роман века. Услышал ли Небесный Игрок его молитвы, или знал он уже заранее, что будет, но натянутые путы на руках Андрея вдруг ослабли. Его вызвали на этап, привезли обратно в райцентр и показали молодому следователю. С первого взгляда на допросе Андрей понял, что у молодого лейтенанта ничего на него нет. Тот без особого успеха попытался сбить с толку Андрея и признаться в том, чего он не делал. Речь шла о деле малолеток во флигеле. Как понял Андрей, парни были ещё в бегах, девчонка фамилий их не знала, а может, и знала, но не говорила. Во всяком случае, про то, что Володя-печатник угощал их брагой, она не сказала, потому как Володя был «не при делах» и тоже никого не сдал, потому что был в стороне. Андрей это понял и рассказал лейтенанту, как и при каких обстоятельствах он узнал о том, что во флигеле произошли события, к которым он не имеет никакого отношения.
— А зачем вы незнакомым людям ключи от флигеля отдали? — спросил лейтенант скучающим голосом.
— А я их никому не давал. Я их по первому требования участковому предъявил.
— А зачем тогда побежали, не пришли к следователю на другой день?
— А не захотел, чтобы вы в моей жизни копались, взял и побежал.
— Потому что за вами ещё дело числилось, тянулось с родного города? Так?
— С родного города тянулось только то, что перестал ходить на отметку в милицию. Свободы захотел.
— А если мы вас им передадим?
— Да передавайте, хоть за ваш счёт домой съезжу. Давно не был.

Андрей предполагал, что следователь спросит его, почему он жил под вымышленной фамилией, но он не спросил. Через три дня Андрея выпустили под подписку о невыезде, а ещё через неделю выдали новый паспорт.

В редакцию Андрей не ходил, ожидая исход дела. Ездил к братьям в деревню, жил у Володи, и хотел он этого или нет, но в маленьком населённом пункте нельзя было ходить среди белого дня по улицам и не встретиться со знакомыми. И Андрей встретился и с Ольгой, и с Линой, и с Юлией и Димой. А Владимир Вениаминыч сам пришёл к Володе домой и коротко спросил:
— Зачем обманываешь?
— Но вы бы, узнав, что я судим, не приняли бы на работу, — отреагировал Андрей.
— Принял бы! — воскликнул редактор. — Сказал бы тихонько мне, и я бы принял! Не таких ещё принимал!

Что хотел сказать бывший милиционер, произнося «не таких ещё», Андрей выяснять не стал, а задал ещё вопрос, лобовой:
— А сейчас примете?

Здоровенный мужик, с большими лопатными руками, был срезан напрочь. Он закашлялся, тяжело задышал:
— Я бы принял… Вакансия есть… Володя вот знает… Но я обещал одному парню, он приехать вот-вот должен…
— Понятно, понятно… — подбодрил его Андрей.

Ему было естественно и понятно переменившееся отношение к нему всех остальных работников редакции и типографии. Некоторые старались не общаться с ним, другие многозначительно улыбались. Казалось, только Володя и Василий были с ним естественны, как и раньше. Юлия многозначительно улыбалась, ничего не говоря, Оля и Лина… Видимо, порывы души действительно находят друг друга только вблизи.

Всё, что окружало здесь Андрея, теперь представлялось ему далёким прошлым. И Ольга, и Лина, и Вениаминыч, и даже Володя. Оля родила ещё одну девочку, Лина дождалась мужа, Юля и Дима после нескольких лет раздумий зарегистрировали свои отношения, а Василий приболел и перестал ходить в тайгу «на марала». Многое что изменилось в жизни знакомых Андрею людей за его отсутствие, изменился и он. Теперь его душа рвалась туда, откуда его привезли, — в Западную Сибирь, к литературному клубу, к Александровичу, которому он теперь мог предъявить документы. Он ещё надеялся наладить отношения с Маргариткой, перевезти её туда, привезти Саньку. Он мечтал о том дне, когда ему разрешат наконец уехать, и молил об этом Небесного Игрока. Но Небесный Игрок не торопился делать следующий ход. Небесный Игрок выжидал, когда душа Андрея истомится, истоскуется и потянет его в новые дали. Уставший же путешествовать Андрей не давал душе своей сразу опустошить всю чашу и пил тоску глотками. Медленно отпускал вожжи и Небесный Игрок. В то время когда прокурорша и следователь думали-гадали, быть Андрею дальше на воле или жить в неволе, определялась и судьба района. Огромную территорию, разделённую водохранилищем и паромной переправой, в области решили поделить на две административные. Решение стали осуществлять с создания новой администрации, новых районных служб и новой газеты. Делавший первый номер новой газеты с популярным названием «Нива» новый редактор обратился в типографию газеты старой, где Володя и сосватал ему в корреспонденты Андрея. Новый редактор оказался, как и все попадавшиеся на пути Андрея, человеком решительным, звали его, как и всех остальных в области Андреевых редакторов, Владимиром, а по отчеству Константиновичем.

Владимир Константинович в тот же вечер увёз своего корреспондента на своём мотоцикле на другую сторону водохранилища и поселил на летней кухне. На другой день он нашёл ему место для проживания (у бабульки-сторожихи) и оформил на работу. Больше месяца Андрей, будучи единственным корреспондентом, строчил материалы на разные темы и ездил получать газету на другую сторону залива из рук печатника Володи. Дважды за это время он побывал у братьев, но встречи эти были мимолётны и даже не заканчивались ночёвкой. Все были заняты своими делами.

А очередное лето проходило свою середину, баловало хорошими деньками, морило жарой, освежало дождями. Лето уже догорало, когда Андрею сообщили, что дело его закрыто, что потерпевшая сама совершила преступление, осуждена и отбывает срок где-то во Владимирской губернии. Отпуская Андрея на все четыре стороны, следователь строго предупредил, что по прибытии на новое место он обязательно должен будет сразу же сообщить ему свой точный адрес. Андрей подписал необходимые бумаги, уговорил редактора выдать ему в тот же день расчёт, рассчитался с домохозяйкой и ближе к полуночи уже ехал в поезде дальнего следования из Восточной Сибири в Западную. Родной город и родную станцию он проехал под утро. Вглядывался в очертания знакомых зданий и новостройки и думал, что при первой же возможности он обязательно приедет сюда.

Но минуло более года, прежде чем задумка его свершилась. Больше года он работал в редакции, где уже редактором был Сергей Александрович. Время это можно было назвать плодотворным. Он написал несколько хороших очерков, опубликовал пять новых рассказов, но всё равно испытывал творческую тоску. Понимал, что здесь, в глубинке, его литературные потуги не могут быть оценены по достоинству. Попытки же прорваться в краевой литературный журнал ни к чему не приводили. Письменные послания оставались без ответа. Московские издания, куда он посылал рассказы, тоже отмалчивались. Один рассказ его приняли в газете «Сельская жизнь», но подали как очерк, напечатали с обработкой и подрезкой. Удивительно, но когда у Андрея не было документов и он держался за место в газете, работа корреспондента казалось ему интересной и полезной, а в первое же полугодие его легальной жизни всё, что он пытался делать, о чём бы ни писал, казалось ему обыденным, неинтересным, а главное, никому не нужным. Менялось время, менялась страна, менялась пресса. Облегчённые материалы, порой нелепые и даже безграмотные, стали появляться и в районной прессе. Принципиальный Александрыч пытался противостоять напору, но часто меняющееся в управлении начальство было постоянно в одном: пускало многое на самотёк и принципиальных не любило. С Маргариткой они больше не были. Даже не встречались. Андрей несколько раз звонил ей, напрашивался в гости, но она отшучивалась и тактично отказывала. С другими дамами в райцентре у Андрея отношения не складывались. Как-то во время командировки в дальний посёлок познакомился он с одной симпатичной учительницей. Андрей заметил, что он тоже вызвал интерес у девушки по имени Света. Попросил разрешения позвонить, Света не отказала. Несколько раз Андрей звонил, но разговоры были короткими, сбивчивыми. Недели через две после их знакомства в редакцию пришло письмо на его имя. Светлана писала, что он ей очень нравится, но быть им вместе не суждено: она очень больна и уже не поправится. Он не поверил, собрался было ехать, но, немного остыв, решил проконсультироваться у приятеля-врача. Тот навёл справки и подтвердил: у симпатичной учительницы не поддающееся лечению онкологическое заболевание.

Известие это опустошило Андрея. Два дня он ходил сам не свой, а потом написал заявление об уходе. Александрыч уговаривать его не стал, сказал лишь: «Надумаешь—приезжай, приму…»—и отпустил с миром.

И вот Андрей почти пятилетку спустя ехал домой. Ехал спокойно, без опаски. Он уже не был похож на тогдашнего испуганного молодого человека, с опаской смотревшего на каждого милиционера. Самостоятельная жизнь вдали от дома, от матери и сына изменила его поступки и мысли. Поступки и мысли, наверное, изменила и его встреча с общиной Константина. Мог ли он предположить тогда, приехав к «приятелю по неволе №2», как мысленно называл Андрей Константина, что задержится в Западной Сибири на целых четыре года? Естественно, не считая подконвойного отъезда «по делу о флигеле и резвой молодухе».

Как и тогда, он ехал в поезде дальнего следования золотыми деньками сентября, но теперь в обратном направлении.

И вот наконец за окном поплыли на него очертания родного города: мостик через речку, дома-пятиэтажки, контейнерная станция и такой знакомый и много раз снившийся ему вокзал…

8.

Такой родной и много раз снившийся ему вокзал родного города выплыл прямо перед ним.

Поезд остановился, и Андрей шагнул на перрон. Впервые он так долго не был в родном городе. Почти пять лет не видел он мать и сына. Андрей хотел было пройти через вокзал, открыть знакомую ему тугую дверь, мимо ресторана, зала ожидания, но передумал («Ещё успею!») и решил поспешить скорее к матери и Саньке. Тем временем из двери

вокзала выскочил полный человек в плаще и шляпе с маленьким чемоданом.
— Куда идёт этот поезд? — спросил он, едва не столкнувшись с Андреем.

Лицо толстяка показалось Андрею знакомым. Он наверняка раньше встречал его, и встречал часто. Да это же…

«Стёпа?!» — хотел сказать, спросить Андрей, остановившись, но не решился. Человеку, похожему на Стёпу, лицо Андрея тоже, видимо, показалось знакомым, он застыл с открытым ртом, собираясь, видимо, что-то сказать, но появившаяся за ним женщина заторопила:
— Быстрее! Быстрее! Наш поезд!

Толстяк встрепенулся и побежал к вагонам. Андрей проводил его взглядом. Что теперь связывало их, когда-то приятелей, живших рядом, а сейчас, в принципе, уже незнакомых людей? Смутное воспоминание из робкого детства? А было ли наяву оно, детство, и были ли, жили ли в нём именно они — Андрей и Стёпа? А может, это были и не они современные, а другие двое, те два мальчика, что так и живут сейчас там, в середине шестидесятых годов двадцатого века? Живут в своём маленьком дворе своего маленького деревянного города, бегают с утра до вечера возле домов, и играют на лужайке летом, и катаются с горки на лыжах зимой; они просыпаются, маленькие и счастливые, с желанием скорее увидеть друг друга, и каждое новое утро, и каждый новый день приносит им новые радости. А они мечтают об одном: скорее стать взрослыми…

Не торопитесь, мальчики…

Мать открыла ему дверь и обмерла. Не обошлось без валидола. Потом она и плакала, и радовалась, и кормила его пельменями. Саньки дома не было, он на выходной день поехал в гости к Александре Никитовне.
— Смотри, не узнаешь мальчишку своего, — улыбаясь, говорила мать. — Десять лет ему уже нынче. Теперь в школе четвёртого класса нет, и он из третьего перешёл в пятый… Большой уже… Всё тебя ждал… Всё лето смотрел по телевизору, какая погода в Западной Сибири, сколько там градусов тепла…

После пельменей Андрей сразу пошёл к вокзаловским пятиэтажкам. Опасения его, узнает сын или нет, развеялись, едва он, заметив Саньку во дворе тёщиного дома, окликнул его. Санька сразу узнал его, подошёл.
— А ты насовсем? — спросил ребёнок.
— Как получится… — не ожидая от сына такого вопроса, растерялся Андрей.
— Значит, опять куда-то поедешь… — вздохнул Санька.
— Если и поеду, то уже ненадолго и недалеко… — сказал уже чуть спокойнее Андрей.
— А мы тут с Алёнкой тёти Ларисиной играем… — Санька показал на беленькую девочку возле песочницы.
— Ох, какая большая уже! — удивился Андрей. — А я тебе подарок хочу купить. Что бы ты хотел?
— Часы, — не раздумывая, сказал Санька. — У нас в классе некоторые мальчишки носят часы, а мне дед покупал игрушечные… А игрушечные мне зачем?

Они пошли покупать часы и выбрали те, что понравились сыну: с крупным циферблатом и широким ремешком. А потом пошли к Александре Никитовне. Там гостила и Лариса.
— А мы перепугались, — сказала Лариса, встретив их. — Алёнка говорит: Санька с дядей каким-то ушёл…

Они пили чай, Лариса расспрашивала Андрея про его путешествия.
— Значит, с личной жизнью у тебя никак, — сделала вывод она. — Не выходит и не получается. Знаешь что? Приходи ты завтра сюда часам к семи вечера, я тебя кое с кем познакомлю.
— Неужели сватать будешь? — оживился Андрей.
— Сватать не буду, не бойся, но думаю, что если придёшь — не пожалеешь…

Вечер Андрей с Валентиной Андреевной провели в разговорах и воспоминаниях. Воспоминаниями была полна и половина ночи для Андрея. Многое он вспомнил в маленькой комнатке, где прошла его юность и были написаны им первые строки стихов и рассказов. От воспоминаний теплело в груди, радостно билось сердце, и уснул Андрей с улыбкой на устах.

А на другой, прекрасный осенний выходной день они с Санькой гуляли по городу, прошли мимо места, где стояла когда-то их четвертушка, а теперь возвышалась новая пятиэтажка, мимо отсчитывающих Вечность электронных часов на районном узле связи, зашли в гости к Игорю. Изрядно поседевший и потерявший немало волос, дядька отдыхал после смены, проведённой в кочегарке железнодорожной бани. Игорь жаловался на боли в груди, говорил, что минувшей зимой ему удалили половину лёгкого, сказал, что и Стас чувствует себя не очень хорошо — жалуется ему на частые боли в пояснице. Игорь целиком и полностью жил в «браневике», а заброшенный дом пустовал.
— Бражку-то не ставишь больше? — поинтересовался Андрей.
— Да что ты! — оживился дядька. — С ней канители! Легче пойти «стеклореза» купить. Дешевле водки и градусов больше.

Андрей слышал от отчима Анатолия Васильевича, к которому они с Санькой тоже заходили, что «стеклорезом» зовут здесь спирт, предназначенный для технических нужд. За «стеклорезом» Анатолий Васильевич ходил в магазин хозяйственных товаров в новом микрорайоне города, где жил

в пятиэтажке после того, как снесли четвертушку. Андрей пить «стеклорез» не стал и с Анатолием Васильевичем попрощался.

А вечером Андрей с Санькой пришли к Александре Никитовне, где их ждала Лариса, и не одна — с моложавой женщиной, которую называла Нюрой. Познакомившись с Андреем, Нюра сразу приступила к делу: отвела его на кухню, закрыла дверь, велела сесть напротив и спросила:

— Ты жену с колечком на руке хоронил?

— Я не помню… Не до того тогда было… — растерянно ответил Андрей.

— Хорошо бы вспомнить… — Нюра взяла Андрея за руку, глянула в глаза. — Если с колечком — плохи твои дела: ни с одной женщиной жить не сможешь. Она не даст… Раз окольцованная ушла, а ты отпустил, теперь не догонишь…

— И что теперь, до конца жизни я её буду? — с интересом спросил Андрей.

— А твоё колечко у тебя-то осталось?

— Я его тогда сразу снял, а куда дел, не знаю. Может, потерял где. Дома у матери не видел…

— Если кольца нет, остаётся одно: молить, чтобы отпустила. Мой тебе совет: встань на рассвете, иди на могилку к ней и моли, упрашивай, чтобы отпустила.

Андрей был сражён словами Нюры, не зная, верить ей или нет. Остаток дня он ходил как не свой. Перед сном спросил мать, нет ли у неё в запасе бутылки водки, пояснив:

— Хочу завтра на кладбище сходить — помянуть, разбуди меня часов в шесть.

— А в шесть-то зачем? Ты что там в такую рань делать будешь?

— Да надо так… Мне рано нужно там быть…

— Ну ладно, раз надо… — не стала больше пытать мать ни о чём, достала из холодильника бутылку «Столичной» и разбудила его до рассвета.

В принципе, он и уснул только на часок, всё думал над странными словами странной женщины Нюры, а когда задремал, то в полудрёме ему виделась тропинка на кладбище от железнодорожного переезда через ручеёк и кривая берёзка вдалеке. Он шёл к этой берёзке, но не мог дойти. Он шёл, а она удалялась.

А перед рассветом он пошёл туда наяву. Небо чуть посветлело, когда добрался он до переезда и ступил на тропинку, а потом на досточки через ручеёк. Ручеёк пел свою песенку, негромко журча, словно стараясь не разбудить тех, кто здесь лежит. Почти рассвело, когда дошёл Андрей до кривой берёзки и подошёл к золотистой оградке. Всё, казалось, было здесь так, как и пять лет назад, и больше: столик, скамеечка, холмик, памятник с фотографией девятнадцатилетней Алёны. Андрей открыл оградку, сел за стол, посмотрел на фотографию.

— Ты и вправду меня не отпускаешь? — спросил он и прислушался.

Качавшие над ним жёлтой листвой и зелёными иглами деревья, казалось, что-то хотели ответить, а лицо Алёны на фотографии оставалось невозмутимым. Андрей достал из матерчатой сумочки бутылку, рюмку, колбасу, хлеб. Он открыл бутылку, налил полную рюмку, но прежде чем выпить, встал, подошёл к памятнику, наклонился над фотографией.

— Отпустишь? — спросил он, глядя в глаза Алёны.

Алёна на фотографии молчала.

Андрей снова сел, выпил, закусывать не стал. Посидел немного, снова налил и снова выпил. На этот раз съел пластик колбасы, откусил кусочек хлеба. Минут пять он посидел, подумал. Тем временем стало совсем светло, чуть ниже к ручью сгустился туман. Пахло хвоей. Андрей налил ещё рюмочку, выпил, съел ещё кружок колбасы и доел начатый кусок хлеба. Потом он встал, осмотрел могильный холмик, памятник, снова посмотрел на фото.

— Отпустишь? — спросил на этот раз каким-то не своим голосом.

Алёна глядела на него спокойно, как обычно, чуть улыбаясь. Он смотрел на фотографию сверху, на лицо Алёны, на её глаза, и вдруг заметил, что она смотрит на него не так, как раньше, как минуту назад, а более пристально, смотрит как живая! Вначале он подумал, что это ему показалось, но… Фотография, лицо на ней, глаза стали меняться! Сначала медленнее, а потом всё быстрее и быстрее. Вот уже на фото Женя-Конопушка, а вот Марина, Маргаритка, Светлана… Что это? Наяву или мерещится? Он выпил немного, даже не захмелел… Едва Андрей подумал, что он ещё не пьян, как почувствовал головокружение, его качнуло, и он чуть не упал на могилку. Ухватился за памятник. При этом ещё раз глянул на фотографию… Он уже не понимал, меняются ли лица на фото, потому что само фото стало расплываться, а в глазах задвоилось, затроилось, за…

— Отпусти! Отпусти! — кричал он, пытаясь отогнать видения, упав на колени перед памятником, закрыв глаза и склонив голову на могильный холм.

Потом он пил ещё, ходил с недопитой бутылкой — искал могилу отца, но заблудился и не нашёл, снова вышел к кривой берёзке, а от неё, сориентировавшись, пошёл к общей оградке деда и бабушки. Видимо, там он и допил водку.

Как добирался до дому, в памяти не сохранилось. Проснулся в маленькой комнате. За окном снова было темно. Андрей зажёг свет, глянул на часы возле настольной лампы. Было начало шестого. Он понял, что выспался и больше не уснёт. Необычная лёгкость разливалась по его телу, а главное — ясно работала голова, в которой чётко проступала мысль одна: ему надо ехать в Енисейград, зайти там в управление печати и узнать про вакансии в районных газетах. Мысль эта крутилась

у виска, была навязчивой, будто кем-то вложенной, и Андрей решил: он так и сделает. Даже подумал, что может поехать сегодня же вечером, но мать попросила сходить на родительское собрание в школу.

— Пусть хоть учителя на тебя посмотрят, а то всё на бабушку да на бабушку.

И он впервые в жизни пошёл на родительское собрание и сидел за школьным столом. Кроме него да молодого мужчины с ясными печальными глазами, пришли в школу ещё с десяток женщин. После собрания классная руководительница попросила мужчин помочь переставить в классе шкафы. Передвигая мебель, они познакомились. Печального мужчину звали Николаем. Как узнал Андрей, он рано остался без жены.

— Я водителем работаю, на КАМАЗе. По области катаюсь, и в другие края, бывает, груз возим. Дня по два, по три в пути. А Катюшка моя в это время у бабушки. Так что кто больше её воспитывает, ещё вопрос,—говорил Николай Андрею.

— Интересная у тебя работа: дорога, новые города, новые встречи. У меня тоже страсть к путешествиям, вольная и невольная,—Андрею понравился этот небольшого роста человек с открытым улыбчивым лицом и кудряшками до плеч.

— Вот в Енисей-град завтра отправляют, за грузом,—сказал Николай.

— О! В Енисей-град! А я как раз туда собрался! У меня ж там дядя живёт. Пять лет не виделись!

— Могу взять в попутчики,—предложил Николай.—Завтра ближе к обеду выезжаем, вечером будем в Енисей-граде. Если устраивает, поехали…

— Поеду! Конечно, поеду!

9.

— Поеду! Конечно, поеду!—говорил Андрей, размахивая извещением, то заталкивая листочек обратно в конверт, то вытаскивая снова и показывая всем подряд.—Это судьба снова даёт мне шанс, и, что бы там ни было, я поеду!

Конверт передала ему на проходной общежития соседка—вахтёрша Люба. Он поначалу не придал ему большого значения и не сразу разобрал штампик Литературного института. И только дома, присмотревшись, открыл письмо.

«Литературный институт
им. А. М. Горького
Высшие литературные курсы

Извещение

Решением приёмной комиссии от 3.09.2003 Вы допущены к вступительному собеседованию, которое состоится 29 сентября в 10:00 часов по адресу: Москва, ул. Тверской бульвар, 25. Литинститут, учебная часть ВЛК (здание заочного отделения, 2 этаж, к. 1).

Считаем необходимым особо предупредить Вас, что проживание членов семей слушателей ВЛК не допускается, а также о том, что для слушателей обязательно посещение всех лекций и семинаров.

В случае неявки на собеседование Вы не будете зачислены в Литературный институт им. А. М. Горького слушателем Высших литературных курсов.

Проректор Высших литературных курсов
В. В. Сорокин».

Первой реакцией было непонимание—вернее, недопонимание. Андрей вспомнил, что ещё в апреле он прочёл объявление в «Литературной газете»: «Литературный институт им. А. М. Горького объявляет очередной приём конкурсных работ желающих поступить на очное и заочное отделения института, а также на Высшие литературные курсы». Про Высшие литературные курсы он знал только то, что туда принимали членов Союза писателей, не имеющих высшего гуманитарного образования, и что многие известные писатели и поэты учились на этих престижных курсах, а те, кому не довелось пройти школу ВЛК,—кто много, а кто не очень,—завидовали счастливчикам. Конечно же, не по-чёрному, а так, слегка, глядя, с какой неподдельной радостью встречаются на литературных форумах, обнимаются, делятся воспоминаниями люди из разных уголков России и зарубежья, обручённые Литинститутом, двумя годами жизни в Москве, лекциями, семинарами, литинститутовским общежитием. Не рассчитывая на удачу, Андрей тогда же, в апреле, вложил в конверт вместо требуемой рукописи свою книжку с рассказами из жизни провинциальных алкоголиков, написал заявление и отправил на адрес Литературного института. В объявлении сообщалось, что поступающим необходимо представить ещё медицинскую справку, копию трудовой книжки, восемь фотографий. Но Андрей посчитал: ответ он навряд ли получит, поэтому пустыми хлопотами лучше не заниматься, а книжку не жалко—может, хоть кто из известных писателей, членов комиссии, её откроет, пролистает и, может быть, прочтёт рассказ-другой.

Думать так пессимистично он начал после того, как отправил несколько рассказов и повестей в столичные издательства, журналы и литературные газеты, но даже сообщения о том, что его бандероли дошли до адресатов, не получил.

И вот это письмо-извещение.

Андрея смущало выражение: «Вступительное собеседование». Как он понимал, ему нужно было брать несколько дней за свой счёт и ехать в Москву на собеседование, там отвечать на какие-то вопросы, и если ответит как надо, то будет зачислен, после этого вернётся назад, уволится с работы и тогда снова поедет—уже на учёбу. Так получилось, что после многолетнего перерыва Андрей уже

дважды в течение года был в столице. В марте сопровождал на турнир в роли корреспондента женскую хоккейную команду Енисей-града, а в июне по собственной инициативе катался в Санкт-Петербург, отмечающий своё трёхсотлетие. И вот надо снова…

Надо бы, надо, да дело несколько усугублялось. Андрей накануне сдал в типографию свою новую книжку. За печать заплатила редакция газеты, а он намеревался провести расчёт с родным предприятием в течение трёх месяцев. В общем, во главу вставал финансовый вопрос, и на первый взгляд перспектива очередной поездки в столицу и учёбы в престижном учебном заведении казалась невозможной.

Извещение Андрей получил в субботу, воскресенье думал, просчитывал варианты: как можно быстрее рассчитаться с долгами? Получалось, что теоретически мог рассчитаться за две недели, но всё ли будет так, как думается, на практике?

Глядя, как он ходит по общежитской комнате, мучается сомнениями, Вероника посоветовала:

— Да позвони ты завтра туда, расспроси как следует, узнай обо всём, а потом уж думай, ехать или нет.

В понедельник в редакции он был задумчив и рассеян. Это заметили коллеги и секретарша Валентина.

С ней, Валентиной, а потом ещё с несколькими сотрудниками он решил поделиться новостью. «Да, конечно же, поезжай! Это всё-таки Литературный институт. Это такая возможность, такой твой шанс!» — все, с кем он говорил, заявили ему примерно так.

После обеда он позвонил в столицу. Несмело поздоровался с женщиной, ответившей ему из Литературного института, промямлил имя и фамилию, думая, какой вопрос задать первым. Но задавать не пришлось. Там будто ждали его звонка.

— Вы зачислены на Высшие литературные курсы, в семинар прозы. Поздравляем вас. Собеседование формальное, оно, как и указано в извещении, состоится двадцать девятого сентября, но поскольку вы иногородний, то вам нужно прибыть в Москву раньше. Заселение в общежитие — двадцать шестого сентября.

Тёплая, ласковая, нежная волна поглотила Андрея. Сердце рванулось и застучало танец с саблями. Он за-чис-лен! Зачислен. То, что должно было состояться, — состоится! Пусть даже через двадцать лет. Он едет в Литературный институт! Едет не начинающим, молодым, желторотым литератором, а зрелым мужчиной и членом Союза писателей.

Сомнения ушли прочь! Он уже знал, он чувствовал, что преодолеет все преграды и будет в столице! Небесный Игрок сделал неожиданный ход, повернув судьбу на очередной вираж, за которым новая дорога и непредсказуемый путь.

Ох, как быстро понесло его в своём стремительном потоке время! Как один день прошли одиннадцать лет его жизни в Енисейской губернии, семь из которых, задевая и меняя его, — в Енисей-граде.

В памяти сохранился осенний денёк, когда в управлении по печати Енисей-града Андрею предложили несколько районов, где нужны были корреспонденты. Почему он выбрал именно тот районный центр? Потому, что он имел короткое название — Ша? Может, и поэтому. Так или иначе, погостив у дяди с тётей в Енисей-граде, поехал он туда хмурым днём начала октября сначала электричкой, потом автобусом и добрался к вечеру. От небольшой автостанции ему указали на первую улицу, которая носила такое знакомое название — Партизанская, и он, перепрыгивая через лужи, дошёл до одноэтажного каменного здания — редакции и типографии. Конечно, он тогда и предположить не мог, что будет работать в этой редакции целых три года и за это трёхлетие немало чего произойдёт в его жизни здесь, в райцентре с коротким названием. Тогда в его блокноте были ещё три адреса, записанные в управлении по печати, и Андрей думал, что если здесь ему что-то не понравится, то он…

Нельзя сказать, что ему всё сразу приглянулось, но больше он никуда не поехал. Поговорил с уходящей в декретный отпуск редакторшей, с исполняющим обязанности редактора оборотистым мужиком и остался. И пошло у него и поехало как-то всё сразу легко. Легко писались материалы, легко заводились знакомства, легко строились отношения…

Три года в райцентре Ша вместили в себя от жизни на квартире до собственной квартиры-четвертушки (не это ли в какой-то мере было подсознательной причиной его задержки в Ша-райцентре?), весёлые вечера и ночи после некоторых получек с друзьями-корреспондентами (не это ль тоже?), публикацию в газете полного на то время его собрания литературных сочинений, включая стихи разных лет и фантастическую повесть (это бесспорно!), горькие воспоминания о потере двух приятелей-корреспондентов, что не проснулись с перепоя (они преследовали его долго, как наглядный пример вреда чрезмерного употребления алкоголя) и его женитьбу (в какой-то степени неожиданную, но всё же, как он понял после, закономерную).

Едва ли не с первого дня появления Андрея в райцентре Ша ему начали подбирать невесту. Исполняющий обязанности редактора, ответственный секретарь (женщина) и секретарша поочерёдно устраивали ему негромкие, полузакрытые даже, показы одиноких женщин, среди которых были учителя, работники культуры, медики и временно неработающая дочь заведующей отделением сбербанка. О большинстве предстоящих смотрин Андрей и не подозревал. Чаще его

приглашали заглянуть в приёмную редактора или к ответсекретарю (якобы для уточнения написанного им материала), а там, как бы случайно, в это время находилась какая-то забежавшая на минутку женщина, он здоровался с незнакомкой, говорил с и. о. редактора, ответсекретаршей или секретаршей и уходил, не догадываясь, что его только что оценили как потенциального мужа. Когда же Андрея (почти тут же к нему забегала секретарша с вопросом: «Ну?!») просили высказать мнение об увиденной им женщине и он понимал, в чём дело, то часто проявлял недовольство, высказываясь, иногда даже эмоционально, против всякого рода смотрин-показов. Но его никто не спрашивал, и потуги инициаторов продолжались. К дочери заведующей отделением сбербанка он даже заочно был приглашён, но не пошёл. И не потому, как говорили потом, будто бы испугался, что его заставят катать брёвна на строительстве нового дома, что начинала строить заведующая для дочери, нет. Дело было в самой дочери: небольшого роста, белокурая, подвижная и разговорчивая, она имела несколько вставленных металлических зубов в верхнем ряду и напомнила Андрею одновременно и Марину, и Маргаритку, и Олю с Линой.

Он женился неожиданно для всех на Веронике, что была рядом — работала в типографии. Красотой и повышенной энергетикой она не отличалась, но как-то, столкнувшись с ней наедине в редакционном коридоре, Андрей заглянул в её ничем не привлекательные глаза и увидел в её взгляде смирение и верность. Видимо, на том этапе его жизни этого было достаточно. Он пригласил Веронику в кино, и она безропотно согласилась; он сказал ей про загс, и она пришла в назначенное им время и с нужными документами. А далее, что бы он ни решал потом и за себя, и за неё, она молча принимала и следовала за ним покорно, не задавая совершенно никаких вопросов. Через два года они переехали в другой район, а ещё спустя год перебрались в Енисей-град, куда Андрея позвали редактировать многотиражную газету на заводе сельхозмашин.

От завода дали им комнату в семейном общежитии, и жизнь пошла по новому витку. Сельско-районная эпопея Андрея закончилась, и началась городская-краевая.

Судьба его пошла по новому витку, а прошлое его стало вдруг отдаляться, отдаляться, отдаляться. С каждым новым днём его новой жизни оно становилось всё расплывчатее и нереальнее. Через год жизни в Енисей-граде прошлое уже казалась Андрею таким далёким… Чужим… Годы неволи, месяцы работы в приозёровской редакции и редакциях Западной Сибири, Марина, Оля, Лина, Маргаритка — оттеснились памятью, и хотя не исчезли совсем — отложились далеко в анналы, и редкие воспоминания о днях неволи и жизни без документов не вызывали больше ярких эмоций и бессонницы. А может, всё то прошлое, которое ещё держит его память, было вовсе не его прошлой жизнью? Может, кто-то взял да и показал ему однажды долгий сон о судьбе человека, заставив пройти рядом большое расстояние и почувствовать то, что чувствовал тот человек? А теперь он проснулся! Сон остался там, в мире Нави, как говорил ему однажды друг Константин, а он вернулся в Явь. И Константин остался там, в том мире и в том сне, и колючая стена проволоки, и озверелый лай собак… А Женя-Златовласка? А Никифор? Они тоже были в той, прошлой жизни. В его жизни или не его? Наверное, всё же его…

Андрею теперь не хотелось возвращаться туда, в ту жизнь, в тот сон…

Ему не хотелось, но иногда воспоминания догоняли его, и он понимал, что стоит только поехать в родной город, стоит только написать письмо другу Никифору — и память всё вернёт, достанет из анналов и вытащит на первый план многое, о чём он не хочет помнить…

И он не писал Никифору, и как можно реже ездил домой.

А в родном городе тоже кое-что менялось. В середине девяностых умер Игорь. Стас нашёл его в пустом дедовом доме. Игорь лежал среди осыпавшейся со стен штукатурки, возле железной, давно не знающей матраса кровати. В свидетельстве о смерти написали: «Сердечная недостаточность». Похоронили дядьку на самом краю кладбища, ближе к железной дороге. Андрей, побывав там, сделал вывод: за могилой никто не ухаживает. Никто не ухаживает и за дедовым домом, что достался жене и детям Игоря. Андрей каждый раз по приезде обязательно проходил мимо дома по Партизанской улице и замечал, что дом всё больше и больше ветшает, а «браневик» ещё держится — продолжает сохранять боевой вид.

Двух лет после смерти Игоря не протянул и Стас. Его могилу Андрей так и не нашёл. Не нашла и Валентина Андреевна, с которой Андрей ходил на кладбище в последний свой приезд в родной город.

Сообщения из родного города поступали не только печальные. На рубеже столетий и тысячелетий Санька закончил ПТУ и получил права водителя автомобиля. Андрей несколько раз пытался перевезти сына в Енисей-град, прилагал усилия, чтобы он учился в речном училище, но тот сделал свой выбор. И не только выбор профессии. В девятнадцатилетнем возрасте Санька женился на своей однокласснице по имени Катя, дочери того самого Николая, с которым Андрей познакомился на родительском собрании, а потом поехал с ним на КАМАЗе в Енисей-град. Молодые сначала жили у Валентины Андреевны, затем перешли к Николаю в двухкомнатную квартиру. Довольно быстро Андрей и Николай заимели внука и стали молодыми дедушками. После окончания ПТУ Санька

с годик поработал водителем в автоколонне — возил строительные материалы, но после Николай взял зятя к себе в напарники. Катя закончила медицинское училище и работала в регистратуре железнодорожной поликлиники. Через полтора года после рождения внука молодые дедушки заполучили от своих деток в подарок ещё и внучку.

Не была однообразной и жизнь Андрея в Енисей-граде. Завод сельхозмашин лихорадило. Он то выдавал новую продукцию, то останавливался на месяц-два. В дни простоя газета не выходила и зарплату Андрею никто не платил. Андрей искал подработку в нескольких редакциях, когда успешно, когда нет, но вот однажды вдруг получил неожиданное приглашение в только что открывшуюся в городе новую «Автотранспортную газету». Почему? Об этом он думал много потом и другого объяснения, как только «судьба», не нашёл. В газете собрались сплошь известные журналисты: собственные корреспонденты центральных газет Михалыч и Кондратьич, бывшие редакторы газет, краевых и городских, получившие по каким-либо причинам отставку, но сил и сноровки ещё не потерявшие. Был среди них даже ведущий корреспондент краевого радио, правда, тоже бывший. Редактор газеты Макарыч, собравший в единый коллектив всю эту могучую команду, сам долгое время был собственным корреспондентом главной профсоюзной газеты страны по Енисейской губернии и имел одну очень престижную награду — лауреата Союза журналистов СССР. Таких лауреатов в Енисейской губернии было всего четверо за всю историю местной журналистики, а потому награда эта приравнивалось здесь едва ли не к званию Героя Социалистического Труда. Имея авторитет и большие связи, Макарыч «замутил» новое дело с размахом, подключив к нему дорожников, автомобилистов, работников автозаправок, службу ГАИ и даже таможенников. Все они были не только соучредителями газеты (то есть давали деньги на издание), но и активными подписчиками (а значит, платили ещё за подписку и доставку). Макарыч снял большой офис в центре Енисей-града, перегородил его на кабинеты и завёз новейшую компьютерную технику, выбил у учредителей новую модернизированную «Волгу» и четырёхкомнатную квартиру. Квартира предназначалась для служебного пользования, в ней предполагалось сделать гостиницу для приезжающих журналистов центральных газет, но Макарыч убедил учредителей, что ничего дурного не будет, если две комнаты займёт он, а две оставит для гостей.

Новая газета, что называется, пошла с ходу. Еженедельник на шестнадцати страницах, в две краски привлекал внимание не только читателей, но и корреспондентов других газет, ибо Макарыч щедро оплачивал труд газетчиков, а в кризисное время, когда задержка зарплаты на два-три месяца была делом обычным во всех без исключения предприятиях, это казалось чем-то невероятным. Число желающих сотрудничать с «Автодорожной газетой» с каждым днём росло. Макарыч привечал многих, но делал выборку. На весь Енисей-град славились и «автодорожные» застолья, которые закатывал Макарыч перед всенародно любимыми праздниками. Застолья отличались не только обилием спиртного и съестного, но и тем, что на них говорили заздравные речи Макарычу, а он в ответ раздавал гостям подарки, а сотрудникам — подарки и премии. На Новый год — всем без исключения, на двадцать третье февраля — сотрудникам мужского пола, на Восьмое марта — с утра сотрудницам-женщинам, а во время застолья и мужчинам — с формулировкой «на подарки для жён и любовниц». На феноменального Макарыча приходили и приезжали посмотреть, перекинуться с ним несколькими словами, пожать ему руку многие, в том числе и люди, не имеющие отношения к газетному делу. Но не всегда и не всем удавалось застать легендарного человека в редакции. Редакцию Макарыч любил, готов был ходить по её кабинетам сутками, что порой и делал, но бывало…

Бывало, что Макарыча неделями никто не видел. Нет, он не уезжал ни в какие командировки (хотя мог бы), не брал больничные листы (тоже бы мог, несомненно), не оформлял отпуска за свой счёт (а если бы оформлял два-три раза в год, кто бы его осудил?) — нет, он не делал ничего подобного. Он просто, по-простецки, бесхитростно, как и многие на Руси одарённые люди его типа, не ходил на работу по причине недельного и более загула. Как немногие гении, он вслушивался сутками во вселенскую тоску и, не в силах вынести её безмолвия, разбавлял тишину бульканьем из бутылки в стакан. Пил чаще в одиночку, реже с соседом по лестничной площадке, в виде исключения приглашая к себе Михалыча. Загулы редактора почти не сказывались на работе его коллектива: «отряд не замечал потери бойца» — и без Макарыча, да и без Михалыча тоже, газета выходила. Могучая кучка корреспондентов материалы выдавала веерами, и процесс не затихал. Однако Макарыч имел ещё одну слабость: когда у него заканчивались деньги, он шёл занимать новую партию денежных знаков прямиком к своим учредителям. Причём, чтобы не было отказа, загулявший редактор выбирал время планёрок. Едва в кабинете начальника автоколонны или дорожного управления собирался народ поговорить о сделанном и предстоящем, едва руководитель предприятия садился в своё крутящееся кресло, в кабинет, извиняясь, кланяясь и пожимая некоторым руки, вихрем врывался Макарыч и, повинно склонив голову, едва не падая на колени, просил сумму, равную десяти-двенадцати бутылкам водки, «на неотложную покупку для нужд редакции». План

Макарыча работал без срыва. Руководитель не решался в присутствии подчинённых на отказ. Однако Макарыч имел одно непростительное для его ранга руководителя обыкновение: забывать про занятые им деньги. А вот это многим не нравилось. Недовольство нарастало и привело к тому, что у некоторых кредиторов редактора «Автодорожной газеты» созрел заговор по смещению Макарыча с занимаемого им поста. Инициаторы смещения отыскали в коллективе редакции слабое звено из числа ворчливых и не очень довольных Макарычем, через их руки запустили листочек с обращением к учредителям: мол, надоел нам редактор, давайте другого. Листочек пропустили через всех без исключения сотрудников редакции. Андрей подписывать бумагу не стал, объясняя своё решение тем, что Макарыч взял его в штат в трудное для него время, и теперь, в непростой для Макарыча период, он остаётся его сторонником и, если придётся, готов уйти вслед за опальным редактором. Так же поступили ещё несколько человек, но большинство сотрудников, забыв про Макарычевы премии, иудин листочек подписали. Как они потом жалели! Макарыч оказался ещё более гениальным, чем думали о нём. Он тут же представил своим оппонентам-обвинителям неопровержимые документы, в которых говорилось, что существующий макет газеты разработан в институте информационных услуг (директором которого и единственным сотрудником был сам Макарыч), на что получен заверенный где надо патент. По условиям договора института с учредителями макет газеты не должен был меняться в течение десяти лет, а в случае увольнения Макарыча с поста редактора учредители обязаны были выплатить ему ни много ни мало — половину миллиарда рублей. Более того, как оказалось, Макарыч был держателем более трети акций газеты и даже в случае ухода из редакции получал бы свою долю до самого закрытия печатного органа. Газету же, опять же по условиям договора, без разрешения Макарыча закрыть не могли в течение ближайшей пятилетки. Как выяснилось позже, Макарыч застраховал себя на все случаи жизни, арендовав под редакцию помещение сроком на сорок девять лет.

В общем, противники Макарыча были оконфужены, и редактор остался на своём месте. Покаявшихся подписантов он простил, остальных отпустил с миром «без выплаты премиальных», а на их премиальные закатил новый банкет, пригласив на него новых, взамен выдворенных, сотрудников.

О гении Макарыче, а ещё о друге его, здоровяке Михалыче, который редкий вечер встречал трезвым, а напившись, бывало, в стельку, ложился на диван в приёмной, и его не могли поднять семеро, Андрей написал целую повесть. Ещё одну повесть в рассказах Андрей написал на основе своей жизни в райцентре Ша. Несколько глав из одной и другой повести были опубликованы в местных газетах.

В принципе, материала для повестей, рассказов и даже романов у Андрея накопилось — хоть продавай. Чего стоили только ежедневные впечатления от его жизни в общежитии! Типажи — «те ещё кадры!» — ходили там группами и поодиночке. Горланящие матом и лихоматом на весь коридор бабёнки разного возраста, приехавшие из дальних глухих деревень, вечно ищущие на похмелку заросшие мужичишки, стучащие днём и ночью в его двери и предлагающие купить у них «по дешёвке» ковры, половики, хрусталь, электроприборы, а ещё картошку, сало, маринованные овощи.

Скучать Андрею было некогда, жизнь вокруг била ключом, типажи просились в рассказы, и Андрей рассказы писал. Рассказы его нет-нет да публиковались. В большом городе людей пишущих всегда больше, чем в райцентрах. Жили в Енисейграде и настоящие писатели, с некоторыми из них Андрей познакомился, и некоторые из них даже оценили литературные потуги приезжего корреспондента положительно. Более того, Андрею помогли издать небольшим тиражом несколько книжечек и рекомендовали в Союз писателей. Собрание местной писательской организации состоялось пятнадцатого января две тысячи третьего года и единогласно проголосовало за приём в Союз писателей, как было сказано, «интересного автора». В апреле пришло сообщение из столицы, что там кандидатуру нового писателя утвердили, а в июне, по пути в Северную столицу, Андрей получил писательский билет. И вот в сентябре пришло извещение из Литературного института.

Препоны, вроде бы неприступной стеной стоящие на пути Андрея в столицу, стали рушиться, едва он предпринял попытку преодоления их. Один из коллег решился купить у него компьютер, другой — мобильный телефон. Секретарша Валентина посодействовала в скорейшем получении расчёта, и Андрей тут же рассчитался с долгами.

Но всё же для большой поездки и жизни в столице на первое время средств было маловато. Для подстраховки Андрей решился поехать в родной город и попросить денег у матери. Хотя бы немного и в долг.

В родной город он приехал ранним утром и до обеда успел сходить с Валентиной Андреевной в банк, побывать в гостях у Саньки, пожать руку свату Николаю, Тоне и её мужу Толику, отчиму Анатолию Васильевичу. По традиции прошёлся мимо, казалось, вечных электронных часов районного узла связи, отсчитывающих теперь время сентября две тысячи третьего года. Заглянул к Хилю. К Геннадию Андрей забежал буквально перед отъездом. Поседевший Гена улыбался другу в пепельные усы, пожимал руки, приговаривая:

— Я знал, Андрюха, знал, что ты далеко пойдёшь…

Накануне отъезда Вероника ещё раз проверила сумки — проконтролировала, всё ли положила.
— Жалко, проводить тебя не придётся, — вздохнула она. — Завтра, как специально, много работы, а поезд твой днём…
— Ну и ничего. Я на Новый год же приеду, — сказал Андрей, тоже вздохнув. — Немного осталось: четыре с половиной месяца…

Впервые за девять лет совместной жизни они расставались на столь продолжительное время.
— Ничего… — опять вздохнула Вероника. — Немного до Нового года… Это правда…

Её зрачки застилала грусть.
— Давай смотри тут… Чтобы всё выключено было, когда уходишь куда… Дверь проверяй, закрыта ли… Подёргай лучше лишний раз, когда замкнёшь… — напутствовал Андрей жену.
— Ладно… — выдохнула Вероника.

Удивительно, но, несмотря на волнения, ночь перед поездкой Андрей спал спокойно. Он и заснул, едва прилёг. Вероника, перед тем как лечь, повозилась ещё возле сумок, а когда прилегла, увидела, что муж уже спит…

Небесный Игрок, обдумывая новый ход, послал ему вещий сон: столицу, главную площадь, дворик Литературного института, общежитие, лица и имена новых людей: москвич Коротков, Василий из Кубани, Галина, Эдик…

Под утро Небесный Игрок отключит часть памяти спящего человека, затуманит увиденные им фрагменты сна, и через несколько дней человек, знакомясь с одногруппниками, будет ломать голову: где и когда он их мог видеть раньше? Размышляя и анализируя, он придёт к выводу, что раньше он их видеть не мог, потому что их пути попросту нигде не пересекались. Но на вопрос, почему так знакомы ему их лица, он будет ещё долго искать ответ.

А будет ли? Это решит Ангел Смерти.

Ночь выбора

Восточная Сибирь. Городок районного значения. 12 января 1983 года. 3 часа 58 минут.

Ангел Смерти медленно опустил руки. Мужчина, женщина и ребёнок лежали перед ним на кровати-полуторке в маленькой квартирке-четвертушке щитосборного дома зимней звёздной ночью. За короткие минуты ангельского времени люди уже прошагали три людских жизни, и предстоящим днём одна из них должна была повториться.

Хранители, прекратив мольбу, безмолвно стояли на коленях, по-прежнему низко склонив головы. Ангел Смерти приказал им удалиться. Ангелы-хранители встали, но перед тем как уйти, на секунду замешкались, молча вопрошая: «Всем?» — «Всем», — кивнул Ангел, и когда все удалились, он поднял голову и потянул вверх руки. Потянул высоко-высоко, отрывая пятки и приподнимаясь на пальцах. Выше, выше…

Ангел Смерти принял решение…

Книга четвёртая. Трое и один

Мы приходим и уходим, и каждый миг приносит на Землю тысячи и уносит тысячи; Земля — пристанище для странников, блуждающая звезда, на которой останавливаются и с которой улетают караваны птиц.

Иоганн Готфрид Гердер

Ночь выбора

Вселенная. Безвременье.

Ангел Смерти в четвёртый раз за эту ночь поднял голову и потянул вверх руки. Мужчина, женщина и ребёнок лежали перед ним на кровати-полуторке в плохо протопленной маленькой квартирке-четвертушке щитосборного дома в маленьком городке с железнодорожной станцией. За окнами, стенами и дверью стояла переменчивая зимняя ночь. Ей было скучно, и ночь резвилась: то бросала крупными хлопьями снега, залепляя фонари, то прояснялa небо, опуская яркие, низкие, до самой крыши дома, звёзды.

Где-то в этом же городке в это же время спали кто глубоким, кто тревожным сном бабушка и дед Андрея, его мать и сёстры, а также Игорь, Стас, Гена Хиль, Алёнины мать и сестра и многие-многие другие люди. Большие электронные часы на районном узле связи отсчитывали январское время тысяча девятьсот восемьдесят третьего года. Где-то далеко, за тысячи километров, может, тоже спали, а может, бодрствовали другие, не знакомые друг с другом люди, не имеющие ни малейшего понятия о том, что через двадцать лет судьба сведёт их в столице, объединит в общежитии Литературного института и сделает друзьями до конца жизни.

А может, и не сведёт и не объединит, или сведёт, но не всех, и объединит, но не многих?

А пока мужчина, женщина и ребёнок спали здесь, перед Ангелом. Спали, не ведая, что за короткие минуты ангельского времени каждый из них уже прожил по три жизни — две долгих и одну короткую, и предстоящим днём одна из них должна в точности повториться.

Ангел Смерти поднимал и поднимал руки, тянулся всё выше и выше, и Даль, и Глубь, и Высь Времени разверзались перед ним одновременно, а он, оставаясь на месте, летел к Посылающим его. Посылающие его уже ждали. Мягкий рядом с ним

и нетерпимо яркий впереди, там, где находились Они, лазурный свет скрывал Их лики. Перед Ангелом мелькали лишь нечёткие силуэты. Сколько раз Ангел Смерти представал перед Посылающими его, но никогда не мог определить: сколько Их, и слышал только голос.

— Нам на сей раз непонятен твой выбор.

— Мой выбор остался сокрытым для меня. Я не смог заглянуть туда, где все люди, к которым я был послан, остаются живы.

— Такого варианта нет. Он не создан.

— Но его можно создать.

— Можно, но для этого потребуются перемены, нужна будет большая жертва. Ради чего? Желающих жертвовать собой среди Ангелов давно нет. Те немногие, кто пробовал раньше, при первой же возможности молили о возвращении и нежелании больше уходить в тот мир.

— Я готов стать жертвой.

— Пожертвовать собой? Жертвами добровольно становились лишь Ангелы низших ступеней — хранители и вестники. И только потому, что они всегда ближе к людям и многие из них сами были людьми, у них ещё оставалась память о людских делах, о телах, о том, что они когда-то что-то имели, кого-то любили… Ангелы же твоего уровня ещё никогда не становились жертвами. Ты прошёл долгий путь иерархии и уже не можешь, не должен помнить себя человеком. Ты всегда хорошо исполнял свои обязанности, делал лучший выбор. Ты не должен быть жертвой.

— Но я решил.

— Тебе много раз приходилось решать. И ты решал. Но жертвовать и подвигать на жертву — не твоя обязанность. Ты Посланник Смерти.

— Я был рядом со многими людьми, проходил по их дорогам и уводил с этих дорог тех, кого должен был увести, но сейчас я прошу, я умоляю о создании нового варианта. Я жертвую собой.

— Ты понимаешь, что, в отличие от простых Ангелов, ты пойдёшь в мир людей не имея Небесного Покровителя. На первых порах у тебя сохранятся ещё ангельские способности, ты будешь выделяться среди людей, но это будет для тебя не благом, а испытанием. При каждом следующем перевоплощении ты будешь всё больше забывать про то, что был Ангелом. Долгим будет твой путь возврата на Небеса.

— Я пройду его.

— Хорошо. Это твой выбор. Мы принимаем его. Мы проторим для тебя новый путь. А потом ещё один, и ещё… Ради этого придётся изменить судьбы многих людей, что повлияет на ход событий в материальном мире.

— Я уже готов сложить с себя бремя Ангела Смерти.

— Мы уже сняли его с тебя. Сейчас ты вернёшься туда, откуда пришёл, а потом отойдёшь в Безвременье. Когда надо, ты появишься на Земле. Ты готов?

— Готов.

— Ступай.

Ночь выбора

Восточная Сибирь. Городок районного значения. 12 января 1983 года. 6 часов 25 минут.

Бывший Ангел Смерти невидимо стоял над спящими перед кроватью-полуторкой в плохо протопленной маленькой квартирке-четвертушке щитосборного дома в маленьком городке с железнодорожной станцией. Мужчине, женщине и ребёнку оставалось спать пять земных минут. Всего пять минут перед наступающим неизведанным завтра. Каким оно, это завтра, будет, ни им, ни бывшему Ангелу не было ведомо. Ширь Времени так и не раскрылась перед ним, впервые спустившимся на Землю не для выполнения данного ему задания, а по своей воле. Уже не Ангел, но ещё не человек, он знал теперь немного из будущего. Знал, что через пять земных минут прозвенит будильник, но мужчина и женщина на сей раз не будут торопиться. Они проснутся, тихонько, шёпотом, заговорят, тихонько засмеются, а потом женщина осторожно, чтобы не разбудить ребёнка, переберётся к мужчине, и они обнимутся.

Бывший Ангел знал, что сегодня женщина увезёт ребёнка в детский сад, а вечером, когда вернётся с работы, её будет ждать жарко натопленная печка и горячий борщ, а ещё улыбающиеся муж и сын. Ещё он знал, что мужчина сегодня же вечером допишет долгий очерк про ветерана и, радостный от творческой победы, окажется в объятиях жены, а к середине первого осеннего месяца родится в семье ещё один ребёнок. Кто это будет, мальчик или, может быть, девочка, от бывшего Ангела уже было скрыто. Но он ещё знал, что в тот день, а вернее, в то утро, когда это случится, он сам обретёт плоть, новую жизнь и людей, которые станут ему родными: отца, мать, брата.

Это произойдёт по законам Вечности через миг, по земным законам немного погодя: закончится зима, пройдут весна и лето. Но это обязательно произойдёт и ничто этому уже не сможет помешать, и никто не в силах изменить теперь его судьбы…

На электронных часах районного узла связи последняя цифра через несколько секунд из девятки превратится в ноль…

Большая стрелка будильника, стоящего на столе холодной квартиры-четвертушки, медленно приближается к нижней цифре, догоняя маленькую… Кажется, ещё секунда-другая — и большая стрелка надвинется на нижнюю…

Но не успеет догнать…

В шесть тридцать зазвонит будильник…

Евгений Мамонтов

Классик

Афанасий Никитич переругался со всеми и теперь кушал кефир.

Углы губ его были опущены, чайная ложечка подрагивала в руке.

В полировке стола отражались блюдце, стакан и небо.

Афанасий Никитич промокнул губы салфеткой.

Сегодня старик ругался по телефону с сыном («пропащим человеком») по поводу внучки. Переводя возмущение в нажим, с которым он произносил каждое слово, старик утверждал, что внучка должна поступать в художественное училище. Сын старика, желая перевести разговор в шутку, спрашивал: «Это потому, что она рисовала тебе картинки на каждый день рождения?» Старик задыхался от ярости и двигал ртом, как рыба.

Теперь, чтобы успокоиться, старик надел очки и стал читать, устроившись в кресле. Время от времени он отрывался от книги и смотрел в окно, как бы слушая, как прочитанный абзац растворяется в небе, углубляя его. Некоторые предложения он перечитывал дважды и улыбался.

Почитав так около часа, он почувствовал, что нужно сделать перерыв. Слух, которым он слушал свой собственный голос, звучавший про себя во время чтения, ослаб, утомился.

Старик надел пиджак, добротный, но ставший для него несколько мешковатым в последнее время, взял большой тростевой зонт и отправился на прогулку по залитым солнцем, уже прогревшимся улицам, поджавшим синие утренние тени под самые карнизы жестяных подоконников.

«У нас погоды нет надёжной»,—говорил старик, но на самом деле зонт он брал из щегольства, чтобы вертеть его в руке, как трость на прогулке. Он никогда не гулял просто так, без цели, но всегда шёл за каким-нибудь делом; поглядеть афишу в кассах филармонии, пройтись, поправляя манжеты с синими запонками, по набережной до рыбного рынка и, придирчиво щурясь, заглядывать в стеклянные витрины, откуда на него ответно таращились бычки, скумбрии и сазаны. Сегодня он пошёл по Семёновской до её перекрёстка с Океанским проспектом, потом вниз по улице адмирала Фокина до перекрёстка с Алеутской, по Алеутской до Светланской и по Светланской вверх, в сторону Набережной, по правой стороне, пока не свернул в третью по счёту подворотню. Здесь за крохотным античным портиком, пристроенным к огромной капитальной стене старого дома, была художественная галерея «Арка», и старик провёл тут полчаса, заложив руки за спину, сцепив ладони, нагнувшись вперёд и разглядывая картины, как разглядывал недавно живую рыбу, выставленную на продажу в аквариумах рынка.

Возвращаясь обратно, он задумался и пошёл по правой стороне улицы Адмирала Фокина, а не по левой, как обычно, и спохватился, когда было уже поздно. На этой стороне всегда сидело несколько старушек, торговавших домашними соленьями. Одна из них была его одноклассницей. Зоя Томилова, прелестная шатенка с волнующим, озорным взглядом—королева школьных вечеров. Теперь она продавала аджику. Сквозь крашенные хной пряди волос просвечивала сухой, шелушащейся белизной лысеющая голова. Очки с толстыми стёклами, обтрёпанные рукава рыжей кацавейки, старушечья палочка с пластмассовой ручкой и резиновой нашлёпкой на конце.

Старик боялся встречать её, хотя она никогда не узнавала его даже в этих сильных очках. Она казалась теперь много старше Афанасия Никитича, а ведь была на год младше. «Хорошо, что я тогда на ней не женился»,—пробормотал он про себя.

Придя домой, он почувствовал усталость и лёг, включив негромко радио. Неожиданный звонок в дверь разбудил его. Старик не имел привычки открывать дверь. Гости у него бывали редко и всегда договаривались о визите заранее по телефону. Поэтому старик продолжал лежать, бесясь от непрошеной настойчивости. Через полчаса он осторожно вышел и нашёл под дверью приглашение на вечер ветеранов. С наслаждением изорвал его и бросил в мусорное ведро. Он не любил подобные мероприятия. Бесплатные просмотры кинофильмов детского содержания, когда ветераны сидят перед экраном, как тряпичные куклы или мумии, блестя очками. Старик привык общаться с молодёжью, читать лекции. Но не общался, потому что его вытурили на пенсию, хотя он мог бы ещё задать жару.

Эрик Сютаев стеснялся своего имени. Его папа зачитывался романами Акунина и назвал сына

Эрастом в честь Эраста Фандорина. С младших классов Эрик слышал в свой адрес: «Эраст—педераст!» Впоследствии он превратился в хмурого неуверенного подростка, который ради самоутверждения обрил голову, купил себе армейские берцы, а для укрепления имиджа обзавёлся ещё и сроком условно за мелкое хулиганство. Теперь волосы у него отросли и курчавились, как у молодого греческого бога, по недоразумению попавшего в службу социальной помощи и озирающегося вокруг с брезгливой осторожностью. Ему поручили разносить продукты пенсионерам. У Эрика было девять точек «на районе». Старики, старухи. Он носил им хлеб и молоко, вермишель, крупу, мыло… буклеты Единой России. Понял одну вещь. До старости доживать не стоит. Если не стану богатым, лучше застрелюсь или с моста прыгну, решил он.

Отец Эраста, доверчивый поклонник Акунина, вручил свои сбережения финансовой пирамиде в надежде поскорее погасить кредит по ипотеке. Поняв, что его обокрали, папа разрядил два ствола с картечью в совет директоров пирамиды и на миг почувствовал себя героем любимого автора. Книги он теперь читал в колонии строго режима и в письмах просил сына прислать ему новые очки с диоптрией минус три. На зоне трудно с очками.

Виктория Робертовна, мать Эраста, вышла замуж за подполковника в отставке, который выплатил все долги семьи, а потом понял, что он поспешил жениться на этой женщине, но теперь ему было жалко уйти из-за потраченных денег. Подвыпивши, он задушевно учил Эрика жизни, настаивая на главном завете: «Никогда, никогда не женись, мой друг; вот тебе мой совет, не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал всё, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, которую ты выбрал, пока ты не увидишь её ясно, а то ты ошибёшься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда не годным… А то пропадёт всё, что в тебе есть хорошего и высокого. Всё истратится по мелочам. Да, да, да!»—уже кричал он, дёргая подбородком по своей армейской привычке к жёстким воротничкам.

Ещё у Эрика была сестра Аня, ей было тринадцать. В школе она материлась, курила и дралась, а дома писала стихи, пока её брат, затягиваясь сигаретой, мужественно внимал призывам отечественного хип-хопа.

Шанс встретиться у Афанасия Никитича и Эрика был приблизительно один из тысячи, и всё же это было ровно в тысячу раз больше, чем шансов подружиться. Это отчасти уравновешивается тем, что никто из них не считал, что они подружились. Но, в любом случае, без помощи ошибки тут было не обойтись, и она услужливо вкралась в бумаги социальной службы. Афанасий Никитич сначала не хотел открывать дверь, подозрительно глядя в глазок, потом не хотел брать принесённый пакет, наконец смирился и расписался в получении. Так начались их регулярные встречи, но знакомства так и не состоялось бы никогда, если бы однажды старик не обратил внимания на обувь Эраста. Это были замшевые кроссовки, затёртые, растоптанные, как лапти, с отстающими подошвами, которые хотелось немедленно подвязать верёвкой, чтобы они не отвалились. «Какой у тебя размер ноги?»—«Чего?»—«Обувь—какого размера носишь?»—«Сорок три»,—недоумённо отвечал Эрик. «Вот бери,—сказал старик,—мне велики, тебе подойдут». Это была пара щегольских полуботинок с ещё девственной зеркальной подошвой и клеймом «Salamander». «Не-е»—«На, бери!»—«Мне не подходят такие…»—упёрся Эрик, набычившись, и старик отступил от него на шаг, опустил углы рта, как он делал, когда отставив от себя руку с книгой, разглядывал мелкий текст. Приглядывался к физиономии Эрика и, наконец, выстрелив в него указательным пальцем, спросил: «Сютаев?» Эрик замер.

«Удивительное сходство! Вот такой же упёртый баран, как и его папаша. Одно лицо»,—изумлялся про себя Афанасий Никитич, а сам, усадив Эраста за стол, подвигая ему чайную пару, ласково допрашивал: «Как ваш уважаемый родитель поживает? Я его студентом помню. Он мне экзамен по античной литературе семь раз сдать не мог. Хотел уже учёбу бросать, отчисляться…» «И в восьмой бы раз не сдал,—ворковал старик, придвигая сахарницу,—но я заболел тогда, вместо меня практикантка молоденькая принимала, пожалела его, дурочка. Так он и проскочил. Но парень хороший. Открытый, прямой. Так… чем он сейчас занимается? Надеюсь, по профессии работает?»

В голове старика история человечества была благородно вымощена великими династиями, где ремесло механика стояло вровень с ремеслом аптекаря, кузнеца, садовника, полководца и художника. Но как горы над этим строгим пейзажем возвышались ремесло Учёного и Поэта, осеняя и как бы напутствуя своей тенью все прочие ремёсла. «Данте открыл теорию относительности за 600 лет до Эйнштейна!»—восхищённо кричал старик своим оппонентам (уже почти полностью перекочевавшим в разряд гипотетических) и в подтверждение декламировал с трепетом пророка: «Движенье здесь не мерят мерой взятой // Но все движенья меру в нём берут // Как десять—в половине или в пятой!»

Он считал, что мужчина может изменять своим жёнам, политическим убеждениям, религии, но должен быть верен выбранному делу. Иначе он зря потратил своё время и время своих учителей, свои и государственные деньги. Собственный сын, переучившийся с физика на бухгалтера, был в глазах старика пропащим человеком.

Эрик уже успел войти во вкус того удовольствия, которое доставляла ему реакция окружающих на обескураживающую откровенность, и ответил: «Не совсем по профессии». Старик вскинул брови, приготовясь сердиться. Эрик, размешивая ложечкой сахар и не сводя со старика глаз, продолжил: «Его посадили. На пятнадцать лет закрыли. Он из ружья трёх человек завалил». Старик замер. Губы у него задрожали, и на глазах появились крупные слёзы. Он заплакал с быстротою ребёнка. Схватил салфетку и сломанным голосом пробормотал: «Какое несчастье…» Эрик не ожидал такой реакции. Он был обескуражен, смущён и тронут скорбью чужого человека. «Вы ведь даже не знаете…» — «Какая разница?..» — «Успокойтесь. Может, вам валерьянки дать?» — предложил уже набравшийся опыта на социальной работе Эрик. Старик замахал рукой, всё так же закрываясь салфеткой, повернулся, отворил скрипучую дверцу стенного шкафчика, достал бутылку коньяку, налил себе половину рюмки, выпил, задышал и, спохватившись, обратился к гостю: «Э-э-а?» Он указывал глазами на рюмку, а рукой на бутылку. «Спасибо»,— Эрик выпил коньяк одним глотком, не поморщившись, как его учили пить водку. «Расскажи мне, как это произошло?» Эрик сомневался. Опасался, вдруг старику станет плохо. Но Афанасий Никитич выслушал всё молча, не изменяясь в лице и сказал:
— Таким людям надо памятник ставить, а не в тюрьме держать!

«Готов. Окосел»,— подумал Эрик.

С того дня прошло уже несколько месяцев. Старик привык к визитам подростка, а Эрик стал заходить к нему просто так. Пересказывал полученные от отца письма, учился играть в шахматы. Каждый раз приходя, Эрик немного пугался и спрашивал: «Вы гостей ждёте?» Сам он являлся без приглашения и без звонка. Но старик неизменно представал перед ним в белой рубашке с запонками и в галстуке. «Зачем вы дома так одеваетесь?» — «Привычка, как бриться»,— отвечал старик и однажды рассказал ему историю об англичанине, который после кораблекрушения прожил несколько лет на необитаемом острове и каждый день брился. «Зачем?» — спросил Эраст. «Чтобы не одичать»,— ответил старик, разливая чай в жемчужной масти чашки. «А почему вы так мало наливаете всегда?» — «Много наливать невежливо» — «Почему?» Старик объяснил. Эрик выслушал и сказал: «Это давно было. К тому же на Востоке. Сейчас этого никто уже не понимает. Зачем же вы наливаете?» — «Но я ведь понимаю» — «А я ведь нет, а чай же вы мне наливаете. Зачем тогда морока?» — «Ты дикарь, но это не значит, что из-за тебя я должен становиться дикарём». Эрик не обиделся, подумал и сказал: «Вам было бы трудно жить в современном обществе». Старик посмотрел на него: «Почему „было бы“»? Я с семи лет это чувствую. Эрик удивился. Он помнил, что ему тоже было трудно. Но это всё из-за дурацкого имени. «А вас в школе дразнили как-нибудь?» — спросил он. «Не помню уже» — ответил старик. «Если бы дразнили, помнил бы» — подумал Эрик.
— У тебя какой любимый предмет в школе?
— Я в техникуме.
— Ну, всё равно…
— Физкультура,— Эдик почесал голову.
— А ещё?
— Биология.
— Почему?
— А там училка добрая, никогда двойки не ставит.
— И ты поэтому полюбил биологию?

Эдик, изогнувшись, почесал лопатку:
— А-га.
— А физика, математика, литература у вас есть?
— Да. Есть. Только у меня память плохая. Формулу я ещё запомнить могу какую-нибудь, а книгу нет.
— В твои годы не бывает плохой памяти.
— Зато бывают плохие воспоминания. А зачем? Вам шах.
— Нельзя, открываешь короля.
— Вот я заметил уже, что король здесь всем мешает, самая бесполезная фигура. И толку от него никакого. Давайте будем без королей играть, кто — кого. Ведь проще! Как до этого никто не додумался?
— Без короля нельзя.
— Вот так всегда. Без среднего образования нельзя. А зачем оно нужно? Если бы оно было действительно нужно, я бы всё выучил.
— А как же плохая память?
— Да выучил бы что хочешь. Если бы нужно было по-настоящему, а не для оценок.

Иногда Эрик рассказывал старику про свою младшую сестру.
— Анька вчера пятьсот рублей заработала.
— Как это?
— За просто так! Переходила она дорогу у нас возле дома. Там светофора нет. Только зебра. Постоянно сбивают кого-нибудь. Ну и вот она идёт по зебре, а ей чёрная кошка дорогу перебегает. Анька в приметы верит, дурочка. Взялась левой рукой за пуговицу и делает три шага назад. Спиной. Чтобы ничего плохого не случилось. Тут её машина и стукнула. Несильно. Водитель выскочил, весь бледный. Сбил ребёнка на зебре! Тюрьма! Поднял её, видит живая, стоит сама, сунул ей быстро пятихатку и по газам оттуда. Вот тебе и чёрная кошка. Анька счастливая была…

Рассказывая, Эрик изображал всё это лицом и руками, чтобы было смешней.
— А как отчим, не обижает? — спрашивал старик.
— Нет. Он идеалист.
— В каком смысле?

— В прямом. Я говорит, верю, что всё будет хорошо. В будущем. Верю, что справедливость победит, если только везде наведём порядок. А не будем разваливать всё, как армию. Если сделаем, как было. Ну, когда он ещё служить начинал. А когда выпьет, стихи мне читает,—Эдик задрал подбородок и чесал ногтями шею.

Старик смотрел на этот гладкий подбородок, крепкую молодую шею без этих ужасных морщин и складок, которые нужно оттягивать, чтобы не порезаться при бритье.

— Какие?

— Есенина. Или «Бородино»

— Тебе нравится?

— А какой в стихах смысл? Я понимаю, в математике формула или в физике, по ней что-то решить можно. А по стихам—что ты решишь?

— Жить по математической формуле нельзя.

— А по стихам?

— Можно.

— М-гу…Вот и сеструха моя Анька тоже так думает, только она дурная ещё, малая… Ну а вы-то… серьёзный человек…

— Убеждать тебя бессмысленно… А хочешь, пари?

— Что?

— Спор. Кто выиграет.

— Какой спор?

— Я подумаю.

Они складывали шахматы, и старик, оставшись один, смотрел из окна пятнадцатого этажа, как остро догорающая заря лилась плакатными полосами по мягким облакам, между которыми светилась бирюза, и в этой бирюзе чернели уже сгоревшие—кит, чайник и аэростат, превращаясь в собаку, верблюда и маску Эсхила. Потом отсюда, сверху, небо становилось похоже на море с японской гравюры или картины Хокусая с разбросанными островами облаков без единого огонька. Видел стену дома напротив, сто бодрых семейных огней, и между ними пара меланхоликов-пьеро в синем и одна красная коломбина.

— Кока-кола?! Как вы её пьёте, она же вредная!

Старик сохранил о кока-коле влюблённое детское воспоминание. Он помнил тот день, когда попробовал её в первый раз из узкой, красной, жестяной банки, покрытой иероглифами. Замер ошеломлённый после первого глотка и потом пил, выражая немым взглядом восхищение и отчаянье, что банка всего одна. На вторую он не смел посягать. Она стояла на краю стола, высокая, изящная, иностранная. Рядом лежала конфета «Коровка», оставшаяся от утреннего чаепития и теперь такая ненужная. Уж если ему выделили целую банку, то вторая должна остаться родителям—на двоих. Ему и так досталось больше, думал он. «Да разве только попробовать…»—сказала мама, пожимая плечом. Папа открыл и налил ей немного в хрустальный фужер. Мама дождалась, когда остынут пузырьки, пригубила, поморщилась и сказала: «Как вакса на вкус… Хочешь допить?» И он допил из бокала. Но из банки казалось вкуснее. И он растягивал удовольствие до вечера. А когда банка опустела, нюхал её. В следующие пятнадцать лет он кока-колы не видел.

— Много ты понимаешь! Мне уже давно можно всё самое вредное,—отвечал старик бранчливо, но не сердясь.

— Давайте, я вам герыча принесу, ну, героин, то есть,—подначивал его Эрик.

— Героин? Нет. Вот кокаин я бы попробовал.

— Чем кокс лучше?

— Ну, традиция, культура, Вертинский…

— Вы как ребёнок! Любите всем подражать. А где собственное мнение?—критиковал его Эрик.

Старик усмехнулся, дёрнул щекой.

— Чего?

Афанасий Никитич, отвернулся, упёрся кулаками в подоконник, только плечи тряслись.

— Чего вы?

Старик задохнувшись, тоненьким голосом, всхлипывая от смеха, стонал:

— Я представил… какой тебе срок добавят… если узнают… что ты пенсионеров на героин подсаживаешь…

Эрик стоял набычившись и хмуро улыбался.

— У тебя совсем нет чувства юмора?—спросил он серьёзно.

— Что же тут смешного?

Старик поглядел на него, замахал руками: «Уйди, уйди…»—и затрясся уже с подвывом.

«Ненормальный»,—подумал Эрик и засмеялся, но не над шуткой, а над самим стариком.

— Вот ты говоришь, деньги, деньги… А что бы ты мог сделать за деньги?—спрашивал старик коварно.

— И сколько денег?—недоверчиво щурился мальчик.

— М-м, много. Достаточно. В рамках закона и морали, разумеется.

— В рамках закона и морали я мог бы сделать всё.

— Можешь поэму выучить? На спор.

Эрик усмехнулся:

— Я думал, вы что-нибудь серьёзное предложите…

— Это серьёзно.

— Ну, могу. А сколько денег. Пенсия ваша?

— Три миллиона рублей.

— … что «три миллиона рублей»?

— Если выучишь наизусть поэму.

— Я не понял.

— Объясняю. Эта квартира стоит три миллиона рублей. Я тебе её завещаю, если ты выучишь наизусть одну поэму.

— Какую? «Евгений Онегин»?

— «Евгений Онегин»—это роман в стихах. Нет, не его. «Илиаду».

— А она длинная?
— Очень.
— А вам зачем?
— Хочу сделать напоследок что-то полезное.
— Хм, ну это я понял. А поэму зачем учить?
Старик рассмеялся.
— Опять шутите?
— Нет.

Самым удивительным на свете предметом теперь были кирпичи. Старик думал, глядя на них, что сейчас он понимает археологов. Изредка, в особом настроении, заходил он во двор дома, в котором он родился. Здесь было старое дерево, новый, но успевший состариться и прижиться гараж, обширный фрагмент подпорной стены, сложенной из тёсаного камня очень давно, задолго до рождения Афанасия Никитича и до рождения его родителей. Всё это казалось Афанасию Никитичу невероятным в своей грубой материальности, отчётливой зримости и простоте. Он касался рукой кирпичной кладки своего дома. Она не изменилась за столько лет и не изменится ещё очень долго. Этот кирпич будет существовать практически вечно по сравнению с Афанасием Никитичем. И это казалось не то чтобы несправедливо, но странно. Против человеческой логики. «Зачем люди ездят смотреть на пирамиды? Они могут с таким же успехом смотреть на столовую ложку у себя на кухне, которая переживёт их, может быть, на сотни лет… Или на Луну, которая уже пережила и ещё переживёт всех».

— Я пришёл сказать, что я вам не верю, вы меня обманете,— сказал Эрик с прищуром.
— Это плохо, молодой человек. Надо верить…
— А где доказательства?
— С доказательствами не будет веры. Это будет уже твёрдое знание. А я хочу, чтобы ты научился верить.
— Тогда я отказываюсь.
— Это твоё право. Я найду другого человека, который поверит мне. И ты увидишь сам, что я его не обману, но будет уже поздно… для тебя.

— Это издевательство,— возмущался Эрик.
— Нет. Это тебе так кажется. И ты сам виноват в том, что тебе так кажется, я здесь ни при чём. Не потакай дурным сторонам своей натуры. Это они подталкивают тебя к недоверию. С нами случается только то, во что мы верим.
— Неправда. Я никогда не верил, что моя мать выйдет за человека, который будет с ней так обращаться, как с ничтожеством.
— Здесь нет твоей прямой вины, очевидно, что в это верила она сама.
— Вы старый, но вы злой.
— Тебе так кажется…
— Если вы скажете ещё слово про мою мать…
— Не забывай, юноша, что у тебя уже есть срок условно. И твоей маме будет горько, если ты поднимешь руку на старика и твой срок превратится в безусловную реальность. Иди и подумай обо всём спокойно,— говорил старик, облизывая ложечку из-под сметаны.

— Но вам-то это всё зачем?— недоумевал Эрик.
— В научных целях. Я хочу проверить одну свою гипотезу.
— Какую гипотезу?
— Это сложно и долго объяснять.
— А вы коротко, по-простому…
— Коротко? «Нередки осложнения, где часты упрощения!»— усмехнулся старик,— коротко — я всегда предполагал, что человек, который выучит наизусть поэму Гомера — станет счастлив.
— Почему?
— Потому что это великая поэма.
— Ну и что. Таблица Менделеева тоже великая.
— Это не то.
— Почему?
— Таблица Менделеева не про людей, а поэма про людей.
— И что такого? Вот мой отчим знает наизусть устав караульной службы, это тоже про людей.
— Устав караульной службы это не искусство.
— Скажите это моему отчиму. Он вам расскажет, что искусство, а что нет.
— При чём здесь твой отчим?!
— Ну что вы кричите, я просто не понимаю.
— Я же говорил, ты не поймёшь!
— Так вы ничего и не объяснили! В чём гипотеза? Станет счастлив… но почему вдруг он станет счастлив?
— Потому что красота, увиденная и понятая, делает нас счастливыми. А в этой поэме много красоты. На всю жизнь хватит. Так понятно?!
— Так понятно. Но глупо. Природа тоже красота и она везде вокруг нас, и мы видим её каждый день и не делаемся счастливыми.
— Потому что неправильно смотрим, не умеем смотреть, а когда прочтём — тогда научимся.
— … да?
— Думаю, да. Хочу проверить на тебе. В любом случае, ты ничего не теряешь…
— Кроме времени.
— Какого времени?! Какого времени?! Тебе сколько лет? Зачем тебе время? Дурака валять? Для тебя этого понятия ещё не существует. Время! А на что другое ты его хочешь потратить с большей пользой? Ты же через десять-двадцать лет не сможешь вспомнить и трёх дней из теперешнего своего времени. Вот из этого ныне текущего года ты не вспомнишь через тридцать лет ни одной секунды. А вспомнишь только то, что давалось тебе с трудом.

Мы помним только победы и поражения, только муки и счастье. Только то, о чём эта поэма.

Так они теперь ругались, когда Эрик приходил к старику.
— А по главам сдавать можно? — спросил Эрик однажды.
— Можно.

Бывало, старик присаживался во дворе на скамейку, чертил остриём зонтика по влажной земле и вёл светскую беседу с нищим из квартиры 101. Нищий в любую пору ходил в зимних ботинках сорок пятого размера, без шнурков, в спортивных штанах, крупно, но аккуратно заштопанных на коленях, красной футболке с олимпийскими кольцами. По лицу его блуждала блаженная улыбка слабоумного. «Мы тогда ездили в Ялту, сняли там комнату на две недели, — говорил старик, с задумчивой улыбкой чертя зонтиком. — Вот, говорят, что математика всё может доказать… — он усмехался, — вряд ли… а я, даже когда смотрю на фотографии, не могу поверить, что это было и что это был я… Катались на лодке, покупали мороженое… самые обыкновенные вещи. Вечером гуляли вдоль фонарей… на мне были белые брюки… Невероятно!»
— Vita incerta, mors certissima[1], — сильно заикаясь, произносил его собеседник.
— Увы, увы… — кивал старик, продолжая улыбаться тому далёкому вечеру на набережной Ялты, вспоминая цепочку фонарей и запах моря.

Сегодня он гулял по Корабельной набережной. Потом поднялся вверх по улице Петра Великого до сквера Суханова, оттуда спустился обычным маршрутом по Семёновской к стадиону «Динамо» и, обогнув его по Батарейной, вышел к морю. Молочные волокна, переплелись в сумерках с неоновыми венами рекламы. Набережную затянуло молочным туманом, и вода была тёплой, если присев на корточки погрузить в неё ладонь.

В первый раз Эрику удалось прочитать на память первую главу только до тридцать второго стиха: «Прочь удались и меня ты не гневай, да здрав возвратишься!»
— Молодец! — воскликнул старик. — Bonum initium est dimidium facti![2]
— Угу, — угрюмо буркнул Эрик, — Я не понимаю ничего. Кто этот парень — Мрачный Аид? Что значит «паче Атридов могучих, строителей рати ахейской»? Это бестолочь какая-то. Бессмыслица. Как такое печатают? Для кого?
— У тебя прекрасная память, раз ты смог заучить, не понимая смысла.
— Я просто так, для пробы.

1. Жизнь неверна, но смерть куда как достоверна.
2. Хорошее начало — половина дела.

— Правильно! Я всё тебе объясню. И вот, возьми эту книгу. Тебе будет легче учить, когда её прочтёшь.

Эрик скептически посмотрел на заглавие. «Мифы и легенды Древней Греции»:
— Может я лучше её выучу, она вроде попроще написана, по-человечески.
— «Прочь удались и меня ты не гневай, да здрав возвратишься!»

Вот стеллажи, домашняя библиотека, в чтении которой он продвигался постепенно от последних томов к первым. Когда-то одним рывком от предписанного школой «Разгрома» к факультативному Эдгару По, и только через десяток лет к Филдингу, Стерну и Гомеру. Не чувствуя, что удаляется куда-то в темноту времён, а как будто восходит всё выше и выше, туда, где больше солнца и от разряжённого воздуха или от близости к Олимпу кружится голова. Помнил прогнувшиеся полки старинной этажерки на той, оставшейся в воспоминаниях детства квартире; иллюстрацию суперобложки, глядя на которую, он засыпал бесконечное множество раз прежде, чем узнал, что это «Охотники на снегу», и потом удивлялся, за что любят эту картину те, другие, кто не видел её каждый вечер в детстве, перед сном. Их восхищение Брейгелем казалось ему кокетливым самозванством, лишённым истинной почвы.

Наконец он отложил книгу и погасил лампу. Ему приснился сон, что он не может никак уснуть и какой-то голос толково объясняет ему, что это, потому что сейчас вечер, все хотят уснуть и вход в царство Морфея запружён желающими, вместо которых Афанасий Никитич увидел сужающееся устье конвейера и множество бледных, непропечённых булок, стремящихся протолкнуться на ленту транспортёра. Подождите тут, в сторонке, — сказали ему и отвели в казённого вида помещение с крашеной до середины стеной, где он уселся на стул с откидным сиденьем и тут же проснулся.

Зажёг лампу. Достал альбом, разглядывал фотографии. Смотрел на древние надгробия со стёртыми до молочной призрачности сурами из Корана, вокруг которых за сотни лет образовалась узенькая улица, глухая стена и парикмахерская с красными кожаными креслами и старым телевизором, и наконец, палисадник, в котором эти надгробия строго торчали из земли, покрытые отчётливой, неподвижной тенью ивовых ветвей, навсегда сохранившей на фото раскалённый полдень того далёкого дня. Но вместо фотографий, он видел номер гостиницы, ресторан, набережную вдоль Босфора, уличного продавца, достающего из ящика со льдом маленькие бутылочки пива, сумерки, не приносящие прохлады, и лунный блеск на горбатых камнях старой брусчатки. Всего несколько сотен километров на юго-запад — и он

мог бы доехать до Трои. Но тогда это казалось не к спеху, ещё успеется когда-нибудь. Теперь уже никогда. Но он почти не жалел, представляя себе разницу между той звонкой, медноблещущей Троей, которая была у него в голове, и пыльным захолустьем, которым она должна была показаться путешественнику из далёкой северной страны.

В начале четвёртого часа он поглядел через стекло на улицу. В окнах соседнего дома светилось только два окна. Теперь дорога в царство Морфея была свободна. Светофор на перекрёстке мигал жёлтым. Засыпая, улыбнулся, вспомнил, как Эрик спрашивал сердито: «Паче, одесную, рамена—это, что? Тоже греческие слова?»

В соседнем подъезде у Афанасия Никитича жил давний товарищ, Бронислав Александрович, похожий на настоящего декана, а не на тех профессоров, что появились в наше время. Бронислав Александрович потянул бы на декана священной коллегии кардиналов, задающего жару испанским инквизиторам за недостаточное усердие. Но он был простым геологом. Двухметрового роста, смуглый как цыган, с белой подстриженной бородкой и костистыми кулаками фанатика. Он ласково-угрюмо встречал товарища. Мрачно проводил его в комнаты, предлагал чаи на выбор, дорогие экзотические. Задавал вопросы. Как дети? Когда звонили? Что говорят? Как здоровье? При этом никогда не выслушал ответов. Афанасий Никитич вывел для себя цифру—в среднем около минуты—мог его друг слушать собеседника не перебивая. Сколько Афанасий Никитич помнил своего друга, тот никому не давал говорить больше минуты. Зато охотно говорил сам. Недостатки друзей со временем становятся достоинствами. Почти всё, что рассказывал Бронислав Александрович, Афанасий Никитич уже слышал и поэтому только кивал. Он был даже рад, что для поддержания беседы достаточно кивка. Бронислав Александрович ругал пустоголовую молодёжь. И Афанасий Никитич, уже раскрыл, было, рот, чтобы внести поправку, но успел вымолвить только: «Э-это не всегда верно… Вот ко мне ходит один парень. Очень способный»—«Чернявый такой? Из соцслужбы? Видел…» И, не дав приятелю продолжить, Бронислав Александрович развивал свою мысль дальше с риторическим удовольствием. Афанасий Никитич только улыбнулся. Потом Бронислав Александрович ставил на проигрыватель виниловые пластинки и друзья молча погружались в воспоминания юности. Заваривали ещё чайник.

Бронислав Александрович был задушевно бестактен. «Вот умрём, кому всё это достанется? Твоя библиотека и мои пластинки. Всё ведь пойдёт на свалку». Афанасий Никитич кивал, чтобы поскорее закрыть тему. Но Брониславу Александровичу было этого недостаточно: «Жалко ведь!» «Да, жалко…»,—соглашался Афанасий Никитич. «Ну, ты-то можешь институту завещать»—советовал Бронислав Александрович. «Могу»—«Так вот, надо. Надо написать завещание. Ты ещё не писал?»—«Нет, ещё»—«Но надо написать»—«Хорошо, я напишу, и поставь мне сначала, я пропустил там интересное место»,—просил Афанасий Никитич уже раздражаясь. Бронислав Александрович бережно передвигал иголку над вращающейся пластинкой. И оба слушали в бессчётный раз: «Boy, you're gonna carry that weight».

— Да вы вообще ненормальный!—взрывался Эрик.
— По сравнению с кем? С твоими друзьями?
— Нет. По сравнению с ними вы инопланетянин. А по сравнению с вашими, ну ровесниками,—ненормальный.
— Почему?
— Потому что они нормальные. У них у каждого своя фишка. Один тележит, вот мне пенсию неправильно начислили, я должен быть пенсионер федерального значения, а мне начислили как обычному. И каждый раз про это. Другой—что у него был частный дом, и этот дом сломали, а его поселили в однокомнатной квартире и за дом не дали компенсацию; однокомнатная маленькая, а дом, типа, большой был. Третья—про то, что она вся в детей вложилась, а дети ей шиш! Не помогают. Четвёртый рассказывает, какой у него диабет, какого типа и как его определили неправильно, а потом правильно определили, а он до этого от неправильного диабета лечился и здоровье подорвал только этим лечением. И каждый про своё каждый раз. Это понятно. Это нормально. А вы всегда про что-то постороннее. До которого вам дела не должно быть. Ну какая вам разница, читают люди или нет? Вам это каким боком важно? Видно, что вы счастливый человек, раз вам, кроме этого, жаловаться не на что.
— Конечно, счастливый!
— Серьёзно? А чё не радуетесь?
— Я радуюсь.
— А чё тогда такой злой? Да вы про всякое постороннее рассуждаете, как будто вам лично на хвост наступили. Извините.
— Господи, какой ты тупой…
— Ну, вот опять…
— Границы личного определяются масштабом личности.
— Что-то я про вашу личность ни в одном учебнике не читал.
— Та-ак… А киты—это личности?
— Киты—это животные.
— Но ведь очень большие?
— Вы на кита не тянете.
— Киты и слоны ландшафтообразующие животные. От их количества и миграций зависит

окружающая природа. Так и от количества личностей в народе зависит его история. Личность отличается от обывателя тем, что в последнюю очередь думает о себе персонально.
— И что же вы такого необыкновенного сделали для общества?
— Необыкновенного? Ничего, слава Богу. Я делал самое обыкновенное, простое дело. Преподавал в университете.
— Растили, типа, подрастающее поколение. Ну и где же ваши ученики?
— Ну разве я могу проследить за всеми? Их было сотни!

Старик понимал, что многие из них «погибли», как «погиб» его сын, сделавшись «никчёмным человеком», бухгалтером; но он верил, что единицы (а может, и целый десяток!) остались. И вот они станут основателями династий, передадут своё знание и, главное, страсть потомкам, а те дальше, своим, и в конце этого ряда, подобно тому как в длинной веренице Бахов появляется Себастьян Бах, появится великий гений, и если от этого гения проследить назад цепочку, подобно тому как от человека можно проследить назад цепочку к простейшему микроорганизму, к началу жизни, то этим началом жизни явится именно он — Афанасий Никитич.

Он мог бы уподобиться рыбе, льющей мириады икринок на верную погибель, но зная, что один процент выживет, поднимется, расцветёт.
— И что же вы преподавали, литературу? Которая никому не нужна.
— Почему не нужна?
— Потому что! Я вам это докажу за одну минуту на спор.
— Попробуй.
— На что спорим?
— На что хочешь…
— Когда появилась эта ваша литература? Тысячу лет назад.
— Примерно три с половиной тысячи лет назад.
— Не важно. Сколько тогда было грамотных. Хрен да маленько. Один на тысячу.
— Меньше.
— Тем более. Люди, в массе, книжек не читали никогда. Ну, века до 19-го. В 19–20 веке стали читать. А теперь опять перестали. В чём проблема? Из четырёх тысяч лет они читали только лет двести, и жизнь продолжалась, история всякая и общество развивалось. Ну увлеклись маленько, почитали и дальше поехали развиваться вперёд. О чём вы льёте крокодиловы слёзы.
— Крокодиловы слёзы в данном случае неуместное выражение, но идея интересная, продолжай.
— Да чего продолжать, я всё уже объяснил. Было и прошло, почитали и хватит, сейчас мир через технику развивается, цифровые технологии, буквы — отстой, устарели.
— Ты очень способный и сообразительный бываешь, когда хочешь доказать то, что тебе нравится.
— В средние века никто не читал. Ну, в народе. Все Библию с голоса там слушали и пели за священником. Всё! И было нормально. Они даже революций не устраивали. А устраивать начали, когда стали книги читать. Начитались, и давай — вперёд! А толку? Жопа…
— Ишь ты! Мне это нравится, — ударял себя старик по коленям.
— Ну да! Робеспьер этот издал Энциклопедию, и давай вперёд на баррикады, на Бастилию! А потом сами же друг друга по запарке перевешали на этой гильотине. И Робеспьера туда же.
— Ну-ну…
— Дальше ещё смешнее. Маркс написал «Капитал», а Ницше сочинил «Зороастра».
— «Заратустра».
— Ну, не суть… Наши схватились душить богатых по классовому признаку, немцы всех — по расовому. Наворотили от души. Вот вам — польза чтения. Чем вы гордитесь тут? Сейчас общество лучше стало. Литература нужна только как закон! Раньше это были всякие священные тексты. Теперь это физика, биология; то есть правда-то что на самом деле! То, что закон природы и техники.
— Да-а… ты просто Жириновский от философии! Вот. Бери. Заслужил.
— Что это?
— Часы.
— Да они же не ходят.
— Да. Стоят. Зато серебряные. Однажды ты починишь их, а заодно свои мозги! Каждый раз, когда ты будешь встречать в жизни опровержение своих сегодняшних тезисов — смотри на эти часы и, может быть, когда-нибудь они пойдут.
— Вы такой же ненормальный, как мой отчим. Из вас двоих можно целое государство построить. Только вы поубиваете друг друга до этого, — говорил Эрик.

Отчётливая, ещё безлистая тень дерева на бледном асфальте пустой воскресной улицы. Но уже по-весеннему широко открытое окно на втором этаже, прохладный сумрак, в глубине дрожит блик оконного стекла, когда лёгкий ветер упруго толкает раму, под которую предусмотрительно подложена незаменимая в хозяйстве вещь — книга. А из другого открытого окна сбежала белая штора и мечется на ветру, как женщина в греческой драме.

Ветеран, меняющий колесо своего зелёного «Москвича» в уютной тени пустого воскресного двора.

Тихое звяканье железок.

Выучив первую главу полностью, Эрик почувствовал себя всемогущим. Он читал её, размахивая руками, когда шёл по улице, баловался интонациями,

в шутку наделяя героев шепелявостью или картавостью, разыгрывал мимические сценки, пытался петь на мотив популярных мелодий или выкрикивать в стиле хип-хопа. Старик таращился на него в ужасе: «Прекрати кривляться!» Эрику было всё равно, он знал, что не будет продолжать. Надоело. Но неожиданно, проболев дома четыре дня простудой, выучил вторую главу. У парня оказалась феноменальная память.

Эрик читал, и старик, хмурясь, видел перед собой алчного подростка, который временами становился похож на торжественного до угрюмости жреца, поверившего в своё могущество; возможно, уже пугал домашних загадочными цитатами («Прежде других, малодушный, найдёт себе смерть и погибель…»), которые изрекал с мрачным самодовольством. Важность, сопутствующая примитивным натурам на первых шагах просвещения, сквозила в каждом его движении. Но причиной этой важности, догадывался старик, был не список ахейских кораблей, а три миллиона, которые являлись ему то как необъятное целое, то как бесконечное множество повторяющихся оранжевых купюр, каждую из которых он мог без сожаления потратить; то как девушки в бикини или спортивный автомобиль с хищным, далеко бьющим взглядом, то как острова на Адриатике, которые этот дикарь представлял только по рекламе прохладительных напитков. Эрик теперь жил в некой нумисфере, будучи сам её центром и расширяясь по окружности, которая сияла так отчётливо, что старик, казалось, видел её нимб вокруг головы Эрика.

То, что прежде рисовалось старику недостижимой в своём утопизме просветительской мечтой, воплощалось на его глазах с самой пошлой материальностью.

Афанасию Никитичу приснился сон. Он держал в руках чёрную коленкоровую тетрадь, по которой проверял, как Эрик читает ему поэму Гомера. Только в тетради была не «Илиада», а другие стихи, которые сам Афанасий Никитич тайно сочинил гекзаметром взамен настоящей «Илиады». Эрик читал верно неверные, подложные строки, и Афанасий Никитич радовался про себя, пока ему не приснился переводчик Николай Иванович Гнедич, проверявший по тетради, как Афанасий Никитич читает ему на память Гомера. Гнедич при этом лукаво улыбался. Потом с невероятной правильностью во сне Афанасия Никитича возник афинский тиран Писистрат, при котором были собраны воедино и записаны разрозненные песни, ныне составляющие «Илиаду», и уже где-то на краю сновидения мелькнул из Лувра бюст самого Гомера с белыми глазами и отколотым носом, но преображённый улыбкой, которая всё ещё держалась на губах Афанасия Никитича, довольного своим подлогом. Они с Гомером одинаково улыбались друг другу. Проснувшись, Афанасий Никитич ещё минуту помнил, но не мог понять, как это ему удалось переделать целую поэму, и только одна строчка не успела прошмыгнуть в сошедшиеся занавеси сна: «Подле своих колесниц ожидали Зари лепотворной» Эту свою хитрость Афанасий Никитич успел запомнить. У Гомера было: «лепотронной».

Но подлинник был по-прежнему в руках профана—с иглою в сердце томился об этом Афанасий Никитич. И тогда он решил изменить условия контракта. «Пусть он всё забудет». «Мне не смешно, когда маляр негодный, мне пачкает мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери»,—твердил он, одеваясь, и не мог вдеть запонку в двойное устье манжеты. Он привык одеваться тщательно, как будто уходил на весь день на какое-нибудь официальное торжество, после которого будет ещё театр и банкет. Он одевался так, даже если никуда не уходил. Живя один, он старался постоянно держать себя как будто на людях, чтобы не расслабляться, не давать лазейки той истоме, что ласково уговаривает с утра до обеда блуждать по квартире в исподнем, переключать каналы, прихлёбывая третью чашечку остывшего кофе, а потом накрывает сердцебиением, испариной и страхом.

Старик боялся болеть дома. Чувствуя приближение сердечного приступа, он вызывал не скорую, а такси и кидался на вокзал. Там он садился в зале ожидания, не далеко от медпункта и смотрел по сторонам. Вокзальная суета его успокаивала. Вокзал был построен в русском стиле, на манер терема, с кубоватыми бочоночками колонн, поддерживающих своды радушных арок-кокошников с накладными полукруглыми пилястрами. Так и кажется, что сейчас выйдет из-за колонны на каменные ступени Ярославна, а из-за другой князь Игорь и запоют из оперы Бородина, простирая навстречу друг другу руки. Столько раз ребёнком Афанасий Никитич отсюда отправлялся в счастливые путешествия детства. Бабушка провожала в пионерлагерь, подарила картузик с козырьком. Отец целовал в щёку на прощание, когда отпускал сына в институт, подарил ручку «Паркер». Теперь нет давно ни картузика, ни бабушки, ни отца. Ручка сохранилась до сих пор в благородно потёртом футляре. И вокзал есть! Здесь старик чувствовал покой и, сидя в зале ожидания, поглядывал на надёжную дверь с табличкой «Медпункт».

Ему пришло в голову, что такая книга, как «Илиада», уже давно сама выбирает себе читателей, будучи чем-то вроде архетипа. Ерунда, ерунда,—бормотал он. И вдруг вспомнил и удивился, замерев, уставившись в одну точку, неужели мне действительно удалось за одну ночь сочинить заново «Илиаду»?

Он откинулся на спинку кресла, задрав голову к потолку, на котором раскинулась недавно восстановленная фреска: щетинистое золото острых колосьев, крепкий напор ветра, туго натянувший алый бархат знамени, но не коснувшийся ленточек на бескозырке румяного матроса, идущего об руку с лучезарной женщиной в белом платье, прижимающей к груди букет полевых цветов, сливочно-золотой фронтон триумфальной арки под голубым небом, пионер в шортах и строгий мужчина в застёгнутом под горло френче, ведущий за руку девочку в розовом платье, на руках у которой сидел плюшевый мишка, выставивший вперёд крохотную лапку (совсем по-ленински) Кое-кто из толпы этих небожителей-олимпийцев в косоворотках и рубашках с отложными воротниками благосклонно взирал вниз на посетителей вокзала. «Какая пародия»,—подумал старик то ли насчёт фрески, то ли насчёт своего сновидения, но почувствовал лёгкий, почти невесомый толчок носком своего ботинка. Весёлый оранжевый мячик, прокатившись под рядами кресел, остановился у его ног. Девочка в розовом платье искала его глазами. Старик нагнулся, чтобы поднять его и почувствовал, что на него рухнул потолок.

Надёжная дверь медпункта оказалась надёжно заперта. У медработника был обеденный перерыв. Дежурный милиционер вызвал скорую, но она уже не понадобилась.

Кресло, с которого свалился Афанасий Никитич, ещё четверть часа оставалось пустым, будто хранило траур, пока его не занял загорелый таджик в тюбетейке, и жизнь пошла дальше.

Только девочка в покачивающемся вагоне поезда смотрела на свой оранжевый мячик.

Пустая квартира Афанасия Никитича ещё три дня стояла недоумённо приглядываясь к привычному передвижению солнечного луча от секретера к креслу, в котором любил сидеть хозяин; прислушивалась к тихому движению занавески, к шагам на лестнице, пока на третий день не окаменела, когда в неё внесли это, уже экипированное для путешествия и совсем чужое. Множество людей отразилось в двустворчатых дверях шкафа и в зеркале серванта. Вещи, сроднившиеся друг с другом за столько лет в этой в квартире, почувствовали приближающуюся разлуку и гибель. Все вместе они были никому не нужны. (Не стоять теперь рядом этой сахарнице, рюмочке и фарфоровому утёнку.) Большие вещи завидовали маленьким, тех ещё, может, разберут по знакомым, а нас куда? На свалку, на дрова? Корешки книг теснились стройными рядами, храня непроницаемое достоинство, как гвардия на последнем параде.

Прилетевший из столицы сын Афанасия Никитича, «пропащий человек», бывший физик, а ныне бухгалтер, сидел на кухне, трогал салфеточницу, солонку, плетёную корзиночку для хлеба, удивляясь тому, как время, такое стремительное в одной может совсем не двигаться в другой точке пространства. Бронислав Александрович, уединившийся, чтобы выкурить сигарету, смотрел, как геологическими горизонтами расположились продольные оттенки желтизны, переходящей в красноватость внутри старой эмалированной ванны под капающим краном. Было ещё много строгих людей в костюмах и галстуках—бывшие коллеги Афанасия Никитича. Среди прочих вдруг явился никому не ведомый огромного роста нищий в спортивном трико и зимних ботинках без шнурков. Он плакал, крестился и его стеснялись выпроводить. И никто не обратил внимания на хмурого паренька в чёрной футболке, тихонько стоявшего в коридоре.

На другой день, произведя необходимую калькуляцию и сделав несколько телефонных звонков, сын Афанасия Никитича забрал два фотоальбома и ручку «Паркер» с золотым пером, которую он помнил с детства. Ребята в комбинезонах, прибывшие из клининговой кампании, принялись за дело, расставив по квартире чёрные пластиковые мешки. В один из них полетел вставленный в рамку детский рисунок—выполненный цветными карандашами петушок с подписью «Дедушки в день рождения».

После того как отъехал похоронный автобус, без труда вместивший всех провожавших, Эрик, не решившийся в него сесть, пошёл по улице и хорошо помнил, как он провёл остаток дня, несмотря на то, что ничего особенного в этот дымчато-серый, с не пробившимся солнцем вторник не произошло. Он ходил по улицам, на которых ничего не изменилось, и это само по себе казалось невероятным. Утомившись от бесцельного хождения, он пришёл домой и предложил отчиму сыграть партию в шахматы, но тут же с удручающей лёгкостью выиграл и отказался от предложенной в ответ игры в шашки. Несколько дней он не мог разобраться в природе своего беспокойства. Недоученная поэма застряла в нём на третьей песне, как обломившийся наконечник парфянской стрелы, пущенной, уносившимся прочь, в небытие всадником.

Раньше он не верил, что сможет выучить даже страницу, потом не верил, что сможет выучить всю или хотя бы половину, и никогда не верил, что старик может исполнить своё обещание. Теперь эти опасения были беспочвенны и уже не мешали ему спокойно водить глазами по строчкам, что вошло у него в привычку. И мир, будто съехавший куда-то в сторону, тут же стал на место. Только какой-то секретный паз не щёлкнул.

Боги, у Зевса отца на помосте златом заседая,
Мирно беседу вели; посреди их цветущая Геба
Нектар кругом разливала; и, кубки приемля златые,
Чествуют боги друг друга, с высот на Трою взирая…

Эрик улыбнулся, повторив про себя на память эти строки из начала четвёртой песни. Посреди этого золота и небесной лазури, между богов он увидел Афанасия Никитича, тоже с кубком, на почётном месте. Старик улыбался ему с высоты, будто из-под купола, и Зевс тоже поглядел на Эрика, а старик, шепнул ему что-то на ухо, и Зевс тоже улыбнулся Эрику с высоты.

Проснувшись после этого видения посреди ночи, Эрик понял — что не так. Выполненному обещанию требовался свидетель. Паз щёлкнул. Нужно доучить поэму до конца и прочитать её вслух этому свидетелю!

На другой день, придя в знакомый двор, Эрик увидел на стене дома малярную люльку. Стена, с одного угла неровно покрытая свежей яичной желтизной, казалась освещённой солнцем. Дом отчаливал в будущее уже без Афанасия Никитича. Эрик побродил по двору. Лавочки были заняты старушками. Пришлось выбрать ту, на которой сидел, слабоумно щурясь, тот самый нищий, которого он видел на похоронах. Эрик брезгливо присел с краю. Нищий поглядел на него, улыбаясь. Эрик деловито отвернулся.

Только под вечер ему удалось дождаться высокого, могучего старика с подстриженной седой бородкой.

Эрик подошёл к нему с давно приготовленной фразой.

— Здравствуйте. Я остался кое-что должен Афанасию Никитичу.

Бронислав Александрович вздрогнул и строго посмотрел на мальчишку. В первое мгновение он подумал, что пацан украл что-нибудь у Афанасия Никитича.

И в какой-то степени он, возможно…

ДиН ревю

Дмитрий Филиппенко

На побережье пульса

Москва: «Вест-Консалтинг», 2017

«Молодой шахтёр»

Однажды Александр Чистяков, запамятовав имя, назвал Дмитрия Филиппенко «тот молодой шахтёр». В мимолётное, но очень точное определение достоинств поэта Дмитрия Филиппенко — он молод и у него есть то, что называется судьбой, жизненным опытом. Ему есть, о чём писать. И он следует завету Сергея Есенина: «Пиши что знаешь». Он пишет о том, что знает. О разбитом асфальте родного Ленинска-Кузнецкого, который часто называет дореволюционным — Кольчугино. О деревне детства — Протопопово О своей профессии — тяжёлой и опасной:

> Я погребённый заживо лежу,
> Метан глотают аритмично лёгкие.
> Я ощущаю каменную жуть:
> Ведь я не знал — земля такая лёгкая!

Дмитрий — заядлый болельщик, хорошо разбирающийся в футболе, и он не стесняется вносить в свою лирику и болельщицкое ликование, и горечь спортивных поражений:

> Голодали без побед и медалей.
> Долго всматривался в нас город Сочи.
> Поменяем мы коньки на сандалии,
> Если наш хоккей ещё кровоточит.

У автора — широкий диапазон тем. Стихи о дочери и для дочери, стихи о штрафе за переход не по зебре, стихи о временах года… Отражена и «тяга к перемене мест»: кроме родных осин в книге присутствуют и Таиланд с его Бангкоком, и Турция, Иркутск, Крым, Сочи, Новосибирск…

Значительное место в книге занимает любовная лирика, куда без неё:

> Позволяй мне с тобою мириться,
> Снова ссориться не разрешай.
> Я нашёл, где у неба ресницы,
> И узнал, где у солнца душа.

У Дмитрия всё в порядке и с чувством языка, он умеет играть словами, не чужд иронии, но и в иронии и в аллитерации он не теряет чувства меры.

Хочется пожелать автору как можно дольше сохранить ощущение молодости и свежести в стихах. А мы будем завидовать.

ДМИТРИЙ МУРЗИН
Член Союза писателей России

Дарья Верясова

Война

Война была много лет назад. Война была жестокой и кровопролитной, Соня это знала точно — так говорили по телевизору. И ещё она знала, что каждый год в честь Победы идёт парад. Но Парад в Москве, а они живут на Крайнем Севере, и Соню на все выходные увозят на дачу. На даче у них свет и телевизор, отчим ворует электричество у госпромхоза. Соня в этот день почти не выходит на улицу и знает наизусть все военные фильмы, особенно про лётчиков и лётчиц. Их всегда показывают по телевизору утром и после минуты молчания. Это нарочная минута, чтобы грустить о погибших. Соня тоже грустит — встаёт на сетчатой никелированной кровати и пытается устоять, не держась за спинки или стену. Кровать скрипит, переваливается под ней, она падает, а отчим орёт, что нельзя прыгать, потому что траур. Соня говорит, что не прыгала, а он ещё сильнее орёт: «Ты знаешь, что трое твоих дедов погибли на фронте? За тебя, соплю, погибли! Сколько народу полегло, не сосчитать». Своего отца он тоже считает Сониным дедом, но она и не против — дед Вася был красивым, большеглазым и со звездой на остроконечной шапке, как у фей. Лицо отчима краснеет, а глаза щурятся с такой ненавистью, что Соня замирает и ждёт удара. Но пока он говорит, он успокаивается, злость, от которой Соня столбенеет, пропадает, он вздыхает и говорит: «Помянем». Отчим всегда «поминает» с соседом дядей Колей, а потом храпит на диване. Дядя Коля уходит. На столе остаётся колбаса и огурцы, и Соня их доедает. Ещё остаётся водка, и противно пахнет на всю комнату. Мама в этот день к ним не приезжает, у неё какие-то дела.

А Соня читает книжку про Зою. Или про Лару. Или про Зину. Но про Зою чаще. Она ей больше нравится. Зою босиком водили по снегу, но она никого не выдала, потому что была очень честной и не могла нарушить клятву. Соня бы тоже не смогла нарушить клятву, сколько её ни бей. Когда что-то рассказывают по секрету, Соня — никому.

В телевизоре поют грустное. Отчим храпит. Соня встаёт, засовывает ноги в войлочные тапки, которые забрала на дачу, — дома они грязные и воняют, а на даче не воняют, потому что по полу дует, тапки мёрзнут и запах вместе с ними. Здесь она на них вообще не смотрит, надевает быстро, сминая задники, — добежать до коридорного ведра, оно вместо унитаза, чтобы не застудиться на улице. Остальное время Соня лежит на кровати в огромном отчимском свитере, который пахнет старым потом, она сильно вытягивает из воротника шею, и тогда пахнет не так сильно. Здесь вообще всё пахнет старым потом, войлоком и тем ведром, который стоит в коридоре.

На даче отчим включает два железных тэна, может ещё печь затопить, если девочка замёрзнет. Девочке не нравится на даче — тут не с кем играть и на улицу не пускают. Она хочет в город, где парад и где ходят настоящие ветераны. Соня бы их спросила: «Правда, воевать страшно?» И вдруг кто-то из них знал Зою. Или Лару. Или Зину. Но лучше Зою. В их маленьком северном городе ветеранов нет, они все умерли, как единственный выживший дедушка, или уехали на материк, как бабушка, которую Соня видела только раз. Мама говорит, что бабушка Соню не любит за характер, а на самом деле бабушка не может простить маме второго замужества и не желает видеть невестку, а та обижается и в отместку не даёт встречаться с внучкой. Всё это Соня слышала урывками, но сумела сложить вместе. Поэтому летом Соня с мамой едут на море. Но так и лучше. Раз бабушка маму не любит, то Соня не будет любить бабушку, и значит, незачем им вместе жить летом.

А сейчас Соня свешивается с кровати, подбирает тапки, а потом, лёжа на спине, засовывает в них ноги. Вываливается из свитера. На ней остаются футболка и лосины — бирюзовые с искрой, долго выпрашиваемые у мамы. Сейчас они пошли дырками по шву между ног, их можно носить только на даче, когда никто не видит, потому что они «неприличные». Опускает ноги на пол, щиколотки обдаёт холодом. Отчим храпит громко, он не проснётся.

Засов отодвигается туго, железная дверь визжит. Соня слушает храп — он то утихает, и Соня замирает, то раздаётся с такой силой, что можно успеть за время раската распахнуть дверь, выскочить наружу и прикрыть дверь обратно. Снаружи метёт, снег забирается под футболку и покрывает инеем лосины. Утром, пока было солнце, отчим почистил крыльцо, теперь тут ровная тропа, Соня отбегает к углу дома, к собачьей будке, перед сугробом разувается и ступает босой ногой на

снег. Нет, терпимо. Шею и живот задувает куда сильнее. Раньше тут жил Матрос, он бегал с цепью по натянутой проволоке, но сейчас его нет, под проволокой сугроб, и чтобы ровно по нему пройти, Соня хватается за проволоку. Она обледенела, но прежде чем Соня делает следующий шаг, ладонь успевает растопить лёд и прилипнуть, она резко перехватывает руку и шагает вперёд, по пояс проваливаясь в снег. За проволоку вытягивает себя из сугроба. Верхний слежавшийся снег остекленел, он цепляется за лосины, царапает икры и щиколотки. Внутри сугроба рассыпчатые крупинки, они похожи на крупную каменную соль, которой мама запаслась на зиму. Холод от них сначала щиплет кожу, потом начинает жечь. Соня шагает ещё раз, и ещё раз перехватывает руки. Потом опять. Проходит минута или две. Ступни не ощущаются, болезненный вой поднимается к колену, ладони ободраны, от напряжения Соня вспотела и заледенела на ветру. Вцепившись в проволоку, подтянув колени к груди, Соня висит над серединой сугроба. Уже нет смелости опустить в него непослушные покрасневшие ноги. Никак не оторвать прилипшие руки. Ветер бьёт в лицо, не даёт дышать. Хочется плакать от боли и обиды, но Зоя не плакала даже перед смертью, а значит, и Соня будет молчать.

Но нельзя, чтобы её здесь увидели. Она зажмуривается, резко приседает, отрывая руки от проволоки, падает на наст, проваливается, делает глубокий вдох и перекатами, застревая в сугробе локтями и коленями, ползёт к дому. Догоняет разлетевшиеся тапки, шатаясь, входит внутрь, непослушными руками запирает дверь. Храп не умолкает. Соня вздыхает с облегчением. Вот бы ей попало!..

Во всегда холодном коридоре стоит обжигающая жара. Теперь можно перевести дух, в коридор ходить не запрещено, и Соня мелко-мелко дышит. Через минуту Соню начинает трясти, она хочет идти, но не может. Ноги не держат, а рукам больно цепляться за стену. Ладони с ободранной кожей кажутся голыми. Ещё больнее браться за металлическую дверную ручку, но чтобы войти в комнату, надо за неё дёрнуть. И прежде чем это сделать, Соня напрягает всё тело и с силой зажмуривается. Да, так легче. Ощущение в ладонях — как во рту, когда болит горло и мама заставляет сосать противные мятные таблетки.

Соня ковыляет к кровати, забирается на неё и рассматривает то ладони, то ступни. Они красные с крупными белыми пятнами и прожилками, ободранные и поцарапанные. Они ничего не чувствуют. Соня садится попой на ледяные ступни, засовывает ладони под мышки, укутывается одеялом, пытается растирать ступню локтём, онемевшими пальцами бинтует её (бинт лежит на подоконнике у изголовья кровати), представляя себя раненой медсестрой. Наконец чувствительность возвращается. Вместе с дикой болью, которая доходит до бёдер и локтей, и Соня опять не может дышать, она боится начать кричать. Тогда отчим проснётся и надерёт ей задницу. Он всегда обещает так сделать. И сосед дядя Коля его поддерживает, говорит, что так и надо, а то распустили молодёжь. А ведь и без того всё болит, и зубы сводит.

Боль пульсирует сильнее, и Соня начинает всхлипывать и подвывать ей в такт. Ей становится почти безразлично, что кругом враги, что надо молчать и что отчим надерёт ей задницу. Боль выкручивает каждый палец на ногах и выворачивает кисти рук, как будто её действительно пытают фашисты.

Это всё они, думает Соня. Проклятые фашисты, они схватили её и тащат в свои застенки. А застенки у них такие, какие нарисованы в «Мальчише-Кибальчише»: тёмные, сырые, с пауками. Вот и Мальчиш держался и ничего им не сказал. И я буду держаться, твёрдо решает Соня.

К вечеру у неё поднимается температура и начинается бред. Проспавшийся отчим бежит в контору леспромхоза через дорогу звонить маме, чтобы та немедленно приезжала.

А Соня видит заснеженную тундру, которая всё равно что Подмосковье. Соня ползёт по снегу к дальнему дому, там живёт сосед дядя Коля. На боку у неё сумка с зажигательной смесью, есть ещё граната и наган. Ей нужно поджечь дом. Дядя Коля ей всё равно не нравится, он злой. Он был бы фашистом на войне. Но вместе с ним в доме сидит отчим. Соня не видит его, но знает, что он внутри. Она не может устроить пожар. Ведь тогда сгорит отчим. А она его любит. Даже когда он обещает её побить, даже когда пьёт водку и смотрит на Соню с ненавистью — всё равно она его любит. Но если её схватят здесь, то будут пытать и казнят. И мама будет плакать — Соня у неё одна. Соне обязательно надо вернуться, чтобы мама не расстраивалась из-за её героической гибели.

И Соня бьётся в жару и бреду, она снова ползёт по снегу к дальнему дому и снова не может решить: поджигать ли его? Зоя-Зоя, помоги! Зоя, что же делать? — шепчет Соня и вдруг приходит в себя.

Она не на даче, а дома. За окном светло. Мама сидит возле её кровати. Соня шарит рукой под подушкой: там шоколадка. Это тайный знак от отчима. Значит, он обиделся на маму и уехал жить на дачу. Но девочке он передаёт, что любит её. Так лучше. Пусть он оставляет ей шоколадки и любит, чем живёт рядом и ругается.

— Я болею? — спрашивает Соня.

— Ты выздоровела, — говорит мама, — но лежи. Есть хочешь?

— Дай книжку, — просит Соня.

— Нельзя, — отвечает мама. — Закрой глазки.

И Соня засыпает лёгким прозрачным сном, и снится ей Парад Победы и мир на земле, и все дарят ей цветы и говорят спасибо. И она когда-то знала Зою. Или Лару. Или Зину. Но лучше — Зою.

Илья Иослович

Экзистенциальные истории

Володя Лихтерман

Володя Лихтерман был прелестный и тихий человек. У него была крохотная пенсия по психиатрической инвалидности, и он успешно на неё жил. В день на еду тратил 30 копеек—в столовой хлеб был бесплатный, манную кашу ему давали с двойным маслом и—как постоянному посетителю—предлагали добавку. Его маленькая комнатушка была до потолка завалена книгами. Встретить его было можно или в читательском зале Ленинской библиотеки для научных работников, или где-то поблизости. Проблема с ним была одна—начав говорить, он не кончал, а так и журчал своим тихим, приятным голоском—до бесконечности. В принципе, рассказывал что-нибудь занятное, но всему есть предел.

Тут на сцене появляется Жан-Поль Сартр. Дело происходило, видимо, до 1955 года, мне о нём рассказывали очевидцы. Сартр уже не был троцкистом и ещё не стал маоистом, идолом студенческого восстания 1968 года, и очень активно флиртовал с советскими властями—был членом Всемирного Совета Мира. И приехал на какой-то конгресс в защиту мира в Москве, т. е. был «попутчиком», одним из «людей доброй воли», или, как говорили в политбюро, «полезным идиотом».

Я уже не помню подробностей, где Сартр жил, в какой гостинице—в Москве, Метрополе или Национале, но там, в холле, его отловил Лихтерман и начал с ним увлекательную беседу по-французски. Сартр был очарован и предложил Лихтерману завтра же вместе отправиться на заседание конгресса.

Лихтерман надел чистую рубашку и встретил Сартра в вестибюле, как договаривались. Сопровождающие лица засуетились, но Сартр взял Володю под руку, и они отправились на конгресс, видимо, пешком, возможно, даже в Кремль. Ближе к входу Сартр Володю вообще обнял, так что оттащить его не было возможности. Так продолжалось до самого входа на конгресс, то есть до самой двери. Там вежливые молодые люди вдруг показали Сартру куда-то вбок и вверх.

Удивлённый Сартр посмотрел и ничего не увидел, а когда повернулся к Володе—того уже не было.

Молодые люди округлыми жестами предложили Сартру проходить. Он прошёл.

А Володю в тот момент вдруг сильно дёрнули вниз и в сторону, а через минуту он уже был в подвале, где его спросили: «Ну и чего тебе надо было? Зачем к гостю прилип? Кто такой?»—и всякие такие расспросы. Впрочем, и для него эта экзистенциальная история окончилась благополучно.

Ещё одна история

Моя мама в 1931 году вышла замуж за своего сокурсника Лёву.

Лёвка (как мама его всегда называла) был начитанный, способный мальчик, без вредных привычек, но очень советский.

У неё перед этим случилось два несчастья—умерла её мама и дедушка женился на её (бабушки) подруге, а вслед за тем мамин молодой человек, Миша Волькенштейн, внезапно женился на прежней жене Есенина Надежде Вольпиной (матери Алика Есенина-Вольпина). Мишина мама, которая маму, видимо, недолюбливала, ей позвонила и сообщила новость.

Миша впоследствии с Вольпиной довольно быстро развёлся, стал большим биофизиком, директором института, академиком, с мамой они поддерживали дружеские отношения, но, думаю, эта рана так в ней и не зажила. Хотя можно сказать, что на самом деле ей повезло, папа был человек семейный и надёжный, а Миша в зрелом возрасте поселил у себя кубинскую балерину Алисию Алонсо, и его жена должна была это выносить.

Лёвку мама совершенно не любила и чувствовала себя из-за этого очень неловко. Он её обожал и дарил ей сборники Пастернака с такими надписями: «Пастернак для тебя, ты для меня, и всё как нельзя лучше». Я как-то её спросил: «А почему ты с Лёвкой развелась?»—и она, не задумавшись, сказала: «А ты заметил, какой у него нос?» Нос был, конечно, сливой, не то, что римский нос у моего папы. В 1936 году мама встретила папу, тут же развелась с Лёвкой и вышла за папу. Лёвка перебрался обратно к своим родителям.

Лёвкины родители приехали из Екатеринбурга и были тоже очень просоветские. В Екатеринбурге они такие, государя императора с семьёй расстреляли. У Лёвки было две сестры, Циля и Ноэми,

Циля была замужем за известным писателем Виктором Киным, а Ноэми за театральным критиком Гришей Литинским. Виктор Кин, автор знаменитого романа «По ту сторону», был очень талантлив, известен и успешен. Говорят, именно он придумал Николая Островского как проект. И возможно даже сам написал «Как закалялась сталь». У него была квартира в доме на набережной. Восемь лет он работал атташе по культуре в Париже и Риме. Но в 1937 году ему припомнили старое знакомство с секретарём ЦК Виссарионом Ломинадзе и группу «Литфронт». Он был расстрелян, а вся семья загремела в лагеря. Циля, с которой он до этого успел развестись (привёз из-за границы левую революционную латиноамериканскую красотку), всё равно попала в лагерь АЛЖИР (Акмолинский лагерь жён врагов народа), Наоми попала куда-то на север. Гриша попал в Воркуту, но там удачно пристроился в лагерном театре. Лёвка, мне кажется, оказался в Норильске и работал расчётчиком. Вскоре его перевели в ссыльные. Он потом говорил, что лагерные ужасы преувеличены, и с уголовниками вполне можно ладить.

В Норильске Лёвка встретил мамину знакомую Галю Штерн, жену её друга детства Игоря Вяхирева. Игорь заработал по ложному доносу ссылку ещё в 1933 году, а Галя поехала к нему как декабристка. Увы, в ссылке они поссорились, и Галя, увидев в Лёвке всё-таки знакомого интеллигентного человека, завязала с ним недолгий роман. Хотя, по моему мнению, напрасно—Лёвку из всех людей интересовал только один человек—он сам. Потом она вышла замуж за ссыльного геолога. У него в личном деле в качестве причины ссылки было написано: высшее образование. Такие дела.

Во времена оттепели и «реабилитанса» все они вышли на свободу. Лёвка защитился и стал профессором. Время от времени он появлялся в нашей комнате на Большой Молчановке, и мама один за другим отдавала ему назад сборники Пастернака. Ей к тому времени уже было не до стихов.

Ноэми, про которую раньше говорили, что она как фарфоровая статуэтка, оказалась в Ярославле. Гриша опять стал работать в журнале «Театр». Циля сначала работала дворником, потом была секретарём у Маршака, потом работала в редакции «Нового мира», написала несколько книг об итальянской литературе и истории. Кстати, с Лёвкой она разругалась насмерть и прекратила с ним всякое общение. Я думаю, тому были причины.

Её итальянские друзья устроили ей большую рекламу. Мне её книги очень нравились, пока я не нашёл там описание, как она с друзьями посещает собрание Организации Освобождения Палестины (ООП). Поддержка этой банды убийц и бандитов—это была официальная позиция итальянской компартии, в большинстве состоящей из евреев.

Лёвка уехал в Израиль в 1973 году. Он стал работать профессором университета, пожалуй, самого престижного заведения в Израиле.

Теперь вернёмся ко мне. В 1991 году, когда я наконец собрался уезжать, Лёвка приехал в Москву. Он должен был прийти к маме в гости, и мама меня попросила что-нибудь принести, чтобы его накормить. Я залез в наши стратегические запасы. Лёвка приехал из Ярославля, где навещал племянников. Племянники его задарили, как могли, и до Лёвки дошло, что как благополучный родственник, он тоже должен что-то подарить. Он снял с руки часы (отнюдь не Роллекс). После обеда он выразился так: «Вот говорят, что в России голод, а меня везде кормят так, что стол ломится». Я-то понимал, что везде ему собирали последнее.

Мама полагала, что в Израиле Лёвка мне поможет. Я, конечно, знал, что рассчитывать надо на себя только, но не представлял, какой биологической ненавистью Лёвка меня ненавидит. Во мне он видел живое воплощение… уж не знаю чего.

В университете мама была, что называется, популярной студенткой, тем более, на мехмате, где девочек всегда дефицит. Она знала всех—гениев и злодеев, математиков и механиков и физиков с физфака (сама была в группе астрономов), знала и Колмогорова с Александровым, и Седова с его кровным врагом Баренблатом, и Ишлинского, и Гельфанда, и Гельфонда, и Гинзбурга (нобелевского лауреата), и Станюковича, и Зельманова, и Рахматуллина, и Сагомоняна, и Григоряна, и Амбарцумяна. И всегда пыталась как-то меня пристроить через свои знакомства.

А я всегда ей это строго запрещал.

Но тут, перед перспективой езды в незнаемое, дал слабину и решил у неё попросить достать письмо к Эзеру Вейцману, министру науки и бывшему командующему ВВС. Племяннику первого президента Хаима Вейцмана и будущему президенту Израиля. Дело в том, что ближайшей маминой подругой была Люся Вейцман, двоюродная сестра Эзера, тоже племянница первого президента. Люся, библейская красавица, была вдовой академика Гамбурцева, дневала и ночевала у нас дома, без конца жалуясь на свои беды. Что тётя Люся может отказать в такой ерунде—это мне в голову не приходило. Тем более мама вечно меня просила чем-то ей помочь—найти лекарство или что. И тем не менее Люся именно отказала, сказала, что это неловко. Вместо этого вручила мне адрес какой-то диссидентской знакомой, которой впору было самой о себе позаботиться. Впоследствии я с ней виделся, и мне рассказали, что она человек очень известный в определённых кругах. Получив приглашение на какую-то официальную церемонию, она тут же

в офисе громко заявила, обращаясь к сожителю: «Ты видел? Мы известные диссиденты, а не х… собачий!»

Кстати говоря, Эзер вскоре приехал в Москву и во время этого визита внезапно получил от премьера Шамира письмо об увольнении из правительства. Я полагаю, что он в Москве по собственному почину начал нелегальные переговоры с палестинцами из ООП (банда Арафата). Это на него похоже. Принцы плюют на всех и делают, что хотят.

В Израиле, естественно, надо было прежде всего найти работу. Это и так не просто, а когда сразу приехало 10 000 научных работников, из них 3 000 кандидатов и 500 докторов наук—является некоторой проблемой. Как было сказано в брошюре еврейского агентства: «Если вы знаете племянника программиста в той фирме, куда хотите предложить свою кандидатуру, не пренебрегайте этим знакомством». И в более простые времена люди, искавшие работу, потом вспоминали об этом занятии безо всякого удовольствия. Собственно говоря, у них от злости порой изо рта текла жёлтая пена—как я наблюдал.

Моя история имеет свои плюсы и минусы, но следует отметить, что Лёвка с самого начала заявил: «Вам я ничем помочь не могу». Кто бы сомневался. Неотъемлемой чертой этого процесса было общение с малознакомыми людьми. Кстати, малознакомые и совсем незнакомые люди помогали очень активно. Следуя Ильфу и Петрову, я составил их краткие характеристики: может и хочет, не может и не хочет и т. д. Про Лёвку я тут же написал в соответствии с классиками: может, но свинья.

Между тем через несколько лет Лёвка овдовел и обратил свой взор на бедную Россию. С мамой он регулярно переписывался, так что она была в курсе его мероприятий. А именно: он вспомнил Галю Штерн, тоже овдовевшую, и пригласил её в гости. Галя согласилась и приехала, взяв с собой внучку. Я Галю немного знал, останавливался как-то раз у них в Ленинграде, когда был в командировке. Их семья мне очень понравилась, но заели крупные ленинградские клопы. Галя потом жаловалась маме: «Твой Илюша такой странный, вдруг внезапно уехал». Она, по-моему, имела на меня некоторые виды, имея в виду свою взрослую дочь.

И вот Галя живёт у Лёвки, ходит по святым местам и посещает музеи. Как вдруг является Лёвкин сын и устраивает дикий скандал. Называет Галю авантюристкой, охотницей за наследством. Такие семейные нравы. Может быть, у него накопилось. Бедная Галя не знает, как быть. За все 82 года её никто так не называл. Обратный билет у неё через три недели.

В итоге Лёвка снял ей номер в гостинице, где она украдкой и прожила оставшееся время. Больше всего Гале было неудобно перед внучкой, ведь она-то уж совсем ни при чём.

Сейчас все они уже умерли: мама, папа, Галя Штерн, Игорь Вяхирев, Циля, Ноэми и Гриша, Вейцманы, Гинзбург, Станюкович, Зельманов, Седов, Гельфанд и Гельфонд…

Лёвка всех пережил, но тоже недавно умер.

Яков Лотовский

Рондо каприччиозо

Былое

Послевоенные наши детские самокаты мы строили из тарных ящиков, разогнутой консервной жести, кривых гвоздей, проволоки и прочего бросового материала. Главное—раздобыть пару подшипников. За остальным остановки не было. На передке мы рисовали суриком красную звезду.

Наши самоделки неслись по асфальту с таким грохотом, что в нём тонули все уличные звуки, включая трамвайный дребезг и звон. Когда ватага самокатчиков лавиной скатывалась по Владимирскому спуску на Подол, опережая трамвай №16, неуверенно сползавший вниз с остановками для проверки тормозов, это напоминало советские танковые атаки недавней войны, знакомые нам по кино. Сходство довершали настоящие танкистские шлемы на наших головах и офицерские сумки через плечо, хотя и не у всех они были. При виде всего этого обитателям нашей улицы Кирова делалось не по себе. Особенно старушенциям, имевшим привычку сидеть у ворот на стульях. Мы проносились мимо них, поддерживая обретённую скорость и поддавая жáру правой ногой. Вослед нам неслись проклятия на бесшабашные наши головы в танкистских шлемах.

У меня, к огорчению, не было такого шлема с карманами для шлемофонов. Не было и плоской командирской сумки-планшета с целлулоидным отделением для карты-двухвёрстки. Однако имелась хоть какая-никакая, а всё-таки армейская сумка, заменявшая мне школьный портфель. Так что и я был как-то экипирован.

С полного маху мы сворачивали в наш двор №89, иной раз налетая на кого-нибудь. Двор сразу наполнялся грохотом, перекрывавшим все звуки кипевшего в нём быта: перебранку жильцов, гул примусов, пение патефонов. Жители двора осекались на полуслове, отрывались от газет, поднимали головы от лоханей со стиркой. Кто-нибудь полуголый выставлялся из окна и, нервный, сонный после ночной смены, крыл нас последними словами, а то и скатывался в чём был по лестнице, чтобы накостылять нам по шея́м. Но пойди догони нас! Мы с грохотом уносились прочь и неслись по людной нашей улице Кирова, лавируя меж прохожими. Нам и лавировать-то не очень приходилось: заслышав за спиной нарастающий грохот, прохожие сами раздавались по сторонам.

Эх! До чего славно было мчаться по асфальту, толчками ноги посылать вперёд самокат, на передке которого красовалась звезда, и, разогнав до предела, поставить на платформку правую, трудовую ногу позади левой ноги-пассажира и катить вперёд, держа баланс в такой почти балетной позе, пока хватит раската, и чувствовать, как ветерок холодит разгорячённое лицо. Дальность свободного проката зависела от смазки подшипников. Смазывали их маслом для швейных машин. Маслёнки вместе с запасным подшипничком, скобами, гвоздями и прочим хозяйством всегда были при нас, в деревянном *бардачке*, прилаженном у основания рулевой части.

Самокатная кампания начиналась с приходом весны, когда очищенный от последних холмиков грязного, ноздреватого снега Подол становился сухим и пыльным, выставлялись зимние рамы и убирались запылённые сугробики междурамной ваты, а трамваи по-поросячьи визжали на поворотах, и визг их и грохот делался слышнее в домах, освобождённых от зимних рам.

В одну из таких самокатных вёсен как-то разом поблекла для нас вся прелесть наших самокатов. Причиной тому был Энрико. Точнее, его новенький фабричный самокат.

Энрико был мальчик особый. С нами, дворовой шпаной, он не водился. У него была отдельная жизнь, в корне отличная от нашего бестолкового существования.

Как теперь я понимаю, родители Энрико, люди *с запросами*, наградили его этим редкостным именем с умыслом: готовилась ему незаурядная участь. В их семье имелась наследная скрипка старинной работы, на которой играл его дед и даже прадед по отцовской линии. Но уже целое поколение она лежала без пользы. Музыкальная наследственность отца, видимо, была испорчена вмешательством немузыкальных генов материнской ветви. Родителям Энрико, точнее, его матери—даме видной и энергичной, очень хотелось дать ход этим красивым, но утраченным фамильным задаткам, уникальный инструмент к тому обязывал. Это

она наградила сына роскошным, оперным именем. Ей мнилось, что сын станет скрипачём-вундеркиндом, и имя его будет под стать их фамильной реликвии — скрипке итальянской работы. Она определила сына в платную музыкальную школу и водила его на занятия, самолично неся футляр с наследной скрипкой.

Но играл Энрико, кажется, без особой охоты. Сколько раз мы замечали, как он со скрипкой на плече, улучив минутку, когда мать отвлекалась, с интересом глядел со второго своего этажа на нашу возню, а когда в комнате появлялась мать, тут же начинал орать нам, чтобы мы прекратили галдёж, не мешать ему упражняться. Он хорошо знал, что этим нас не уймёшь, даже больше раззадоришь, но именно это и было ему на руку. Мы принимались шуметь ещё сильнее. Тогда в окне возникала живописная его мать с тюрбаном из махрового полотенца на голове, презрительно называла нас дикарями и сердито захлопывала окна. Случалось, даже выплёскивала на нас грязную воду, что приводило к дворовым скандалам на уровне взрослых.

Так или иначе, но Энрико упражнялся постоянно и по внушению матери считал себя вундеркиндом. Хотя даже нам было ясно, что до этого звания он явно не дотягивает, в то время как вундеркиндовский возраст у него был на исходе. Он уже превращался в юнца, и во время отчётных концертов в музыкальной школе короткие штанишки и пышный бант под кадыком выглядели на нём странно. Видать, мамашина генетическая струя оказалась слишком сильной. Не то что Венька из соседнего двора.

Соседний двор №91 был невелик, малолюден и тих. Уединённость его во многом объяснялась тем, что на железных с завитушками воротах, в отличие от наших распахнутых, висела фанерка с надписью *Во дворе уборной нет*, потому прохожие сюда не забредали. И наш брат самокатчик здесь не водился. В тишине дворика царил напев Венькиной скрипки.

Венька ходил в ту же музыкальную школу, что и Энрико, и, кажется, в тот же класс, хоть и был на два года младше. Чтобы понять, кто из них настоящий *вундер*, можно было и не сравнивать их игру. Достаточно было увидеть, как отрешённо плёлся по улице Веня со своей скрипочкой в старом футляре. Его большая, шишковатая, как бы гранёная голова была, видимо, переполнена музыкой, она покачивалась, поматывалась, отбивая какие-то такты, не совпадавшие с его шагами. Из его погружённости в музыку не мог вывести ни грохот проносившейся мимо нашей самокатной ватаги, ни обидные прозвища, что мы орали ему в самое ухо. Лишь *щелбаны*, что мы отвешивали по твёрдому, как камень, его *кумполу*, возвращали его к реальности, и он был вынужден загораживаться от нас футляром и убыстрять шаги. У нас у самих пальцы болели от этих щелбанов. Спастись от нас на другой стороне улицы он не мог, поскольку переходить улицу ему строго запрещали родители, зная за ним рассеянность.

Энрико же ходил об руку со своей красавицей матерью и вертел по сторонам своей ушастой головой, живо интересуясь кипящей вокруг уличной жизнью. Надо сказать, что эта его вертлявость не так бы бросалась в глаза, кабы не его уши. На Подоле, в этом самом бойком районе Киева, все вертели головами по сторонам, в силу особой живости и любознательности. Но Энрико имел огромные, оттопыренные уши, тонкие, точно из папье-маше, которые просвечивали на солнце, как витражи, и его верчение головой особо бросалось в глаза, походило на взмахи крыльев. Так что повадкой своей Энрико был обыкновенный подолянин. Только что имя у него было необыкновенное. И скрипка.

Однажды я получил возможность рассмотреть её вблизи и даже потрогать.

Как-то высовывается он в окно и зовёт меня. Я удивился, что он знает моё имя. Он с нами не водился. Но ещё больше удивил его тон. Таким голосом взрослые подманивают пугливых детишек — не бойся, мол, дяденька добрый. Детей именно такой тон и настораживает.

Насторожился и я, но всё же подошёл под его окно, ожидая подвоха в виде помоев на голову или чего-то в этом роде.

— Ты можешь зайти к нам? — говорит он сладеньким голоском и манит меня рукой.

— А зачем? — настороженно спрашиваю.

— Ну, зайди к нам, не бойся, зайди-зайди, — заманивает уже обеими руками.

Я пожимаю плечами, оглядываюсь на товарищей и неуверенно иду к нему наверх. Наверно, переменили политику, сейчас начнут бить на сознание, нотации разводить. Энрико уже ждёт меня, приоткрыв дверь. От нетерпения ногами перебирает.

— Заходи! Входи! — говорит он ещё слаще.

Переступаю порог с чувством, будто сейчас попадусь в капкан. В их квартире я впервые. Правда, любопытные наши взгляды бывали уже здесь тыщу раз. Мы иногда забирались на крышу флигеля, что напротив, и смотрели, как Энрико елозит смычком по скрипке, пускали ему в глаза солнечные зайчики и высвечивали самые укромные места их домашнего полумрака. Так что, знал я хорошо эти тёмные шкафы и буфеты, знал эти кресла, стулья, диван — всё под чехлами бордового цвета, ковёр этот со львом и охотником, стреляющим ему в пасть, бронзового ангелочка на напольных часах.

Ещё в передней Энрико спрашивает у меня искательно:

— Ты ведь умеешь делать самокаты, да?

И сам кивает головой, будто старается внушить мне это.

Я настороженно кошусь на него, прикидывая куда он гнёт, чтоб не влипнуть в историю.– Себе же сделал,—говорю.

— А мне можешь сделать?—И поспешно прибавляет:—Конечно, не за спасибо!

Я ушам не поверил. Вот тебе и раз!

— Мне очень хочется самокат иметь!—с жаром повторяет он, мечтательно зажмурясь.

— Тебе же… Ты же… этот…

— Ты хочешь сказать—вундеркинд?—помогает он мне.

Я хотел сказать скрипач, но пусть так, какая мне разница.

— Ну и что, что вундеркинд? Разве вундеркинды—не люди? Вундеркинду тоже хочется простых человеческих радостей,—тараторит он без умолку.—Мне бы, конечно, купили, если бы они были в продаже. Я давно мечтаю о самокате, но мамуля всё была против. Сейчас она, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, не возражает. Конечно, при условии, что скрипка—прежде всего.

Он обнял меня за плечи и подвёл к матери. Она сидит в спальне перед трельяжем в махровом тюрбане и красит ногти лаком. Лак очень красный. Вот бы такую звезду на самокате!

— Мамуля, вот он,—за моей спиной тараторит Энрико.—Он может сделать самокат. Я тебе говорил о нём. Этот вроде самый порядочный из них и в то же время умеет делать самокаты.

Она отводит чуть в сторону руку и, лишь налюбовавшись на свои красные ногти, взглядывает на меня в зеркало. Затем принимается красить следующий ноготь.

— Энрико, ты же знаешь М - только при одном условии,—медленно произносит она.

— Да-да, мамулечка. Вот увидишь, я всё сыграю на «отлично»,—подхватывает Энрико, часто-часто моргая ресницами. Они у него, между прочим, длинные, как у девчонки. И глаза, как у девчонки. Большие такие.

— Прежде всего скрипка, Энрико, а потом всё остальное,—твердит своё мать, растопыривая пальцы и помахивая рукой.

Эти слова Энрико уже знает наизусть, поскольку каждый слог сопровождает кивком головы, а последние слова даже подхватывает вполголоса и заканчивает вместе с нею.

Лишь после этого она отрывается от пальцев и рассматривает меня в зеркало полуоткрытыми глазами. Я опускаю голову. Мне немного страшно от её ослепительного лица. Она красива, как Снежная Королева из сказки Андерсена.

— Можешь сделать для моего Энрико… эту штуку?

Я не знаю, кому мне отвечать: ей или её отражению в зеркале. Но она тут же поворачивает ко мне своё лицо с такими же, как ногти, яркими губами.

— Сделай. Я тебя отблагодарю,—говорят её губы.

— Хорошо,—шепчу я, заворожённый краснотой и близостью этих губ.

Энрико захлопал в ладоши и чмокнул её в щёку. Она снова отвернулась к своим зеркалам.

А он в награду за мою сговорчивость, взял меня под руку и повёл в свою комнату через гостиную. Отец его, как всегда, сидел в кресле с газетой. У него были точно такие же уши вразлёт, но не прозрачные, как у сына, а тусклее, будто из картона. Он не обратил никакого внимания на наш проход. Он только разок взглянул поверх газеты в нашу сторону с некоторой тревогой, когда сквозь открытую дверь услышал, как Энрико щёлкнул замками футляра и стал показывать мне наследную скрипку.

Во мне шевельнулось желание прикоснуться к хрупкому, как куриная косточка, грифу, легонько провести рукой по деке из старой древесины с просвечивающимися сквозь лак склеротическими сосудиками. Желание было мимолётным. Я так и не прикоснулся к ней, поскольку Энрико тут же вскинул её на плечо, взял смычок и заиграл какое-то упражнение, косяя глазами на работу своих пальцев. Мелодию эту я знал наизусть. Он наяривал её с утра до ночи. Всему двору тошнило от неё. Когда он управился с ней, я как бы на правах принявшего подряд, попросил заиграть что-нибудь известное, скажем, «В нашу гавань заходили корабли» или хотя бы «Родина слышит». Вечно елозит какую-то канитель, нет чтобы сыграть что-нибудь путное. Энрико посмотрел на меня так, будто я сморозил чушь.

— Это не балалайка, чтобы играть всякую белиберду,—говорит он с негодованием.

— А почему Венька играет «Родина слышит?»—спросил я.—Своими ушами слыхал.

— Потому что ваш Венька *шмок!*—вспыхнул Энрико, сердито уложил скрипку обратно в футляр и защёлкнул замки.

Тут я целиком с ним согласен: Венька—и есть *шмок*. Но что касаемо игры на скрипке, то и на мой непросвещённый слух Венька мог дать ему сто очков форы. Когда заходишь к ним во двор, можно подумать, что это играют по радио. Хотя нет. Если по радио, спутать нельзя. Я имею в виду, что играет какой-нибудь *ойстрах*. Даже тётя Галя, наша дворничиха, что обслуживает оба двора, понимала это: «Гарно грае отой малэнький, шо в девяносто первом. У нас в Ямполе тоже где какая свадьба евреев звалы грать. Уси евреи гарно грають на скрипку». Тоже мне, ляпнула. Так уж все! Я ж не играю—ни на скрипке, ни на чём. Мне она и даром не нужна, эта скрипка. Но речь не обо мне. Энрико, между прочим, тоже еврей. Но я б не сказал, что он играет «гарно». Да нет, вроде хорошо в общем. Но всё же что-то не так. У него скрипка как-то подвывала, и вроде как смычок иногда цеплял за что-то. Короче, когда слышишь

его, так и видишь, как он возит смычком туда-сюда. И это всё портит.

Но чёрт с ними, со скрипками. Дело не в них. Дело в самокате.

Так вот. Самое главное, что у Энрико тоже появился самокат. Не тот, что я ему сделал. Тот стоял у меня в сарае, оставалось достать лишь пару подшипников. Даже не пару, а один, имелся у меня в *бардачке* запасной.

И вот в одно прекрасное утро появляется на крыльце Энрико с каким-то чудом в руках. Мы как раз торчали во дворе. Все при самокатах. И тут он выходит. Мы сразу не поняли даже, что это у него самокат, настолько он не походил на наши приземистые самоделки. Его самокатик был фабричный. На высоких колёсах с дутыми шинами. Сделан из лёгкой дюрали, голубого цвета. Руль почти велосипедный, с резиной на рукоятках. У заднего колеса—тормозная педалька. Всё это мы разглядели потом. А пока разинув рты глазели, как он сносил с крыльца своё голубое чудо, как поставил на асфальт и, толкнувшись ногой, легко покатил по двору, делая вид, что нас не замечает. Как он попал в наши края, такой самокатик, даже непонятно. Не было в те времена самокатов в продаже. А может, уже начали производить, и этот из первых? Или трофейный, купили ему по случаю.

Катил он легко, ненатужно и скоро. Прямо птицей летел на своих бесшумных колёсах. Прежде всего нас поразил этот его бесшумный ход, почти парение. При наших подшипниках, и часто с песочком, мы себе не представляли самокатов без грохота. Именно сила грохота и служила мерилом скорости: чем громче, тем быстрее. А тут—полная тишина, как во сне. Достаточно разок-другой оттолкнуться, чтобы инерции хватило на сотню метров. К тому же и манёвренность—куда нашим топорным и нерыскливым.

Мы долго не могли прийти в себя, стояли столбами, а Энрико выписывал по двору вензеля и жутко *форсил*. На фиг теперь ему нужна самоделка, которую они с мамашей заказали мне сделать.

Ещё один перевес был у его самоката перед нашими: Энрико мог на нём беспрепятственно носиться по скверику, который находился в конце улицы Кирова, перед Гостиным Рядом. Нас оттуда изгоняли мамаши с детскими колясками. Из-за грохота. А Энрико носился себе по дорожкам, как ангел. На скрипке сейчас он мало играл: в музыкальной школе были каникулы. Венька, между тем, всё равно играл с утра до ночи. Совсем чокнулся со своей скрипкой. Энрико тоже поигрывал. Мамаша заставляла, чтоб совсем не отвык.

Стоим мы иной раз за железной оградкой и смотрим с завистью, как носится он по выпуклым дорожкам скверика. На таких дорожках закладывать виражи—одно удовольствие. Особенно на таком чуде. Ух и скорость! И ещё попутный ветер подгоняет в уши. Они у него, как паруса. Всё бы отдал, чтобы прокатиться хоть разок на его голубой птице! Куда там—не даст ни за что.

Однажды подхожу к нему там, в скверике:

— Послушай, а как быть с тем самокатом?

Он удивлённо заморгал своими ресницами:

— С каким?

— Ну, с тем. Ну, который вы с мамашей заказывали.

Он заморгал ещё чаще, будто никак не может вспомнить. Притвора несчастный. А потом говорит скучным голосом:

— Ах, с тем… Что хочешь, то и делай. Продай, подари, не знаю.

И помчался дальше.

— Постой!—кричу ему, когда он снова проносился мимо.

Он с маху остановился. Тормоз у него—люкс!

— Ты бы мне за это хоть разок дал бы прокатиться.

— На чём?

Опять хлопает глазами. Дурачка валяет.

— На самокате на твоём.

— Ах, на самокате,—прямо просиял он, опять же притворно.—Во-он оно что! На самока-ате…—тянет он, а сам прикидывает, как быть. Потом вдруг напускает на себя серьёзный вид и говорит прямо по-дружески так:—Не могу. Понимаешь? Просто не имею права.

— Почему?

— Не имею права—и всё.

— Что он у тебя тоже наследный?

Он смерил меня взглядом. Видать, не ожидал, что я такое брякну. И потом задумчиво так говорит:

— Кто знает? Кто знает? Может, и станет наследным.

Мне противно стало, что выпрашиваю, а он ломает из себя не знаю что. Я повернулся и пошёл домой.

Всё-таки однажды он дал мне прокатиться. Да-а. Дал… Я запомнил это на всю жизнь. До сих пор не могу забыть.

Как-то под вечер мы всей гоп-компанией катили по улице в сторону Владимирского спуска. Собирались проделать коронный наш номер: взойти наверх, аж до площади Сталина, и съехать вниз на Подол. Дело было к вечеру. Смотрим, обгоняет нас Энрико на своих мягких колёсах. Запросто нас обставляет. Мы тоже было налегли на самокаты, чтобы не позориться, но где нам с нашими броневиками. Он летит, а мы елозим, утюжим асфальт.

Потом он вдруг останавливается впереди и поджидает нас. Когда мы подъехали, подходит ко мне, берёт по-взрослому под руку, отводит в сторонку и говорит:

— Вы куда сейчас?

— На Владимирский.
— Нам по дороге,—говорит он.—Мне в Пионерский парк. Хочешь со мной?
— А чего я там не видал!
— О! Знаешь, как там прелестно! Такой вид на Днепр! Такой воздух! Кататься там—сплошное удовольствие!

«С таким самокатиком везде сплошное удовольствие»,—подумал я.

— Нет,—говорю.—Я с ребятами.

И догоняю своих. А он не отстаёт. Пока поднимались пешим ходом вверх по Владимирскому, всё шёл рядом и шёпотом уговаривал пойти с ним в Пионерский парк.

— А зачем, говорю, я тебе нужен?
— Просто вдвоём интереснее.
— А почему именно со мной?

Если честно, я хорошо помнил, как он представил меня своей мамаше самым порядочным *из них*. Не знаю… Может, захотелось снова это услышать.

— С тобою,—говорит он,—хоть побеседовать можно. Кто знает, может, товарищами станем.

Я покосился на его самокат. Оно, конечно, не так уж плохо подружить с ним. Может, когда-нибудь даст прокатиться. Товарищу, небось, не откажет.

Вздохнул я и говорю:

— А по шея́м там не накостыляют?

Он в ответ лишь хмыкнул презрительно. Видно, никогда не получал.

— Ладно,—говорю,—в Пионерский, так в Пионерский. Только я с ребятами.
— А при чём тут они?—говорит он.
— Как «при чём»? Они ведь тоже мои товарищи.

Чёрт меня дёрнул сказать «тоже»! Вышло так, будто уже записался к нему в товарищи.

Он снова пренебрежительно хмыкнул, дескать, ну и товарищи, и говорит:

— Сейчас придумаем, как от них отделаться.

Подумал немного и говорит:

— А очень просто. Когда они ринутся вниз, ты просто не езжай с ними. Они сразу и не заметят. Спохватятся лишь внизу, на Подоле. А мы пойдём себе дальше.

Так я и сделал.

Когда мы взошли на самый верх, ребята переглянулись и говорят:

— Ну что? Поехали? Вперёд! В атаку! Ура-а-а!!!

И с грохотом хлынули вниз, к нам на Подол, а я остался наедине с Энрико.

Я смотрел им вослед, как они в своих танкистских шлемах поддавали жару ногой, чтобы лучше разогнать самокаты. Сумки-планшеты подпрыгивали и хлопали по бокам. Их было семеро. Я уже был не в счёт. Мне стало жутко не по себе, что остался наверху с Энрико, который в своих клетчатых брюках с отглаженными стрелками и шёлковой рубахе выглядел совсем как взрослый. И часы на руке. Особенно противно было, что перед тем, как пуститься вниз, мы все переглянулись, и я вместе со всеми сказал «поехали». А вот—остался с Энрико. Выходило, что я их обманул и предал.

— Ну и прекрасно,—удовлетворённо произнёс Энрико.—У нас свои дела.

Мы вышли на площадь Сталина, обогнули филармонию и стали подниматься по каменным ступеням в Первомайский парк. Рядом каскадами били фонтаны. В бассейнах плескалась пацанва. Вечер был очень тёплый. Я и сам с удовольствием поплескался бы, на мне одёжки всего ничего—трусы да тенниска. И сумка ещё. Запросто можно освежиться будь я с ребятами, а не с этим франтом.

Гуляющих полно. Особенно на смотровой площадке с видом на Днепр. Внизу, на «Жабе», уже завели музыку. Слышно было, как массовик орал в микрофон: «Молодой человек в бобочке, соблюдайте культурную дистанцию между собой и дамой».

Дорога—всё вверх, ступеньки на каждом шагу. На самокатах, кроме нас, никого. Пару раз, правда, услышал я знакомый грохоток, но оба раза обознался. Сперва это была тележка, которую толкал весовщик в белой панаме. На тележке стояли белые медицинские весы, опутанные цепью с замком. В другой раз—безногий матрос, что катился на платформочке о четырёх подшипниках. Он посылал вперёд свою тележку, отталкиваясь руками об асфальт. Точнее, не руками, а короткими такими култышками на резине. Он подъехал к железной оградке над обрывом, подложил опорки под колёса, чтобы не ёрзала под ним тележка, бросил наземь бескозырку и стал просить подаяние, называя прохожих «братишками и сестрёнками». Когда мы проходили мимо, он крикнул мне: «Братишка! Я у тебя подшипником не разживусь? Забился у меня, зараза». Был у меня, конечно, в бардачке подшипник, да отдавать жалко. Пойди, достань другой, когда понадобится. «Дай, не жмись,—сказал он, заметив мои колебания.—Я ж за тебя ноги отдал». Мне стало совестно, и я отдал. «Человек!»—похвалил меня матрос. Его похвала немного уняла мои угрызения совести, что не покатился на Подол с ребятами.

Энрико вдалеке нетерпеливо выписывал круги на своём самокате и поглядывал на часы. Он куда-то торопился.

Мы загрохотали по Чёртовому мосту, что над Петровской аллеей. Сквозь щели деревянного настила, далеко внизу мелькали автомобили, маленькие фигурки людей. Было страшновато ехать над пропастью на своём тяжёлом самокате, грохотавшем по доскам, как танк. Люди, что были далеко под нами, и то поднимали головы. Признаться, я всегда боялся высоты. Глянешь вниз—страшно, глянешь вверх—ещё страшней, будто опора из-под тебя уходит. Но, клянусь, не из-за трусости бьёт меня мандраж. Просто высотная болезнь у меня, наверно. Такое бывает. А трусость тут не при чём.

Наконец мост позади, и мы уже в Пионерском. Катим мимо высокой железной ограды стадиона «Динамо». В ограде я знал одно место, где прутья стоят чуть шире. Запросто можно протиснуться, если ты не *жиртрест*. Чтобы попасть на футбол, кто-то из ребят отвлекал *лягавого* на себя, а остальные сигали в эту щель. Я бы показал Энрико это место, если б дал разочек прокатиться на своём. Но он так спешил, как на пожар. Всё оборачивался и торопил меня.

У Мариинского дворца я свернул. Вот где было раздолье! Лафа!

— Эй! — крикнул я Энрико, который нёсся вперёд как угорелый. — Эй, постой!

Я никогда не называл его по имени. Никак не мог привыкнуть к его имени, от которого не получалось уменьшительное. Он услышал и сделал вираж.

— Давай здесь, — показал я ему рукой на это раздолье.

— Там ещё интересней, — махнул он рукой вперёд и взглянул на свои часы. — Поехали, поехали!

Пришлось ехать. Хоть я себе не мог представить лучшего места, чем здесь. Асфальт ровненький, без трещин. И чисто, как в квартире. Не наплёвано, *бычки* не валяются. Не то что у нас на Подоле.

Вскоре сквозь шум самоката я расслышал какую-то музыку. Она всё усиливалась. Одна старуха в шляпе с вуалькой строго нам сказала:

— Прекратите шум. Там Рахлин дирижируег. А эти… Безобразие какое!

Это, конечно, относилось ко мне, к моей грохоталке. У Энрико самокат катил неслышно. И тут же какой-то дядька, толстый очкарик, как зашипит на нас:

— А ну убирайтесь отсюда, раз не понимаете!

— Вы что — закупили это место, — огрызнулся я.

Он поймал меня за тенниску и зашипел:

— Ну-ка, мотай отсюда, шпана! Чтоб духу твоего не было.

— Это что, ваш собственный парк? — рванулся я из его рук.

Он рассвирепел, сорвал с моего плеча сумку и зашвырнул её за оградку, в обрыв. Я кинулся к оградке, чтобы приметить, куда она упала. Там было темно — деревья, кусты.

Пока я лазал там по откосу, шарил в сумерках по кустам, ругая этого очкарика «фашистом», наверху всё звучала музыка: скрипка и оркестр. Энрико куда-то пропал. Ну что за человек такой! Наверно, слушает там свои скрипки. Для этого, видно, и тащил меня сюда. А на кой чёрт мне эти скрипки!

Сумка всё не находилась. Я ругал себя последними словами, что не покатил на Подол с пацанами. Музыка всё играла, а я всё шарил в темноте. Наконец нашёл. Зацепилась ремнём за куст. Был очень рад, что нашёл свою сумочку.

Когда я выбрался наверх под свет фонарей, очкарика уже не было. Я стал искать Энрико, чтобы перед уходом сказать ему пару тёплых слов. Он стоял у штакетной оградки, что охватывала зрительный зал под открытым небом, заполненный народом, и пялил глаза на сцену. Кто там играл, мне пока не было видно. Да и не интересно. Я взял самокат на плечо, чтоб не шипели тут всякие, и подошёл к Энрико.

Музыка становилась всё слышней. Народу сидело много. Все скамейки, что стояли рядами, заняты. Культурно так сидели, внимательно, семечки не лузгали, не разговаривали, вроде даже как не дышали.

Наконец я смог увидеть сцену. На ней было полно музыкантов. Перед ними махал дирижёр, пузатый дяденька в смешном таком, хвостатом пиджаке. Сильно напоминал ласточку, толстую ласточку с белой грудью. Видать, это и есть Рахлин. Он потешно махал руками — то, как поп, крестил оркестр, то поигрывал лохматой головой, будто котёнка дразнил своей палочкой, то весь вздрагивал, как от икоты. Но это я потом рассмотрел, как он машет. А сперва увидал, что рядом с ним стоит пацан в коротких штанишках и бантом на шее. Пацан этот играл на скрипке. Все взрослые скрипачи сидели, а он стоял отдельно. И народ следил больше за ним. Я пригляделся. Померещилось мне, что ли?.. Вроде бы Венька… Точно — он! Венька! Я прямо остолбенел.

— Слышь, это же Венька! — сказал я Энрико.

А он как зашипит:

— Тише ты! Подумаешь! Велика важность.

А сам не отводит от него глаз. Прямо ест глазами.

— Вот это да-а! — только и выговорил я.

— Да потише ты! Подумаешь. Большое дело! — совсем рассердился Энрико.

— А ты тоже здесь выступаешь? — спрашиваю его: я здесь впервые, откуда мне знать. Вернее, бывать-то бывал здесь, но вечером впервые.

А он мне со злостью говорит:

— Захочу — тоже выступлю.

Но что-то я ему не очень поверил. Сразу видать: заливает. *Слабо* ему здесь выступить.

Я тихо опустил самокат на землю и стал смотреть на Веньку. Ух и наяривает же! Глаза закрыл, а пальцы так и сучат, так и скользят, будто сами собой. Между прочим, остальные музыканты в ноты уставились, а он шпарит напамять, выучил назубок. *Кумпол* свой шишкастый никак не может пристроить удобно на скрипке, то ухом ляжет, то на подбородок поставит. Всё вроде как неуютно ему. Он точно так же хмурится и ворочает своим кумполом, когда мы отпускаем ему щелбаны.

Я стал разглядывать других музыкантов. Посмотреть было на что! Взять хотя бы эти трубы с выдвижным костылём — умора! Или вон

те, с огромными скрипками, что стоят на попа. У одного из них, лысого, голова мотается, как с похмелья, когда он налегает на свой смык, большой такой смычище, как одноручная пила. А вон тот, сзади, что бьёт в крышки. Делов-то — а важный какой. Были бы ребята, животики бы надорвали. По-моему на крышках каждый дурак смог бы. Ткнёт дирижёр в твою сторону, а ты — бэм-с! Но этому надо показать, что без него здесь не обойдутся. Ударит крышками и держит на виду у всех, будто главный здесь он. Хотя и козе ясно, что главный здесь Венька. Не считая, конечно, дирижёра.

Тут я заметил ещё какого-то дирижёра. Он находился в стороне, за оградкой, неподалёку от нас. Голова маленькая, с кулачок, и прутик в руке. Стоит сам по себе и водит руками, выписывает в воздухе вензеля. Ухватки точь-в-точь, как у настоящего, что на сцене машет. Только на него все ноль внимания. Но ему мало дела до этого. Дирижирует, будто перед ним оркестр. На вид не поймёшь, сколько ему: то ли двадцать, то ли сорок.

— А этот кому машет? — спросил я у Энрико.

— Ай, малохольный один. Ильюша. Он всегда здесь. Тоже мне, Натан Рахлин нашёлся!

Мне как раз интересно смотреть на этого Ильюшу. Очень здорово у него получается. Не хуже, чем у того, что на сцене. Даже головёнкой точно так же поигрывает, как настоящий. Если не глядеть на сцену, можно подумать, что дирижирует оркестром Ильюша.

Я так загляделся на Ильюшу, что аж вздрогнул, когда весь оркестр вдруг ка-ак взыграет! Все трубы, скрипки, барабаны… Короче, все как один! Заработали на совесть. Такая музыка поднялась — мороз по спине! Натан Рахлин и сам разбушевался. Попади ему кто под горячую руку теперь — так бы двинул, зубов бы не собрал.

Только Венька сейчас не играл. Опустил скрипку и смычок и смотрел в пол. Видно, предоставили ему отдых.

Передохнувши, он опять взял скрипку на плечо. Дирижёр заметил, что Венька опять готов, тут же махнул на всех — они все разом попритихли. И Венька заиграл в полной тишине. Да ещё лучше прежнего. Я прямо заслушался, хоть, честно говоря, не по душе мне скрипки. Слишком намозолил уши Энрико своей наследной скрипкой. Мне больше нравилось — когда оркестр.

Весь зал смотрел на Веньку, как он управляется один со своей скрипкой. Даже Рахлин бросил махать и тоже следил за ним. Только палочка чуть дёргалась в руке.

Тут ни с того ни с сего среди Венькиной игры Энрико говорит мне:

— Поехали домой!

Я удивился и говорю:

— Чего это ты? Давай уж досмотрим.

А он мне — с каким-то даже раздражением:

— Да поехали! Что тут смотреть, — и зыркает на Веньку исподлобья.

Я ни с места. Уходить почему-то неохота. Может, оркестр снова врежет. Обязательно должен врезать. Да и Венька такое выделывает смычком!.. Честное слово, я даже почувствовал, что больше не смогу отпускать ему щелбаны. Клянусь! И ребятам скажу. Если, конечно, они будут со мной водиться после сегодняшнего. Я себя даже представить не смог на Венькином месте. Выйти вот так перед таким скопищем взрослых!.. Да я бы провалился сквозь землю от стеснения, в штаны бы со страху наделал. Даже если б умел играть.

— Поехали, — снова дёргает меня за плечо Энрико.

А скрипка у Веньки поёт прямо человеческим голосом.

И тут он мне говорит:

— Хочешь на моём самокате? На!

И он даёт мне свой самокатик. Я даже не поверил. Думал — померещилось. Я посмотрел на него не веря своим ушам.

— На, на! Бери!

Я взялся за тёплые резиновые рукоятки. А он взял мой и говорит:

— Помчались!

И как загрохочет по асфальту! Как загрохочет в этой тишине, поперёк Венькиной скрипки! У меня прямо кошки по сердцу скребанули.

Венька вздрогнул, будто током его садануло, и захлебнулся со своей скрипкой. Весь зал разом повернулся в нашу сторону. Все музыканты тоже повернулись к нам, задние даже привстали. Рахлин как-то вскинулся весь и тоже развернулся на нас. Глаза у него жутко так сверкнули.

Я опомнился и бросился вслед за Энрико на его самокате.

Тут наперерез мне кинулся этот малохольный Ильюша и истошно заорал как резаный. Но я успел проскочить. И он яростно погнался за нами, но зацепился за клумбу и растянулся на асфальте и громко заплакал. Зарыдал и забился, как ребёнок.

Больше я ничего не видел, кроме спины и ушастой головы Энрико, мелькавшей в переливах света фонарей, точно летучая мышь. Я поспешал за ним на его бесшумном самокате, чувствуя, что оставляю за спиной непоправимую беду… будто рухнуло что-то там… какой-то хрустальный дворец… и Венька барахтается среди обломков…

Да-а… Мне ещё предстояло в дальнейшей жизни узнать, что это было «Рондо каприччиозо» Сен-Санса для скрипки с оркестром.

Мне ещё предстояло прочесть пушкинского «Моцарта и Сальери».

Зинаида Кузнецова

Дождь в незнакомом городе

Дождь в незнакомом городе

«…А в Осинниках дождь…»
Ольга Рябинина
(сборник стихов
кемеровских поэтов)

Ночь длинна, словно век,
Тяжело и привычно не спится,
Бесполезен «глицин»,
Не помогут тепло и уют,
И тревожные мысли
Налетают, как хищные птицы,
И клюют, и терзают,
И спать до утра не дают.

Нетерпение сердца.
Воздушные замки. Утраты.
Вдохновенье. Сомненье.
Полёт—
с высоты под откос…
Безысходность. Надежды.
Успехи. Печальные даты.
Жизнь. Любовь. Суета.
Пораженье. Отчаянье.
SOS!

Обязательств цейтнот
И обиды, и подлость чужая,
И нет правды на свете,
Ищи не ищи—не найдёшь.
И планета Нибиру
Несётся, Земле угрожая,
И уходят друзья—навсегда.
…А в Осинниках дождь.

Я не знаю про них ничего,
Про Осинники эти.
Просто чья-то строка,
Что в каких-то Осинниках—дождь,
Ни с того ни с сего,
В подсознанье всплывёт на рассвете,
И… проблем миллион
Превращается в ломаный грош.
И забудется всё:
ЖКХ, бюрократы, тарифы,
Рокировки в Кремле,
И ТВ, излучающий яд,
Недовольство собой,
Отношений «подводные рифы»,
И два вечных вопроса—
«Что делать?» и «Кто виноват?».

…А в Осинниках дождь
До утра барабанит по крыше,
Или чуть моросит,
Осторожно по листьям шурша…
И сердечная боль
Незаметно становится тише,
И готова опять
Возродиться из пепла душа.

Лимит

Смеюсь всё реже и нечасто плачу,
Не потому, что больше не штормит,
Не потому, что чувства ловко прячу,
Или, смеясь, боюсь, спугнуть удачу,
А потому, что выбран весь лимит

И горьких слёз, отпущенных мне Богом,
И сладких снов, пустых, как миражи,
Накала чувств, сравнимого с ожогом,
Весёлых дней (их было так немного!)—
Всего того, что подарила жизнь.

Да, я слезами щедро поливала
Своей судьбы заросший огород!
Но иногда и к облакам взлетала,
И мне в полёте неба было мало,
Хоть и недолог был всегда полёт…

Теперь, когда давно утихли страсти,
И в сердце вместо жара только шлак,
Так хочется в предзимнее ненастье
Заплакать—не от горя, а от счастья,
И рассмеяться громко—просто так.

Остановка в пути

С. Кузнечихину

Дождик, робкий с утра, разошёлся не слабо,
Словно бочка с водой опрокинулась вниз,
По дороге ползёт, объезжая ухабы,
На букашку похожий вишнёвый «Matiz».
Пролетают названия рек и посёлков—
Обломихино, Нерехта, Пикша, Унжа,
Голубеют льняные поля у околков
И дубы вековые покой сторожат.
Облака убегают под натиском ветра—
Наконец-то уйдут проливные дожди…
Вдруг мелькнуло: «*Космынино* 5 Километров»—
Сразу сердце как будто споткнулось в груди.
Тормозим, за колдобины днищем цепляясь,
По раскисшему съезду сползаем в кювет…
Мир поистине тесен! Смотрю, удивляясь—
Здесь родился один красноярский поэт.
Кострома и Сибирь—далеки друг от друга,
Я—случайный в краю берендеевом гость,
Но сейчас, словно в центре какого-то круга,
Всё как будто задумано было—сошлось…
…Полевая дорога, ромашки, берёзки,
Я на всё это с лёгким волненьем смотрю,
Собираю букет из цветочков неброских—
Засушу и при встрече ему подарю.
Мой попутчик слегка удивлён, несомненно:
«Неужели у вас нет такого добра,
Чтобы через Россию везти это сено?»
Наш водитель давно уж сигналит: пора!
…Снова вьётся, как серая лента, дорога—
Перелески, поля, бирюзовый простор…
На душе хорошо, хоть и грустно немного,
Я с попутчиком в мыслях веду разговор:
«Уважаемый, тут вы, пожалуй, не правы,
Критикуя мой маленький, скромный букет.
Есть, наверно, в Сибири похожие травы,
Но таких, я уверена, точно там нет.
Потому что они—из далёкого детства,
Пусть невзрачны на вид—это всё не беда!
И не сено они, а волшебное средство,
Чтоб могли хоть на миг мы вернуться туда,
Где всегда тёплый дождик и синее небо,
Где цветут васильки на заросшей меже,
Где подсолнух и запах горячего хлеба,
Голос мамы, почти позабытый уже…
Где трава-мурава у родного порога,
Где учились ходить и любить, и мечтать,
И откуда нас всех поманила дорога,
Обещая весь мир во владенье отдать…»

Седые мальчики

В библиотеке, в уютном зальчике,
В углу под пальмою грустит рояль,
Сидят поэты—седые мальчики,
В руках блокнотики, в глазах печаль.

У них в гостях поэт—весьма «раскрученный»,
Какой-то премии лауреат,
И, ранней славою уже измученный,
На всех скучающий бросает взгляд.

Читает юноша про секс уверенно,
Про «тёлок»—девушек в «стихах» тех нет,
И зал, притихший вдруг, молчит растерянно,
Понять пытается весь этот бред:

А где ж романтика, где чувства светлые?
Где дали синие—мечты полёт?
Где о любви большой слова заветные,
Когда от радости душа поёт?!

А гость бубнит про драйв да про наркотики,
Про сцены грязные постыдных снов…
И прячут «мальчики» свои блокнотики,
С наивной рифмою «любовь и кровь».

…На сердце муторно. Я в одиночестве
Иду по городу… Ночь хороша.
Но тороплюсь домой—скорее хочется
Взять томик Пушкина…
Болит душа…

Чай вдвоём

Л. Г.

За окошком тополь что-то шепчет,
На телеэкране—«Чай вдвоём».
Заварю и я чайку покрепче,
Посидим с подружкою, попьём.

У меня в гостях «Принцесса Нури»—
Фея из заморских дальних стран,
Где не воют ночью злые бури,
Где целует берег океан.

Плачут свечи, медленно сгорая…
Где, принцесса, принц чудесный твой?
В тишину и безмятежность рая
Мы б за ним отправились с тобой…

Дышит ночь волшебным ароматом.
Стынет чай… налью бокал вина…
Нури, ты ни в чём не виновата…
Осень… одиночество… луна…

Павел Великжанин

Красное вино осени

* * *

Затихли гремевшие гирями грозы—
Весы Зодиака застыли устало.
Уходят дожди журавлиным обозом,
Смывая осевшую пыль с пьедесталов.

Серебряной ваксой ботинки начистив,
Паук расставляет осенние сети,
И красные книги сгорающих листьев
Лениво читает задумчивый ветер.

Земля забинтована марлей тумана.
Братайтесь, бойцы безрассудного лета!
Змеится сухим иероглифом рана
Запёкшихся губ всё познавших поэтов.

Они рядом с нами, но выше немного.
Упрямое солнце пробилось сквозь тучи.
Меж мокрых полей потерялась дорога,
Как с неба упавший, растаявший лучик…

Красное вино осени

Ну хоть чуточку красного брызни:
Летней жаждой иссушены донья.
Обрываются линии жизни
На трёхпалых кленовых ладонях.

Добрый доктор капелью морфина
Погружает всё в спячку до марта,
И курсор журавлиного клина
Тщетно ищет иконку рестарта.

В произвольной ледовой программе
Поцелуются автомобили.
Разлучённые рыбки гурами
Об аквариум сердце разбили.

Светофор подмигнул третьим глазом,
И я понял: кромешная вьюга,
Загребая в охапку всё разом,
Нам согреться велит друг от друга.

Бабушка

С утра пораньше в выходной встает,
Для внуков не жалея сон короткий,
И маленькие солнышки печет
На старенькой чугунной сковородке.

Кижи

Над гладью озёрной мелькают стрижи,
Ловя уходящее лето.
В воде отражаясь, сияют Кижи
В лучах предосеннего света.

Кресты их похожи на мачты судов,
А парус, невидимый взгляду,
Гудит под напором карельских ветров
И сердцу дарует отраду.

А рядом, на озере, как в старину,
Красивы, стремительно-ходки,
Крутыми бортами ломают волну
Кижанки—онежские лодки.

Здесь издавна люди по водам пути
Вершили средь рифов и мелей,
И парус поставить, на вёслах грести
Все с самого детства умели.

Здесь в каждом селении мастер был свой,
Владевший особым секретом:
До нашей поры различает любой
Их лодки по верным приметам.

Ведь их вековой отшлифовывал труд,
И радостно видеть, что ныне
По водам онежским кижанки плывут
Точёным изяществом линий.

Форштевнем, который по-русски курнос,
Веслом, что в руках узловатых,
И волны, и время пронзая насквозь,
Плывут они в белых закатах.

Утром

Утром к телам возвращаются души,
С высей в жилища летят,
Где миллионы примятых подушек
Наши портреты хранят.

Солнце с луною котенком играет,
Трогает лапкой незлой.
Город, проснувшись, глаза протирает
Дворницкой шумной метлой.

Алхимик

Временами плохими
Так писалось, что хоть не пиши,
И усталый алхимик
Отступал от реторты-души.

Он включал телевизор,
Погружался в насиженный быт,
Забывая про вызов
Философского камня судьбы.

Но копыта Пегаса,
Словно сердце поэта, стучат…
Электричество гасло,
Загоралась в потёмках свеча.

Снова гений бесстрашный
Рвался в небо из тесных оков,
И графит карандашный
Становился алмазами слов…

Ливни солнечной краски
Смыли серость пейзажа с окна,
И принцессой из сказки
Правит кухонным балом жена.

Огородик

В шумном сердце города,
Как листвы проталинка—
Стиснутый заборами
Огородик маленький.

Позабытой соткою
В планах не отмеченный,
Затенён высотками
Он с утра до вечера.

Но осколки солнышка
Зреют помидорами,
Воду пьют до донышка,
Жадно, всеми порами.

С вёдрами находится
(Хорошо хоть—рядышком!)
За день огородница—
Старенькая бабушка.

Внуки усмехаются:
«Есть, мол, супермаркеты!..»
Только возвращаются
От неё с подарками…

Крепко держит за душу,
Пусть и неказистое,
Маленькое чадушко
С кожею землистою:

Как вросла коленями
И руками добрыми…
Словно притяжение
Всей Земли здесь собрано.

Утром двадцать второго

Мы три года с излишком шли от бед до побед:
В сорок первом мальчишка, а сейчас—уже дед.
Помнишь ад летней бани? Мессер бреет овраг,
А у нас до Кубани—только в небо кулак.
И от пыли седые, не могли мы вдохнуть,
Зарываясь России в материнскую грудь…

Да ведь кто, кроме нас-то? Тот январь сохраню:
Сталинградского наста мы ломали броню.
И на запад сметая паутину траншей,
Шла фронтов цепь литая, только раны зашей!

Шрамы Родины долго не сходили с лица:
Обожжённая Волга, беспризорный пацан.
Потому так сурово в предрассветную даль
Утром двадцать второго смотрит мой календарь.

Собаки-истребители танков

Их с беззубого щенства под танковым днищем
Приучали к еде, чтоб кудлатая свора
Шла под танки немецкие в поисках пищи,
Не боясь лязга траков и рёва моторов.

А на спину—тротил со взрывателем чутким,
Чтобы тыкнул в стальное подбрюшье махины…
И напарник потухшую грыз самокрутку,
И махра ему скулы сводила, как хина.

Ничего не жалела страна для победы,
И, петляя среди сталинградских развалин,
Шлейки жизней лохматые рвали торпеды
И бросались навстречу грохочущей стали.

От счастья я спасен

Я сплю, я сплю под стук колес,
Я пуст, как мой стакан,
Но всё равно, как верный пес,
К тебе бежит строка.

К тебе за окнами бегут
Столбы и провода.
Дырявит снов моих лоскут
Полярная звезда.

К тебе гнёт ветер грозовой
Дождя диагональ.
И память яд пускает свой
По жалу слова «жаль».

И стук колёс—как стук сердец,
Что бились в унисон.
В стекло упёршийся гордец,
От счастья я спасён.

Как вспышка прошлого, гроза
В глаза сквозь веки бьёт.
И вся земля бежит назад,
Лишь я один—вперёд.

Дарья Лысенко

Всё сходится…

* * *

Привет.
Я в порядке.
Планирую свой побег—
и плачу от счастья с идеями на повтор.
Однажды
я просто уеду туда,
где снег
Ладонями гладит вершины далёких гор.

Однажды
я просто уеду туда,
где лес
Зелёной рубашкой скользнёт по моим плечам.
Привет.
Я в порядке.
Из тысячи разных мест
Я выбрала то, что нужно.
К лесным ключам,

И горным озёрам, и небу—лазурь и свет,
Брусничным полянам, ковру из лесных цветов…
Я плачу от счастья—впервые за много лет.
Привет. Я в порядке. Я просто иду на зов—

Зов сердца и крови. В болота и черемшу,
По тропам медвежьим, в осенние холода.
Привет.
Я в порядке.
Но больше не напишу:
Оттуда не пишут.
Ответ не несут туда.

Там нет ни конвертов, ни даже почтовых птиц
Способных доставить письма куда-нибудь.

Привет,
я в порядке,
но это—последний лист.

Рюкзак уже собран,
И я отправляюсь в путь.

Словам

Я не могу и не хочу молчать.
Слова—ничто, но лишь для тех, кто сроду
Не ведал упоительной свободы,
Уткнувшись лбом в чужой изгиб плеча,
Всё рассказать—от сих до небосвода.

Слова—ничто? О да. Для тех, кто слов
Ещё не слышал, самых невозможных,
Зовущих, ярких, выбитых подкожно,
Способных реку—вспять, из берегов,
Куда угодно, сердце растревожив.

Слова—вода. Но сколько сил в воде:
Она любой лежачий камень сточит,
Она течёт туда, куда захочет,
Основа жизни, сущего предел.
Слова—огонь. Жар-цвет июльской ночи,

Пустынный зной, тепло чужой руки…
Слова—земля под нашими ногами
И воздух тоже. Я дышу словами,
Живу в границах созданной строки
И, как вода, точу тот самый камень.

Я, как огонь, хочу светить и греть—
Отрада тех, кому любое ново,
Кто шёл за мной—и не хотел иного…
И все слова—дрова в моём костре.
В начале—помнишь?—тоже было Слово.

Вся жизнь—слова. С порожнего в пустое
Переливать не стоит сгоряча.
Я… не могу и не хочу молчать.
Пусть для тебя они немного стоят,
Но я—слова.
И я должна звучать.

● ● ●

М. А.

Состав набирает скорость и мчит вперёд.
Ты только держись покрепче — и всё пройдёт.

Ты только держись, не падай, хватай багаж,
Штурмуй там вторую полку на абордаж,
Валяйся на ней тихонько — не спав, устав…
Я буду, добыв нам чая, читать с листа —
О том, что состав наш мчится всегда вперёд,
О том, что зима не вечна, весна грядёт,
О том, что вернутся птицы и нам споют,
О том, что в краю далёком, в родном краю,
Нас ждут и, конечно, верят — всё в нас, все в нас.
Да нет, я не плачу. Время попало в глаз.
Да нет, я не плачу, что ты. Я — сталь, смотри:
Вот стержень из нержавейки в моём «внутри»,
Вот сердце, которым можно кромсать стекло.
…Состав набирает скорость всему назло.
Состав набирает скорость, летит в рассвет,
По радио сквозь помехи шумит куплет
О том, что зима не вечна, наступит май…
Ты спишь у себя на полке. А я пью чай.

Колёса стучат по рельсам, ломая лёд:
пройдетвсёпройдётвсёпройдётвсёпройдёт

пройдёт.

● ● ●

Всё сходится воедино в нежданной точке,
Обычно — когда уже не осталось сил:
Ты тонешь, как ложка мёда в дегтярной бочке,
Повсюду колоколами звенят звоночки
И мир сотрясает дрожью по всей оси.

Всё сходится воедино, когда терпенья
Хватает на только то, чтоб ещё дышать,
И кажется: никакие благословенья
Уже не помогут. Поздно. Предел. Забвенье.
Вот конусом острым грифель карандаша

Рисует кресты поверх недобитой строчки,
Мир, лопаясь, разлетается ниткой бус.
Когда вся планета — как камера-одиночка,
Всё сходится — за мгновенье — в единой точке,
И жизнь обретает подлинный цвет и вкус.

Да, жизнь обретает. Подлинно. Бессомненно.
Душа ещё плачет, впрочем, уже поёт,
А мир, собираясь пазлом, гремит по венам:
Всё сходится в нужной точке в одно мгновенье
(и имя я этой точке дала твоё).

● ● ●

Смотри: она танцует на краю,
Открытая ветрам и злобным взглядам,
Раздетая и пьяная наяда,
В ладони ловит шорох листопада
И шепчет удивлённое «Люблю!».

Смотри: огонь струится в волосах,
Червонным бликом небо отражая.
Она тебе, конечно же, чужая…
Танцует тут на лезвии ножа и,
Кажется, не знает слова «страх».

Не знает ни зачем, ни почему…
Смеётся только, лихо запрокинув
К закату голову, дугою выгнув спину
У края пропасти. И кто её покинет
(а он покинет), горевать тому!

У края пропасти… И кто её найдёт,
Тот навсегда запомнит этот вечер.
Танцует, безмятежно и беспечно,

Любовь моя.
Я буду помнить вечно,
Как ты шагнул к ней —
и толкнул вперёд.

● ● ●

Здесь многого вовек не будет с нами.
Вне рамок удушающих земли,
Ты — море под моими кораблями
И чайка, закричавшая вдали.

Край неба, заалевший на востоке…
Мазок лазури в душной темноте.
Я — космос, бесконечный и далёкий,
Звезда, к которой ты не долетел.

Всё то, что называют чудесами,
Но чаще избегают — через раз.
Здесь многого вовек не будет с нами
И, может быть, вообще не будет нас.

Мы, может быть, родимся через вечность —
Герои книг, которых нет ещё,
И вот тогда наш мир расправит плечи,
Сложив всю тяжесть нам же на плечо.

Спасём его? Чего нам это стоит!
Вперёд. Давай мне руку. Не дрожи.
Мы — авторы особенных историй,
И каждую нам предстоит прожить.

Максим Лаврентьев

Знаки бессмертия

«Кто чувствовал, того тревожит призра́к неотвратимых дней»,—писал автор «Евгения Онегина».

А вот как изобразил то же состояние П. И. Чайковский в письме А. К. Глазунову более чем за три года до своей смерти: «Переживаю сейчас загадочную стадию на пути к могиле. Что-то такое совершается в моей натуре, для меня самого непонятное: какая-то усталость от жизни, какое-то разочарование: по временам безумная тоска, но не та, в глубине которой—предвидение нового прилива любви к жизни, а нечто безнадёжное, финальное и даже, как это свойственно финалам,—банальное. А вместе с этим охота писать страшная. Чёрт знает что такое: с одной стороны, как будто чувствую, что песенка моя уже спета, а с другой—непреодолимое желание затянуть или всё ту же, или ещё лучше, новую песенку… Впрочем, повторяю, я и сам не знаю, что со мной происходит…».

Гораздо яснее фатальное предчувствие передано Чайковским в музыкальном сочинении—всемирно известной Шестой «Патетической» симфонии. Особенно характерно в этом смысле заключительное *Adagio lamentoso*. Премьера симфонии состоялась за девять дней до смерти композитора от последствий перенесенной холеры.

Итак, уместно говорить не о каком-то внезапном всплеске, а о медленном, постепенно нарастающем в человеке ощущении неотвратимого приближения к жизненному итогу, чувстве, которое достигает кульминации в период, непосредственно предшествующий более или менее скоротечному финалу. Именно тогда творческая личность создаёт наиболее значительные, проникнутые искренней патетикой произведения, иногда завершая тему, растянутую во времени на годы и десятилетия. Художественные способности в это время не только не угасают, а, напротив, получают сильнейший дополнительный импульс («охота писать страшная»).

С этим импульсом связан и другой любопытный феномен—пророчество. Способность предсказывать естественно связана со способностью предчувствовать, но почему-то в связи с искусством она вызывает гораздо меньше доверия, чем гадание на кофейной гуще. Мало кто понимает слова Велимира Хлебникова из декларации «Свояси» (1919): «Когда я замечал, как старые слова вдруг тускнели, когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днём, я понял, что родина творчества—будущее». О том же писал и Перси Б. Шелли в своей «Защите поэзии» (1822): «Поэты—зеркала гигантских теней, бросаемых будущим на настоящее».

Определимся теперь с предстоящей задачей.

Задача эта заключается в том, чтобы на нескольких примерах показать, как отражается процесс приближения к смерти в поэтическом тексте. Вывод же из рассмотренного пусть каждый сделает для себя сам.

Давно интересуясь данной темой, автор имел время попутно ознакомиться с различными высказываниями касательно надобности вообще заводить подобного рода беседы. Завершить вводную часть хочется словами Л. Н. Толстого из письма Н. Н. Страхову от 3 ноября 1893 года по поводу газетного отчёта о смерти Чайковского: «Вот это чтение полезно нам: страдания, жестокие физические страдания, страх: не смерть ли? сомнения, надежды, внутреннее убеждение, что она, и всётаки и при этом не перестающие страдания и истощение, притупление чувствующей способности и почти примиренье и забытьё, и перед самым концом какое-то внутреннее видение, уяснение всего „так вот что“ и… конец. Вот это для нас нужное, хорошее чтение. Не то, чтобы только об этом думать и не жить, а жить и работать, но постоянно одним глазом видя и помня её, поощрительницу всего твёрдого, истинного и доброго».

I.

Русская литература до XVIII столетия, за немногочисленными исключениями вроде вольнодумного «Жития» протопопа Аввакума или переписки Грозного с Курбским, не терпела ярко выраженного авторского индивидуализма. Даже там, где эго выступало на передний план, оно чаще всего затушёвывалось нарочитой самоуничижительной риторикой: «Аз есмь ни ритор, ни философ, дидаскалства и логофетства неискусен, простец человек и зело исполнен неведения»[1].

1. Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения.—М.: Academia, 1934.

Пожалуй, первым русским литератором, в творчестве которого авторское «я» прозвучало отчётливой доминантой, стал поэт—Гавриил Державин. «Когда Ломоносов в своих одах говорил „я“,—пишет по этому поводу В. А. Западов,—то это „я“ обозначало вовсе не реального М. В. Ломоносова, а „пиита“ вообще, некий обобщённый голос нации. А у Державина „я“—это совершенно конкретный живой человек, сам Державин, с его личными горестями и радостями, с его частной жизнью, размышлениями и делами»[2]. Эго начало заявлять о себе во весь голос и по любому поводу, а наступившая вскоре эпоха романтизма только усилила значимость авторской индивидуальности.

1.

Рассмотрим хрестоматийный пример.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру—душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит—
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

«Всегда несколько странно,—рассуждает в одном из своих сочинений прозаик Андрей Битов,—когда памятник известнее, чем человек. Ещё странней, когда он главнее. Ещё страннее, когда памятник воздвигнут самому себе. Всегда горько, когда заслуги становятся важнее дел. Когда из всего, что человеком сделано, на первый план выдвинута самооценка, родившаяся в горьком чувстве непонимания и непризнания».

Производимое на А. Битова пушкинским «Памятником» впечатление «никак не вяжется с образом Пушкина, писатель ищет выход и находит его в том, что стихотворение могло быть писано как ответ неблагодарной публике, как вызов накануне „изгнанья“, а не смерти, как впоследствии поспешили истолковать».

Поспешим, однако, вновь истолковать пушкинский «Памятник» не так, как хочется А. Битову. Что указывает здесь на предсмертный характер текста? Вспомним историю создания этого стихотворения Пушкиным. Оно датируется 21 августа 1836 г., и при жизни поэта напечатано не было. Впервые опубликовано в 1841 г. Жуковским в посмертном издании сочинений Пушкина, с многочисленными цензурными искажениями. Только через сорок лет Бартенев в заметке «О стихотворении Пушкина „Памятник“» обнародовал восстановленный текст. Кстати, самим Пушкиным стихотворение озаглавлено не было, но мы всё же будем придерживаться наименования, данного Жуковским, для удобства.

Формально пушкинский «Памятник» является подражанием тридцатой оде Горация «К Мельпомене», откуда взят и латинский эпиграф «Exegi monumentum», а также и подражанием подражанию—аналогичному «Памятнику» Державина, с которым он во многом совпадает и текстуально.

Сложно сказать, собирался ли Пушкин обнародовать свою оду, ведь его современники восприняли бы её, пожалуй, как вопиющую нескромность. Необходимо помнить, что Пушкин при жизни не был провозглашён ни «нашим всем», ни «солнцем русской поэзии»—последнее случилось лишь после его гибели. Мы же смотрим на Пушкина из *своего* времени, когда нерукотворный памятник великого поэта нашёл зримое воплощение в «бронзы многопудье», чем в значительной мере обусловлено наше восприятие этой фигуры.

Но сейчас нас более интересует другая особенность «Памятника»—он является предпоследним законченным стихотворением Пушкина. Об этом редко кто задумывается. Вспомним и бегло рассмотрим всё написанное поэтом *после*. Список короткий:

1. «Родословная моего героя» (отрывок из сатирической поэмы). Заметьте: *отрывок*.

2. «Была пора: наш праздник молодой…». Это стихотворение писалось Пушкиным к очередной годовщине Лицея. Характерно, что на самом празднике поэт, по воспоминаниям очевидцев, прочитал вслух только две первых строки, и—зарыдал. Стихотворение не было окончено к сроку, о чём Пушкин предупредил слушателей заранее, обещая впоследствии дописать текст, но, по известным причинам, не успел этого сделать.

3. Два четверостишия—«На статую играющего в свайку» и «На статую играющего в бабки»—представляют собой маленькие экспромты, сочинённые Пушкиным во время посещения выставки в Академии художеств. Статуя играющего в свайку принадлежит скульптору

2. *Западов В. А.* Поэтический путь Державина // *Державин Г. Р.* Стихотворения.—М., 1981.

А. В. Логановскому, статуя играющего в бабки — Н. С. Пименову. Обе скульптуры любой желающий может увидеть и теперь — они выставлены в одном из залов Русского музея в Санкт-Петербурге. Согласно преданию, Пушкин в энергическом порыве и с навернувшимися на глазах слезами, взяв в обе руки руку ваятеля Пименова, громко воскликнул:

«Слава Богу, наконец и скульптура на Руси явилась народною». По словам пименовского биографа, Пушкин тут же на выставке набросал четверостишие в записной книжке, вырвал листок и вручил скульптору. Иными словами, перед нами всего лишь *набросок*.

4. «Альфонс садится на коня…». Это стихотворение, на первый взгляд, имеет вполне законченный вид. На самом же деле оно представляет собой вольное переложение одного из эпизодов французского романа графа Яна Потоцкого «Dix journées de la vie d'Alphonse Van Worden». В общем-то, снова *отрывок*.

5. Ещё два четверостишия-экспромта: «Забыв и рощу и свободу…» и «Смирдин меня в беду поверг…» (Из письма к Яковлеву).

6. И, наконец, «От меня вечор Леила…» — по всей вероятности, последнее законченное стихотворение Пушкина.

От меня вечор Леила
Равнодушно уходила.
Я сказал: «Постой, куда?»
А она мне возразила:
«Голова твоя седа».
Я насмешнице нескромной
Отвечал: «Всему пора!
То, что было мускус тёмный,
Стало нынче камфора».
Но Леила неудачным
Посмеялася речам
И сказала: «Знаешь сам:
Сладок мускус новобрачным,
Камфора годна гробам».

Перед нами опять не вполне оригинальное произведение — подражание арабской песне, помещённой во французском переводе в сборнике «Mélanges de Littérature Orientale et Française». Par. J. Agoub. Paris, 1835.

Вот мы и перечислили практически все стихи, написанные Пушкиным в период между созданием «Памятника» и смертью. Вне списка осталось лишь несколько черновых набросков и «Канон в честь М. И. Глинки» — коллективное сочинение. Куплеты эти тоже являются экспромтом, они были написаны за обедом у А. В. Всеволожского 13 декабря 1836 г. по поводу оперы Глинки «Жизнь за царя», премьера которой состоялась 27 ноября в Петербурге, а напечатаны впервые в издании нот: «Канон, слова Пушкина, Жуковского, князя Вяземского и гр. Виельгорского, музыка кн. Владимира Одоевского и М. И. Глинки» (спб., 15 декабря 1836). На рукописи рукой В. Одоевского помечено, что первый куплет сочинён Михаилом Виельгорским, второй — Вяземским, третий — Жуковским, четвёртый — Пушкиным.

Между тем непосредственно предшествует «Памятнику» совсем иное и тоже совершенно законченное стихотворение «Когда за городом, задумчив, я брожу…». Оно красноречиво свидетельствует о том душевном состоянии, в котором находился поэт в последние месяцы своей жизни (в апреле того года он потерял мать и, кстати, заблаговременно приобрёл рядом с её могилой место для собственного захоронения), а главное — об усилившемся в нём предчувствии близящегося конца.

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решётки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стеснённые рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешёвого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный;
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы также тут,
Зеваючи, жильцов к себе на утро ждут,—
Такие смутные мне мысли всё наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать…
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мёртвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью тёмною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых жёлтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
Безносых гениев, растрёпанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя…
(14 августа 1836)

Бросается в глаза противопоставление двух кладбищ — городского и сельского. Поэт не противопоставляет жизнь смерти, а только выбирает антураж для погребения, отдавая предпочтение второму. И недаром: вид реальной пушкинской могилы в Святогорском монастыре под Псковом ничем не напоминает «публичное кладбище» на невских болотах.

Но Пушкин, пожалуй, не был бы самим собой, если бы его жизненный и творческий путь оказался подытожен мрачным рассуждением об отвинченных урнах. Это стиль другого русского гения — Лермонтова, не только подведшего черту под жизнью тем же способом, но и создавшего за несколько дней до роковой дуэли с Николаем Мартыновым стихотворение, отчасти напоминающее вышеприведённое пушкинское, хотя и большей лирической силы:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.
(1841)

Но то — Лермонтов, и совсем иное дело — Пушкин, с его удивительной для русской поэзии жизнерадостностью и гедонизмом (только в XX в. появится продолжатель — Михаил Кузмин). «Солнце русской поэзии»! Впервые это выражение появилось в кратком извещении о смерти поэта, напечатанном 30 января 1837 г. в №5 «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“». Процитируем этот короткий текст целиком, выделив курсивом два характерных эпитета, данных погибшему «невольнику чести»: «*Солнце* русской поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сём не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша *радость!* Наша народная слава! Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть! 29 января 2 часа 45 м. пополудни». Автором извещения поначалу считался журналист Краевский, редактор «Литературных прибавлений», однако позднее было найдено письмо С. Н. Карамзиной к брату, из которого ясно, что подлинным автором был «Русский Фауст» В. Ф. Одоевский. Возможно ли представить, чтобы подобные эпитеты (*солнце*, *радость*) сопровождали в последний путь М. Ю. Лермонтова? Всё дело в чётком ощущении самого существа пушкинской поэзии, в которой всегда преобладало яркое и жизнеутверждающее начало.

Итак, словно в ответ на своё же стихотворение, насквозь проникнутое пессимизмом, 21 августа Пушкин создаёт «Памятник». Поразмыслим над его формой.

Перед нами, как уже было сказано, ода — нетипичная как для того времени, так и для её автора. Торжественностью она напоминает, пожалуй, только пушкинского «Пророка». Вспомним, что речь в том стихотворении идёт о человеке, внезапно наделённом даром прорицания. Глас Божий повелевает новому ясновидцу:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

В подобном же повелительном тоне обращается «исполненный волей» автор-пророк «Памятника» к музе:

Веленью Божию, о муза, будь послушна…

Так формулировать может личность, ясно сознающая в себе особый профетический дар. Пушкин, как и подобает пророку, абсолютно уверен в правоте своего утверждения, когда говорит, что

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Сравните у Боратынского:

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли моё
Кому-нибудь любезно бытиё:
Его найдёт далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
И как нашёл я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.

Боратынский ощущает свой дар иначе, нежели Пушкин. Будущее для него гадательно («как знать»). Впрочем, это стихотворение Боратынского биографически никак не связано с его смертью, чего нельзя сказать о «Пироскафе» (1844), сочинённом за несколько недель до скоропостижной смерти поэта, на борту следующего из Марселя в Неаполь парохода:

Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!

Странная приподнятость тона, несвойственная вообще стихам Боратынского, которого Пушкин метко назвал Гамлетом — за склонность к меланхолии и мрачному философствованию. Но не будем удивляться перемене, произошедшей с Боратынским: поэт спешил увидеть Элизиум — загробный мир.

Конечно, современникам Пушкина его притязание на будущее могло показаться нескромным (пророк обыкновенно и не бывает оценён при жизни), однако у нас нет оснований не верить в пророческий дар поэта, поскольку всё предсказанное им в «Памятнике» *уже сбылось*.

Насколько ясно представлял себе Пушкин свою близкую смерть? Этот вопрос навсегда останется открытым. Существует мнение, что сам он спровоцировал судьбу, с фанатичной настойчивостью добиваясь роковой дуэли. Пушкин, можно сказать, играл со смертью, подобно тому, как потом играли с ней Лермонтов и Маяковский. Все они с неудержимой силой летели к гибельному огню, но чрезвычайно жизнелюбивая личность Пушкина не желала унывать перед лицом близкой кончины и, поднявшись до той высоты, с которой далеко просматривается будущее, оказалась способной запечатлеть увиденное в соответствующей масштабу открывшегося знания гармоничной и *монументальной* форме.

2.

Хотя в задачу автора изначально не входило освещение медицинского аспекта проблемы отражения фатальных предчувствий в поэтическом тексте, но следующий герой, личность которого до сих пор вызывает у большинства сомнение в её психической вменяемости, так и напрашивается на то, чтобы в разговоре о нём затронуть и эту тему. Материалом послужит статья профессора В. Я. Анфимова «К вопросу о психопатологии творчества: Хлебников в 1919 году» — в своём роде бесценная работа, опубликованная спустя шестнадцать лет после описываемых в ней событий.

Исторический антураж вкратце таков. Весной девятнадцатого года в своих непостижимых скитаниях Велимир (Виктор) Хлебников добирается до Харькова. Здесь у него много знакомых и почитателей, в том числе поэт Г. Петников и семья художницы М. Синяковой. Первое время у Синяковых в Красной Поляне он и останавливается, но в июне Харьков занимают части белогвардейской Добровольческой армии. Чтобы избежать призыва на службу, стараниями друзей поэт оказывается на длительном освидетельствовании в психиатрической больнице «Сабурова дача», где становится пациентом профессора-психиатра Анфимова. Профессор чрезвычайно интересуется необычным «больным», освидетельствование превращается в уникальный научно-художественный эксперимент: поэт по заданию учёного в короткий срок создаёт несколько замечательных произведений, одно из которых — поэма «Поэт» — по собственному признанию, вершина его лирики.

Важно, что сам Хлебников придавал большое значение совместному эксперименту и на автографе первого варианта поэмы сделал следующую дарственную надпись: «Посвящаю дорогому Владимиру Яковлевичу, внушившему мне эту вещь прекрасными лучами своего разума, посвящённого науке и человечеству».

Теперь предоставим слово профессору Анфимову.

«Высокий, с длинными и тонкими конечностями, с продолговатым лицом и серыми спокойными глазами, он кутался в лёгкое казённое одеяло, зябко подбирая большие ступни, на которых виднелось какое-то подобие обуви. Задумчивый, никогда не жалующийся на жизненные невзгоды и как будто не замечавший лишений того сурового периода; тихий и предупредительный, он пользовался всеобщей любовью своих соседей. <…> Мой новый пациент как будто обрадовался человеку, имеющему с ним общие интересы, он оказался мягким, простодушно-приветливым, и с готовностью пошёл навстречу медицинскому и экспериментально-психологическому исследованию. Я не ошибусь, если скажу, что он отнёсся к ним с интересом. <…> В своей жизни В. Хлебников, по-видимому, не имел ни постоянного местожительства, ни постоянных занятий в обычном смысле этого слова. В вечных скитаниях то в Царицыне, то в Астрахани, то в Москве или в Харькове и Ленинграде и в других городах, он терял свои вещи, иногда их у него похищали воры. Рукописи он свои тоже постоянно терял, не собирая и не систематизируя их. Про него можно сказать то, что другим психиатром написано про талантливого французского писателя Жерара де Нерваля: „Всем своим существом он вошёл в жизнь литературной богемы и с тех пор никогда не научился никакой другой жизни“. Недаром в 1918 году им была направлена в Правительственные учреждения „Декларация творцов“, в которой проектировалось, что „все творцы, поэты, художники, изобретатели должны быть объявлены вне нации, государства и обычных законов“. „Поэты должны, — говорилось далее, — бродить и петь“. <…> В сущности, В. Хлебников всегда выполнял свою программу, он „бродил и пел“, охваченный странными мечтаниями. По-видимому, самым важным делом в своей жизни он считал те мистические вычисления, которыми он занялся с 1905 года. Он уверял, что существует особое, постоянное соотношение между выдающимися событиями истории: „между рождениями великих людей — 365, умноженное на n, а для войн — 317, умноженное на n“. Занятый „законами времени“, он следил за какими-то „точками времени“ и „хорошими

и плохими днями“. Вячеслав Иванов высоко ценил Хлебникова как поэта и сожалел об его увлечении вычислениями. Некоторые смотрели на них как на „математическую ахинею“, а иные находили „пророчества“ в его вычислениях. Так, Радин в своей статье „Футуризм и безумие“ вспоминает, что, по мнению некоторых, в сочинениях В. Хлебникова точно предсказано падение России в 1917 году».

Здесь ненадолго остановимся. Нет необходимости прибегать к сочинению доктора Е. П. Радина «Футуризм и безумие. Параллели творчества и аналогии нового языка кубо-футуристов» (спб., 1914), так как нужное нам предсказание содержится непосредственно в сочинении Хлебникова «Учитель и ученик» (1912):

«Покорению Новгорода и Вятки, 1479 и 1489 гг., отвечают походы в Дакию, 96–106. Завоеванию Египта в 1250 году соответствует падение Пергамского царства в 133 году. Половцы завоевали русскую степь в 1093 году, через 1383 года после падения Самниума в 290 году. Но в 534 году было покорено царство Вандалов; *не следует ли ждать в 1917 году падения государства?* (Курсив мой.—*М. Л.*)

Учитель: Целое искусство. Но как ты достиг его?

Ученик: Ясные звёзды юга разбудили во мне халдеянина. В день Ивана Купала я нашёл свой папоротник—правило падения государств. Я знаю про ум материка, нисколько не похожий на ум островитян. Сын гордой Азии не мирится с полуостровным рассудком европейцев».

Любопытно, что Маяковский, несомненно знавший о предсказанной его старшим товарищем дате новой русской Революции, сам предчувствовавший её, желал приблизить год социального катаклизма и ошибся: «В терновом венце революций грядёт шестнадцатый год» («Облако в штанах», 1915).

Вернёмся к рассказу Анфимова.

«Среди жизни, напоминавшей грёзы наяву, Хлебников ухитрялся что-то делать и что-то писать. Это был для него, по выражению Блока, своего рода „всемирный запой“. Характерно для него ощущение несвободы своей личности, сомнения в реальности окружающего и ложное истолкование действительности в смысле трансформации внешнего мира и своей личности (Nerio Rajas). От животных исходят, по его мнению, различные, воздействующие на него силы. Он полагал, что в разных местах и в разные периоды жизни он имел какое-то особое, духовное отношение к этим локальным флюидам и к соответствующим местным историческим деятелям. <…> По его ощущению, у него в такие периоды даже менялась его внешность. Он полагал, что прошёл „через ряд личностей“».

Стоп. «Ощущение несвободы своей личности, сомнения в реальности окружающего» и утверждение о своём прохождении через ряд личностей типичны для многих религиозно-философских учений Востока. Например, для буддизма. Как и та внешняя сторона времяпрепровождения, которую психиатр подмечает у поэта:

«Всё поведение В. Хлебникова было исполнено противоречий: он или сидел долгое время в своей любимом позе—поперёк кровати с согнутыми ногами и опустив голову на колени, или быстро двигался большими шагами по всей комнате, причём движения его были легки и угловаты. Он или оставался совершенно безразличным ко всему окружающему, застывшим в своей апатии, или внезапно входил во все мелочи жизни своих соседей по палате и с ласковой простодушной улыбкой старался терпеливо им помочь. Иногда часами оставался в полной бездеятельности, а иногда часами, легко и без помарок, быстро покрывал своим бисерным почерком клочки бумаги, которые скоплялись вокруг него целыми грудами».

«Вычурный и замкнутый, глубоко погружённый в себя, он ни в какой мере не был заражён надменностью в стиле „Odi profanum vulgus et arceo“, напротив, от него веяло искренней доброжелательностью, и все это инстинктивно чувствовали. Он пользовался безусловной симпатией всех больных и служащих. И всё-таки, подобно Стриндбергу и Ван Гогу, он производил впечатление вечного странника, не связанного с окружающим миром и как бы проходящим через него. Как будто он всегда слышал голос, который ему говорил:

> Оставь, иди далёко
> Или создай пустынный край,
> И там свободно и одиноко
> Живи, мечтай и умирай.
> *(Сологуб)»*.

Ну хорошо, положительное мнение о пророческом даре какого бы то ни было поэта, как прежде, так и сейчас, почитается ненаучным, а посему извиним профессора Анфимова за извилистость предыдущих его рассуждений и посмотрим, как с чисто медицинской точки зрения объяснял он пророческий феномен Хлебникова.

«Для меня не было сомнений, что в В. Хлебникове развёртываются нарушения нормы, так называемого шизофренического круга, в виде расщепления—дисгармонии нервно-психических процессов. За это говорило аффективное безразличие, отсутствие соответствия между аффектами и переживаниями (паратимия); альтернативность мышления: возможность сочетания двух противоположных понятий; ощущение несвободы мышления; отдельные бредовые идеи об изменении личности (деперсонализация); противоречивость и вычурность поведения; угловатость движений; склонность к стереотипным позам; иногда импульсивность поступков—вроде неудержимого стремления к бесцельным блужданиям. Однако всё это не выливалось в форму психоза с окончательным

оскудением личности—у него дело не доходило до эмоциональной тупости, разорванности и однообразия мышления, до бессмысленного сопротивления ради сопротивления, до нелепых и агрессивных поступков. Всё ограничивалось врождённым уклонением от среднего уровня, которое приводило к некоторому внутреннему хаосу, но не лишённому богатого содержания.

Для меня было ясно, что передо мной психопат типа Dejener supericur.

К какому разряду надо было его отнести—к оригиналам, импульсивным людям (Bleuler) или астеническим психопатам (K. Schneider)—это имело мало практического значения. Понятно было то, что В. Хлебников никак не может быть отнесён к разряду „врагов общества". После этого, как решён был вопрос *Quidest*, естественно вставал другой, чисто практический вопрос *quid est faciendum*. При наличии нарушения психической нормы надо установить, общество ли надо защищать от этого субъекта, или наоборот, этого субъекта от коллектива.

„Клинический облик отдельных, выродившихся личностей, конечно, в высшей степени разнообразен, так как здесь встречаются всевозможные смеси патологических задатков со здоровыми,—говорит Kraepelin,—нередко даже выдающимися".

Вот это наличие выдающихся задатков у талантливого Хлебникова ясно говорит о том, что защищать от него общество не приходится и, наоборот, своеобразие этой даровитой личности постулировало особый подход к нему со стороны коллектива, чтобы получить от него максимум пользы. Вот почему в своём специальном заключении я не признал его годным к военной службе».

Профессор сделал благое дело—волевым решением спас поэта от нестерпимой армейской лямки. Но удовлетворит ли нас данное им заключение? Возможно, оно покажется убедительным тому, кто относит Будду Шакьямуни, Иисуса Христа, Магомета и тысячи других личностей, за которыми миллиарды людей по всему миру признавали и до сих пор признают пророческий дар, к типу психопата Dejener supericur.

На Сабуровой даче Хлебников провёл четыре месяца и покинул её после прихода в Харьков Красной армии. Далее последовало его путешествие в Персию, возвращение в Россию и, наконец, смерть в 1922 году в псковской деревеньке Санталово на тридцать седьмом году жизни. В последнем роковом пункте Хлебников не уступил другим выдающимся поэтам—Байрону, Рембо, Пушкину… Незадолго до смерти он сообщил своему новому знакомому—художнику П. В. Митуричу—пророчество относительно собственной судьбы: «Люди моей задачи часто умирают тридцати семи лет».

Поэт-пророк заранее предчувствует свою близкую кончину. Имеется ли этому подтверждение—указание на близкую смерть—в итоговых текстах Хлебникова? Да, имеется. И не одно. Так, в стихотворении «Я вышел юношей один…», относящемся к началу 1922 года, уже чётко просматривается финальная символика:

Я вышел юношей один
В глухую ночь,
Покрытый до земли
Тугими волосами.
Кругом стояла ночь,
И было одиноко,
Хотелося друзей,
Хотелося себя.
Я волосы зажёг,
Бросался лоскутами, кольцами,
И зажигал кругом себя,
Зажёг поля, деревья—
И стало веселей.
Горело Хлебникова поле,
И огненное Я пылало в темноте.
Теперь я ухожу,
Зажегши волосами,
И вместо Я
Стояло—Мы!

Поэт очень ярко изображает неотвратимо приближающуюся матаморфозу: «И огненное Я пылало в темноте». Оптимистический пафос в конце стихотворения напоминает предсмертное видение Боратынского: «Завтра увижу Элизий земной!». Только Хлебников гораздо зорче. Обратите внимание на указание времени: «Теперь я ухожу».

В другом стихотворении того же периода («Одинокий лицедей») поэт сравнивает себя с мифическим Тезеем, победившим Минотавра, но его собственный подвиг как победителя Времени не оценён современниками («Я понял, что я никем не видим»). Острое чувство одиночества, владевшее им в последние дни, сливается с трагической патетикой в коротком стихотворении, получившем среди хлебниковедов условное заглавие «Памятник», по аналогии с пушкинским.

Ещё раз, ещё раз,
Я для вас
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьётся о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьётесь о камни,
И камни будут надсмехаться
Над вами,
Как вы надсмехались
Надо мной.
(1922)

Вот что писал по поводу этого хлебниковского шедевра Виктор Григорьев в своей книге «Будетлянин» (2000): «Пророческие, почти библейские интонации передают и сознание трагизма собственного положения, и усталую убеждённость в нужности всем людям сделанного им, и надежду быть услышанным, понятым, надежду на читателя, от которого только и зависит теперь возможность разрешающего драматическую коллизию катарсиса. Этим интонациям гармонически отвечает верлибр, классиком которого навсегда останется Хлебников.

Пятнадцать строк не содержат ни одного специфически будетлянского материального или семантического окказионализма. Семантика обнажена, кажется, что образ автора непосредственно, без каких-либо стиховых „инфраструктур“ (Мунэн, 1975) вырастает перед читателем подобно вполне материальному, но загадочному видению. Идея стихотворения выражена напрямую, средствами, за которыми, как правило, стоит мощная и общепризнанная, отчасти даже архаичная, традиция — от тех же библейских интонаций, явственных аллегорических параллелей и общекультурных символов до настойчивых, главным образом лексических, повторов».

Близко к «Памятнику» другое хлебниковское стихотворение (скорее, все-таки черновой набросок) «Не чёртиком масленичным…», созданное, по всей вероятности, почти одновременно с ним:

Не чёртиком масленичным
Я раздуваю себя
До писка смешиного
И рожи плаксивой грудного ребенка.
Нет, я из братского гроба
И похо<рон> — колокол Воли.
Руку свою подымаю
Сказать про опасность.
Далёкий и бледный, но не <житейский>
Мною указан вам путь,
А не большими кострами
Для варки быка
На палубе вашей,
Вам знакомых и близких.
Да, я срывался и падал,
Тучи меня закрывали
И закрывают сейчас.
Но не вы ли падали позже
И <гнали память крушений>,
В камнях <невольно> лепили
Тенью земною меня?
За то, что напомнил про звёзды
И был сквозняком быта этих голяков,
Не раз вы оставляли меня
И уносили моё платье,
Когда я переплывал проливы песни,
И хохотали, что я гол.
Вы же себя раздевали
Через несколько лет,
Не заметив во мне
Событий вершины,
Пера руки времён
За думой писателя.
Я одиноким врачом
В доме сумасшедших
Пел свои песни-лекар<ства>.
(май — июнь 1922)

Одинокий лицедей трансформировался в одинокого врача в доме сумасшедших (поклон профессору Анфимову) и снова настойчиво присутствуют мотив пути («Далёкий и бледный, но не <житейский> мною указан вам путь») и образ звезды («Тучи меня закрывали и закрывают сейчас»).

Ещё более показателен другой черновик:

Русские десять лет
Меня побивали каменьями.
И всё-таки я подымаюсь, встаю,
Как каменный хобот слона.
Я точно дерево дрожу под времени листьями,
Я смотрю на вас глазами в упор,
И глаза мои струят одно только слово.
Из глаз моих на вас льётся прямо звёздный ужас.
Жестокий поединок.
И я встаю, как призрак из пены.
Я для вас звезда.
Даже когда вы украли мои штаны
Или платок,
И мне нечем сморкаться, — *не надо смеяться.*
Я жесток, как звезда
Века, столетий.
Двойку бури и кол подводного камня
Ставит она моряку за незнание,
За ошибку в задаче, за ленивую помощь
Найти верный угол
Бега по полю морей
И сверкнувшего сверху луча.
Блеснувшее выстрелом чело,
Я далёк и велик и неподвижен.
Я буду жестоким, не умирая.
А умерев, буду качаться на волнах зарницей,
Пока не узнаете,
Что, отвращая лик парусов
От укора слабого взгляда луча,
Вы, направя грудь парусов
На подводные камни,
Сами летите разбиться
Всем судном могучим.
Чем судно громаднее,
Тем тяжелее звезда.
(1922)

Так что же всё-таки перед нами — образчик пророческого дара или «нарушение нормы, так называемого шизофренического круга»? Если

рассматривать произведения Хлебникова и других великих поэтов не как фантазии психопата типа Dejener supericur, ответ очевиден.

3.

Объявить претензию на вечность, как поступил Пушкин, или же именовать себя путеводной звездой, как Хлебников, Александру Блоку не пришло в голову. Он оставил иной «памятник».

Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!

Это—звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.

Это—древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижном скакуне.

Наши страстные печали
Над таинственной Невой,
Как мы чёрный день встречали
Белой ночью огневой.

Что за пламенные дали
Открывала нам река!
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.

Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?

Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук—
Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук.

Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.
(11 февраля 1921)

Вспомним пушкинский «Памятник» и обратим внимание на узнаваемые топонимы Петербурга. У Пушкина это пресловутый «александрийский столп»—Александровская колонна на Дворцовой площади, воздвигнутая там в 1832 году Огюстом Монферраном, у Блока—древнеегипетская статуя Сфинкса, точнее, одного из двух, установленных на гранитной невской пристани возле Академии художеств. Интересная деталь: сфинксы прибыли в Россию на итальянском корабле «Буэна Сперанца» («Добрая Надежда») в том же 1832 году. Пушкин, обходя цензуру, заменяет Александровскую колонну словами, близкими по звучанию. Но и Египет здесь, конечно же, неслучаен: в горациевой оде упоминаются пирамиды («Я знак бессмертия себе воздвигнул / Превыше пирамид и крепче меди» в переводе Ломоносова). Игра столь изящна, что и в наше время гранитный монолит перед Эрмитажем часто называют «*александрийским*», хотя никакого отношения к вывезенным в Европу скульптурным артефактам эпохи фараонов работа Монферрана не имеет.

Памятник императору Александру I и всей александровской России замаскирован Пушкиным под нечто условно древнеегипетское. Блок поступает сходным образом. Его Сфинкс—тоже образ России.

В 1918 году он писал в «Скифах»:

Россия—Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь чёрной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..

Ещё немного о пушкинской маскировке. С. П. Шевырёв, вспоминая о пребывании поэта в Москве в 1826–1827 годах, когда разразился скандал вокруг стихотворения «Стансы» («В надежде славы и добра…»), сокрушался: «Москва неблагородно поступила с ним, после неумеренных похвал и лестных приёмов охладели к нему, начали даже клеветать на него, взводить на него обвинения в ласкательстве, наушничестве и шпионстве перед государем».

Выпады обвинителей Пушкин вскоре парировал в стихотворении «Друзьям» (1828):

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.
<…>

Сам Николай I, всегда относившийся к Пушкину с подозрением и почувствовавший что-то не то в этих его, казалось бы, вполне верноподданических стихах, ничего не мог поделать, кроме как ответить в том же духе, собственноручно

наложив следующую резолюцию: «Это можно распространять, но нельзя печатать». Высочайшую волю Пушкину сообщил в письме от 5 марта 1828 года шеф жандармов и начальник Третьего отделения А. Х. Бенкендорф: «Что же касается до стихотворения Вашего под заглавием „Друзьям“, то его величество совершенно доволен им, но не желает, чтобы оно было напечатано».

Советские, а вслед за ними и российские литературоведы оказались менее чувствительны к иронии. И среди них, например, Ю. М. Лотман, в работе «Из размышлений над творческой эволюцией Пушкина (1830 год)» (1988):

«В феврале 1828 г. Пушкин написал „Друзьям“, где среди положительных действий царя называл:

Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами».

Вторит Лотману литературовед Т. Бурмистров в эссе «Евгений и поэт» (1999): «Примирение с действительностью неизбежно сближало позицию Пушкина с правительственной; оно же порождало такие стихотворения, как „Стансы“ и „Друзьям“. Но переход на точку зрения, близкую к официальной и государственной, не мог совершиться в душе Пушкина легко и безболезненно».

Однако вернемся к Блоку. О себе и своих современниках-поэтах он сообщает следующее:

Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!

Вот, наконец, в блоковском тексте появился и сам Пушкин. Именно к нему, а не к названному в его честь Дому обращается Блок напрямую. Таким образом, устанавливается настоящий адресат стихотворного послания — Пушкин. Блок говорит ему о *тайной свободе* (это выражение выделено самим поэтом в тексте стихотворения), и она, свобода, связана для Блока в первую очередь с творчеством Пушкина. Интересно, какую тайную пушкинскую свободу он подразумевает здесь?

Обратимся за разъяснением к статье Блока «О назначении поэта», написанной накануне создания стихотворения «Пушкинскому Дому», то есть 10 февраля 1921 года, в день очередной годовщины смерти Пушкина:

«Наша память хранит с малолетства весёлое имя: Пушкин. <…> Не будем сегодня, в день, отданный памяти Пушкина, спорить о том, верно или неверно отделял Пушкин свободу, которую мы называем личной, от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал „иной“, „тайной“ свободы. По-нашему, она „личная“; но для поэта это не только личная свобода… <…>

Любовь и тайная свобода
Внушили сердцу гимн простой.

Эта *тайная свобода*, эта прихоть — слово, которое потом всех громче повторил Фет („*Безумной прихоти певца!*“), — вовсе не личная только свобода, а гораздо большая…».

Не совсем понятно. Думается все-таки, тайная свобода для Пушкина заключалась том, что Тютчев метко определил как «игра с людьми, игра с судьбою». Сам Пушкин выразил это состояние в «маленькой трагедии» «Пир во время чумы» (1830), вложив собственные чувства в следующие слова Председателя:

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъярённом океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

Склонность к опасному заигрыванию с властью, непреодолимая тяга к разного рода мистификациям — всё это вкупе с задиристостью характера, доходящей временами до бретёрства, позволяет предположить в Пушкине *игрока*. И если внешне всё наиболее грубо выражалось в известной зависимости Пушкина от карточных игр, то *тайной свободой* стало для поэта чувство безнаказанности в его играх с людьми и судьбой.

«Пушкин умер. Но „для мальчиков не умирают Позы“, сказал Шиллер. И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура.

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.

Это — предсмертные вздохи Пушкина, и также — вздохи культуры пушкинской поры.

На свете счастья нет, а есть покой и воля.

Покой и *воля*. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл».

Здесь Блок, говоря будто бы о Пушкине, на самом деле имеет в виду себя и свое время. Он прав: покой и воля необходимы поэту. Но Пушкин умер потому, что проиграл в состязании с людьми и судьбой — его культура не умирала и не умерла вместе с ним. А если кто и задохнулся вместе с умиравшей культурой, то это был сам Блок.

С. М. Алянский, свидетель его последних дней, вспоминал:

«Александр Александрович перемогался всю вторую половину мая и почти весь июнь. Потом он слёг и пытался работать, сидя в постели. Болезнь затягивалась, и самочувствие неизменно ухудшалось. Однако Любовь Дмитриевна и все, кто заходил в эти дни на Офицерскую узнать о здоровье Блока, надеялись на выздоровление, никто не думал о грозном исходе болезни.

Один Александр Александрович, должно быть, предчувствовал свой скорый уход. Он тщательно готовился к нему и беспокоился, что не успеет сделать всего, что наметил, и поэтому торопился».

Мемуарист ошибается: «скорый уход» Блок предчувствовал еще раньше, в феврале:

Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму…

«…Спустя несколько дней,—продолжает Алянский,—Любовь Дмитриевна, открывая мне дверь, поспешно повернулась спиной. Я успел заметить заплаканные глаза. Она просила меня подождать, и, как всегда, я прошёл в маленькую комнату, бывшую раньше кабинетом Блока. Скоро Любовь Дмитриевна вернулась и сказала, что сегодня Саша очень нервничает, что она просит меня, если не спешу, посидеть: быть может, понадобится моя помощь—сходить в аптеку. Но не прошло и десяти минут, вдруг слышу страшный крик Александра Александровича.

Я выскочил в переднюю, откуда дверь вела в комнату больного. В этот момент дверь раскрылась, и Любовь Дмитриевна выбежала из комнаты с заплаканными глазами… Немного погодя я услышал, как Любовь Дмитриевна вернулась к больному. Пробыв там несколько минут, она пришла ко мне и рассказала, что произошло. Она предложила Александру Александровичу принять какое-то лекарство, и тот отказался, она пыталась уговорить его. Тогда он с необыкновенной яростью схватил горсть склянок с лекарствами, которые стояли на столике у кровати, и швырнул их с силой о печку».

Врач А. Г. Пекелис, наблюдавший Блока в дни его ухода, тоже оставил свидетельство—«Краткую заметку о ходе болезни поэта А. Блока 27 августа 1921 г.», где констатировал: «Процесс роковым образом шёл к концу. Отёки медленно, но стойко росли, увеличивалась общая слабость, всё заметнее и резче проявлялась ненормальность в сфере психики, главным образом в смысле угнетения… Все предпринимавшиеся меры лечебного характера не достигали цели, а в последнее время больной стал отказываться от приёма лекарств, терял аппетит, быстро худел, заметней таял и угасал и при всё нарастающих явлениях сердечной слабости тихо скончался».

Блок умер утром 7 августа 1921 года. Непосредственной причиной смерти мог стать подострый септический эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца). Но имелась и другая причина. Ее спустя десять лет сформулировал Владислав Ходасевич в очерке «Гумилёв и Блок»(1931):

«Вероятно, тот, кто первый сказал, что Блок задохнулся, взял это именно отсюда (то есть из процитированной выше статьи Блока „О назначении поэта“. Но в своём дневнике Блок оставил красноречивую запись от 18 июня: „Мне трудно дышать, сердце заняло полгруди“.—*М.Л.*). И он был прав. Не странно ли: Блок умирал несколько месяцев, на глазах у всех, его лечили врачи,—и никто не называл и не умел назвать его болезнь. Началось с боли в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал. Но от чего же он всё-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то „вообще“ оттого, что был болен весь, оттого что не мог больше жить».

Блок и впрямь не мог больше жить: вокруг на его глазах погибало всё то, служение чему он ставил неизмеримо выше служения собственному «я». Неслучайно поэтому, адресуясь к Пушкину, свой поэтический памятник он всё-таки воздвиг *Пушкинскому Дому*, в «не пустом для сердца звуке» которого соединились у него «весёлое имя» поэта и уходящая пушкинская культура.

4.

В середине своей короткой, классически тридцатисемилетней жизни Владимир Маяковский уже всерьёз задумывался:

…не поставить ли лучше
точку пули в своём конце.
(«Флейта-позвоночник», 1915)

Но в то время до конца было далеко. Необычайно мощный творческий потенциал Маяковского пока ещё требовал выхода. Поэтический пыл «горлана-главаря» начал постепенно угасать только в 1920-е, тогда-то и появились первые мысли о самоувековечении. Правда, пока жизнь брала верх над «бронзы многопудьем»:

Мне бы
памятник при жизни
полагается по чину.
Заложил бы
динамиту—
ну-ка,
дрызнь!
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!
(«Юбилейное», 1924)

Вслед за Блоком и Маяковский в своих стихах обращается напрямую к Пушкину, точнее, к его образу в одухотворённой статуе:

Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эМ.
(Там же)

Как тут не вспомнить другой сговор—пушкинского Дон Гуана со статуей Командора в финале третьей сцены «Каменного гостя»! Вообще, перечитывая эти внешне вполне «юбилейные» стихи Маяковского, за всей их лирической трескотнёй и «влюблёнными членами ВЦИКа» иной раз услышишь кое-что совсем другое: «Каким он здесь представлен исполином! Какие плечи! что за Геркулес!.. А сам покойник мал был и тщедушен…», «Недаром же покойник был ревнив…». Дон Гуан-Маяковский задирает Командора-Пушкина? Впрочем, если даже и так, то беззлобно, с симпатией: «Я люблю, но живого, а не мумию». Времена угроз бросить Пушкина и других классиков «с парохода современности» остались в прошлом. И теперь уже бывший футурист-ниспровергатель протягивает классику руку помощи, по силе вполне сравнимую с «каменной десницей»:

Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.

При жизни сговориться им, естественно, не пришлось, а вот в посмертии в энциклопедических справочниках по русской литературе оба великих поэта действительно оказались рядом—на «П» и на «М» соответственно. Но в 1924 году, когда к 125-летию со дня рождения Пушкина писалось «Юбилейное», до смерти Маяковскому оставалось прожить ещё шесть лет.

И вот наступил роковой 1930-й. Жизненные обстоятельства Маяковского сложились как никогда тяжело. В феврале он вступил в официозный РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), результатом чего стало байкотирование его персоны со стороны большинства «левых» писателей. Во многом именно из-за байкота, по сути дела, провалилась организованная в те же дни выставка «20 лет работы Маяковского».

В этой депрессивной обстановке поэт пишет «Во весь голос»—последнее большое стихотворение, несколько близоруко (а может, всё видел, но не хотел верить, испугался и решил «переиграть»?) определённое им ещё и как «первое вступление в поэму»:

Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь
в сегодняшнем окаменевшем г..не,
наших дней изучая потёмки,
вы,
возможно,
спросите и обо мне.
И, возможно, скажет
ваш учёный,
кроя эрудицией
вопросов рой,
что жил-де такой
певец кипячёной
и ярый враг воды сырой.
Профессор,
снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
о времени
и о себе.

Так начинается подведение итогов, ставшее поэтическим завещанием Маяковского. Интересно, что далее, уже ближе к концу текста, по-командирски оглядев свои стихи, мысленно выстроенные им в солдатскую шеренгу, поэт заявляет об их готовности «и к смерти, и к бессмертной славе». На первый взгляд речь идёт о стихах самих по себе: одни из них, не выдержав испытания временем, «умрут», другие—нет. Но разве трактовка этого образа столь однозначна? Нельзя ли понять высказывание Маяковского в том смысле, что творения готовятся встретить скорую смерть своего творца, чтобы разделить с ним бессмертную славу?

Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.
Оружия
любимейшего
род,
готовая
рвануться в гике,
застыла
кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.

В таком случае иной смысл приобретают следующие слова:

И все
поверх зубов вооружённые войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого
последнего листка я
отдаю тебе,
планеты пролетарий.

Обратите внимание: не *отдам* когда-нибудь в будущем, а именно *отдаю*. Здесь и сейчас. Как же ещё, нежели как поэтическое завещание, возможно понять это высказывание?

Даже если предположить, что Маяковский, создавая «Во весь голос», имел в виду иное, всё равно «слова поэта суть уже его дела», как заметил Пушкин.

Поэт, хотя бы и до конца не осознающий своего положения, сам пробуждает те силы, которые, будучи однажды вызваны, не успокаиваются, пока не совершат своё дело. «Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесённой в мир поэтом,— писал незадолго до смерти Александр Блок,— борьба с нею превышает и личные и соединённые человеческие силы. <…> От знака, которым поэзия отмечает на лету, от имени, которое она даёт, когда это нужно, никто не может уклониться, так же как от смерти».

На примерах Пушкина и Хлебникова мы уже видели, что разговор «во весь голос» о собственном художественном значении если и уместно заводить вообще, то разве что незадолго до жизненного финала. Пафос, обращённый поэтом к самому себе в то время, когда он заговаривает о посмертии, часто ведёт к возникновению в итоговом произведении «знака бессмертия», «памятника». Появляется он и у Маяковского:

Неважная честь,
чтоб из этаких роз
мои изваяния высились…

Ну и наконец:

Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь.
Сочтемся славою—
ведь мы свои же люди,—
пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм.

Таков был итог творчества. Теперь ничто уже не мешало поставить «точку пули» в конце. 14 апреля 1930 года время истекло: поэт выстрелил из револьвера себе в сердце.

Н. Миронова в статье «Жив ли сегодня Маяковский?» пишет: «В 90-е годы, когда стал рассеиваться туман советской идеологии, когда наши критика и литературоведение стали освобождаться от запретов и штампов, начала выстраиваться реальная история русской литературы XX века. Наступила пора переоценок. Изменилось отношение и к Маяковскому. Маятник резко качнулся в противоположную сторону. Маяковского стали развенчивать, разоблачать, попытались даже вообще вычеркнуть из истории русской литературы. Сгоряча его исключили из некоторых антологий и учебных пособий. Нет Маяковского в „Антологии русской поэзии и прозы XX века“, изданной в 1994 году в помощь учащимся 11-го класса (составители Г. Гольдштейн и Н. Орлова). В книге В. С. Баевского „История русской поэзии“ (Смоленск, 1994), в которой, по словам автора, „внимание привлекается в первую очередь к новым явлениям в стиле, языке, стихе, способах организации образов“, поскольку „история русской поэзии—это история новаторства русских поэтов“, главы о Маяковском нет. Нет Маяковского и в разделе „Футуристы“ в выпущенном в 1997 году под редакцией В. В. Агеносова учебном пособии для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий „Русская литература серебряного века“. Есть Северянин и Хлебников, а Маяковского нет…».

Площадь Маяковского в 1992 году переименовали обратно в Триумфальную, по стоявшей на ней до 1936 года арке Триумфальных ворот, но саму эту арку так и оставили на Кутузовском проспекте. Бронзовый монумент поэту (скульптор А. П. Кибальников, архитектор Д. Н. Чечулин) удержался пока на месте. А что же сталось с тем памятником, который Маяковский, не раз «наступая на горло собственной песне», воздвигал в своих «готовых к бессмертной славе» стихах? Этот памятник рухнул. Остались только стихи.

II.

На пороге смерти всё чрезвычайно тонкое и гиперчувствительное существо поэта бывает охвачено предощущением чего-то неотвратимого. Каждый выражает это состояние по-разному, соответственно особенностям личности и творческому масштабу. Не удивительно, что последний взгляд, бросаемый на жизнь, вызывает в предсмертных стихах великих поэтов подсказанный им Горацием и всей традицией образ «памятника». А как быть с теми, чей голос по тем или иным причинам оказался «не громок»?

1.

Поэт «пушкинской плеяды» Дмитрий Веневитинов происходил из старинной дворянской семьи.

Краткая биография его не изобилует событиями. Семнадцати лет от роду вольнослушателем приступил к занятиям в Московском университете. Сдав через два года выпускной экзамен, определился в 1825 году в московский Архив коллегии иностранных дел, намереваясь служить по дипломатической части. В начале весны 1827 года, возвращаясь легко одетым с бала, Веневитинов сильно простудился и 15 марта его не стало. Внезапная смерть «заслонила его творчество», говорил впоследствии Ю. Тынянов. «Заслонять», впрочем, особенно было бы и нечего, если бы незадолго до смерти Веневитинов не пережил страстное увлечение княгиней Зинаидой Волконской. Любовь, естественно, тотчас вылилась в стихи. Но какие!

Волконская подарила своему поклоннику перстень, найденный при раскопках Геркуланума в Италии. Поэт прикрепил перстень к часам, в виде брелока, и объявил, что наденет его только перед свадьбой или перед смертью. О матримониальных планах Веневитинова нам ничего не известно, зато именно с этого времени, настойчиво и неоднократно, он стал предсказывать в стихах скорую свою смерть. Вот характерный отрывок из элегии-диалога «Поэт и друг» (1827):

Друг

Ты в жизни только расцветаешь,
И ясен мир перед тобой,—
Зачем же ты в душе младой
Мечту коварную питаешь?
Кто близок к двери гробовой,
Того уста не пламенеют,
Не так душа его пылка,
В приветах взоры не светлеют,
И так ли жмёт его рука?

Поэт

Мой друг! слова твои напрасны,
Не лгут мне чувства—их язык
Я понимать давно привык,
И их пророчества мне ясны.
Душа сказала мне давно:
Ты в мире молнией промчишься!
Тебе всё чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.

Скептик скажет, что здесь мы имеем дело с обычной для того времени модой на мрачную эскапическую сентиментальность. Именно такому скептику Веневитинов *(Поэт)* отвечает, что предчувствие смерти—удел не тех, кто следует литературной моде, а избранных:

Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает:
Мы все равно читаем в ней,
Но кто, читая, понимает?
Лишь тот, кто с юношеских дней
Был пламенным жрецом искусства,
Кто жизни не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,
Над суетой вознёсся духом
И сердца трепет жадным слухом,
Как вещий голос, изловил!
Тому, кто жребий довершил,
Потеря жизни не утрата—
Без страха мир покинет он!
Судьба в дарах своих богата,
И не один у ней закон:
Тому—процвесть развитой силой
И смертью жизни след стереть,
Другому—рано умереть,
Но жить за сумрачной могилой!

Завершает элегию поразительный постскриптум, отделённый от диалога чертой:

Сбылись пророчества поэта,
И друг в слезах с началом лета
Его могилу посетил.
Как знал он жизнь! как мало жил!

Последняя строчка была выбита на могильном камне Веневитинова, умершего и похороненного весной, перед «началом лета».

Обратим внимание на примечательную черту над финальным четверостишием. Думается, возникновение этой черты было бы недостаточно объяснять только композиционным решением. Её концептуальная роль гораздо более велика. Что же на самом деле она обозначает? Какую границу? Если Поэт—это сам Веневитинов, чему нет в тексте никаких противоречащих указаний, то в таком случае возникает закономерный вопрос: кто же скрывается за *образом автора* элегии, её пророческих заключительных строк?

Отметим и запомним случай обращения автора к самому себе в третьем лице.

Положим, однако, что предчувствие смерти выражено Веневитиновым в слишком общих словах. Что ж, перейдём к конкретике. Вот отрывок из другого предсмертного стихотворения—«К моему перстню» (кон. 1826 или нач. 1827):

Ты был отрыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой,
И снова пыли ты могильной
Завещан будешь, перстень мой
<…>
Когда же я в час смерти буду
Прощаться с тем, что здесь люблю,
Тебя в прощанье не забуду:
Тогда я друга умолю,
Чтоб он с руки моей холодной
Тебя, мой перстень, не снимал,
Чтоб нас и гроб не разлучал.
И просьба будет не бесплодна…

В продолжение этого написано ещё одно стихотворение, озаглавленное совершенно недвусмысленно:

Завещание

Вот час последнего страданья!
Внимайте: воля мертвеца
Страшна, как голос прорицанья.
Внимайте: чтоб сего кольца
С руки холодной не снимали:
Пусть с ним умрут мои печали
И будут с ним схоронены.
Друзьям — привет и утешенье:
Восторгов лучшие мгновенья
Мной были им посвящены.
Внимай и ты, моя богиня:
Теперь души твоей святыня
Мне и доступней, и ясней;
Во мне умолкнул глас страстей,
Любви волшебство позабыто,
Исчезла радужная мгла,
И то, что раем ты звала,
Передо мной теперь открыто.
Приблизься! вот могилы дверь!
Мне всё позволено теперь.
<…>

В день скоротечной смерти Веневитинова его друг, А. С. Хомяков, знавший о «завещании», надел умирающему на палец перстень Волконской. Поэт на минуту пришёл в себя и спросил: «Разве я венчаюсь?», но тут всё понял, зарыдал и скоро впал в предсмертное забытьё.

Любопытный факт: в тридцатых годах прошлого века, когда большую часть древнего Симонова монастыря, в некрополе которого покоился прах Веневитинова, снесли (позже на этом месте возвели Дом культуры автозавода ЗИЛ), античный перстень был вновь *отрыт в могиле* и хранится ныне в столичном Литературном музее.

2.

Почувствовал он боль в поток людей глядя,
Заметил женщину с лицом карикатурным,
Как прошлое уже в ней узнавал
Неясность чувств и плеч скульптурность,
И острый взгляд и кожи блеск сухой.
Он простоял, но не окликнул.
Он чувствовал опять акаций цвет густой
И блеск дождя и воробьёв чириканье.

И оживленье чувств, как крепкое вино,
В нём вызвало почти головокруженье,
Вновь целовал он горький нежный рот
И сердце, полное волненья.

Но для другого, может быть, ещё
Она цветёт, она ещё сияет,
И, может быть, тот золотым плечом
Тень от плеча в истоме называет.
(декабрь 1933)

Этим стихотворением открывается предсмертный цикл Константина Вагинова. Краткие биографические справки о жизни и творчестве этого поэта обычно наполовину состоят из перечня литературных группировок, к которым в разное время он ненадолго примыкал. Среди прочего мы обнаружим здесь и гумилёвскую «Звучащую раковину», и «Аббатство гаеров», и «Кольцо поэтов им. К. Фофанова», и ОБЭРИУ.

Все эти кратковременные сближения носили беспорядочный и случайный характер; внутри литературных групп Вагинов был фигурой нетипичной. Как писатель и человек он до сих пор вызывает «ощущение ничейности, подвешенности в пустоте; задолго до критических облав — ощущение пасынка эпохи, а ещё вернее — подкидыша»[3]. Тем не менее «подкидыш» оказался с прекрасной родословной — вся европейская культура стоит за узенькими плечами автора романов «Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова», «Бамбочада» и большого количества вызывающе странных, трагически-прекрасных стихотворений[4].

Вот этого, например:

Вступил в Крыму в зеркальную прохладу,
Под градом желудей оркестр любовь играл.
И, точно призраки, со всех концов Союза
Стояли зрители и слушали Кармен.

Как хороша любовь в минуту увяданья,
Невыносим знакомый голос твой,
Ты вечная, как изваянье,
И слушатель томительно другой.

Он, как слепой, обходит сад зелёный
И трогает ужасно лепестки,
И в соловьиный мир, поющий и влюблённый,
Хотел бы он, как блудный сын, войти.
(декабрь 1933, Ялта)

Пребывание в зеркальной прохладе крымского санатория оказалось губительным для тридцатипятилетнего поэта, давно страдавшего туберкулёзом. В тяжёлом состоянии Вагинов вернулся в Ленинград и там 26 апреля 1934 года скончался.

3. *Герасимова А.* Труды и дни Константина Вагинова. Цит. по: http://www.umka.ru/liter/930307.html.

4. Характерно в этом смысле отношение Н. Гумилёва, зафиксированное в воспоминаниях Г. Адамовича: «Стихи Вагинова вызывали в нём сдержанное, бессильное раздражение. Они поистине были „ни на что не похожи“; никакой логики, никакого смысла; образы самые нелепые; синтаксис самый фантастический… Но за чепухой вагиновского текста жила и звенела какая-то мелодия, о которой можно было повторить, что „Ей без волненья / Внимать невозможно“. Гумилёв это чувствовал». *Г. А.* Памяти К. Вагинова // Последние новости. 1934. №4830.

30 апреля в газете «Литературный Ленинград» появились некрологи, написанные Вс. Рождественским и Н. Чуковским. Там же были напечатаны и последние стихи:

Ленинград

Промозглый Питер лёгким и простым
Ему в ту пору показался.
Под солнцем сладостным, под небом голубым
Он весь в прозрачности купался.

И липкость воздуха и чёрные утра,
И фонари, стоящие, как слёзы,
И липкотеплые ветра
Ему казались лепестками розы.

И он стоял, и в северный цветок,
Как соловей, всё более влюблялся,
И воздух за глотком глоток
Он пил — и улыбался.

И думал: молодость пройдёт,
Душа предстанет безобразной
И почернеет, как цветок,
Мир обведёт потухшим глазом.

Холодный и язвительный стакан,
Быть может, выпить нам придётся,
Но всё же роза с стебелька
Нет-нет и улыбнётся.

Увы, никак не истребить
Виденья юности беспечной.
И продолжает он любить
Цветок прекрасный бесконечно.
(январь 1934)

По свидетельству С. Рудакова, Осип Мандельштам, прочитав текст «Ленинграда», воскликнул: «Вот это настоящие предсмертные стихи!»[5].

3.

Памятуя о метком определении Б. В. Томашевского, Александра Введенского вполне можно отнести к разряду поэтов «без биографии», с той оговоркой, разумеется, что его «уход в тень» был насильственным и принуждённым, разновидностью так называемой внутренней эмиграции. Но за мелкой халтурой в ленинградских детских журналах, за полуголодным скетчизмом последнего, наиболее тяжёлого харьковского периода возник и развился его необыкновенный талант.

Всё начиналось в послереволюционном Петрограде. Трое гимназистов — Шура Введенский, Лёня Липавский и Яша Друскин — организовали дружеское сообщество, объединённое сходными взглядами на искусство и пристальным интересом к философии. Введенский и Липавский пробовали писать стихи — разумеется, в модном ультраавангардном духе. Стихи были посланы, по тогдашнему обыкновению, Блоку. Ответное письмо знаменитого поэта не сохранилось, но осталась краткая запись в бумагах Блока: читал таких-то, ничего особенно не понравилось. Однако уже к 1925 году Александр Введенский был известен среди ленинградских литераторов как начинающий поэт-заумник, наследующий традиции таких крайних авангардистов, как А. Кручёных, И. Зданевич, А. Туфанов. От Хлебникова он взял то, что в Будетлянине ценили именно эти поэты: словотворчество и формальный эксперимент. Вскоре новоявленный заумник оказался в кругу Михаила Кузмина, в те годы поощрявшего молодые «левые» дарования. До нас дошла любопытная чуть более поздняя оценка, данная Кузминым творчеству Введенского. В записках О. Гильдебрандт-Арбениной зафиксировано его высказывание о том, что Введенский стоит-де в поэзии выше Хлебникова, так как в вещах у того слишком много национального. К этому периоду относится знакомство и начало дружбы с Даниилом Хармсом. И наконец, с приходом в дружеский круг Николая Олейникова окончательно оформилась творческая группа «чинарей» — двух философов и трёх поэтов (Друскин, Липавский, Введенский, Олейников, Хармс), — чьим «внешним» выражением стало сформированное в 1927 году Объединение Реального Искусства (ОБЭРИУ).

Так многообещающе начинал Введенский. Но в его развитие как поэта вскоре вмешались «привходящие обстоятельства». В 1931 году он был арестован по сфабрикованному политическому делу и на некоторое время выслан в Курск. Тогда же основной массив текстов, существовавших в рукописном виде, в панике уничтожила его вторая жена, А. С. Ивантер. Оставшиеся рукописи хранились у знакомых, и большая часть их впоследствии оказалась у Якова Друскина, спасшего архив репрессированного Хармса в блокадном Ленинграде. По оценкам людей, близко знавших Введенского, навсегда утрачено не менее двух третей всего им написанного, в том числе и прозаический опыт — роман.

Ближе к концу 1930-х «взрослые» стихи появлялись всё реже, зато возрос процент рифмованной «детской» халтуры, благодаря чему возможно было хоть как-то существовать. Введенский переехал в Харьков к новой семье, где в условиях изоляции от привычного круга им были созданы последние, вершинные произведения — «Элегия» (1940) и «Где. Когда» (1941). Последние строки «Элегии» особенно примечательны:

Исчезнувшее вдохновенье
теперь приходит на мгновенье,
на смерть, на смерть держи равненье
поэт и всадник бедный.

5. *Вагинов К. К.* Стихотворения и поэмы. — Томск: Водолей, 1998.

Во втором случае речь идёт о написанном в мае-июне 1941 года и дошедшем до нас лишь в черновом варианте «реквиеме»[6], впоследствии озаглавленном Яковом Друскиным «Где. Когда» (в заглавие механически вынесены названия обеих частей произведения).

С первых же слов читатель оказывается там, где «он стоял, опершись на статую» (вероятно, на памятник Пушкину, потому что Введенский сначала подражает пушкинскому «Прощай, свободная стихия!..», а самом конце прямо называет этого поэта).

Итак:

Где он стоял опершись на статую. С лицом переполненным думами. Он стоял. Он сам обращался в статую. Он крови не имел. Зрите он вот что сказал:
Прощайте тёмные деревья, прощайте чёрные леса, небесных звёзд круговращенье, и птиц беспечных голоса.
<…>

Так начинается эта прощальная песнь — откровение из числа тех, которые Я. Друскин называл «свидетельским показанием»[7].

«Он, должно быть, вздумал куда-нибудь когда-нибудь уезжать», — а именно туда, где нет ни «где», ни «когда».

«Он» прощается со всем миром:

Прощайте скалы полевые, я вас часами наблюдал.
Прощайте бабочки живые, я с вами вместе голодал.
Прощайте камни, прощайте тучи, я вас любил и я вас мучил
<…>
Прощайте славные концы. Прощай цветок.
Прощай вода.
<…>
Я приходил к тебе река. Прощай река.
<…>
Расстаться с морем нелегко. Море прощай.
Прощай рай.
О как ты высок горный край
<…>
О последнем что есть в природе он тоже вспомнил.
Он вспомнил о пустыне.

Прощайте и вы пустыни и львы.
<…>

С мрачной иронией, нарочито обессмысливая действие, пишет Введенский о добровольно-принудительном уходе из жизни:

И так попрощавшись со всеми он аккуратно сложил оружие и вынув из кармана висок выстрелил себе в голову. [И ту]т состоялась часть вторая — прощание всех с одним.
Деревья как крыльями взмахнули [с]воими руками. Они обдумали, что могли, и ответили:

Ты нас посещал. Зрите,
он умер и все умрите.
Он нас принимал за минуты,
потёртый, помятый, погнутый,
Скитающийся без ума
как ледяная зима.
<…>

С этого момента в тексте воцаряется смерть.

Что же он сообщает теперь деревьям. — Ничего — он цепенеет.
Скалы или камни не сдвинулись с места. Они молчанием и умолчанием и отсутствием звука внушали и нам и вам и ему.

Спи. Прощай. Пришёл конец.
За тобой пришёл гонец.
Он пришёл последний час.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас.

Что же он возражает теперь камням. — Ничего — он леденеет.
<…>
Прощай тетрадь.
Неприятно и нелегко умирать. Прощай мир. Прощай рай.
Ты очень далёк человеческий край.

Что сделает он реке? — Ничего — он каменеет.
<…>

Раздаётся вой апокалипсических труб. Уже из посмертия «*Он*» глядит на покинутый мир:

Но — чу! вдруг затрубили где-то — не то дикари не то нет. Он взглянул на людей. <…>

Короткую вторую часть «реквиема» — «Когда» — важно процитировать здесь целиком. Необходимо при этом заранее отметить нарочитую оговорку

6. Лат. Requiem означает букв. «(на) упокой», это служба в католических и лютеранской храмах. Соответствует панихиде в Православной церкви.

7. Ср. с записью в одном из «Разговоров» Л. Липавского:
«*Я[ков].С[емёнович Друскин].:* Некоторые предвидели ту перемену в людях, при которой мы сейчас присутствуем — появилась точно новая раса. Но все представляли себе это очень приблизительно и неверно. Мы же видим это своими глазами. И нам следовало бы написать об этом книгу, оставить свидетельское показание. Ведь потом этой ясно ощущаемой нами разницы нельзя будет восстановить.
Л[еонид].Л[ипавский].: Это похоже на записи Марка Аврелия в палатке на границе империи, в которую ему уже не вернуться, да и незачем возвращаться». *Липавский Л.* Разговоры //…Сборище друзей, оставленных судьбою. *А. Введенский, Л. Липавский, Я Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников:* «чинари» в текстах, документах и исследованиях: в 2 т. / сост. *В. Н. Сажин.* — М.: Ладомир, 2000. — Т. 1.

в тексте, в том месте, где автор, как бы забывшись, роняет: «я»—и тут же снова возвращается к обращению «он». Введенский, конечно, не путается в своём «свидетельском показании», и специально поясняет: «*т. е.* он забыл попрощаться».

> Когда он приотворил распухшие свои глаза, он глаза свои приоткрыл. Он припомнил всё как есть наизусть. Я забыл попрощаться с прочим, т. е. он забыл попрощаться с прочим. Тут он вспомнил, он припомнил весь миг своей смерти. Все эти шестёрки, пятёрки. Всю ту—суету. Всю рифму. Которая была ему верная подруга, как сказал до него Пушкин. Ах, Пушкин, Пушкин, тот самый Пушкин, который жил до него. Тут тень всеобщего отвращения лежала на всём. Тут тень всеобщего лежала на всём. Тут тень лежала на всём. Он ничего не понял, но он воздержался. И дикари, а может и не дикари, с плачем похожим на шелест дубов, на жужжанье пчёл, на плеск волн, на молчанье камней и на вид пустыни, держа тарелки над головами, вышли и неторопливо спустились с вершин на немногочисленную землю. Ах, Пушкин. Пушкин.
>
> Всё

Это «Всё» относилось и к тексту «реквиема», и к его создателю. В начале Великой Отечественной войны, когда немецкие войска приблизились к Харькову, Введенский был повторно арестован органами нквд и при невыясненных обстоятельствах погиб где-то по дороге в Сибирь, немного не дожив до тридцатисемилетия.

А теперь вспомните постскриптум Веневитинова, то, как писал о себе умирающий Вагинов, и нарочитую оговорку Введенского.

Сто лет назад польский историк Казимир Валишевский отметил[8] общую черту русского народа в лице одной из его представительниц, пожилой вдовы: «Говоря о муже, она называет его „он“, *как до сих пор называют крестьяне умершего*».

ДиН ревю

Феликс Грек

В стихиях мира и войны

Иваново: «А-Гриф», 2015

Не верьте, что жизнь коротка

Не верьте, что жизнь коротка,—
Она бесконечней Вселенной!
Сладка она или горька—
Вопрос этот второстепенный!

Попробуйте жизнь проследить—
Завязнет во времени память!
Что память? Непрочная нить—
Истлеет, порвётся с годами.

А вашей любви нет конца,
И мысли полёт беспределен!
И некуда выслать гонца—
Конец в мирозданьи затерян.

Живите всему вопреки,
Уверуйте в чудо и счастье!
А встретится что «не с руки»
Так это, ей-богу, не часто!

Неправда, что жизнь коротка
(Признанье суть пораженье!),
Она просто локон витка
В безмолвном и вечном круженье!

Летели лебеди

Летели лебеди, как ангелы,—
Большие, праведные, стройные,—
Куда-нибудь на остров Врангеля,
Где воды хмурятся студёные,
Где нет ни хищника, ни выстрела,
Где всё доселе первозданное.
Летели лебеди не быстрые,
Не суетные, несказанные…
Летели лебеди над крышами,
Проплыли белыми виденьями.
И часто-часто грудью дышим мы
От непонятного волнения,
От созерцания величия,
От озаренья мимолётного…

Слёз не размазывай по личику:
Не боги ж—птицы перелётные!

8. *Валишевский К.* Полное собрание сочинений: в 5 т.—М.: Сфинкс, 1910–1912.

Сергей Брель

От предубеждения к гордости:

«Война и мир» Тома Харпера на российском телевидении

Иностранцы не могут экранизировать нашу классику достойно. Особенно англичане. Особенно если это «Война и мир». Особенно, если проект BBC. Такова гордость и предубеждения отечественного интеллигентного зрителя. Устойчивые — вопреки тому, что в стране катастрофически падает с каждым годом не просто количество читающих людей, но и людей с опытом просмотра более-менее серьезного, даже жанрового кино. О молодом поколении пока умолчим.

Но упорство не теряет градуса: мы должны держать планку, равняться на уровень Сергея Бондарчука, не забывая, что главное в трудах наших гениев — высокая духовность и сложные размышления, а не «развлекаловка». А после батальных сцен советской картины кому-то грешно даже думать о полноценном воплощении «войны» в «Войне и мире».

Поэтому когда в начале 2016 года английский шестисерийный сериал появился на наших экранах, заголовки статей в СМИ и отзывов блогеров были предсказуемы: от «Без лишней философии…» до «ощущения ряженых». Сурово критиковали коллег и представители отечественной киноиндустрии. Оставим за скобками тот факт, что нередко их собственные воплощения классики вызывали гораздо больше вопросов (может, нападки на заморских конкурентов как раз не случайны?).

Мое отношение к картине менялось по ходу просмотра, пройдя стремительный путь от того самого предубеждения (русскую душу не поняли) до приятия. Правда, от дублированной версии я быстро отказался, предпочитая вариант с закадровым переводом, что тотчас улучшило впечатление. Так что многие минусы оставим на совести прокатчика.

Теперь к фильму. Самое главное впечатление — спустя почти год его хочется пересмотреть. Почему?

За экранизацией стоят не только продюсеры, режиссёр и оператор, а также сам роман. Крайне важна фигура драматурга. Эндрю Дэвис, сценарист и писатель, родившийся в Уэльсе в 1936 году (не путать с однофамильцем — американским сценаристом и режиссером), явно принадлежит к поколению писателей-читателей, а не просто беспочвенных сочинителей историй. И дело не просто в солидном багаже его адаптаций классической прозы для кино.

За дэвисовским видением Толстого ощутима та самая душа. Если угодно — загадочная русская. Та самая, которую за четверть века существования собственно российского кино (с прибавлением кинематографа перестроечного) постепенно стала теряться от нас самих.

Да, в ряде эпизодов возникает мысль о поверхностном прочтении. Или — иронии?

Пьер Безухов (Пол Дано) идёт в московский дом Ростовых, пробираясь по колоритному двору мимо гуляющих хрюшек. Где Толстой и где этот странноватый гротеск? Или так видится автору усадебный мир допожарной Москвы? Но можно взглянуть на ситуацию и с точки зрения раскрытия образа лаконичными средствами — добродушный и чудаковатый нрав Пьера требует ироничной декорации, усиления акцента.

Как эпизод с «картошками», помещённый в финальную серию, где вроде бы спешно пересказан колоссальный и почти никем не читаемый до конца эпилог. Пьер, освободившись из плена, садится за обильно сервированный стол, жадно вдыхает аромат жареного мяса и готовится проглотить кусок картофеля. И очевидно вспоминает, как его угощал в плену Платон Каратаев. Он замирает, отрезает маленький кусочек и медленно прожёвывает его, наслаждаясь пищей как даром и утешением, как божественной милостью. Вспоминается, например, «Один день Ивана Денисовича» и процесс поедания героем лагерной каши. Толстой часто сравнивает восприятие хлеба насущного и чрезмерные обеды богачей, вид порока, разврата. Одна из таких сцен — хрестоматийная в «Анне Карениной», обед в московском ресторане, где Левин тоже пытается заказать… кашу, вызывая усмешку официанта. Экранное время требует суммировать идею и образ во много раз более сжато и ярко, пройти по грани гротеска там, где литература подобного заострения не требует. И вот в эпизоде «Войны и мира» гротеск сменяется ёмкой метафорой.

Иное с такими авторами, как Гоголь или Булгаков, у них гротеск такого масштаба, что при

экранизациях усиление и без того усиленного нередко приводит к полному разрушению образа. Но описания-размышления Толстого на экране требуют или нудной повествовательности, или заострения. И вот «едок картофеля» Пьер стал ожившей метафорой приятия малых радостей бытия как пути аскезы для преувеличенных порывов тела и души.

Раз уж речь зашла о Пьере, хочется привести ироничную цитату: «…довольно забавно наблюдать, как вместо монументальной фигуры Пьера по зимнему Петербургу ходит наивный юноша в очках, благодушный и бестолковый…». Я здесь повода иронизировать не вижу. Если кто-то привык видеть под влиянием школьных учителей и хрестоматийных экранизаций монумент, то для меня Безухов, особенно в начале эпопеи, именно таков—наивный бестолковый юноша в очках. Так не есть ли «легкомысленный» взгляд на героя—самый верный?

Особая статья претензий—эротизм картины. Здесь много чувственных и страстных взглядов, немало впечатляющих поцелуев, скандальный эпизод с двусмысленными объятиями брата и сестры Курагиных и даже сцена постельная (что ещё хуже—дело происходит на обеденном столе) с участием всё той же Элен и Долохова. Конечно, нынешнее кино видело всякое, иные скандальные сцены после «Нимфоманки» Ларса фон Триера выглядят почти невинно. Но—возразите вы,—экранизация классики, рассчитанная на широкую аудиторию, могла бы избежать хотя бы прямых фривольностей.

Однако вернёмся к сложности первоисточника, к эротизму прозы Толстого в целом. Конечно, этот эротизм часто скрытый, даже вытесненный. Творчество писателя в какой-то мере является ещё и эпопей борьбы бесполого духа с яростной плотью-дьяволом. В эстетике и этике писателя исследователи находят даже мотивы скопчества, его ненависть к соитию напоминает о крайностях сектантов. Скажем, Антон Чехов, оставаясь поклонником толстовского таланта, высказывал мнение о разрушительной силе рассуждений Льва Николаевича о браке и женщине (он доводит его высказывания до крайности в таком духе: «жена противна, потому что у неё пахнет изо рта…»). Хотя на момент создания «Войны и мира» крайности эти ещё не определились. Но любовь в его системе координат уже чётко разделялась на грубо-животную и возвышенную, духовную. Конечно, «Война и мир» стыдлива. Но не невинна. Помню, как мне впервые читали роман вслух (мне было тогда двенадцать лет), и как требование юной Наташей от Бориса Друбецкого поцелуя смущало. И запоминалось более, чем упоминание о том, что Анатоль целовал голые плечи родной сестры (здесь авторы сериала вновь просто показали то, что в тексте преподнесено как сплетня). Более того, «бесполая», готовая отказаться от любви Соня названа в эпилоге «пустоцветом».

Говоря об отношениях полов, Толстой не описывал и не называл многое прямо и по внутреннему убеждению, и по цензурным требованиям времени. Но у него нередко скрытое красноречивее описанного. Так, в шестой части «Анны Карениной» есть блестящий эпизод, в котором Кити поясняет Левину, почему его брат Сергей так и не сделал предложение Вареньке:

— Не берёт,—сказала Кити…
— Как не берёт?
— Вот так,—сказала она, взяв руку мужу, поднеся её ко рту и дотрагиваясь до неё нераскрытыми губами.—Как у архиерея руку целуют.
— У кого же не берёт?—сказал он смеясь.
— У обоих. А надо, чтобы вот так…
— Мужики едут…
— Нет, они не видели.

Как читатели, мы сами домысливаем детали. Кино требует большей откровенности. Именно поэтому так ярка в фильме Элен Курагина-Безухова (Таппенс Мидлтон). Авторы отказались от концепции «застывшей статуи»—эта трактовка сорокалетней Ириной Скобцевой в своё время вытравила из образа малейший намёк на чувственность. Элен в исполнении Мидлтон—яркая, живая, привлекающая и совсем не примитивная, а скорее «эмансипированная» (что также возмутило русских критиков). И всё же она остаётся воплощением зла. Воплощением в конечном счете карающим самоё себя. В сериале смерть героини от искусственно вызванного выкидыша (на что в романе лишь делаются намеки) почти натуралистична. Элен пугает самая возможность иметь ребёнка. И та уничтожает свой плод, разрушает себя как женщину и в итоге губит собственную жизнь.

Отошли ли авторы фильма от литературной правды? Нет!

Вспомним Соню: она пустоцвет в прямом и переносном смысле. Конечно, она не несёт зло, как Элен, но не может принести и добро. Толстой эпохи «Войны и мира» утверждает, что влечение мужчины и женщины оправдывается лишь рождением детей. Сам многодетный отец, в конце жизни—некий Патриарх, он ощущал рождение и воспитание потомства и как крест, и как дар для супругов. Если, по слову апостола, нельзя всем сделаться монахами, надо исполнять семейный долг во всей полноте. Что же в эпопее? Главные герои находят свою «половинку», вступают в брак, заботятся о детях. Дети—цветы эпилога, вознаграждение спасённой от уничтожения в огне двенадцатого года нации. Нет плодов у слишком неземной, жертвенной Сони и у тех, кто сам их истребил (к сказанному выше об Элен добавим,

что у интригана князя Василия остался единственный сын — идиот).

Насколько эти идеи актуальны сегодня, наверное, пояснять не стоит. А то, что толерантные англичане не боятся их громко озвучить, — прекрасно. Но сцена смерти Элен вносит в её образ ещё одну ноту. К падшей проникаешься сочувствием, состраданием. Так мы выходим на главную тему экранизации — проповедь христианских ценностей.

Конечно, Толстой боролся с официальной церковью, критиковал её на всех этапах творчества и в итоге вступил с ней в некую духовную схватку. Но те христианские ценности, которые являются неотъемлемой частью его творчества, продолжают Толстого и Церковь объединять. В нынешние времена всеобщих разногласий и споров, пронизавших и общество, и искусство, поиск точек сближения представляется плодотворным и необходимым. А иногда спасительным.

Так вот, многие сюжетные линии романа в экранизации связываются с понятием милосердия и прощения. Причём там, где Толстой наметил вектор, Харпер и Дэвис его развивают. Андрей Болконский (Джеймс Нортон) сразу после ранения, в лазарете увидев Анатоля, не просто поражается совпадению, но и сжимает его руку. А в Мытищах он сразу рассказывает Наташе о встрече с Анатолем (в романе его мысли о прощении и любви к врагу остаются в предшествующем внутреннем монологе). В последние дни в Ярославле он уже не испытывает того равнодушия умирающего по отношению к живым, о котором говорит Толстой.

Долохов просит прощения у Пьера накануне Бородинской битвы, а найдя его среди спасённых узников во время партизанской атаки на французский отряд, обнимает и называет «Петенькой». Даже князь Василий, после смерти Анатоля и Элен, также говорит Пьеру с сожалением о причинённом зле (вот тут проявляется английская педантичность: все всё должны осознать, даже те, кто, по Толстому, высшего сознания лишены). Вместе с тем изъят финальный спор Николая и Пьера, в котором намечены зёрна нового конфликта. Авторы фильма трактуют понятие мира в эпопее как примирение, примирение национальное и личное, всеобъемлющее и спасительное.

Не оказались ли специалисты по адаптации текста «святее Папы Римского»? Не довели идею до карикатуры? При желании в обилии покаяний можно усмотреть зёрна упрощения, «сентиментализации». А при желании — проповедь деятельной любви. В которой обидам и никогда мести нет места. Особенно перед лицом национальной трагедии, которой посвящены третий и четвёртый тома романы, её кульминация. Трагедии, которая передана в фильме не через буйство батальных сцен и кошмары компьютерной графики, а через драматическое сцепление смертей, жертв, страданий. За которыми следует консолидация общества, сцепление «мира» (и здесь многозвучия этого русского слова вновь сочетаются и находят созвучие). Ведь братание можно рассмотреть как шаг к братству, о котором так много говорил один из духовных наставников Толстого философ Николай Фёдоров.

Вот сцена в захваченной французами Москве. Защищавший жителей от мародёров Пьер (в картине он просто возвращает отнятые сапоги), едва не расстрелян и оказался под стражей. Здесь он встречает Платона Каратаева. «Я буду тебе братом, пока мы здесь», — говорит Каратаев (Эдриан Роулинз). В оригинале, спросив, живы ли родители, Платон, огорченный, что отца и «особенно матери» нет, добавляет: «…а детки есть?» («отрицательный ответ Пьера опять, видимо, огорчил его…»). Дэвис меняет вопрос о детях на вопрос о сёстрах и братьях, а утверждение «я буду братом» ставит в завершении диалога. Сама сцена в импровизированной камере (у Толстого «балаган», наскоро сколоченный из обгорелых досок) снята в рембрандтовском стиле: резкие контрасты, косо прорезающий тьму поток света. Почти «Возвращение блудного сына». Но кто такой Пьер, как не блудный сын, находящий во время событий войны 12-го года не только семью (Наташу), но и Отечество?

Явившись в Петербург из Европы с искажённым на европейский манер именем, на протяжении предыдущих событий романа Безухов тщетно ищет и дом, и спутницу жизни. Чувство братства он находит на батарее, среди огня и крови. А Платон (античный мудрец в облике простого мужика) становится его подлинным духовным братом в плену. Кстати, Каратаев оказался в солдатах вместо младшего брата, хотя и не по своей воле (попался на порубке в чужой роще), но доволен поворотом судьбы. У брата большая семья, и для неё солдатчина была бы тяжелее. У блудного сына, как мы помним, тоже был брат, изначально не понимавший, отчего отец так радуется возвращению заблудшей души.

Братство приходит не само собой, а через искушение и жертву. По Толстому, общество (мир) накануне Отечественной войны внешне благополучно, но расколото, разделено сословными и идеологическими преградами. Заграничная кампания, цели которой не внятны как элитам, так и народу, лишь усиливает раскол. И вот частички разрушенного войной космоса русской жизни жмутся друг к другу в надежде найти спасение, а постигают цель и смысл жизни («если каждую частицу одарить представлением и чувством целого, тогда столкновение исчезнет; не будет ни разрушения, ни смерти…» — напишет Фёдоров).

Идею «частичек», собравшихся в целое, в романе писатель воплотит в образе глобуса — шара,

поверхность которого состоит из множества капель. Шар приснится Пьеру накануне освобождения из плена. Создатели фильма отказались от большинства абстрактных образов, но передали их суть. Наиболее насыщенная шестая серия переполнена объяснениями, братаниями и прощениями — всеми всех. Вот поэтому и обнимется Пьер после освобождения не с первым подошедшим солдатом, а именно с бывшим врагом.

Братание и братство куплены ценой общего горя, разрушения прекраснейшего города Империи, гибели самых лучших и юных. Смерть Пети Ростова тоже не стала лишь «эпизодом», пронзительно звучит разговор накануне атаки на французский конвой, когда мальчик предлагает казаку Лихачёву изюм…

В чём признавались в интервью молодые актёры (наконец-то молодые!), сыгравшие главные роли? Нортон впервые прочитал роман и, судя по всему, вообще впервые столкнулся в литературе со столь сложным характером. Игравшая Наташу Лили Джеймс заявила о своей героине: «В Англии нет девушек, похожих на неё, и в Америке таких я не встречала…» Отрадно осознать, что опыт переживания подобных ролей становится опытом обогащения личности (Джеймс призналась, что вместе с Наташей «менялась и как актёр, и как человек»). Значит, и тем опытом, который перейдёт к молодым, а потом и совсем юным зрителем. Есть повод надеяться, что «Война и мир» из числа покрытых пылью раритетов (сегодня её грозятся исключить даже из отечественной программы литературы) вернётся в круг книг живых, актуальных.

Думаю, можно говорить не просто о новой экранизации, а о встрече культур. Причём в момент нового противостояния Запада и Востока, «цивилизованного агрессора» (как уместно сегодня вспомнить о восхищении Андрея и Пьера Бонапартом в начале эпопеи) и этноса, пытающегося отстоять своё право на выбор пути. И разве не символично, что в годы, когда российские режиссёры соревнуются в изображении Отечества как отсталого, дикого и «бесперспективного», выпрашивая одобрение в условных «каннах», нашлись «англосаксы», напомнившие нам самим о нашем былом патриотизме и подвигах?

В такой момент кино перестаёт быть просто искусством, а вызывает к жизни нечто большее. Может, осознание серьёзности намерений силы, что собирается у наших границ. Может — пробуждение подлинной (а не надуто-сиюминутной) национальной гордости. А может — надежду на торжество понимания и любви, которую хранит русская литература. Не знаю, расшифрует ли это скрытое послание западный обыватель. Дай Бог, чтобы заметили мы сами.

В статье цитируются:

– интервью Анжелики Заозерской с актерами сериала («Вечерняя Москва»),
– рецензия Анастасии Роговой («Известия»).

Д*и*Н ПАРОДИЯ

Евгений Минин

Критика ниже спины

Солнце-ню

Солнце без нижнего выйдет белья.
Встань у порога, минуты снедая, —
В ноги тебе поклонится земля,
Влажных шагов по спине ожидая.
Максим Калинин

Утром проснулся, глаза расчехля,
Да и в окошко взглянул обалдело:
Солнце без нижнего вышло белья,
Даже портки на себя не надело.
Вроде как стёклышко был я тверёз,
Над необычным явленьем гадая,
Стал зарифмовывать этот курьёз
Критику ниже спины ожидая…

Маниакальное

Единственный, с кем говорю, как с маньяком маньяк,
А, впрочем, с ним можно и не говорить никогда.
Ольга Ермолаева

Не с кем говорить — кругом графомании расцвет,
шлют стихи в журнал — богата поэтами Русь
Но со многими разговариваю, как с поэтом поэт,
хотя с некоторыми разговаривать вообще боюсь.
Развелось многовато рифмоплётов-бумагомарак,
Я вожусь с бедолагами много десятков лет.
Лишь с одним говорю, как с маньяком маньяк,
С кем? Разгадать не проблема секрет…

Владимир Яранцев

Тайна самородности

Топоров Адриан Митрофанович. Крестьяне о писателях.—М.:Common place, 2016.—334 с.

Книга «Крестьяне о писателях», если вдуматься, заставляет недоумевать. Во-первых, на обложке обозначен автор—Адриан Топоров, а на самом деле такими авторами являются коммунары, которым он читает произведения, записывая их мнения. Во-вторых, этих алтайских крестьян-коммунаров литературными критиками-экспертами, пусть и в кавычках, не назовешь, ибо они не читают данные книги, а буквально слушают их. «Письменные» романы, повести, рассказы, стихи, превращенные в устные, вызывают такой же устный отклик. Вернее, отклики. Потому что слушателей-критиков в зале много и мнение одного оратора рождает, цепной реакцией, следующее и так далее. И все то, что говорится, подхватывается, развивается, корректируется, подтверждается, оспаривается, обрастает сравнениями, случаями из жизни, вплоть до «вставных новелл»,—тяготеет к некоему коллективному, «хоровому» мнению-резюме. Так что в конце каждого обсуждения того или иного произведения есть постоянная рубрика «Общее мнение», формулируемое с помощью А. Топорова.

И, наконец, в-третьих. Крестьянам «провокативно» читается «городская», «интеллигентская» литература: Ю. Олеша, Б. Пастернак, И. Сельвинский. Почему? И тут надо вспомнить время возникновения и расцвета этой крестьянско-коммунарской критики. Это конец 20—начало 30-х гг., когда писатели-«попутчики» испытывали всё более яростные нападки со стороны марксистов-догматиков из РАППа, буквально изгонялись из литературы М. Булгаков, Е. Замятин, Б. Пильняк, А. Платонов. «Простая» критика, против «изысков» и «эстетства», такая же простая литература были в то время востребованы официальной советской литературой. Но только ли в этом успех топоровцев и книги «Крестьяне о писателях», впервые вышедшей в 1930 г.? В том-то и дело, что нет, а может, и совсем не в этом. Ибо у крестьянской критики были свои враги, и местные, и столичные. И если местный журналист из газеты «Советская Сибирь» О. Бар (Олег Барабашев) в статье по следам поездки в «Майское утро» ещё сомневается, «окопавшийся враг», одиночка, действующий «исподтишка» А. Топоров или «точка сложнейших социальных переплётов, которыми нас награждает классовая борьба», то журнал «На литературном посту» (1930, №23–24) прямо обвиняет метод А. Топорова «ползучим эмпиризмом». М. Беккер, автор статьи с типично рапповским названием «Против топоровщины», обвиняет метод в том, что «он никуда не ведёт читателя, не воспитывает его, не поднимает на нужную высоту общественного и художественного сознания». Нет в нём «коммунистического мировоззрения», однако классовым врагом М. Беккер его всё-таки не называет.

А всё потому, что пафос А. Топорова направлен против профессиональной литературной критики, «служилых интеллигентов», «с воротничком и галстуком». «Столичной критике,—пишет А. Топоров далее в предисловии к книге,—опасно доверять… Поверишь спецу-критику из такого журнала, станешь в нардоме читать публике вещь-то, хрясь—паскудная выходит. Народ возмущается „подвохом“, а чтец в дураках. И теперь, грешный человек, я не всегда слепо доверяю даже таким критикам, которые создают имя писателям и шумную славу их сочинениям…». Исправить положение можно только с помощью «низовой критики»: она «захлопнет ход дурной книге к трудящимся и, наоборот, широкой тропой поведёт туда книгу нужную, доброкачественную».

А пока «скверная книга прёт в массы», книга «Крестьяне о писателях» и призвана была стать одной из преград этому потоку. Затронутая профессиональная честь «двухнедельного журнала марксистской критики», взывавшая к отмщению, и породила статью М. Беккера и его обвинения в неклассовости крестьянской критики. Тем более что А. Топоров сам будто подставился, заявляя о «строжайшем беспристрастии» своего метода и уж совсем по А. Воронскому, злейшему врагу РАППа и всей «пролетарской литературы», писал: «Великое в художественной литературе потому и великое, что оно действует… незримо, тайно, как вешняя вода под пластом снега. Люди ощущают больше, чем понимают и могут выразить. Это положение особенно верно в отношении крестьян. Художественное произведение рассчитано прежде всего на эмоциональное существо человека. Через возбуждение эмоций, через их пути, оно преобразует и наш ум. Если произведение искусства не

зажигает наших эмоций, не заинтересовывает… то оно никчёмно нам, во всяком случае, сила его воздействия на человека ограничивается. Что толку в его „умном" идейном содержании, если его образы, его внешняя оболочка непривлекательны, не захватывают читателя?»

Только нам, читателям 21 века, ясно, почему так контрастно составлены «Крестьяне о писателях» и почему так скупы похвалы коммунаров писателям. Всё дело во вполне конкретной задаче — избавление книжного рынка и читательского спроса от скучной, не понятной простому советскому труженику первых пятилеток литературы. Всё очевидно, если открыть первое издание книги 1930 г. И всё это приходится держать в уме, читая издание 2016 г. Оно действительно, «необычно», по словам составителя, автора предисловия и внука А. Топорова Игоря Топорова. В новых «Крестьянах о писателях» сделан акцент на оригинальности и глубине высказываний самих крестьян, их самобытной речи в пику «властям» и «литературным генералам». То есть приоритет здесь отдан народу (заглавным «крестьянам»), а не «писателям» (вторые в заглавии). И в этом смысле уже не важно, почему Ю. Олеша и Б. Пастернак плохи, а А. Неверов и Е. Пермитин хороши. Как неважно и то, что включены в книгу «ранее не публиковавшиеся главы» о С. Есенине, М. Зощенко, А. Курсе и В. Шишкове — о первых двух неодобрительно-отрицательно, а о вторых, всецело положительно. При том что ныне Есенин и Зощенко признанные всеми широко читаемые классики по сравнению с Шишковым, Неверовым и абсолютно забытым Курсом — кстати, яром противнике художественной литературы как таковой. Более того, изъятые из первого советского издания и возвращённые в новое главы о И. Бабеле, Ю. Олеше, П. Орешине и Б. Пастернаке тоже «ругательные» (за исключением Орешина).

И это очередное недоумение, так как новоизданные «Крестьяне…» обретают явно критический уклон. И если Ф. Панфёрова, Л. Сейфуллину, Н. Тихонова и И. Уткина, как говорится, не очень жалко, то уже названных классиков-«попутчиков» — к ним примыкает глава о А. Блоке — жалко. Правда, после долголетнего царствия в нашей литературе опрокинувшего всех классиков и все ценности постмодернизма, уже ничему не удивляешься. Но здесь-то не пресыщенные и уставшие от литературы п-модернисты, а «низовые» крестьяне, из гущи народа. Потому-то мы и недоумеваем, и потому мнения крестьян заслуживают пристального внимания.

Отметим сразу: эти мнения начисто лишены «филологичности». Точнее, у них другая филология. И другое мировоззрение. Тот же М. Беккер, сквозь свои профессиональные обиды и раздражение, проницательно отмечает, что основной критерий для крестьян-критиков — «общественная полезность» и вытекающий из него критерий «художественный» — «требование художественной красоты». И это красота не примитива, а ёмкости, сжатости, динамизма, дающаяся столько же трудом и гением, сколько уважением к читателю, его восприятию. Короче, говоря, это А. Пушкин. И не случайно новое издание книги открывается этим главным для крестьян именем и литературным идеалом. Пушкиным, его стихами «любуешься» и «зажигает он всего человека», и «на каждое его слово десять слов вырастает», и так он «шибко завладевает человеком», что «будто живёшь с тем народом, который Пушкиным описывается», — восхищаются коммунары.

Именно коммунары, а не просто крестьяне, потому что об авторе «Дубровского» они говорят больше не как о глубоком философе-любомудре и пантеисте, а в первую очередь как о революционере, будто не замечая такое чисто пушкинское качество, как красота и совершенство его формы («аполлинизм»), эстетическое начало. Как читатели-крестьяне они душой чувствовали это начало, видели мастерство художника («У Пушкина вся картина собрана по маковому зёрнышку», «как у хорошего плотника из плохого дерева хорошее выходит»), а как читатели-коммунары наперебой говорят о начале революционном: «Первая революционная мысль произошла от Пушкина», «он первый подстрекатель к революции, как Ленин», «этой песней («Зимняя дорога. — *В. Я.*) он срамил правительство», «Пушкин раздул политику», «высмеивал старый строй» и т. д. Крестьянское и коммунарское, человеческое и политическое за девять лет существования коммуны «Майское утро» так тесно переплелось, срослось, что «низовые критики» привыкли каждый свой отзыв, идущий от сердца, от «эстетики», поверять социализмом, в соответствии с генеральной линией партии на коллективизацию, борьбу с мелкобуржуазностью, индивидуализмом, эстетизмом и т. д.

Потому-то так непримиримы они к писателям-«попутчикам», в творчестве которых так явно сказывается индивидуальность писателя, стремление дать в произведении своё видение, воздействовать не столько правдоподобием, сколько эстетически — стилистически, метафорически, композиционно. Так, рассказы И. Бабеля топоровцы не приемлют: «Не нужно деревне» за его «уменье в маленьких рассказиках наплести кучу неправды и неразберихи», хотя рассказаны они «замечательной речью простолюдина». Но если бы И. Бабель «прибавил разъяснения», то «годился бы». Видно, что крестьянам не хватает образования, знания истории литературы, культурологичности, но они чувствуют значительность произведения. Отсюда и колебания в оценке — результат эстетического воздействия, таланта и мастерства писателя,

на которые, однако, наложено табу их коммунарской ипостасью.

Эта противоречивость наглядна при обсуждении топоровцами рассказов М. Зощенко, от которых «рожа расплывается, а дальше его смех не берёт», «над словами только смешно, а над положением человеческим редко смешно». Это всё та же несвобода или полусвобода восприятия, табуированная «политикой», не дающей смеху брать полностью человека, раскрепостившись от догмы правдоподобия. Не зря в итоговой части обсуждения коммунары положительно отозвались о доброй дюжине рассказов из очередного сборника М. Зощенко. Значит, не всё так плохо с литературным вкусом у «низовых критиков»!

Настоящим экзаменом для слушателей книг из «Майского утра» стал роман Ю. Олеши «Зависть». Крестьяне сначала дружно возмущались многословием («возьмёт строку добрую и припишет к ней десять чепухи»), скукой («больше тягучего, чем дельного»), и, наконец, непонятностью («много у Олеши интеллигентских слов, а мы их не понимаем»). В том-то и суть: крестьяне раздражены тем, что не понимают не замысла (с этим как раз всё в порядке), а эстетики Ю. Олеши: «лишние» строки, «тягучесть», «мудрствование» — зачем это, если «получается размазня», а «склад тяжёлый». Не зная всей подоплёки — для этого им самим надо стать интеллигентами! — они перетолковывают прозу писателя на свой, крестьянский лад, в рамках своего мира. Не зря тех, кто хвалит роман один из коммунаров сравнивает с «неежалой лошадью», которая «стоит-стоит, сено жуёт; надоест ей это сено, она и давай лопать с крыши прелую солому».

Тот же природный ум, самородный, смекалистый, острый, способный даже на этом «низовом» уровне мыслить литературоведчески, топоровцы отметили «недохватки в розмысле» (как мы бы сказали, эллипсы в расчёте на сотворчество читателя) и отсутствие «крепких слов, чтобы придавляли» (что характерно, как сказал бы специалист, для сказового повествования). А вот практически точно пересказанная своими словами теория В. Шкловского о выведении читателя из «автоматизма восприятия» путём «затруднений» повествования: «Пускай течение слов нехорошо идёт; пусть читатель из-за этого остановится, прочтёт ещё и побольше подумает».

Последняя цитата взята из обсуждения коммунарами романа «Бруски» Ф. Панфёрова. Несмотря на то, что и сам писатель из деревни и его произведение о крестьянах, идущих через коммуну к колхозам, топоровцы настроены резко критически. И как раз потому, что роман не талантлив, а его автор не мастер, не художник, как «попутчики». Хотя, казалось бы, роман тем и интересен, что жители деревни Широкий Буерак показаны в массе, как одно целое, крестьянский мир, и писатель по ходу повествования выхватывает тот или иной нужный ему персонаж. Но именно это коммунарам не нравится: «Большинство героев романа приплетено сбоку-припёку и совершенно никакой роди не играет», «шибко тесно в романе от разных людей, и они нужны в нём, как на мосту дыры», «все лица мужиков сливаются в одно. Все какие-то бородачи», «сколько их взято в роман, но ни одного видного нету». Они называют «Бруски» «кучей мусора», в котором читателю надо искать монетку», неимоверно растянутым, где то, что можно было уложить в двух «звеньях» (главах), Панфёров «развёл на десять». И даже сравнения, казалось бы, такие крестьянские, не «интеллигентские», как у Олеши, топоровцам не по нраву. «Солнце лизало землю, как корова телёнка»; «небо казалось дном ржавого, пробитого гвоздём ведра»; «солнце как помятая тыква», — всё это «неподходяще», «не метко» или просто заимствовано (см. первое, взятое у Есенина). Но главный упрёк в том, что книга идеологически неверна: «В смысле колхозной агитации нисколько „непривлекательна“» А в «Общем мнении» и вовсе записали, что «„Бруски“ навредят колхозному строительству».

И тут в топоровцах больше говорят коммунары, чем крестьяне. А точнее, идеологизированное время, в сути которого жителям глухих алтайских мест трудно разобраться. Как не разобрались они в сути новосибирского журнала «Настоящее», для которого предназначали обсуждение тех же «Брусков». В предисловии к публикации в журнале (1929, №2) обсуждения этого романа А. Топоров сообщает, как редакция «Настоящего» «предложила мне проработать „Бруски“ с коммунарами». Это говорит о том, что и через год после обсуждения «Американского костюма» Александра Курса он, руководитель «настоященцев», оставался для коммунаров и самого А. Топорова авторитетом. При том что как последователи формалистического ЛЕФа они отрицали художественную литературу за «выдумку». Так А. Курс, по темпераменту разительно похожий на А. Топорова, полемически горячился: «Литература факта… берёт их („героев нашего времени“) прямо из жизни, вместе с их именем, отчеством, фамилией, адресом и местом службы и работы». Читали или нет журнал коммунары, но мнение о нём они, видимо, уже составили по «Американскому костюму», где осуждаются девушки, отравившие себя из-за невозможности одеваться по-заграничному. Уж здесь-то топоровцам всё было ясно: «Рассказ этот ничем не опровержимый и своевременный»; «понятность рассказа хорошая»; «настоящее всё и правильно описано». А главное, он говорит молодёжи: не пей, работай! Если хочешь красивой жизни — строй её.

Этот соблазн понятности, словно распутье для коммунаров, готовых качнуться в сторону очерковой, нехудожественной литературы («мне

кажется, автор и не стремился дать художество, а больше хотел дать деловую точку. Я это считаю дороже многого художества»). Видимо, сохранял «настоященские» иллюзии и сам А. Топоров в отношении ненужности большинства современной литературы. А уж пафос против столичной литературной критики, незаслуженно захваливающей такие «вредные» произведения, как «Зависть» или «Бруски», как мы видели в книге 1930 г., поистине «курсовский». Кстати, основной раздел того, первого издания 1930 г. так и назывался: «Отзывы крестьян о *современных* (выделено нами.—*В. Я.*) писателях», и главы о Пушкине в нём не было. В новом издании заголовок вообще исчез, зато опубликовано то самое обсуждение очерка А. Курса, в первом издании отсутствовавшее. Тем самым обозначена позиция издателей: важны не политические мотивы обсуждений, необходимые тогда для литературы, а речь крестьян-критиков, способы их высказываний, природный ум и остроумие сельских жителей. Которому эта общеобязательная политика не слишком-то и навредила. Хотя среди них и возникла иерархия. Об этом А. Топоров обмолвился в «Примечании» к обсуждению «Зависти». Оказывается, в «Майском утре» был кружок «наиболее развитых коммунаров», где роман Олеши и должен был дочитан, в отличие от «неразвитых». Так что через несколько лет из рядов деревенских «низовых критиков», несомненно, появились бы свои квалифицированные кадры—Воронские и или Авербахи, сумевшие совместить слуховое чтение и «глазное», без чего подлинной картины анализируемого произведения не составишь. При этом не ограничивая себя обязанностью искать в произведении только изображение «нового делового человека», как в «Зависти», или «правильной» коллективизации, как в «Брусках».

Большинству же пока ещё «низовых критиков» пришлись по нраву произведения сурово-реалистические, о тяготах и трагедиях людей во время Гражданской войны и после неё. Красные тут, особенно партизаны, сходятся в непримиримой войне с белыми—на самом деле, «чёрными» в их ненависти к крестьянам и пролетариям, а страдания народа бесконечны и неисчислимы, как сама война. Таков «Железный поток» А. Серафимовича, «книга даровитая»: пусть «наплачутся люди (т. е. читатели) и узнают, как досталась Советская власть». И хоть есть там и «комическая половина, для поддержки нервов читателя», она «мала против великого заунывно-трагического в книге». «Местами сильно растянутый», роман всё-таки понравился топоровцам своим «художеством»: «Уж тут написаны все великокрасочные слова!» Но не дотягивает он до «Двух миров» В. Зазубрина, которому близок так, что можно их «на одну полку ставить». Но один из самых красноречивых крестьян А. А. Зайцев так определил различия между книгами»: «У Зазубрина я смак чувствую, а у Серафимовича—как будто ем недосоленное».

Так и должно быть: Зазубрин писал о двух враждебных мирах—белых и красных, в родной Сибири и по-сибирски, т. е. «без слабых и средних мест. Всё сильное». Крестьяне наперебой перечисляют достоинства романа: «Книга научная и интересная», «всего в ней много. И всё—ужасное», «и смех есть в книге, но весь он горький», «такая книга любое сердце растревожит», «рассказано всё очень живо». Отсутствие гладкости и стройности в повествовании и языке крестьянам нравится, может быть, больше всего: «Книга „Два мира“ не чищена, не тёсана, не стругана, а русским языком… просто рассказана, и потому хорошо послужит „для народного воспитания“» («всякий тумак поймёт, какой же „мир“ лучше: белый или красный»). И всё-таки коммунары и особенно коммунарки романом напуганы. «История колчаковщины» и народного «восстания» против неё действительно «широчайшая», как записано А. Топоровым в «Общем мнении». Но и—«жутчайшая». Удовольствие (если можно так сказать!) от книги здесь на грани стресса. Приоткрывается одно из самых важных требований деревенской критики: в прозе обязательно должно быть что-то «жуткое»: страдания и трагедии, убийства и смерти, чтобы признать её подлинной и нужной крестьянину. Этого не понял уже упомянутый А. Курс, написавший ещё в 1928 г. фельетон «Кровавая колбаса». Не понял он и того, что при всём обилии жестокостей, ужаснувших столичных критиков, Зазубрин сам чувствует боль, его сердце зазубрено (не отсюда ли его псевдоним?) страданиями описываемых им людей как своими собственными. В отличие от А. Курса, простой коммунар М. Ф. Крюков это понял: «Без жалости он не написал бы так хорошо» (кстати, «жалость» испытывают и автор, и красные партизаны к расстреливаемому ими корнету Завистовскому). Тем не менее и обсуждение очерка А. Курса в книгу «Крестьяне о писателях»-2016 включено.

Как включён в книгу—во все издания, начиная с первого, раздел «О поэтах». Ясно, что высокая поэзия начала 20 в. с её лабиринтами чувств и мыслей, обусловленных углублением в себя и окружающее в их всеединстве, крестьянам осталась недоступной. О стихах Блока, Есенина, Пастернака, Сельвинского они судит с той же точки зрения «понятности», чисто внешне, как и для прозы. И даже пожелание коммунаров послушать другие стихи Блока, поэзию которого они оценили как красивую, но «ничего путного», вряд ли поможет. Стихи этой эпохи, вплоть до 20-х гг.—иная планета, другие измерения, с которыми крестьяне не пересекаются. Не помогло и чтение «большого» произведения того же Блока—поэмы «Двенадцать». «Художество отделано в «Двенадцати» куда лучше

(поэмы И. Доронина «Земля подшефная».—*В. Я.*), но оно никчемушное»,—только и мог сказать, например, коммунар Д. С. Шитиков.

Если бы поставить эпиграфом слова из «Примечания» к обсуждению стихотворения В. Итина «Похороны моей девочки»—«Для меня (Топорова.—*В. Я.*) была и остаётся основным критерием оценки художественных произведений—их нужность, полезность и общедоступность миллионам трудящихся»,—то можно было догадаться, что скажут топоровцы о данных поэтах. В этом смысле Блоку и Пастернаку (его поэма «Спекторский» названа «чепухой») противопоставлен Г. Вяткин и его «Сказ о Ермаковом походе». В ней «все слова запомнились», а «Ермака хоть кто поймёт, настолько он близок коммунарам-сибирякам». Не зря «Сказ…» этот, как записали в «Общем мнении», «крайне нужен деревне как редкое художественное произведение, рассказывающее о походе Ермака в Сибирь». То есть как произведение сибирское, близкое, кровное, родное.

Новое издание «Крестьян о писателях», сосредоточенное на ликвидации «белых пятен»—публикации обсуждений, не известных прежнему читателю «Крестьян…» или восстановленных по «довоенному» (1930) изданию, на сибирской «критике» топоровцев не сосредотачивается. Это делает книгу 2016 г. если не односторонней, то, по крайней мере, упускающей из виду «сибирский» критерий оценки коммунарами «московских» произведений, их словесные и сюжетно-композиционные ухищрения и прочая «чепуха». Такое отношение исходит не только из установки Топорова на противодействие неоправданно «захваливающей», «вредной для низовых читателей» столичной критики, но и из сложившейся литературной традиции, предпочитающей очерковый реализм, правдоподобие и ясность повествования. Свою роль сыграло и то, что в Сибири не было крепостного рабства: сибиряки были зажиточнее и предприимчивее «россиян». Кроме того, М. Азадовский, крупнейший исследователь сибирской литературы и культуры, приводит многочисленные факты образованности сибиряков. Так, Барнаул, уже в 1817 г. «отличался образованностью своего общества и утончённостью его образа жизни»,—цитирует он В. Вагина. В Иркутске купцы ещё в конце 18 в. имели большие библиотеки (например, А. Полевой), выписывали столичные журналы, следили за новинками литературы, удивляя заезжих иностранцев. Это же можно сказать и о простолюдинах. Так Н. Карамзин писал: «В числе сибирских субскрибентов (подписчиков «Истории Государства Российского».—*В. Я.*) были крестьяне и солдаты отставные». Ссыльные и приезжие писатели-декабристы, В. Короленко, К. Станюкович, В. Гаршин; И. Гончаров, А. Чехов, В. Шишков, Н. Гарин-Михайловский, дали мощный толчок развитию «местной» литературы, появлению сибирских писателей. А значит, и читателей. Так что не были сибирские крестьяне такими уж «тёмными», и Топоров, оставивший воспоминания о своём общении с писателями из Барнаула—крупного литературного центра задолго до революции, об этом прекрасно знал. Да и публичные читки произведений вслух не были открытием: традиция эта существовала в сибирских сёлах давно, и этому тоже есть свидетельства.

Эту «сибирскую» сторону «Крестьян о писателях» хорошо представило издание 1963 г. (Новосибирск), прекрасно и изобретательно оформленное. Редактор книги А. Коптелов впервые включил в знаменитую книгу обсуждение прозы сибиряков Г. Пушкарёва, Е. Пермитина и А. Коптелова, стихи Г. Вяткина, И. Ерошина, И. Мухачёва, П. Петрова, М. Скуратова. В московское издание 2016 г. вошли только Е. Пермитин и Г. Вяткин, видимо, для показа палитры обсуждений, в ряду известных и более всего понравившихся крестьянам. Зато читатель этого издания не узнает, на какие восторги, в других обсуждениях почти не встречающиеся, способны топоровцы. «Слова—прямо точка в точку—сибирские, кержацкие. Молодчина писатель! (Ф. З. Бочаров); «Тихо описано, не резко, а залазит под шкуру» (Т. В. Стекачёв); Кузнец в горах, кутерьма—здорово сделаны!» (М. И. Стекачёв)—о рассказе «Чёрное золото» А. Коптелова; «Хорошая агитация за колхоз и не фальшивая!» (Д. С. Шитиков), «автор роман взял не сгола!» (М. Т. Бочарова), и, наконец, самый, наверное, лучший комплимент этой повести Е. Пермитина: «В „Капкане“ много неожиданных сцен, как у А. Пушкина в „Дубровском“» (Она же). «Вот настоящий стих для деревни!», «Так и хочется под гитару петь!» (А. А. Зайцев), «угадал до полной душеньки! Складно сочинение!» (Л. Г. Титова)—о стихотворении «Песня» И. Ерошина; «Этому стиху всегда «милости просим» в нашу деревню!», «Всем взял!» (Общее мнение»)—о поэме «Партизаны» П. Петрова; «При хорошем чтении этот стих дюже за ноги берёт!.. От каждого слова—хоть плачь!» (Л. Г. Титова), «Мурашку под кожу стих запущает. Пользителен он для воспоминания исторического дела» (П. П. Титов)—о поэме «Сибирский сказ» М. Скуратова.

Конечно, всего в книгу не вместишь: слишком большой том получился бы. Разве только если издавать «Полное собрание сочинений («обсуждений») крестьян о писателях». В итоге получилось, что каждое из упомянутых нами изданий имеет своё лицо, свою «изюминку». Если издание 1963 г., как мы видели, имело «сибирский» уклон, то первое издание 1930 г.—«публицистическое». На нём лежит отпечаток своего времени, склонного к газете, плакату, очерку. Это рубеж 20—30-х гг.—время действий, практики, а не теории: «писательских

бригад», репортажей, наступления социализма и идеологии по всем фронтам. Вот и это издание похоже на методическое, на руководство к действию для культурного работника-просвещенца в деревне. Советы и рекомендации здесь вполне конкретные: помещение для читок должно быть «просторным и чистым», «курить в зале читок не позволяйте», «больше двух часов в вечер читать не следует». И далее: надо обязательно провести со слушателями «несколько бесед о значении художественной литературы в жизни людей… важности и необходимости живого слова для советских трудовых масс», «ознакомить слушателей с задачами низовой массовой критики художественной литературы». Но главное и самое трудное — «заставить слушателя сочинений быть самим собою — ничего не скрывать, „резать“ то, что он думает о прочитанном». «Сильная, меткая, хотя и грубая рабочая, крестьянская речь часто дороже гладкой интеллигентской речи», — говорит сам А. Топоров крестьянам. Они «вольны отзываться о книгах в какой угодно форме. *Пусть ругают, хвалят, шутят, острят, высмеивают, каламбурят, вспоминают, высказывают свои психофизиологические ощущения, сравнивают, восторгаются, возмущаются, жестикулируют, вздыхают, плачут, хохочут, недоумевают, возражают* (выделено нами. — *В. Я.*) и т. д. Полный простор мыслям, чувству и телу критиков!».

Похоже на театр, театрализацию акта критики. Но здесь коммунаров поощрять или специально «заводить» не надо: в «Майском утре» был довольно большой опыт самодеятельных постановок пьес. Например, «Любови Яровой» К. Тренёва. Её обсуждение включено во все издания, и из него видно, что пьеса для топоровцев является почти идеальной. «Уж очень она вся понятная… Умно уж очень написано!.. Речь писателя такая явственная да видимая, что всякому мало-мальному человечишку понятна будет» (М. Г. Бочарова), «Типы — как и должны быть. К художественности не подроешься. Все лица в пьесе, можно сказать, на ять» (Ф. З. Бочаров).

Но не таковы ли и сами крестьяне-коммунары под руководством «режиссёра» А. Топорова? Не есть ли они такие яркие типы «на ять», а каждое обсуждение — небольшой спектакль, в лучшем смысле этого слова? Это, очевидно, уловили и нынешние читатели «Крестьян о писателях», готовящие полноценную театральную постановку по книге. Можно, наверное, усмотреть в такой «театральности» элементы нарочитости, как тот крестьянин из романа «Отцы и дети» И. Тургенева, который с барином, пусть даже и Базаровым, говорит специфическим «мужичьим» языком: «А мы, могим… тоже…, потому, значит… какой положен у нас примерно, предел». Тогда основные идеологические установки («вредные» книги, коллективизация и т. п.) топоровцам как «актёрам» сыграть было легче. Не удивительно, что в издании 1930 г. раздел «Характеристики коммунаров, участвовавших в обсуждении художественной литературы» предваряют тексты «Обсуждений», тогда как в новом издании они их завершают. И в этом тоже есть свой смысл: мы, словно читаем список действующих лиц «пьесы». Только характеристики здесь более развёрнутые, оригинальные, написанные хорошо их знающим «драматургом» А. Топоровым. Каждый из них предстаёт здесь подлинным самородком по необычному, часто неожиданному сочетанию разных качеств, склонностей, занятий.

Первый же коммунар (список дан по алфавиту) *Блинов Е. С.* «управляет тракторной колонной» и «убеждён: наследственность — основной фактор в формировании человеческой натуры», он «добирается изучить сочинения Дарвина», при этом он и «начальной школы не кончал», а сам из «крестьян-середняков». И если *Бочаров Г. З.* «тих, как ягнёнок», «необыкновенно честен», то *Бочарова П. И.* «раздражительная и самомнительная. Скрытна», а другая *Бочарова — А. П.*, напротив, «глубокая, непосредственная поэтическая натура. Ходячий фольклор». *Зубцова В. Ф.* «из семьи «религиозных фанатиков» с «суровым религиозным воспитанием», была даже в секте иоаннитов, но в коммуне стала дояркой, «горой стоит за науку, школу». *Зубков М. А.*, занимая «пост свинаря», является «шутником», «всем доволен». Совершенно не понимает людей, недовольных положением в коммуне». *Зайцев А. А.* — «романтик», *Крюков М. Ф.* — «страстный поклонник театра», *Лихачёва М. А.* — «весёлая женщина», *Лосев И. М.* — «парень смекалистый», *Ломакин И. Н.* — «покладистый мужик», *Мошкин Д. И.* — «немножко самовлюблён», *Носов М. А.* — «остроязык». *Сусликов Т. И.* — «утончённо вежлив» и т. д. Настолько коммунары тут все разные, что невольно думаешь, будто сам А. Топоров их такими сотворил, сделал, а может, и придумал. Особенно когда сравниваешь эти характеристики с фото, помещённые во всех изданиях книги. Почти все они там бесстрастны, часто угрюмы, и многие похожи друг на друга благодаря одежде: женщины в головных платках, мужчины в косоворотках, сразу видно — это люди тяжёлого крестьянского труда. И ни за что не подумаешь, что, например, М. А. Зубков с суровым лицом солдата — всем довольный «шутник», а усатый А. А. Зайцев, похожий на Чапаева, — «романтик»

И это действительно так: ведь именно А. Топоров задумал и воплотил в жизнь этот необычный «проект», именно его энергии, упорству, настойчивости обязаны крестьяне окрестных сёл, что стали коммунарами, а затем «литературными критиками», пусть и «низовыми». Его «голос» тоже присутствует в книге. Особенно явно в 1-м издании, где

он в трёх вступительных статьях выступает сразу в трёх ипостасях: горячего защитника крестьянской критики, наблюдателя-аналитика дотошно изучившего читательские вкусы и предпочтения, и методиста, который хочет, чтобы число Топоровых и «Майских утр» в стране увеличивалось. Есть ещё и четвёртый текст в «Крестьянах о писателях».— «Заключение», в котором он, как режиссёр только что сыгранного спектакля, действа, выходит «на поклон». И говорит: «Верю: в недалёком будущем низовая массовая критика литературы… станет обыденной и повсеместной. Только тогда начнётся настоящий смотр художественного слова».

Увы, но этого не произошло. Хотя А. Топорова поддерживали такие крупные писатели, как В. Вересаев, А. Новиков-Прибой, Е. Пермитин. В. Зазубрин, писем которого в приложении к книге больше всех, писал в 30-е гг., о поддержке М. Горьким следующего, уже подготовленного второго тома книги и его предложении стать «одним из редакторов литературно-художественного журнала для колхозников». Но ни второй, ни третий том так и не вышли из-за ареста А. Топорова и его заключения в лагере с 1937 по 1943 г., а также прохладного отношения «собратьев по перу» к автору «Крестьян о писателях» после его реабилитации в 1958 г. Поэтому ли или потому, что слишком уж специфичен и «одноразов» был такой опыт «низовой» крестьянско-коммунарской критики, но дело А. Топорова осталось без последователей и продолжателей. И в статье 1967 г., включённой в состав нового издания книги, он пишет: «Странно, что за последние три десятилетия никто не продолжил и не улучшил этого нового, чрезвычайно важного дела. И ещё более странно, что голос рабочих и крестьян о художественной литературе ни в какой форме до сих пор не звучит систематически со страниц нашей печати».

Ныне, правда, спустя почти 90 лет после 1-го издания книги, такие голоса зазвучали, благодаря Интернету. Но лучше бы они не звучали. Потому что нет среди них ни рабочих, ни крестьян от станка и от сохи, зато много «троллей», ищущих поживы, готовых порезвиться на авторе из-за одного его неудачного слова. В их оправдание скажем, что какова сейчас литература, таковы и отзывы о ней. И новых Бабелей и Олеш, Серафимовичей и Пермитиных, Блоков и Ерошиных не видно. Или не доходят они до читающей публики, вытесняемые такими писателями, которых в 20-е гг. и представить себе было невозможно. Перед которыми Б. Пильняк или П. Романов, И. Калинников или С. Малышкин—«порнографические» писатели той эпохи, кажутся самой невинностью.

И всё-таки «Крестьяне о писателях»—книга неувядаемая, благодаря языку коммунаров, «богатейшим языковым россыпям» (Е. Пермитин) их «обсуждений». Удивляет, восторгает, заставляет читать дальше в поисках этих новых и новых россыпей это какое-то невиданное прежде соединение коренной крестьянской («простонародной») речи и здравой, точной, почти литературоведческой оценки произведения в целом и его частностей. Чаще всего этот эффект критического дискурса, озадачивающего (это от необразованного-то крестьянина!) своей точностью и оригинальностью, происходит от необычных слов—областных, диалектных, разговорно-местных, не специально сочинённых, а вполне естественных, как явления природы, живорождённых и потому симпатичных, не вызывающих отторжения. Таковы: «душезанозливое писание», «паморока в головах», «контромить барина», «приголтался к опасности», «им гластилась хорошая жизнь», «ничего ятного в ней (пьесе „Виринея“) нет», она (книга «Железный поток») впитывается в человеческие кровя, будормажит тебя» и т. д.

Впрочем, загадку такого эффекта вряд ли можно с ходу разгадать. Он может произойти и от употребления обычного слова в необычном значении: «Шибко хорошее у него (Пушкина.—*В. Я.*) уклоненье в речи», или откровенно вульгарного слова: «Панфёров дурочку порол, а не романы писал». Или даже заменой всего только одной буквы: «Может быть, у писателя (А. Серафимовича.—*В. Я.*) была такая психика: не разводить над расстрелом белых большую черемонию». Или по отношению к городскому писателю М. Зощенко чисто деревенское сравнение: «В таловый плетень берёзовые прутья автор вплёл», т. е. «собачья ерунда» и т. д. и т. д. На грани отторжения—мало ли что неучёный мужик или баба ляпнут!—и горячего сочувствия (не слишком ли часто критики скучны и суконны в своей письменной и устной речи, стараясь перещеголять коллег своей учёностью?) читаем эту книгу А. Топорова. И обязательно вспомним при этом С. Федорченко и её книгу «Народ на войне. Фронтовые записи». И, конечно, саморазоблачение автора, признавшейся, что «никаких записей не вела» и всё написано «по памяти», т. е. неизбежно присочинила. Тем не менее многие и до сих воспринимают записи книги как подлинные, у солдат / крестьян подслушанное. Важно, однако, что интеллигенция 1920-х гг., в усилиях понять простой народ в своём творчестве часто перевоплощалась в «чернь», создавая народоподобные произведения с простонародной речью.

Рискованно сравнивать, боясь бросить тень подозрения на благородного подвижника А. Топорова, но не пала ли тень того двусмысленного скандала и на него? Ведь С. Федорченко не целиком придумала всё это, в её книге витает подлинно народный дух. Парадоксальный, смелый в своих замыслах и свершениях А. Топоров мог попробовать повторить этот «подвиг» автора «Народа на войне». Тем более что резонансное

саморазоблачение С. Федорченко произошло в 1928 г., за два года до выхода книги «Крестьяне о писателях», где записи обсуждений произведений советских писателей озаглавлены его фамилией.

Такие гипотезы, видимо, невероятные, не блажь и не прихоть автора этой статьи. Всему виной они—крестьяне-коммунары, топоровцы из «Майского утра». И тайна их самородности, почти неразгадываемая.

Нина Сурова

Отзовись

Кемерово: «Дом литераторов Кузбасса», 2014

Роняя тишину

В проёмы серых окон,
В созвездиях рябин
Качнутся небеса.
Украдкой загляну
В твои, чуть с поволокой,
Под россыпью седин
Осенние глаза.

В полсчастье от снегов,
В полкрика до разлуки,
В немом дыханье слов
Движенье улови.
Скажи мне, отчего
Мы были близоруки
За гранью двух шагов,
В полмига от любви

Боль

Тусклых дней вереница.
Боль—стихами в тетрадь…
Пусть тебе не случится
от любви умирать.
Пусть тебе будет сладко.
В одиночку ль, вдвоём
мы с тобою украдкой
эту боль отпоём.
Одинокою птицей
пусть придётся летать,
только б мне научиться
тоже не умирать.

● ● ●

Уже давно по городам
Плыла весна в ледовом хрусте,
Бездомный ветер к проводам
Цеплял остатки снежной грусти.

И, расстояния круша,
Рвалась, заламывая руки,
К твоей душе моя душа,
С ума сошедшая в разлуке.

Слова истрачены, так что ж…
Пусть пылкий нрав их поостужен—
Ты так мучительно похож
На то единственное—нужен.

● ● ●

На твоём стекле оконном
сквозь дожди и снегопад
до зазубринок знакомый
вдруг проявится мой взгляд.

Беззастенчивая свиду
проступаю сквозь года,
сквозь нелепую обиду,
сквозь разлуки холода.

Сквозь размытые дороги
с ношей боли и утрат
я в судьбе твоей, мой строгий,
проступаю невпопад.

Сергей Арутюнов

«Здесь отверзаются бездны…»

Митрополит Иларион (Алфеев). Иисус Христос. Жизнь и учение: в 6 кн.— М.: Изд-во Сретенского монастыря; Эксмо; Общецерковная аспирантура и докторантура, 2016.— Кн. 1: Начало Евангелия.— 800 с.: ил.

…хлеб наш насущный…

У человечества не так много абсолютных эталонов, «мер и весов», с которыми волей-неволей сверяют и частные поступки, и целые общественные парадигмы сотни миллионов людей.

Имя одного из таких эталонов — Иисус Христос.

«По-христиански» означает — так, как поступил бы Он. В смысле бытийном — с бесконечной любовью к сущему и, следовательно, страждущему, мужественно прощая любую слабость, кроме той, что возомнила себя силой.

Кто же такой Иисус, заронивший в самое сердце цивилизации столь неотразимый поведенческий образец? Каким видится этот человек и Бог, может быть, впервые в истории близкий каждому своим земным рождением и впервые же, кажется, не карающий за любую провинность, но стремящийся раскрыть человеку её суть и отучить от зла?

Можно ли вообще различить его подлинный образ за километровыми штабелями христологической литературы, если почти каждый священник даже самого малого прихода, старается добавить к нему хоть что-нибудь от своего понимания?

Нужда в изъяснении православного Христа сегодня обостряется тем, что времена, когда людям было достаточно еженедельной храмовой проповеди, миновали более века назад. Всеобщая грамотность ставит перед возрождающимся Православием небывало сложные и синтетические задачи: уже слишком многие проповедники других конфессий опередили отечественных богословов в том, насколько близко они смогли подойти к общечеловеческому языку и восприятию Христа.

В сражении за души Православие не вкрадчиво, но крайне избирательно в средствах: свобода воли. Священник не должен приставать к людям дома и на улице, как иеговист. Его обязывают действовать в пределах той самой свободы воли, в том числе нападки на Православие, попрёки его тем, что оно, мол, религия социально не состоявшихся, рабов государя и чиновничества, и в рамках свободы священник предпринимает многоаспектный анализ первоисточников, утоляя интеллектуальный голод стоящих на пороге веры.

…иже еси…

Митрополит Волоколамский, викарий Святейшего патриарха Московского и Всея Руси Иларион (Алфеев) произвёл всестороннее исследование того, что есть самое начало веры, прекрасно отдавая себе отчёт, в какую эпоху он живёт.

Мы не на пороге «информационного общества» — мы уже в нём: изменены сами способы организации текста, он приспосабливается под тех, кто ищет ответы в поисковиках, потому и информация развёртывается под поиск конкретных запросов — с самого начала до самого конца.

Нужно обладать органически современным мышлением для того, чтобы ощутить, к какому пособию склонится грамотное население третьего тысячелетия и как следует объяснять ему сложнейшие проблемы той же аксиологии, какие аргументы и каким языком приводить.

Несомненное новаторство Владыки Илариона заключается в системном и последовательном развёртывании темы. Он начинает… с Булгакова, такого понятного преобладающему большинству, прочерчивая генетику сомнений в историческом существовании Христа. Из небольшого, но фундаментального очерка становится понятной судьба всего двадцатого века: немцы засомневались, русские прочли и тоже засомневались… а теперь вспомним цифры потерь во Второй мировой войне и спросим себя — а так ли уж безобидна резкая смена цивилизационной парадигмы и, во вполне уместной частности, отказ от Христа?

…Кто сказал, что верующему многого объяснять не надо? Да, верующий самозабвенно так порой поглощён феноменом соотнесения себя с чем-то безмерно высоким, что некоторые первоочередные вопросы просто не приходят ему в голову. Многие неофиты прямо говорят — «так надо», легкомысленно забывая о том, что именно на таких «армейско-уставных» максимах выстраиваются обвинения Церкви в том, что она учит бездумию. Но куда важнее объяснять колеблющемуся и тогда уж сомневающемуся так же самозабвенно, как верующему,— до конца.

От таких людей просто нельзя ничего не скрывать — лукавые умолчания были бы преступлением против их веры и их самих.

Косвенно импульс к написанию книги Владыки Илариона приведён в одной из цитат историка и бывшего министра Временного правительства А. В. Карташёва:

«*В миссионерском походе по обширному лицу родной земли нельзя обойтись одними устарелыми средствами из арсенала нашей научно-богословской отсталости... нужно владеть оружием новейшей научной техники*».

Как заметна здесь риторика военных лет (цитата — 1944 года), и, однако же, проступает в ней неоспоримое: каждому времени уготован Христос, которого для каждого времени следует пояснять, и каждое такое пояснение знаменует отчёт времени о самом себе.

Православие — не сверху донизу логическая система, подобная еврейской Каббале, многое в нём постижимо чувством, но не его накалом, как привыкли католики, а незамутнённой глубиной.

Владыка Иларион осуществляет масштабную проповедь, бесстрашно и спокойно приводя аргументы «противных» сторон.

Христос — тот, в чьём существовании сомневаться так же глупо, как в бытии, например, Гомера, Сократа, Платона и Аристотеля, точно так же не оставивших нам личных вещей для грядущего музея-квартиры и тем более групповых фотографий с поклонниками их таланта.

Митрополит разъясняет, почему для Церкви Иисус является не только удивительным человеком, но и Богом, лишь единожды назвав себя так, обращаясь к искусителю. Попутно раскрывается суть отвергнутого Церковью арианства, а также, например, исламского отношения к Иисусу как исключительно пророку. В списке заблуждений, кажется, не упущено ничего. Так, попытки западных учёных последних трёх столетий «демифологизировать» Христа стоят в одном ряду с «переводом» Евангелия Львом Толстым, и после такой постановки уже не надо долго объяснять отлучение Толстого — следует лишь обратиться к первоисточнику и сравнить тексты изначальный и писательский.

...как мы прощаем...

Владыка Иларион не пытается опровергнуть беспокойные сомнения и догадки тех, кому «во Христе тесно», но, обнародуя, взвешивает их. Часты обороты вроде «совокупность имеющихся данных позволяет сделать лишь приблизительные выводы...», «косвенное подтверждение этой гипотезы...», «евангелист умалчивает» — но они употреблены вовсе не от беспомощности.

Автор в тексте находится отнюдь не в фарисейской позиции всезнайки, в манере американского евангелического проповедника кидающего в зал оглушительно простые ответы. Автор, и это чувствуется по структуре фразы, — сам в процессе познания, и сам в сомнении, и этим сомнением, как сетью, вовлекает в воронку рассмотрения огромного материала ещё более впечатляющее количество подтверждений и опровержений. И здесь поистине отверзаются бездны. Однако верность истине, какой бы она ни была, не позволяет отметать мелочи — толкование дат, фактов, мест тёмных, наслаивающихся и противоречащих друг другу в рамках одной традиции.

Автор не просто «научен» — каждое противоречие он разбирает текстологически, предлагая не верить, но принять к сведению, учитывая множество факторов, действовавших в Древнем мире, в частности, особенности устной традиции, человеческой памяти, последующих редакций. Именно этой совокупностью черт определялся церковный канон, в котором не двенадцать, а всего четыре Евангелия, два из которых — Марка и Луки — написаны «со слов» апостолов Петра и Павла, но, тем не менее, признаны каноническими.

Те, кто считает подробный разбор хитросплетений двухтысячелетней давности большой роскошью, пусть припомнят, что, отстаивая своё понимание тайн и загадок Евангелия, люди шли на смерть. Секуляризованному горожанину XXI века непременно при этом покажется, что ни один умозрительный предмет не сравнится в цене с человеческой жизнью, но прошлое не учитывает этой наивной веры. И не стоит забывать, что сатирическое изображение битв «тупоконечников и остроконечников» описано не только «писателем Свифтом», но и — англиканским священником, деканом собора Святого Петра Джонатаном Свифтом...

Реконструктивное восстановление евангельских истин — задача непомерная, но митрополит Иларион, кажется, справляется с ней без напряжения, запретив себе употребление богословских выражений там, где в них нет нужды, он придерживается предельной ясности там, где смысл играет с толкователем в прятки. При этом нельзя назвать эти усилия исключительно герменевтическими — речь идёт не о букве, но о духе, верном понимании штриха, знака, события.

Кому молимся?

Один из лучших и наиболее лаконичных разделов книги — об облике Иисуса, чертах его характера.

Каким он был? Красивым, высоким, русым, любопытным, стремительным, выносливым, полным свежести. Одиноким.

Он умел и радоваться, и гневаться, и удивляться, и жалеть, и горевать, и тосковать, но вот чего

в нём не было совсем—так это липкой, фирменно «пророческой» взбулькивающей экзальтации, заставляющей гиперболизировать окружающее и явно перегибать палку. Он воздавал только то, что должен был, ни больше ни меньше—той мерой, что отмерена, и, может быть, не им. Он был поэт, и он любил людей так, что они помнят его любовь до сих пор. И многим и многим миллионам рождённых и ещё не родившихся обязательно захочется иметь именно такого друга, а не другого.

«Постхристианская эпоха наступит только после второго пришествия Иисуса Христа»—жёстко, показывая не просто характер, но бескомпромиссный нрав, пишет Владыка Иларион.

…Есть тысячи путей не верить ни во что, совершать подлость за подлостью и думать, что наказания не последует, потому что «всё позволено», прав сильнейший. Общества биологические порой благоденствуют десятилетиями и даже столетиями.

Но есть только один способ для человека оставаться человеком даже посреди таких обществ—признать, что чудо было, по крайней мере, единожды, но может случиться в любой момент с любым, если он, этот любой, по какому-то неведомому соизволению избран для него.

Не к этому ли призывает первая книга шеститомной серии Владыки Илариона, *ставшая в 2016 году лауреатом XI конкурса «Просвещение через книгу»?* Возможно, однако, первое, к чему она призывает,—к признанию прав первых свидетелей чуда свидетельствовать о нём.

Олеся Шмакович

Новорождённая любовь

Новокузнецк: «Союз писателей», 2017

Пустота

Я принимаю жребий свой покорно,
Ведь никому не избежать креста.
Там, где любовь тогда пустила корни,
Теперь сочится кровью пустота.

И пустота не зарастёт вовеки,
Как никогда не отрастёт рука,
Что ноет в полом рукаве калеки,
Столкнувшегося с лезвием клинка.

Жить с пустотой—нелёгкая наука.
И если уж совсем невмоготу…
Протез, конечно, не заменит руку,
Но всё-таки заполнит пустоту.

Холодный сон

Морозом зарешечено окно.
Глядит фонарь совиным глазом.
Опять из снов монтирую кино,
Бродя в сугробах непролазных.
И стали слёзы твёрже, чем слюда.
Слова твои клубятся паром…
А память вырезает кромкой льда
На сердце надпись: «Мы не пара».

Свидание у костра

До рассвета лишь полчаса.
Превратилась в туман роса,
Приглушила все голоса.
Но укрыли нас небеса
Звёздной аркою.
Стала близкою, как сестра,
Ночь, прилёгшая у костра.
Если вспыхнет в сердцах искра,
То не смогут задуть ветра
Пламя яркое.

Мы в плену этих алых чар.
Дым горчит, словно алыча.
Нам с тобой так легко молчать.
И молчание означать
Может многое.
Этот лес—колыбель весны.
Там, в траве, заблудились сны.
Лужи, словно смола, чёрны.
В них дрожит молодой луны
Тень двурогая.

Марина Саввиных

Крестный взор

О новой книге Александра Орлова

В главном сочинении своём — «Смысл творчества» — русский философ Николай Бердяев говорит жутко и точно: «Всё в мире должно быть имманентно вознесено на крест. Так осуществляется божественное развитие, божественное творчество. Всё внешнее становится внутренним, и весь мир есть мой путь». А другой мыслитель, наш современник, осетинский филолог и писатель Ирлан Хугаев с такой же убеждённостью восклицает: «Арифметика не может быть национальной, а поэзия не может не быть национальной». Продолжу: поэзия не может не быть субъективной, но в эпоху исторических сдвигов она не может не быть гражданственной!

Путь художника — в непреодолимом перекрестье взаимоисключающих потоков бытия, через продуваемый всеми ветрами перекрёсток идей, судеб, верований и стремлений. Дар, талант, божественный случай — как раз в одномоментном преодолении противоречия, в трансцендентном прорыве… так, собственно, и рождается произведение искусства. Так возникает поэзия, её уникальный факт. И даже сам поэт, отстраняя от себя только что законченный труд, отпуская его на волю, к людям, не может поручиться, что чудо вместе с последней строчкой не покинуло его навсегда. Ибо каждый следующий шаг есть снова шаг на Голгофу.

Особенный интерес — наблюдать с этой точки зрения, как со временем, с каждой новой книгой, возрастает (или убывает, так тоже случается, к сожалению) самосознание молодого писателя. Мне повезло. Я последовательно прочла, кажется, все вышедшие из печати авторские сборники «московского кочевника» Александра Орлова. К тому же многолетнее личное знакомство с автором позволяет судить об «эстетическом отношении искусства к действительности» в свете конкретной человеческой судьбы, стало быть, умозрительные выкладки для меня, как читателя, изначально облекаются в плоть и кровь. Не каждому читателю так везёт, и я, листая только что вышедшую из печати книжку «Разнозимье», не могу не воспользоваться этим явным преимуществом.

Александр Орлов — отпрыск старинного русского родового древа. Историк по призванию, писатель по природной склонности, он и в литературной работе своей сосредоточен на рефлексии собственных корней, тесно и неразрывно переплетённых с корневыми коллизиями русского духа.

Неусыпная и беспощадная «родовая совесть» предопределяет его Православие, такое глубокое и лирически напряжённое, что отдавало бы чрезмерностью, если бы не было столь естественно. Может быть, именно «родовая углублённость», пыл заново переживаемой всечеловеческой драмы и создают уникальный тембр этой лирики, чего бы она ни касалась — личных событий, национальной истории или апокалиптических перспектив. Этот тембр, такая тональность не вдруг были найдены.

В этой связи ещё попутное соображение: если русские писатели-реалисты «вышли из гоголевской «Шинели», то наши поэты последнего Порубежья словно до сих пор вынуждены донашивать пиджак Вознесенского, тёмную рубашку Бродского и шарф Рубцова. Наследие XX века таково, что преодолеть его, не отрёкшись от него,— тоже своего рода подвиг. Формальные поиски ныне побуждают начинающего автора двигаться в сторону, супротивную «прогрессу». Отрицание отрицания: наше богатство, ошибки и поздний ум отцов, толкают нас к опыту дедов. В тигле, кипящем над пламенем сегодняшней мировой трагедии, кристаллизуется небывалый сплав — современное русское поэтическое слово. Стихи Александра Орлова — один из аргументов в пользу этого предположения. Странно, непривычно для нас, нынешних, смотрит на жизнь его герой. Как бы с высоты «хора светил», будто время и пространство для него — нечто целое: всё здесь всегда, мы здесь всё те же… Душа его как бы искрой дрожит в каждой точке мира — и тут же видит все точки мира перед собой как на ладони. Жизнь отдельного человека — краткий миг. Но в том-то и дело, что человек никогда не бывает «отдельным». Божественным промыслом, «родовой совестью» или бессмертием культуры — он встроен в неделимое, вечное целое как его неотъемлемая частица. Поэтому, с одной стороны,

Жизнь—это полмига,
С Крещения до Покрова…

с другой—

Сердито пью и, закусив с ножа,
Иду на свет по царственному полю,
И надо мной святые сторожа.

Так устроен взор поэта—горизонталь и вертикаль, крест-накрест, из ничтожной и греховной малости человеческого существования, из бездны титанического усилия—к безусловному приятию Бога и мира в его природной данности и Божественной перспективе.

Ввысь испарялись призрачные нови,
И в прошлое открыт был тайный ход,
Где ждал гостей, извечно наготове,
Ключарь блаженный у земных ворот.

«Тайный ход в прошлое» приводит поэта в пыточные подвалы и отшельнические кельи пушкинских героев… так и слышишь эту глубинную перекличку:

Меча неведомого сила
Вошла в меня по рукоять.
Скажи, когда всё это было?
Мне больше нечего терять?

И почему на перекрёстке
Священных праведных путей
Не вижу русских я людей,
А лишь огонь в кровавом воске.

Это маленькое страшное пламя, символ боли и надежды, преображается у Орлова в «верхний свет» вечного спасения. В этом свете идти, рисковать и даже погибать не страшно, ибо все пути ведут к небесной Родине. Опыт плоти и опыт духа взаимно проникают друг в друга—это, собственно, и есть судьба. Крестный взор. Крестный путь.

Я шёл к тебе и становился старше,
И прятал чувства в сумерках земных,
Где двое огневых сторожевых
Хранят извечно слово патриарше,

Где сходятся обрывы разных линий,
Где знают всё о мире и о нас,
Где вечный свет Спаситель нам припас,
И жизнь моя не кажется рабыней,

Где так ясны три тысячи поверий,
Где собраны мольбы монастырей,
Где ты стоишь у золотых дверей,
И ждёшь меня в преддверии мистерий.

Маленькое страшное пламя окровавленной свечи, разрастаясь и возвышаясь, вливается в свет великой мистерии—маленький грешный человек становится по-священным, о-свещённым, обретает свободу и надежду. Вообще тема тайного света, преодоления тьмы—сквозная у Александра Орлова. Путь мытарств и искушений—через боль тьмы и раздробленности—выводит поэта на свет. Крестный взор—тот, что прозревает свет среди боли, тьмы и мировой разрухи. Тот, для которого каждая вещь бытия—а современность переполнена вещами—просматривается сквозь инструментарий великого демиурга. Да-да… теперь на память приходит и Владимир Соловьёв с его «теургией»… и разве не овеяны эти стихи дальними, но такими желанными, спасительными отзвуками русского Православного Ренессанса?

Хотелось в полнолунье устремиться,
Где надо мной кочует мкс,
Где Бог творит в движениях небес,
Куда ведёт душа-бортпроводница.

Где мысли все в космическом масштабе
Не весят ничего, а дней багаж
Перебирает межпланетный страж
На паперти в потустороннем хабе.

Теперь я разгляжу как нежен иней
И звёзд январских необъятный слёт,
И чёткий импульс радиочастот,
И в мировой сети авиалиний
Я приземляюсь в наступивший год.

И, конечно, поэт—кочевник… странник. Внимательный и пристрастный к явлениям живой жизни. Он видит сапоги, ботинки, набойки и молоточек в руках армянина-башмачника, слышит печаль дудука. Замечает замёрзшие руки жестянщика-мигранта—и снова в такой потрясающей перспективе, что простым сочувствием этого не объяснить…

Человек, какой бы вере, какому бы роду ни принадлежал—та же роковая свеча в окровавленном воске, маленькое страшное пламя, сиюминутное и вечное, тёмное и яркое, жалкое и святое…

И при фонарном погрустневшем свете
Жестянщик отправляет перевод,
Который за мгновение дойдёт
В горючий край, где высятся мечети.
Наш век сырыми войнами рождён,
Контуженный, в потёртом камуфляже,
Он выстоял в эпоху распродажи,
Он выжить, как и прошлый, обречён.
Его понять вы не пытайтесь даже.

Наверное, у Александра Орлова—своё толкование названия новой книжки. Но я услышала так: разнозимье—и зимы разные, и разрыв, разъятие зимы. Преодолённый холод, развеянная тьма. Пробуждение. Воскресение. Не об этом ли:

Я снами зимними, казалось, обессилен,
Их проводы плаксивы, тяжелы,
Мне верится—блеск неземных светилен
Избавит мир от снежной кабалы.

Но до весны всего один вершок,
Все разойдутся, но поодиночке.
Зима уйдёт в разорванной сорочке,
Весна нажмёт на спусковой крючок
И, выпуская на деревьях почки,
Тебе подарит лето между строк.

Вкусив тепла, пророки и зеваки
Поделятся на псов и на щенят,
Осудят рай и устремятся в ад,
Не ведая, что из воздушной раки,
В дождях и вьюгах всепрощенья знаки
Им посылает Тот, Кто был распят.

Всё возвращается на круги своя — всему своё время. Льщу себя надеждой, что свежая ветвь подлинной русской поэзии XXI века, несмотря на агрессивные моды и «тренды», всё-таки набирает силу. Книжка, которая сейчас передо мной, — ощутимо содействует этой надежде.

ДиН пародия

Евгений Минин

Сорняк на голове

Привиденное

Я не хотел бы являться ночами,
но не прийти не смогу.
Буду шарахаться, биться о стену,
пыль за комодом жевать…
Виталий Кальпиди

Вы на поэта не будьте в обиде,
незачем лезть под кровать,
если появится ночью Кальпиди
пыль за комодом жевать.
Бьётся о стену, людей беспокоя,
топчет чужое пальто.
Немудрено, сочиняя такое,
может случиться не то…

Детский стишок

Где же папа? Вот напасть!
Заглянули кошке в пасть.
Заглянули в унитаз.
Папы нету. Вот так раз!
Маша Рупасова

Ищет, ищет мама папу.
Всё нашла — штаны и шляпу,
Галстук есть, а папы нет!
Заглянула в туалет.
И, приблизясь к унитазу,
Догадалась мама сразу.
Стал ей белый свет не мил:
— Дети, кто тут папу смыл?

Болезное

В моей груди растёт репей
Во рту ютится мышь
Иван Козлов

Во мне какой-то кавардак,
Но я пока — молчок:
На голове растёт сорняк
В ушах трещит сверчок.
А что сказать мне о врачах,
Их слыша разговор:
Ведь что растёт в моих мозгах —
Не знают до сих пор.

Навеянное

А ветер всё дует и дует.
Свеча всё горит и горит.
Юрий Воротнин

Но кони — всё скачут и скачут.
А избы — горят и горят.
Наум Коржавин

И кони своё отскакали,
И избы сгорели дотла,
Другие в поэзии дали,
Другие вершатся дела.
Вот муза при свечке колдует,
А я никуда не спешу.
Пусть ветер всё дует и дует,
А я всё пишу и пишу.

стр. 188
Арутюнов Сергей Сергеевич
Москва, 1972 г. р.

Российский поэт, прозаик, публицист, критик. Родился в Красноярске. В 1999 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Первая публикация стихов — в 1994 году в журнале «Новая Юность». Регулярные публикации рецензий в широком круге изданий — «Знамя», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Книжное обозрение», «Литературная Россия», «Литературная газета», «День поэзии», «НГ-Exlibris», «Дружба народов» и др. С 2005 года ведёт творческий семинар в Литературном институте им. А. М. Горького. Лауреат премии имени Бориса Пастернака (2004), Московского международного открытого книжного фестиваля в номинации «За лучшую рецензию» (2007), Отличия журнала «Современная поэзия» в области критики (2008), премии авангардного журнала «Футурум АРТ» (дважды, 2010, 2012), обладатель ордена «Золотая осень» имени Сергея Есенина (2013), премии имени поэта-декабриста Фёдора Глинки (2013), премии «Вторая Отечественная» имени поэта, участника Первой мировой войны Сергея Сергеевича Бехтеева (2014). Член редколлегии журнала «День и ночь» (Красноярск).

стр. 57
Бабанская Алёна
Москва

Родилась в подмосковном городе Кашира. Окончила филологический факультет Московского педагогического государственного института им. В. И. Ленина. Работает в банковском журнале. Публикации в журналах «Дети Ра», «Интерпоэзи», «Крещатик», «Арион», «День и ночь» и др. Автор книги «Письма из Лукоморья» (издательство «Водолей», 2013).

стр. 25
Балашов Владимир Васильевич
Посёлок Уральский Нытвенского района Пермского края, 1951 г. р.

Поэт, бард, офицер. Родился в селе Таборы Добрянского района Пермской области. Служил в Советской Армии с 1970-го по 1972 год. С июня 1971-го по июль 1972-го — в составе группы военнослужащих в одной из «горячих» точек Юго-Восточной Азии. После демобилизации, отработав год в Таборском леспромхозе, поступил учиться в лесотехническую академию Екатеринбурга. В 1979 году после её окончания приехал по направлению на Пермский фанерный комбинат в посёлке Уральский Нытвенского района Пермской области. Здесь прошёл путь от мастера смены до заместителя генерального директора комбината. Имеет три высших образования. Кроме академии, в 1987 году закончил Высшую политическую школу, а в 1998-м — финансово-экономический факультет Пермского государственного университета им. А. М. Горького. Стихи пишет с пятнадцати лет. Автор сборников «Мир осязаю по частям», «Я без тебя, Россия, не могу» и «От буквы и до слога». Последний увидел свет в 2010 году в московском издательстве «Голос-пресс» в серии «Современная поэзия». Публиковался в журналах «Наш современник», «Урал», «Литературной газете», в «Дне литературы» и других периодических изданиях. Лауреат краевого поэтического конкурса «Пилигрим». Исполняет песни собственного сочинения.

стр. 25
Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского государственного университета им. А. М. Горького. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013), общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь»

(Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени. В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 176

Брель Сергей Валентинович
Москва, 1970 г. р.

Родился в Москве. Окончил Московское педагогическое училище №1 им. К. Д. Ушинского, затем Московский открытый педагогический университет им. М. А. Шолохова по специальности «Учитель русского языка и литературы». Кандидат филологических наук. В 2009 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве (мастерская Л. Голубкиной и О. Дормана, специальность «Драматургия игрового и неигрового кино»). Автор двух поэтических сборников: «Мир» и «Свой век». В 2007 году с С. Арутюновым и М. Лаврентьевым основал литературную группу «Дети Ампира», выступления которой проходили в Москве. Член Союза писателей XXI века. Преподаёт русский язык, литературу, мировую художественную культуру, ведёт открытый семинар для школьников и студентов «Современная драматургия и основы сценарного мастерства».

стр. 55

Бруштейн Ян Борисович
Иваново, 1947 г. р.

Родился в Ленинграде. Кандидат искусствоведения. Работал журналистом, преподавателем вуза, президентом и главным редактором негосударственных телекомпаний «7×7» и «Барс», автором и ведущим политических, экономических и познавательных программ. Стихи печатались в журналах «Юность», «Знамя», «Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Сибирские Огни», в еженедельнике «ОБЗОР» издательства «Континент» (США), в сборниках и альманахах. Маленькие рассказы вышли в журналах «Зинзивер» и «Футурум Арт». В конце 2006 года выпустил книгу-альбом компьютерной арт-графики и стихов «Карта туманных мест». В марте 2009 года в Москве вышла книга стихов «Красные деревья». Ровно через два года — книга новых стихов «Планета Снегирь» в поэтической серии «Библиотека журнала „Дети Ра“» и почти одновременно книга избранных стихов «Тоскана на Нерли» (издательство «Летний сад»). Член лито «ПИИТЕР». Член Союза писателей XXI века.

стр. 154

Великжанин Павел Александрович
Волжский Волгоградской области, 1985 г. р.

Поэт. Родился в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Спустя несколько лет поселился в маленьком зауральском райцентре, недалеко от границы с Казахстаном. В конце 90-х годов переехал в Царицын-Сталинград-Волгоград. С тех пор живет на берегах Нижней Волги. Лауреат Южно-Уральской литературной премии 2015 года, финалист (шорт-лист) Волошинской премии 2016 года, победитель Международного литературного конкурса имени Куприна 2016 года

стр. 140

Верясова Дарья Евгеньевна
Москва, 1985 г. р.

Родилась в Норильске. Жила и училась в Красноярске, позже окончила Литературный институт в Москве. Работала журналистом, руководителем литературно-драматической части в театре. Лауреат Илья-Премии 2009 года, премии «Пушкин в Британии» 2013 года. В 2016 году стала лауреатом литературной премии В. П. Астафьева за повесть «Похмелье», которая ранее была напечатана в журнале «День и ночь». Участвовала в ликвидации последствий наводнения в Крымске в 2012 году, на основании этих событий написана документальная повесть «Муляка», опубликованная в журнале «Волга» и вошедшая в лонг-лист премии «Повести Белкина» в 2012 году и в шорт-лист премии «Дебют» в 2015 году. Публиковалась в журналах «День и ночь», «Октябрь», «Дружба народов», альманахе «Пятью пять». Автор книги стихов «Крапива» (2014). Занимается историей обороны Москвы и содержит сайт, посвящённый подвигу Зои Космодемьянской, Веры Волошиной и Лейли Азолиной.

стр. 7

Зурабова Карина Арменовна
Москва

Родилась в Тбилиси. В 1979 году окончила Литературный институт им. А. М. Горького, в 1981 — Высшие сценарные курсы. С 1991 года живёт в Москве. Автор трёх книг прозы и множества публикаций в столичных периодических изданиях.

стр. 40

Зыков Владимир Павлович
Красноярск, 1935 г. р.

Родился в посёлке Лесотехникум Кировской области. Окончил Горьковский (Нижегородский) государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Филолог. Автор ряда комсомольских и краеведческих книг. Автор книг стихов «Сретенье», «Вера, Надежда, Любовь», «Паломничество на русскую землю», «Святитель Лука. Жизнь и житие», «Да святится имя Твое», «Суриков. Поэтические хроники» (2012). С 2003 года руководит литобъединением «Особый возраст» при городском совете ветеранов, выпустившем семь сборников стихов в 2003–2012 гг. Член Союза журналистов России, член Союза российских писателей, лауреат премии комсомола Красноярского края, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Ветеран труда. Награждён памятной медалью к 100-летию М. А. Шолохова «За гуманизм и служение России». Живёт в Красноярске.

стр. 142 Иослович Илья Вениаминович
Хайфа, 1937 г. р.

Родился в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ в 1960 году по специальности «Механика». Работал в различных НИИ. В 1957–1958 годах участвовал в литобъединении МГУ на Ленинских горах (Д. Сухарёв, Н. Горбаневская, Ю. Манин, О. Дмитриев, В. Костров, Ю. Чаповский, Б. Пуцыло, М. Гусев. Руководитель Н. Старшинов). Публикации с 1958 года. Стихи были включены в машинописный журнал «Синтаксис», №4, 1960, который не вышел из-за ареста составителя А. Гинзбурга. В 1991 году переехал в Израиль. Профессор Технического университета.

стр. 52 Климова Галина Даниэлевна
Москва, 1947 г. р.

Поэт, переводчик. Родилась в Москве. В 1972 году окончила географо-биологический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина, а в 1990-м — Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Е. Винокурова). Первая поэтическая подборка вышла в 1965 году в районной газете «Знамя коммунизма» (Ногинск). Печаталась в центральных газетах «Советская Россия», «Московский комсомолец», «Литературная газета», в журналах «Дружба народов», «Арион», «Вестник Европы», «Континент», «Интерпоэзия», «Иерусалимский журнал», «Радуга» и др., в альманахах «Поэзия», «Предлог» и др., в антологиях «Антология русского верлибра» (М., 1991), «Библейские мотивы в русской лирике 20-го века» (Киев, 2005) и др. Стихи переведены на болгарский, сербский, польский, чешский, армянский, китайский, голландский и др. языки. Переводит главным образом славянскую поэзию. Заведующая отделом поэзии журнала «Дружба народов» (с 2007), старший научный редактор редакции географии в издательстве «Большая российская энциклопедия». Лауреат литературной премии СП Москвы «Венец» (2005) и премии «Серебряное летящее перо» международного поэтического фестиваля «Славянска преградка» (Варна, 2007). Организатор и ведущая литературного салона «Московская муза» (1998–2008). Член Союза писателей Москвы (с 1999), секретарь правления СП Москвы, член Международного Союза журналистов.

стр. 58 Комиссарова Марина Викторовна
Красноярск, 1977 г. р.

Родилась в Приморском крае, детство провела в Амурской области, в г. Завитинске. С 9 по 11 класс жила и училась в пос. Большая Мурта, где и окончила школу. Тогда же в первый раз опубликовала свои стихи в районной газете «Новое время». Выпускница Кемеровского государственного института искусств и культуры, прожила в Кемерово более 10 лет. Большую часть времени работала в библиотеке, также была внештатным корреспондентом кемеровских журналов и немного занималась редакторской деятельностью. С 2011 года переехала в Красноярск. В Красноярске писала для газеты «Комок», год работала редактором журнала BabyBoom. С 2008 года стала посещать литературную студию «Аллея». С 2009 года стала участвовать в литературных конкурсах города, была награждена грамотами, часто занимала призовые места (Поэтический слэм, конкурс женской поэзии «Снежная королева» и др.). Участница конкурса «Король поэтов», трижды становилась обладательницей приза зрительских симпатий и дважды отмечена специальным призом от жюри. Публиковалась в литературных сборниках. В 2016 году стала лауреатом государственной стипендии от Союза российских писателей и издала свою первую книгу — сборник лирической поэзии «Из точки А в точку Б». Живёт в Красноярске.

стр. 22 Кудимова Марина Владимировна
Москва, 1953 г. р.

Русский поэт, писатель, переводчик, публицист, общественный деятель. Родилась в Тамбове. Окончила филологический факультет Тамбовского государственного педагогического института. Первые публикации появились 1969 году в молодёжной газете «Комсомольское знамя». Первая книга стихов «Перечень причин» вышла в Москве в 1982 году; за ней последовали: «Чуть что», «Область», «Арысь-поле» и др. В 1990 годы печаталась в журналах и альманахах: «Апрель», «Волга», «Столица», «Континент», «Новый мир», «Знамя». Переводит поэтов Грузии и народов России. Лауреат премии имени В. Маяковского Совета министров Грузинской СССР, журналов «Новый мир», «Дети Ра», Союза журналистов России. Член Союза российских писателей. Член русского ПЕН-центра. Произведения переведены на английский, грузинский, датский языки. С 2001 года председатель жюри проекта «Илья-Премия». В 2010 году за интеллектуальную эссеистику, посвящённую острым литературно-эстетическим и социальным проблемам, была удостоена премии Антона Дельвига. В настоящее время работает в еженедельнике «Литературная газета». В 2011 году, после более чем двадцатилетнего перерыва, выпустила книгу стихотворений «Черёд» и книгу малых поэм «Целый Божий день».

обл. Кудринский Валерий Иннокентьевич
Красноярск, 1947 г. р.

Заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств. Родился 15 марта 1947 года в селе Третьяково Кемеровской области. С 1962 года живёт

и работает в Красноярске. Закончил Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова. С 1970 года — участник многих художественных выставок (краевые, зональные, республиканские, всесоюзные, зарубежные). Валерий Кудринский — один из лучших акварелистов России, творчество которого признано и европейскими ценителями изящных искусств. В составе творческих групп Союза художников совершал поездки по стране. Ежегодные самостоятельные поездки на север Красноярского края. В 1993 году — поездки по Франции, успешное участие на всемирной выставке в Париже, на выставках в Санари и Вьенне. В 1997 году работал по приглашению в Голландии. В 2012 г. в Париже получил главный приз жюри выставки «Национальное общество изящных искусств», которая проходила в залах Лувра. Работы художника находятся во многих музеях России и за рубежом, в частных коллекциях.

стр. 59

Кузичкин Сергей Николаевич
Красноярск, 1958 г. р.

Родился в Тайшете Иркутской области. Первый рассказ «Совсем простая история» был напечатан в местной газете «Заря коммунизма» 2 января 1980 года. В 1979–1983 годах входил в состав литературного клуба «Бирюса» (под председательством Петра Шумкова). Печатался в центральных газетах, в городских, районных и многотиражных газетах Иркутской области, Красноярского и Алтайского края; в коллективных сборниках столичных издательств: «Детская литература», «Литературная Россия»; литературных альманахах: «Московский Парнас», «Медвежьи песни» (Санкт-Петербург), «Поэты Енисея», «День поэзии Красноярского края», «Кедры» (Красноярск), «Новый Енисейский литератор»; журналах: «Енисей», «День и ночь», «Новое и Старое» (Красноярск), «Луч» (Ижевск), «Мир Севера» (Москва), «Соотечественник» (Берген, Норвегия); в еженедельниках «Литературная Россия» (Москва), «Обзор» (Чикаго). Автор проекта изданных литературных альманахов: «В литературном кругу», «На втором круге», «День поэзии Литературного института» (издательство «Эко-пресс-2000» Литературного института им. А. М. Горького, Москва). Автор трилогий «Избранники Ангела» и «Времена и Бремена», состоящей из книг: «Время невостребованной любви», «Время пьяных мужчин», «Время зрелых женщин», а также сборника стихов и нескольких книг повестей и рассказов. В 2005 году окончил Высшие литературные курсы в Литературном институте им. А. М. Горького в Москве. В 2006 году в московском издательстве «Амадеус» отдельной книгой вышел роман «Андрей + Наташа». Лауреат Всероссийского конкурса литературного творчества «Золотой листопад-2008» (Иркутск), дипломант международного литературного конкурса по детской литературе им. А. Н. Толстого (2009). С 2006 года автор проекта и редактор альманаха прозы, поэзии и публицистики «Новый Енисейский литератор» (Красноярск), детского альманаха «Енисейка» и ряда приложений. Член Союза писателей России. Живёт в Красноярске.

стр. 152

Кузнецова Зинаида Никифоровна
Зеленогорск

Родилась в Воронежской области в большой крестьянской семье. В Красноярск-45 (ныне Зеленогорск) приехала в 1966 году. Работала электромонтёром связи на Красноярской ГРЭС-2, в течение 37 лет была секретарём высших руководителей города. Литературным творчеством занимается с 25 лет. Автор поэтических сборников: «Настроение», «Медовый август», «Ночной звонок», «Память сердца», «Облака», «Куст калины» (1-й том 2-томника), «Забытые острова», сборников рассказов: «Райские яблоки», «Болеутоляющее средство», «Белый снег, дорожка чёрная…». Многочисленные публикации в газетах, в журналах «День и ночь», «Енисей», «Светлица», «Совершенно открыто», «Молодая гвардия», «Новый Енисейский литератор»; в коллективных сборниках «Поэзия на Енисее», «Поэтессы Енисея», «Антология поэзии закрытых городов» и многих других. Руководитель литературного объединения «Родники» г. Зеленогорска, составитель и редактор коллективных и авторских сборников городских поэтов. Член Союза российских писателей, член правления Красноярской писательской организации.

стр. 158

Лаврентьев Максим Игоревич
Москва, 1975 г. р.

Поэт, прозаик, редактор. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в 2001 году. Работал кладовщиком на автостанции, редактором в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия», главным редактором журнала «Литературная учёба». Помимо редакторской деятельности (в частности, он являлся литературным редактором Виктора Пелевина), занимается исследованием предсмертных произведений русских поэтов XIX–XX веков, историей орденов Российской империи. Стихи, проза и статьи публиковались в газетах «Московский комсомолец», «Литературная газета», «Учительская газета», «Независимая газета» и «Литературная Россия», в российских журналах «Журнального зала» и других изданиях. Сборники стихов неоднократно входили в число 50 лучших книг года по версии «НГ-Exlibris».

стр. 145

Лотовский Яков Калманович
Филадельфия, 1939 г. р.

Прозаик. Закончил Литинститут им. Горького. Был членом СП Украины. Опубликовал книги:

«Семнадцать килограммов прозы» (Москва: «Советский Писатель», 1991), «Подольский жанр» (Филадельфия, 1998), «Рассмотрим мой случай, или Резиновый трамвай» (Филадельфия, 2007). Публиковался в журналах «Интерпоэзия», «Вопросы литературы», «Зарубежные записки», «Радуга», «Слово-Word», «Вестник» и других, а также в переводах на английский, немецкий, украинский, итальянский, эстонский языки, на иврит. Лауреат литературного конкурса радиостанции «Немецкая Волна» (1991, Кёльн, Германия).

стр. 156
Лысенко Дарья Ивановна
Красноярск, 1988 г. р.

Родилась в городе Абаза Республики Хакасия. Окончила институт филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета. Работает в природоохранной сфере. Дипломант I Всероссийского конкурса юных поэтов «Новые имена России. Моя мечта — моя Россия». Удостоена диплома I степени имени М. Е. Кильчичакова в рамках республиканской программы «Одарённые дети Хакасии». Вице-королева поэтического состязания «Король поэтов» (2006). Победительница межрегионального литературного конкурса на соискание премии имени И. Рождественского в номинации «Поэтическая библиотека Времени» (2015), в номинации «Поэзия» (2016). Дипломантка II Международного литературного конкурса «Верлибр» (2015). Финалистка международного литературного фестиваля «Славянская лира» (2015). Второе место международного литературного конкурса «Ты говори со мной…» (2015). Автор книги «Поймай мою душу» (2008). Живёт в Красноярске.

стр. 129
Мамонтов Евгений Альбертович
Красноярск, 1964 г. р.

Родился во Владивостоке. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в 1993 году. Лауреат премии имени Виктора Астафьева в номинации «Проза» (2004). Публиковался в журналах и альманахах «День и ночь», «Дальний Восток», «Октябрь», «Рубеж». Жил и работал во Владивостоке. Руководитель творческой мастерской начинающих писателей. Заместитель главного редактора журнала «День и ночь» по прозе. Живёт в Красноярске.

стр. 15
Миркина Зинаида Александровна
Москва, 1926 г. р.

Поэт, переводчик, исследователь, эссеист. Родилась в семье инженера (отец) и экономиста (мать). С 1943 по 1948 училась на филологическом факультете Московского университета, где защитила дипломную работу, но не смогла сдавать госэкзамены, так как тяжёлая болезнь приковала её на пять лет к постели. Стихи писала с детства, но в связи с болезнью был большой перерыв; долгое время писала «в стол». Интенсивно печататься стала лишь с начала 1990-х. Совместно с супругом философом-гуманистом Григорием Померанцем издала работу «Великие религии мира». С 1988 года Зинаида Александровна является участником объединения духовных поэтов «Имени Твоему». С середины 1950-х начала переводить; наиболее заметные работы — переводы суфийской лирики (впервые напечатаны в 1975 в томе «Арабская поэзия средних веков» серии БВЛ), Тагора, Рильке (в частности, перевела все сонеты к Орфею).

стр. 30
Новикова-Строганова Алла Анатольевна
Орёл, 1960 г. р.

Родилась в городе Бугульма в Татарстане. В 1981 году с отличием закончила факультет русского языка и литературы Орловского государственного педагогического института (ныне Орловский государственный университет — ОГУ). Работала учителем в средней школе. С 1983 года — преподавателем на кафедре русской литературы ОГУ. В 1993 году в Московском государственном педагогическом университете защитила кандидатскую диссертацию. Предмет исследования — цикл святочных произведений Н. С. Лескова в контексте отечественной словесности. В 2003 году — в Московском государственном областном университете защитила докторскую диссертацию, посвящённую религиозно-нравственным исканиям Н. С. Лескова. В 2001 году с отличием закончила юридический факультет Орловской государственной академии государственной службы. Доктор филологических наук, профессор, продолжатель традиций православного литературоведения. Автор трёх монографий и свыше 500 опубликованных в России и за рубежом научных и художественно-публицистических работ о творчестве Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, И. А. Бунина, Ч. Диккенса и других классиков мировой литературы. За книгу «Христианский мир И. С. Тургенева» (издательство «Зёрна-Слово», 2015) удостоена Золотого Диплома VI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Удостоена награды «Бронзовый Витязь» на VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» (2016) за статьи-исследования творчества Ф. М. Достоевского. Член Союза писателей России.

стр. 5, 191
Саввиных Марина Олеговна
Красноярск, 1956 г. р.

Родилась в Красноярске. Выпускница Красноярского государственного педагогического института. Публикации в литературной периодике с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), в еженедельнике

«Обзор» (Чикаго), в коллективных сборниках и антологиях. Автор шести книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева (1994). Лауреат Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы им. С. С. Бехтеева (2014). Лауреат X Всероссийского поэтического конкурса «Мечети — Божьи храмы» (2016). Член Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба. Член Президиума Международного «Союза писателей XXI века». Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Заслуженный работник культуры Красноярского края. Главный редактор литературного журнала «День и ночь».

стр. 50

Скворцов Константин Васильевич
Москва, 1939 г. р.

Русский писатель, поэт. Родился в Туле. Мастер драматической поэзии. Окончил Челябинский агропромышленный университет и Высшие литературные курсы. Член Международного сообщества писательских союзов. Участник съездов писателей СССР и РСФСР. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Автор двадцати пьес в стихах. Обладатель многочисленных наград и литературных премий.

стр. 53

Степанов Евгений Викторович
Москва, 1964 г. р.

Родился в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского государственный педагогического института (1986) по специальности «Французский и немецкий языки», Университет христианского образования в Женеве (1992), экономический факультет Чувашского государственного университета (2004) по специальности «Финансы и кредит», аспирантуру факультета журналистики МГУ (2004). Кандидат филологических наук. Докторант РГГУ. Поэт, прозаик, литературный критик, издатель, культуролог, экономист. Читал лекции в университетах России, США, Швейцарии, Финляндии, Румынии и многих других стран. Генеральный директор холдинга «Вест-Консалтинг». Издатель — главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), газет «Литературные известия» и «Поэтоград», интернет-издания «Персона ПЛЮС». Соиздатель и заместитель главного редактора журнала «Крещатик». Почётный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка и международного фестиваля «FEED BACK» (Румыния). Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, альманахах и газетах. Автор нескольких книг стихов и прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий «Плакаты Госстраха как социокультурное явление» (М., 2003), «Карманные календари Госстраха» (М., 2004), «Социальная реклама в России: генезис, жанры, эволюция» (М., 2006). Переведён на английский, французский, немецкий, румынский, болгарский, венгерский языки. Президент Союза писателей XXI века, член президиума МГО СП России, Союза писателей Москвы, ПЕН-клуба, правления Союза литераторов России.

стр. 36

Шанин Владимир Яковлевич
Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края, в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного университета и аспирантуру Высшей школы профсоюзного движения при ВЦСПС в Москве. Трудиться начал с 14 лет. Работал в колхозе, леспромхозе, на заводе «Сибтяжмаш», в районных, многотиражных газетах, в альманахе «Енисей», в профсоюзных организациях, служил в армии. Участник краевого семинара молодых писателей Красноярья в 1974 году, и в том же году — зонального совещания молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, на котором рукопись рассказов была рекомендована к изданию. Печатался в краевых и областных газетах, в журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», в коллективных сборниках. Автор книг прозы «Памятник для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом в деревне…», «Имя собственное» (литературные портреты писателей), изданных в Красноярске и Москве. А своей «главной» книгой считает роман-исследование о В. И. Сурикове «Суриков, или Трилогия страданий». В 2011 году вышел первый том «Енисейской летописи» — хронологический перечень важнейших дат и событий из истории Приенисейского края. Готовится к изданию второй том. «Енисейская летопись» на сегодняшний день является единственным в своём роде изданием, хронологически описывающим исторические события нашего края. Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России.

стр. 5

Шемшученко Владимир Иванович
Всеволожск Ленинградской обл., 1956 г. р.

Окончил инженерно-физический факультет Киевского политехнического института, металлургический факультет Норильского индустриального института и Литературный институт имени А. М. Горького в Москве.Работал в Заполярье, на Украине и в Казахстане. Прошёл трудовой путь от ученика слесаря до руководителя предприятия. Член Союза писателей России, член Союза писателей Казахстана. Кавалер ордена Святого благоверного князя Александра Невского «За заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление

Государства Российского». Лауреат многих Международных и Всероссийских литературных премий. Награждён Патриархом Московским и всея Руси Алексием II золотой медалью Сергия Радонежского I степени. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Был главным редактором газеты «Небесный Всадник»; в настоящее время главный редактор журнала «Всерусскій Соборъ», собственный корреспондент «Литературной газеты», редактор отдела «Политика и экономика» газеты «Всеволожские вести». Награждён Почётной грамотой Союза журналистов РФ «За большой вклад в развитие российской журналистики». Участник восьми антологий поэзии. Автор тринадцати книг стихов.

стр. 180 Яранцев Владимир Николаевич
Новосибирск, 1958 г. р.

Родился в Калинине (Тверь). Критик, литературовед. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Кандидат филологических наук. Автор книги «Ещё предстоит открыть» (2008). Публиковался в журналах «Гуманитарные науки Сибири», «Сибирские огни», «День и ночь», «Алтай», «Складчина», «Огни Кузбасса» и др. Член Союза писателей России.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

М. О. Наумова

РЕДАКТОРЫ

отдел прозы

Александр Астраханцев
Евгений Мамонтов

отдел поэзии

Сергей Кузнечихин

отдел публицистики

Геннадий Васильев

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Дарья Романова

СЕКРЕТАРИАТ

Юлия Вятчина
Артём Яковлев

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Сергей Арутюнов
Москва

Юрий Беликов
Пермь

Вера Зубарева
Филадельфия

Анатолий Кирилин
Барнаул

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Евгений Минин
Иерусалим

Виталий Молчанов
Оренбург

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Миясат Муслимова
Махачкала

Лев Роднов
Ижевск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Тарковский
Бахта

Вероника Шелленберг
Омск

Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева
Челябинск

Журнал издаётся с 1993 г.

В оформлении обложки использованы картины Валерия Кудринского.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «День и ночь».
ИНН 246 304 2749
Расчётный счёт
4070 2810 8006 0000 0186
в «Сибирском» филиале
банка ВТБ ПАО
в г. Новосибирске
БИК 045 004 788

Корреспондентский счёт
3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются
по электронной почте:
dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 3.
т. +7 923 571 4936

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 10.04.2017
Дата выхода в свет: 30.04.2017
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»
г. Красноярск, ул. Гладкова,
д. 6, офис 0-10; т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

Валерий Кудринский

Природы храм нерукотворный | 56 × 76 | 2000

Стынет вода | 70 × 100 | 1993

На обложке: *С размышлениями о вечном* (фрагмент) | 70 × 100 | 2011

Валерий Кудринский